

И.Ф.КАЛЛИНИКОВ

МОЩЬ



1-2

ТОМ











И.Ф.КАЛЛИНИКОВ

МОЩЬ

Роман



А187494

Издательское
товарищество



Брянск
1993

Р 7
К 17

Текстологическая подготовка **Н. И. Поснова**

Художник **А. А. Зуенко.**

Каллиников И. Моща: Роман, т. 1—2.

К 17 — Брянск: издательское товарищество «Дебрянск», 1993.—
487 с., ил.

ISBN 5-7278-0095-1

В конце двадцатых годов нынешнего столетия появился четырехтомный роман «Мощи», принадлежащий перу русского писателя И. Каллиникова. Сегодня это произведение переведено на 26 языков, в том числе немецкий, голландский, испанский, польский. Действие романа разворачивается в Белобережском мужском монастыре в Брянских лесах. География повествования: Орел — Москва — Петроград — Брянск. «Мощи» — роман о нарастании революционной обстановки в России, о падении человеческих нравов, о той «бесовщине», которая сбила государство с истинного пути развития, о любви и предательстве, о вечном духовном устремлении и вечных душевных поисках.

Роман своеобразен и необычен, и хотя советские литературоведы обвиняли автора «в сплошном эротизме» и «неправильном понимании революции» — книга пользуется мировой известностью и носит печать высокохудожественной беллетристики.

Впервые и только раз роман издавался на русском языке (без четвертого тома) в 1927 г., тиражом 8000 экз., в издательской артели писателей «Круг». Наше издание является первым массовым.

К $\frac{4702010200 - 05}{030098 - 93}$ подписное

ISBN 5-7278-0095-1

© Издательское
товарищество «Дебрянск».

ВСЕ МЫСЛИ БЫЛИ О РОССИИ...

Имя русского писателя Иосифа Федоровича Каллиникова. (1890 — 1934) мало знакомо широкому кругу читателей, разве что историкам литературы. Сведения о нем по опубликованным в послереволюционной России материалам весьма скудны. Автор шумевшего романа «Мощи», корреспондент Горького, эмигрант — вот обычный набор характеристик.

Поэт и фольклорист, писатель и переводчик, издавший свои книги в ряде стран — Англии, Америке, Италии, Испании, Германии, Чехословакии, Польше, — он сумел напечатать в России в конце двадцатых годов, благодаря посредничеству Горького и В. Вересаева, два издания — роман «Мощи» (3 тома из 4-х) и сборник рассказов «Баба-змея».

Газета «Штат Колумбия» 29 июня 1930 года в рецензии на роман Каллиникова «Женщины и монахи» («Мощи»), только что появившийся на американском рынке, писала: «Имя Иосифа Каллиникова не очень известно в нашей стране. Но какое-то время самые влиятельные газеты Европы говорили о нем, как о законном преемнике великих русских писателей Достоевского и Толстого».

В конце двадцатых годов в Советской России роман «Мощи», расцененный критикой как порнографический, был изъят из публичных библиотек. Критик А. Зорич на страницах газеты «Правда» (9 апреля 1926 года) заявил: «Никак не может быть вписана эта книга в актив советской беллетристики».

С приходом к власти Гитлера немецкие издания романов «Мощи», «Монастырские женки» и «Лев Толстой» были сожжены на берлинской Оперной площади 11 мая 1933 года.

Книги Иосифа Каллиникова стали библиографической редкостью.

Марина Цветаева писала Каллиникову 11 марта 1925 года: «Когда я думаю о настоящем вдохновении, всегда вспоминаю Вас и Ваши труды, хотя темы Ваши мне зачастую чужды. Посади нас на остров, как бы мы писали бы — пальцем по песку или просто вслух, на ветер.

Это — высшая марка, а только что и есть — призвание. Остальное баловство»¹.

В автобиографии Каллиников писал: «Родился я на Новый год 1890 в губернском городе Орле».

Мои воспоминания с ранних лет: старая отцовская блуза почтового чиновника, пахнущая пылью и сургучом почтовых посылок. Всегда утомленное, нервное лицо отца, бессильное перед жизненной нищетой. Вечерами сказки бабушки. Мать, которая 11 лет лежала больная, стонала на постели»².

¹ ОГЛМТ (Орловский Государственный литературный музей И. С. Тургенева). ф. 51, 8128.

² ОГЛМТ, ф. 51, 10245.

В 1899 году Каллиников поступил в 1-ю Алексеевскую гимназию г. Орла, в 1906 году его исключили из четвертого класса за гимназическую забастовку без права поступления в казенные учебные заведения. С сентября 1907 года он продолжил обучение в частном реальном училище Томашевских.

Большую роль в формировании характера Иосифа сыграл его дед, дьякон Троицкой кладбищенской церкви г. Орла.

«В воспоминаниях молодости ярко выступает строгая и спокойная фигура моего деда,— писал Каллиников. — Говорил он в коротких фразах, был замкнут и одинок (...). Он хотел стать художником. Его отец, священник, пригрозил ему проклятием и не позволил покинуть семинарию. И дед был всю свою жизнь дьячком в кладбищенской церкви.

Кладбище было местом моих игр, моего детства.

С детства я пел по утрам и на клиросе, и у алтаря. У могил пел с дедушкой псалмы. После обеда подметал дорожки и ухаживал за деревьями и цветами (...).

Первые стихи я написал на кладбище...¹.

*Теперь следим, как зажигаются планеты,
Горят лучами звезд в задумчивых глазах,
И в зацелованных старинных образах
Зажгут в ночной тиши туманные просветы,
Чтоб озарить улыбкою незримо
Влюбленного в Марию Серафима!*

*Но близок день — звезда от ревности потухнет,
Когда бесплотного влюбленные уста
Сольются в поцелуй, и первая мечта
Потухнет на земле,— быть может, мир не рухнет,
Но ангела надломленные крылья
Опустятся от первого бессилья.*

Из цикла «Монастырское».

Ежегодно во время летних каникул Иосиф вместе с дедом и матерью ездил в мужской монастырь в Брянских лесах — Белобережский. В Белых Берегах Каллиников подолгу жил уже взрослым, наблюдая монастырские нравы, а, будучи студентом, имея склонность к рисованию, принимал участие в росписи храма. Свояченица писателя В. А. Рюрикова вспоминала: «Днем Иосиф Федорович работал как живописец, а по ночам писал, чем вызвал подозрение игумена, который, посоветовавшись со всей братией, решил уволить подозрительного живописца из опасения нежелательной огласки некоторых сторон монастырской жизни».²

Впечатления юности, картины монастырского быта впоследствии нашли отражение в романах «Мощи» (первоначально озаглавленном «Белые Берега») и «Монастырские женки».

Иосиф очень рано почувствовал тягу к творчеству и к литературе. Все карманные деньги тратил на книги, краски и ноты. К 1914 году в доме Каллиниковых в Орле собралась значительная по объему библиотека, свидетельствующая о круге интересов ее хозяина. Кроме классиков русских и иностранных, очень полно были представлены современные поэты и беллетристы как русские, так и зарубежные, этнография

¹ Автобиография. ОГЛМТ, ф. 51, 10245.

² В. Рюрикова. Друг детства. ОГЛМТ, ф. 57, 5567.

и фольклористика, история и теория литературы, критика, справочная литература, книги по политической экономии.

Пятнадцати лет начал писать стихи. С 1912 г. они стали печататься в журнале «Жизнь для всех».

Интересный эпизод из жизни Каллиникова приводит в воспоминаниях В. Рюрикова: «Ося очень рано почувствовал свое призвание и поребачьи вообразил, что талант освобождает от необходимости учиться, обязательной для простых смертных. Дело дошло до того, что родители решили написать письмо Льву Николаевичу Толстому с просьбой воздействовать на сына. Лев Николаевич исполнил их желание и написал Осе вразумительное письмо (...). Завязалась переписка, которая принесла желаемые благотворные результаты.

...Студентом он был в Ясной Поляне и всегда с любовью и уважением вспоминал Льва Николаевича не только как писателя, но и как человека...

Это собственно было не увлечение, а серьезное глубокое чувство, сохранившееся на всю жизнь»¹.

В эмиграции Каллиников написал книгу «Лев Толстой», которая была издана в Германии, Испании и Чехословакии.

В 1911 году Каллиников поступил на экономическое отделение Петербургского политехнического института Императора Петра Великого (окончил в июне 1916 г.). Во время летних вакансий, интересуясь народным творчеством, записал на Орловщине тетрадь народных песен и принес ее в редакцию журнала «Русское богатство». Помощник редактора Ф. Д. Крюков, писатель, бывший в свое время учителем Каллиникова в Орловской гимназии, посоветовал начинающему этнографу обратиться к академику А. А. Шахматову.

Шахматов, при содействии которого предпринимались многочисленные экспедиции и командировки по России и за границу для собирания материалов по диалектологии, истории русской письменности и фольклора, поддержал научное начинание — «Собирайте в деревне сказки». Получив легитимацию отделения русского языка и словесности Географического общества Российской Академии наук, фонограф и денежное пособие, Каллиников в 1913 — 1915 годах совершает несколько поездок в Орловскую губернию.

Дмитровский, Болховский, Мценский, Севский, Трубчевский, Карачевский, Брянский уезды — вот география летних путешествий Каллиникова, поставившего своей целью записать сказки, народные приметы, обрядовые песни крестьян.

Для писателя сказки — не просто явление искусства, а прежде всего люди, чья мудрость и житейский опыт создают неповторимые произведения народного творчества. Не случайно, одну из итоговых работ он назовет «Сказочник и их сказки». Читая отчеты Каллиникова, видишь орловских сказочников, поэтически одаренных, с огромной творческой изобретательностью. «Киренч — мастер на все руки: он и знахарь, и печник, и плотник, к нему ходят гадать на картах и приносят починять часы; он любит послушать сказку и почитать умную книжку. Однажды он сделал деревянный велосипед и, как меня уверяли, попробовал даже на нем кататься. Грамотей-самоучка, он соединил в себе все возможности.»² — рассказывает Каллиников об одном сказочнике из села Бедобольщины Севского уезда.

¹ ОГЛМТ, ф. 57, 5567.

² Каллиников И. Сказочники и их сказки. Отд. оттиск, 1916, с. 20.

Избегая ошибки своих предшественников, пытавшихся восстановить первоначальный исторический вариант сказки, Каллиников делает запись дословно, с сохранением диалектных особенностей говора. Благодаря этому, сказки, записанные им, сохраняют детали крестьянского быта, отражают элементы социальных конфликтов.

570 сказок, цикл свадебных песен, пословиц и поговорок — таков итог летних поездок Каллиникова по Орловщине. Его доклады, сделанные на заседаниях сказочной комиссии Географического общества, были опубликованы в журнале «Живая старина» (1913 — 1916), а теоретические работы «Сказочники и их сказки» и «О собирании сказок в Орловской губернии» выпущены отдельными оттисками.

Работа молодого этнографа была по достоинству оценена, автора наградили серебряной медалью Географического общества Российской Академии наук. 4 марта 1915 г. Шахматов известил Каллиникова: «...отделение русского языка и словесности, заслушав записку Вашу от 7 февраля сего года, постановило ассигновать Вам на издание записанных Вами сказок в течение 1915, 1916 и 1917 годов по пятисот рублей, предоставив Вам выбор типографии».¹

В 1916 г. Орловская типография приступила к печатанию каллиниковских сказок — «Сказки Орловской губернии», но с перерывами удалось напечатать лишь семь печатных листов (39 сказок).

К 1916 году относится и знакомство Каллиникова с Максимом Горьким. В автобиографии Каллиников пишет об этом так: «Милый старик Морозов² познакомил меня с Горьким. Высокий, худой, на вид строгий Алексей Максимович меня расспрашивал о сказках, на минуту вышел к себе в кабинет и вернулся с предложением: «Парус» издаст сборник русских, украинских и белорусских сказок».³

Но Каллиникову не пришлось принять участие в сборнике, он был мобилизован.

В Орел вернулся в конце 1917 года. Служил инструктором в Союзе кооператоров, возглавлял статистическое управление, по вечерам занимался литературной работой. Из-за переутомления и нервного напряжения попал в больницу.

1919 год — трагический рубеж в жизни Каллиникова.

«Потом заняли Орел белые и мобилизовали меня в больнице, как бывшего офицера, — пишет он в автобиографии. — Я заболел снова. Потом я убежал от белых без врача в Новороссийск. Я хотел пробраться в Толстовскую колонию за Геленджиком, где тогда жил Поссе, но дорога туда была занята зелеными и белыми. Снова больница и отчаяние, что не могу пробраться на север в Москву. Вернулись приступы малярии, которой я заболел на фронте. Больным меня увезли из Новороссийска в Египет в принужденное изгнание».⁴

Жена, Надежда Александровна, разыскивая Каллиникова, попала с английским пароходом на Принцевы острова и там, через Красный Крест, нашла его в лагерях беженцев в Сиди-Бирши под Александрией.

«Восток. Узкие улочки арабских кварталов. Каир, пирамиды и сфинксы, лагерь на границе сирийской пустыни (...). Шумные базары, гордые и спокойные бедуины, оранжевые вечера, потом Александрия. Средиземное море и лагерь в Сиди-Бирши, новые мотивы, новые картины.

¹ ОГЛМТ, ф. 51, 20898.

² Н. А. Морозов (1854 — 1946), активный деятель революционного движения, ученый.

³ ОГЛМТ, ф. 51, 10245.

⁴ ОГЛМТ, ф. 51, 10245.

Зарабатывал я продажей сигарет и сигар по барам, кафе и в арабских кварталах. В свободные минуты я сочинял стихи о кочующих караванах. Писать прозой было дорого. У меня не было денег на бумагу. Стихи я мог писать на каждом клочке бумаги, найденном на улице. Молчать было мучительно тяжело. Тяжела была и жизнь среди изгнанников революции, среди «заживо погребенных».¹

*Дни изгнания не изношены,
В беспросветности вся даль...
Целый день над нами коршуны,
Сверстящие как сталь...
Распластав крылами вещими
Неподвижно в небе синь,
Знают тайны, что завещаны
Нам в бескрайности пустынь.*

Египет. Каир. 25 февраля 1920 г.

В лагерях беженцев Каллиников встретился и подружился с известным впоследствии автором исторических романов Ант. Ладинским, которому удалось выбраться из Египта в Париж. Среди знакомых Каллиниковых была и мать Сергея Рахманинова, ожидавшая выезда в Америку к сыну.

В Александрии в 1921 году у Каллиниковых родилась дочь Наталья. Все мысли были о России и о возвращении на родину. В анкете для лиц, ходатайствующих о выезде в Россию в 1922 году, Каллиников напишет: «В данный исторический момент считаю Советскую власть единственной властью, объединяющей все интересы республики и могущей закрепить в жизни завоевания революции».²

В 1922 г., получив разрешение на выезд в Чехословакию и поручительство Я. Боучека, чеха, преподававшего в 1900 годах в Орловской гимназии музыку, Каллиников с семьей через Болгарию едет в Прагу. «Для меня нужна была Прага как Рубикон в Россию»³, — напишет он литературному критику Г. И. Радченко.

В Чехословакии Каллиников собирался продолжить занятия фольклором. Безусловно, он знал, что в Праге живет крупнейший фольклорист, действительный член Российской Академии наук, профессор Иржи Поливка, хорошо известный в России своими исследованиями славянской сказки.

В письме к Поливке 27 октября 1922 г. Иосиф Федорович писал: «Когда еще в 1914 г. я был членом сказочной комиссии под председательством Сергея Федоровича Ольденбурга, учитель мой, покойный академик Алексей Александрович Шахматов, говорил, что единственный знаток славянской народной сказки — профессор Поливка, у которого необходимо поучиться каждому собирателю сказок».⁴

Поливке Каллиников представил документы и ряд фольклорных материалов: по памяти он восстановил тексты орловских сказок на 80 печатных листах.

Иржи Поливка принял живое участие в судьбе русского писателя: он устроил его на службу в пражскую легиографию корректором. Сказки Каллиникова появляются на страницах журналов «Воля России» и «Современные записки». По совету Поливки он приступил к переводам сказок Эрбена (в стихах), Б. Немцовой, сказок, собранных Мекжичкой

¹ Автобиография. ОГЛМТ, ф. 51 10245.

² ОГЛМТ, ф. 51, 8206/9.

³ ОГЛМТ, ф. 51, 8148/18.

⁴ ОГЛМТ, ф. 51, 21108/1. Оригинал — в ЦГАЛИ Чехословакии.

и В. Тилле. В 1925 году в чешском издательстве «Пламя» при содействии И. Поливки и И. Ольбрахта вышла книга Каллиникова «*Ohlas vestník*» («Голос деревень»), куда вошли орловские сказки. Книга посвящалась чешским детям.

Переводческая деятельность Каллиникова в Чехословакии была довольно разнообразна. Он переводил произведения К. Чапека, Фр. Кубки, Йозефа Копты, Фр. Лангера, Иржи Магена, В. Ванчупы, Й. Горы, В. Матезиуса и других.

С 1923 года Каллиников напряженно работает над романом «Мощи», замысел которого возник еще в России.

В конце 1923 г. Чехословакию посетил Горький. Узнав об этом, Каллиников пишет Г. И. Радченко: «...повидаться с Горьким мне необходимо. В феврале я хлопочу о России — хватит с меня эмигрантского хлеба».¹

Каллиников обратился к Горькому с просьбой помочь ему опубликовать произведения в России и вернуться на родину. Впоследствии Горький напишет В. Вересаеву из Сорренто (3 июня 1925 г.): «...судя по его письмам — это хороший человек, вполне заслуживающий внимания и помощи. Он рвется в Россию из гнилой Праги, и жить в России необходимо для него, как, впрочем, для многих порядочных людей, которые попали сюда случайно».²

По инициативе Горького Каллиников издает в России сборник рассказов «Баба-змея» (1927) и три тома из четырехтомного романа «Мощи» (1925 — 1927). Кроме того, Горький рекомендует книги Каллиникова в русские издательства за рубежом.

Тот факт, что Каллиников опубликовал свои произведения в России, был воспринят официальными кругами Чехословакии весьма однозначно. 9 ноября 1926 года Каллиников писал поэту и однокашнику Евг. Соколу: «...я печатаюсь в России, что уже возымело действие — я безработный».³

«Мощи» — антиклерикальное произведение, рисующее быт и нравы монастырской жизни накануне революции 1917 года. «Я рисовал монастырь не только с Белых Берегов, — писал Каллиников В. Рюриковой 28 апреля 1929 г. — Я с детства видел монастыри — Задонский, Калужский, Харьковский, Троицкую Лавру, Девять Дубов, Площанский, Свенский. Старобрядческие монастыри достаточно обличил Печерский. Я не только их видел, но знал их внутреннюю жизнь (...). Вот потому-то и появились «Мощи». Это не жизнь одного монастыря, это жизнь почти всех монастырей последнего столетия».⁴

Роман написан под влиянием идей богоскательства. Историческому христианству, выродившемуся в церковный доктринаризм, монастырь, иночество с его аскетическим культом Каллиников вслед за Вас. Розановым противопоставляет религию Вифлеема, понимаемую как «свет и радость».

В письме к Рюриковой Каллиников, говоря о своем неприятии церковного аскетизма и фальши, утверждает основы близкой ему религии: «Я сам по себе язычник, преклоняющийся перед чистотой природы. Для меня чище и прекраснее эллины, чем самобичующие христиане. И все эти монастыри — истерия, извращение человеческого естества (...) ...чувственность, похоть — не признаю. Признаю воздержан-

¹ 31 декабря 1923 г. ОГЛМТ, ф. 51, 8148/6.

² Архив А. М. Горького. Т. 7, 1959 г., с. 122.

³ ОГЛМТ, ф. 40, 11352/2.

⁴ ОГЛМТ, ф. 51, 11005.

ние как проявление воли духа, считаю необходимым его, но не самоуничтожение плоти во имя духа».¹

«Мощи» — произведение сложное, многогранное и многоплановое. В романе отразились идейные искания писателя, поиски стиля, языковых средств, принятии создания типов. Роман значителен и по широте охвата. На протяжении всего действия перед нами проходят представители самых разных кругов — духовенство, купечество, интеллигенция, либеральные капиталисты, авантюристы разного толка, крестьяне, нищие, солдаты, рабочие. И за ними стоит Россия на рубеже двух революций. Основная цель романа, по словам автора, — «Раскрыть благоухающий всеми пороками и страстями монастырский быт...».²

Композиционный центр романа — монастырь. Здесь переплетаются судьбы героев, здесь закладываются основы мировоззрения главных персонажей. В монастыре невозможно постичь гармонию единения с жизнью, единство трех субстанций — тела, души, разума. Монастырская жизнь калечит, обесмысливает существование — в этом убежден писатель. Послушник Николка, пройдя путь обмана и лицемерия, становится настоятелем монастыря Гервасием, но за черной рясой отрешения и служения Богу скрывается холодный расчет, жестокость, мстительная готовность распорядиться судьбами других людей. Послушник Афанасий Калябин, уйдя в мир, превратится в убийцу и мародера.

О женских характерах в романе «Мощи» Каллиников довольно полно пишет Евг. Соколу: «К героиням своего романа у меня самое любовное отношение. Мария Карповна — несчастный человек, мятущийся в своей неудовлетворенности с издевающимся над нею стариком-мужем; обладая добротой, искренностью, часто добрыми порывами, но не имея в себе культурных ценностей, конечно, вся ее жизнь питается полом (...) Дунька — отрицательный тип, жадная, необузданная, мстительная, готовая на обман ради своего благополучия, является случайностью для Афоньки, она по-своему несчастна (...). Феничку я люблю, она от природы здоровый и сильный человек, — в здоровом теле здоровый дух. Среда заставила ее пройти через Николку, сразу подняться она не могла и пережила «огарки» и унижения, но потом ее здоровый инстинкт создал мечту очищения, тоже ненормальную под влиянием окружающей обстановки. Ее дружба с Никодимом и сожительство, по-моему, характерная черта русской женщины. В деревне часто говорят: он ее любит, и он ее или она его жалует; пожалей меня, т. е. успокой, дай отдохнуть душой измученному тоской и одиночеством телу, чтобы было легко дышать. Вот эта-то человеческая жалость и есть в Феничке к Никодиму. Он для ней близкий, как брат, как друг, у ней к нему теплое чувство, согретое воспоминаниями мечтательной юности, она уже женщина, мать, познавшая и успокоенная, и чувство материнской жалости в женщине просто и ясно допустило сожительство с Никодимом, она его жалела (...) ...это характерная черта русской женщины и русского человека. Жалеть, жертвуя собой, принося даже иногда себя в жертву».³

Каллиников в революции видит идею братства в некотором религиозном смысле. В романе «Мощи» носителем этой идеи становится черный монах Поликарп. Постепенно разочаровываясь в официальной религии, Поликарп создает для себя теорию Бога на земле: «Всем нам одна забота — один дом на земле построить, широкий, большой, братский, чтоб каждому в нем и дышалось легко и жилось вольно».

¹ Там же, 28 апреля 1929 г.

² Е. Соколу, 25 февраля 1927 г. ОГЛМТ, ф. 40, 11352/1.

³ 25 февраля 1927 г. ОГЛМТ, ф. 40, 11352/1.

Горький писал, что роман «заслуживает внимания и темой своей — монастырь, монахи и... несомненной талантливостью автора, работающего много и серьезно».¹

В советской критике не было единодушия в оценке романа. «Известия» 17 января 1926 г. отмечали: роман Каллиникова «ценен как художественный документ недавнего прошлого. Он заслуживает внимания широких читательских кругов».

Первый том был принят читателями и критикой хорошо. В газете «Правда» в одной из рецензий говорилось: автору удалось «... до потрясающих глубин вскрыть ханжество и лицемерие, на художественном полотне развернута картина убогого и омерзительного монастырского бытия».

Выход последующих двух томов принес автору неудачу. «Еще до выхода второго тома, — сообщал Каллиников Соколу 3 мая 1929 г., — мне Тихонов писал, что против меня готовится «яростный» поход всей печати. Это расшифровывает для меня многое (...). Ну, а потом меня перевели в разряд порнографов...».²

Отвечая на нападки критиков, Каллиников напишет: «Миром правит любовь и голод. Пол давляет над нами всегда (...). Чем полнее... гармония нашего внутреннего Я и успокоенного пола, тем совершеннее наши поступки (...). Это основа, которую человек не знает в себе и не может регулировать, так как зависит от окружающего. В этом отношении я являюсь последователем Фрейда (...). Что такое порнография, мне хорошо известно, и мои критики только не различают, что такое порнография и доведенный до крайности натурализм. Если написанное вызывает отвращение, значит порнографии нет, — этого достичь и стремился автор. Там, где смакуется, а не анализируется — это порнография».³

То, что советская критика в целом не приняла «Мощи», было ударом для Каллиникова, отныне он был лишен возможности печататься в России. И если в июне 1926 г. он писал: «За границей я не печатаюсь, не хочу и не буду печататься»⁴, то теперь выход был один — печататься за границей.

Четвертый том романа «Мощи» был издан в 1930 г. в Берлине, в русском издательстве «Петрополис», под названием «Пещь огненная». Осенью 1928 г. «Мощи» вышли в Германии (в феврале 1929 г. — второе издание). Осенью 1929 г. роман был издан одновременно в Чехословакии, Англии и Америке, переведен на испанский язык. Причем в Англии «Мощи» печатались в трех изданиях — для Америки, Англии и колоний. На страницах зарубежной прессы появились многочисленные рецензии. О романе Каллиникова писали в Германии, Франции, Австрии, Америке, Швейцарии, Польше, Чехословакии.

Лучшим изданием романа «Мощи» Каллиников считал немецкое.

В эмиграции Каллиниковым были написаны романы «Бобры», «Хаос» (издана только одна часть «На реках Вавилонских»), «Гражданин Советского Союза» (неокончен), «Гамаюн птица», «Монастырские женки», «Лев Толстой», ряд рассказов.

¹ Архив А. М. Горького, Т. 7, 1959 г., с. 122.

² ОГЛМТ, ф. 40, 11352/3.

³ Письмо Каллиникову Е. Соколу, 25 февраля 1927 г. ОГЛМТ, ф. 40, 11352/1.

⁴ Письмо Каллиникова Е. Соколу, 24 июня 1926 г., ОГЛМТ, ф. 40, 11352/6.

Произведения эти очень разные, отличающиеся и темами, и авторским стилем, но объединяет их одно: это книги о России, о русской жизни, о русском человеке. И в каждом из них — тоска по родине.

Во многом автобиографичен роман «Хаос» (1931) — о судьбе русской интеллигенции, по разным причинам оказавшейся в эмиграции. Главный герой Алексей Ивлев, вывезенный англичанами из Новороссийска в Египет, постоянно решает мучительный для себя вопрос о правильности и неправильности выбора. Он пишет матери: «Я все еще не могу понять всего совершающегося, но что-то мне внутри говорит, что не прав я... потому что почувствовал родину и она мне так же близка, как ты. Я никогда бы не сделал тебе плохого, а ей... вспомнить — отчаяние... но теперь я другой, потому что почувствовал, что без нее я мертвец, без нее моя жизнь пуста и бесцельна».¹

Еще в 1923 году Каллиников так выразил свое отношение к русской эмиграции: «Какое нам дело до эмиграции, если мы ее сами ненавидим и стремимся домой и физически, и духовно. Для меня сегодняшняя Россия во много раз ближе, чем вся эмиграция и мещанская Европа, самодовольная и непогрешимая, как папа».²

Действительно, круг общения Каллиникова с русскими эмигрантами был ограничен. В разное время он был близок с М. Цветаевой, Д. Лутохиным, Г. Радченко, Вал. Булгаковым, Е. Чириковым. Изредка посещал Земгор. Зато сразу же пытался связаться с приехавшими из Советской России по служебным делам. Так было с Горьким, труппой МХТ, бывшей на гастролях в Берлине и Праге (в частности, с актрисой О. Гзовской-Гайдаровой), с фольклористом П. Г. Богатыревым, приехавшим для обследования славянских архивов, с И. Эренбургом.

В Чехословакии Каллиников примкнул к демократическому лагерю, поддерживал творческие и дружеские связи с писателями Й. Коптой, Фр. Кубкой, И. Магеном, Ст. Косткой Нейманов, И. Ольбрахтом, К. Чапком.

В 1928 — 1931 годах Каллиников по издательским делам ездит в Германию, где интенсивно создаются фашистские организации; в Чехословакии в это время — период экономического кризиса и разгула реакции. «Европа перед пожаром. Это-то больше всего меня мучит. Не за себя, конечно. Мне концентрационного лагеря в случае чего не избежать»³, — пишет он жене.

В это время появляется рассказ «О» как предвестие возможной мировой катастрофы. Впервые Каллиников обращается к несвойственной его писательской манере — фантастике. Автор изображает будущее как неизбежное торжество научно-тотализированного «ада».

«...не заглядывая в грядущее, живой муравейник строил новые, взвивающиеся к небесам города и пристани. Стаи рокочущих птиц и тяжелых чудовищ — цепеллинов, истребляя непокорные племена и расы, отравляя бактериями воздух, дыша отравленными газами, скрывались в искусственных облаках. Утонченная культура свободного разума сковала цепями желтых, черных и белых рабов, смешала их кровь в одну для развития человеческого гения во имя братства всех народов Земли. Старые знамена истлевали в музейной пыли, новые призывали к строительству новой жизни (...).

В парламентах и в Лиге народов спорили о точном распределении каждого куска хлеба, каждого метра материи, проклиная минувшие

¹ Каллиников. Хаос, ч. 3, с. 158, ОГЛМТ, ф. 51, 8080.

² Рюриковой В. 21 декабря 1923 г., ОГЛМТ, ф. 57, 5569.

³ 4 марта 1930 г. ОГЛМТ, ф. 51, 20829/8.

поколения и разделяясь на партии во имя грядущих. Ораторы вопили с трибун о новых кризисах, отыскивая пути спасения свободного человечества, чрезмерно плодящегося, несмотря на строгую регламентацию нравственности (...). Культ тела сделался новой религией, оправдывающей насилия и убийства».¹

Положение Каллиникова в 1933 — 1934 годах — физическое, духовное и материальное — было крайне тяжелым. Он перенес два инфаркта, постоянно находился на лечении в различных санаториях Чехии и Словакии. 21 мая 1933 года он писал жене: «Мои книги сожжены в Берлине вместе с остальными: Мощи, Толстой и Монастырские женки (...). Союз немецких издателей постановил не издавать и не продавать книг авторов, сожженных 11 мая».²

Это привело к тому, что и чешские издательства отказались иметь дело с левонастроенным русским писателем. Отношение их к Каллиникову осложнялось еще и тем, что он вел переписку с Горьким и отражал в печати нападки на него. «Горького не эмиграции судить, а истории, — писал он, — и голос Горького разносится по всему свету. Каков бы он ни был, но он Горький, и для меня, как бы он не относился ко мне, он дорог».³

Если в начале 1930 годов известный критик А. Пиша представил роман Каллиникова «Хаос» на соискание премии Академии наук Чехословакии, то теперь многие его книги вслед за Германией могли запретить и в Чехословакии. Чешские писатели И. Ольбрахт, Й. Копта, Я. Квапил и другие старались морально поддерживать русского писателя, при их содействии был заключен договор с издательством «Милянтрих», пьеса Каллиникова «Монастырские женки» вошла в репертуарный план Пражского национального театра. И все-таки в Чехословакии к Каллиникову относились как к эмигранту, не имеющему никаких прав. Встал вопрос о принятии чехословацкого гражданства. В отчаянии Каллиников пишет свое последнее письмо Горькому.

«Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Максимович!

Простите, что беспокою Вас снова своим письмом.

Вы мне дали право называться писателем, Вам я обязан своим существованием в литературе (...). Вот уже 11 лет, как я подал свое первое заявление о возвращении и восстановлении меня в правах гражданства. В первый раз еще из Египта. Во второй раз сейчас же, как только мною был подписан договор с «Кругом» на «Мощи». Во второй раз последовал отказ, о котором мне было сообщено только через два года после того, как он последовал. Осенью прошлого года я подал в третий раз. Кроме литературного труда у меня нет иной возможности существовать. С каждым годом я отхожу от русской действительности (...).

Все десять лет я был вне жизни. Жизнь эмигранта я не жил и не буду жить, в союзной колонии не был принят. Сгалкивался я с левыми литературными кругами чешского общества. Но и его жизнью я жить не мог, не будучи гражданином (...).

Вопрос возвращения для меня одновременно и вопрос хотя бы самой минимальной реабилитации литературной, снятия клейма порнографического писателя. Таковым я не был (...).

Если же мой вопрос возвращения не сможет разрешиться благополучно и я не буду как-то восстановлен как писатель, я должен буду принять гражданство той страны, где я уже 10 лет, потому что дальше оставаться вне жизни я не могу. Будучи гражданином иной страны,

¹ ОГЛМТ, ф. 51, 8104.

² ОГЛМТ, ф. 51, 20831/18.

³ Письмо И. Каллиникова Н. А. Герасимовой. ОГЛМТ, ф. 51, 20828/11.

основная линия моего творчества не изменится, но я войду в жизнь, буду иметь право на труд, службу и буду все же как-то жить, я не прозябать (...).

Обращаюсь я к Вам и за содействием, и за советом. Если можете, помогите мне еще раз. Мне очень больно и тяжело о всем этом писать. Отказ Ваш не огорчит меня, потому что я знаю, что за ним будет серьезное основание. Единственная моя просьба — ответьте мне хотя бы двумя словами (...).

Искренне преданный Вам
Иосиф Каллиников».

4—У—32¹

Горький не ответил. Незадолго до смерти Иосиф Каллиников стал гражданином Чехословакии.

Дни писателя были сочтены. Он умер 4 мая 1934 года после третьего инфаркта на курорте в Теплице над Бечвой. Похоронен в г. Границе.

В некрологе, опубликованном в газете русской эмиграции «Последние новости» (Париж) 11 мая 1934 года, сообщалось: «Роман покойного из монастырской жизни «Мощи» имел шумный успех и был переведен на иностранные языки.

В эмиграции Каллиников стоял в стороне от русских литературных предприятий, пытался возвратиться в Советскую Россию, но несмотря на заступничество Горького разрешения не получил».²

В апреле 1934 года, за несколько дней до смерти, Каллиников записал: «Не вернусь никогда, никогда, Моя светлая Русь...».³

О. В. Вологина.

¹ ОГЛМТ, ф. 51, 27353.

² ОГЛМТ, ф. 51, 20943.

³ ОГЛМТ, ф. 51, 27330.

ЖИТИЕ БРЕННОЕ

I.

М

хом сырым, от снегов еще непросохшим, по лесу тянет валежником мокрым, зелеными иглами хвои смолистой — дух по лесу благодатный.

А лес — не продерешься в нем — руки в кровь исцарапаешь.

Подле монастыря он прочищен только, — положено богомольцу пищей духовною жить, красотою обители дальней, для того и лес прочищали и сосну берегли каждую, за елкой ходили бережно.

Храма-то богомольцу для воспарения помыслами в обитель горнюю мало, — выйдет от ранней — пока поют среднюю, дожидаться ему надо до молебствия собором Владычице в соборе новом, вот и пойдет он на пустыньку, к колодцу основателя, а ежели там побывать успел — так и в лесу полежать можно, — поразмыслить о своем житии бренном, вот лес и расчищали за этим самым.

Осенью да весной послушание было такое от игумена установлено: всей братии лес прочищать, — только иеромонахи да старцы не ходили работать.

А отойти за полверсты от обители, тут и зверю-то не пройти лютому — гущина да темень.

Николаю с Васей блажененьким — всюду дорога.

Весь лес ими исхожен верст на пять, а может и больше — не меряли, а шагали себе по валежнику, по кочкам, по тряскому моху.

Потрапезуют с братией, до вечерни и делать им нечего.
По лесу бродят, в амшару самую заберутся.
В лесу благодать — сосна, точно ладан, на солнце
фимиам воскуряет смолистый.

Растянулся плащмя дурковатый — лежит, сопит.

— Вася, ты чего сопишь?

— Елей от нее воскуряется, — ты только понюхай —
умилительно...

— Человек ты божий, — блаженненький.

— Ты не верь, брат, — это про меня говорят только...

— А ты думал — я тоже дурак?!

— Чего ж ты ругаешься на меня, — на меня и так все
ругаются, игумен меня костью бьет!

— Ничего ты, Вася, понимать не можешь...

— Я-то — я все чувствую, чувствительный я...

— Оно по тебе и видно, что чувствительный, — иссохнешь
ты скоро от чувствований своих, исчувствуешься.

— Это я беса изгоняю...

— Сгинешь, Васька, ты от своего беса жилистого — вот
что.

— А ты сам попробуй, разок только, один разик
попробуй — он и не подступится больше.

— Бабу мне нужно, девку хорошую беса моего укротить.

— Господи помилуй, сохрани-спаси, — что ты это гово-
ришь только — наваждение сатанинское в женщине,
в каждой бес блудный.

Заохал, закрутился по траве, по моху блаженненький,
замахал руками корявыми.

А Никола лежит — на весь лес громыхает, хохочет.

Скачет по соснам эхо горластое, по всему лесу прыгает.

Передохнет капельку — опять заливаается.

Голос у него — баритон сочный, бархатный, — как
начнет выводить по верхам величание с певчими — сам
себя даже слушает, недаром же исполатчиком был
архиерейским.

Со второго класса духовного взяли его в хор архиерей-
ский, исполатчиком сделали — баловнем купеческим, лю-
бимчиком.

На обед позовут свадебный либо поминальный солистов,
и исполатчики с ними увяжутся, без них хор не удержится,
ну и брали с собой всюду.

Николая-то брал с собою всегда Моисеев — октава
сольная.

— Пойдем, Колька, — без сопранов октаве нельзя быть.

— Да я, Николай Васильевич, боюсь с вами...

— Чего, дурак?

— Опять перепьете вы.

— Тетка ты мне, а боишься, — дурак, — говорю пойдем, значит слушайся, а не то получишь затрещину.

Сперва Кольке боязно было, а потом и понравилось: наливочкой угостят сладкою, по головке погладит вдова купецкая и двугривенный сунет новенький.

— Возьми, Коленька, на гостинчики, возьми, душенька.

Октаве целковый пожалует за вечную память либо за многолетие молодым.

Октава и сам здоровый детина, и голосище у него — стекла трескаются, — с протодьяконом тягался не раз — после стекольщиков призывать требовалось.

Протодьякона не все и позвать могли — без красенькой его не заманишь наливками разными, а октава и за целковый пойдет — украсит собою свадьбу купецкую, чтоб молодые помнили до гордились днем торжественным.

Октава пропьет целковый свой с приятелями в местах непотребных — к Кольке идет.

— Деньги есть?

— Что вы, Николай Васильевич, — все истратились.

— Куда ж ты деваешь их?

— На мак проигрался.

— Брешешь, сучий сын, — чтоб был двугривенный похмелиться, а то с собой не возьму больше.

А как не дать октаве двугривенный? А если и вправду не возьмет с собою? — достанет из рундучка, — достанет — трясется весь, жалко ему, — достанет, отдаст Моисееву.

— Вы отдайте только, Николай Васильевич.

— Чего жадничаешь, — говорят, отдам...

— Это я только для памяти вам — не забыли бы.

Так и научился Колька Предтечин по купцам ходить с Моисеевым и денежки стал собирать по двугривенничкам, — жадничать научился сызмальства.

На похоронах побудут с октавою, на девятый да на сороковой сами пожалуют выпить да закусить по памяти старой, а потом и начнут похаживать ко вдове купеческой.

На сороковой-то успокоится капельку женщина, зато скует без ласки мужчиной — октава и жалует с Колькой утешать сиротство вдовье, когда спевки нет в архиерейском.

Сидят, чаевничают с наливочкой, и Колька ее потягива-

ет — сладкая, лакомая, а потом до ужина в шестьдесят шесть время проводят.

Раза два-три побудут — на четвертый октава молитвенник тащит с собою, чаю напьются — Колька с сестрой незамужней либо с тетенькой обедневшею — приживалкою — в дурачка поиграть сядет, а октава пойдет к вдове в молельную спальню поучать молитвам, что положены по уставу на сон грядущий женщине вдовствующей, — к ужину только и выйдут из спальни тихенькие, с щеками пополовевшими, — вот оно что значит помолиться во спасение души праведной в духоте натопленной!..

Привык Колька с октавой таскаться, наука-то училищная на ум не шла, в каждом классе по два года сидел, а перешел в третий, и три проваландался, — выгонять смотритель хотел, да епископ шепнул регенту:

— Смотрителю скажешь, чтоб в четвертый перевели его, голос ангельский...

— Другого, ваше преосвященство, не найти такого...

— И я думаю так-то, — не забудь только, смотрителю передай, скажи, владыко мол благословил.

Восьми лет был Колька в духовное привезен дьячком сельским, а четырнадцати в четвертый осилил попасть.

В четвертый перевели Кольку — один по гостям хаживать стал, по домам купеческим поесть сладенького.

Побудет с октавой на поминках и заявится на сороковой псалтырь почитать.

Голосок звонкий, на все хоромы слышится, — проснется вдова, услышит, как речисто старается он... «Господи, воззвах, услыш мя...», умилится слезою крупною и заснет успокоенная.

Наутро его чаем поить станет...

— Коленька, приходи, голубчик, я тебе подарочек приготовлю.

Из поддевки мужниной сукна аглицкого ему курточку приготовит, штаники...

Щеголяет Колька обновами, — суконце-то у купцов доброе, по семи с полтиной за аршин плачено было.

В одном месте как-то псалтырь под сорокоуст читал Колька у вдовы молодой, а вдова-то и на похороны луком глаза натирала, чтоб люди видели горе тяжкое, да не сказали бы, что рада схоронить старого.

Воззрилась на Кольку она еще в девятый день и позвала его сама почитать псалтырь под сорокоуст самый.

После спевки пришел, читать начал — она сидит на диване мягком, — сидит — умиляется, а в мозжечке так и крутит, так и надавливает похоть плотская.

— Коленька, иди-ка чайку выпей, голосок промочи ангельский.

Зовет, а у самой в голове: — несмышленный еще, как птенчик неопытный, не познавший страсть женскую.

— Спасибо, Олимпиада Гавриловна.

— Иди, миленочек, попей с крендельками, пирожка поминального скушай.

Чайком его поит, сама про мальчонку думает — бес ее полуношный соблазнами путает.

Чайку попили, до ужина почитал...

— Иди, Коленька, поешь, поужинай...

— Дочитаю псалом только...

— Успеешь его дочитать, миленький, — ночь-то долгая еще впереди, иди скушай.

Посадила его подле себя рядышком...

— Кушай, голубчик, — икорки возьми себе — свежая...

По головке погладит его, умиляется, а самой жарко.

— Божий дар у тебя, Коленька, — голосок небесный.

А сама все поглаживает, — наливочки налила сладенькой, и у самой глаза сладкие, как блины маслом намаслены.

— За упокой души, Олимпиада Гавриловна.

— И я с тобой помяну его, — царство ему небесное.

Сидит, обнимает его, к грудям прижимает — волнуется.

— Пять лет прожила я с покойником, не дал господь деток мне, — полюбился ты мне, как сыночек родной, Коленька.

Поужинали, — Колька к поставцу образному в гостиную, а она...

— Почитай ты, Коленька, у меня в спальне, — покойник-то мой в спальне молился всегда, так ему радостней будет у себя услышать слово божие, душенька-то его там нынче будет, последний денек со мной будет.

Духота в ней, натоплено, — не то ладаном панихидным, не то духами какими голову закружило Кольке, не то выпотом женским.

Стал он читать — она раздевается, спать ложится, а его так и тянет поглядеть на нее, — не видывал никогда еще естество женское. Лист переворачивать станет — рука затрясется, голос срывается, а все от того, что натоплено жарко, — рукой со лба пот вытирает.

— Коленька, жарко тебе,— сними курточку...

Сама подошла,— босая, в рубашке одной — помогать ему стала, по голове погладила, по плечикам тонким, обдала теплом жарким, а потом ни с того, ни с сего и поцеловала его.

— Сыночек ты мой маленький!..

Понравилось Кольке, не видел никогда, не целовался еще с женщиной, только слышал про это — солисты друг другу рассказывали, когда спать ложились,— исполатчики вместе с солистами спали и слышали, и Колька слышал про это, про все слышал, и самому захотелось испробовать.

И потянуло его к ней поцелуями, целовать ее стал, а она-то обрадовалась и впилась, присосалась — гладит его, прижимает головой к грудной мякоти — ему и дышать нечем, — к постели его подвела, на кровать села, на колени к себе посадила.

— Коленька, дитеночек ты мой ласковый...

— Олимпиада Гавриловна, я читать буду...

— Отдохни капельку, посиди со мною,— да сапожки сними свои, ножки заморились, должно, стоять.

Раздела его, и сапожки сама сняла, а потом на руки подняла с улыбочкой и в перину бросила, навалилась вся с хохотом, и потонул Колька в перинах, и поплыли перед глазами круги красные, хмель от наливки в голову бросился; до утра ему спать не давала,— измучила, затомила.

Провожать утром стала...

— Коленька, ты приходи ко мне,— слышь?!

— Если можно,— приду... Я приду, Олимпиада Гавриловна!

— Приходи, приходи, миленький,— когда захочешь, тогда и приходи ко мне — ждать буду.

Целый месяц ходил Колька и еще б ходил, да несчастье стряслось с ним негаданно,— стал он в двенадесятый пред амвоном «Елице во Христа креститесь...» выводить, а голос возьми да и сорвись — такого козла запустил, аж регент ухватился за голову.

С того раза и голос грубеть стал, как с женщиной бывал впервые; говорит, бывало с ней, говорит, да вдруг басок и прорвется.

Регент и говорит ему:

— Ну, Предтечин,— теперь дожидайся баритона аль баса.

Обедня кончилась, епископ его — в алтарь.

— Ну, раб божий,— учишь теперь да береги голос, окрепнет, выравняется — опять в хор возьму.

А Колька и учиться-то не привык, да и купчиха-то вдовая от себя не пускала.

Смотритель смотрел, смотрел, да и вызвал отца.

— Сына бери, никуда он не годен,— нерадивый малый.

Дьячок к архиерею прямо.

— Не погубите мальчишку, один ведь он у меня, сколько, чай, вам старался, дайте ему за четыре свидетельство, место ему передам свое.

Дали ему за четыре свидетельство.

В селе у отца пожил месяц — отец и помри, а он службы не знает — по селу повадился, с солдатками гонял, насвистывал, а под конец, когда отец-настоятель не согласился дьячком оставить, он — к епископу.

Приехал в губернский у архиерея место просить отцовское...

— Ступай-ка ты в монастырь, службу учи, а потом я поставлю тебя на отцовское место, за тобою оно будет, а пока — поди поучись в монастыре, ну, а коли голос будет хороший — возьму в хор, сказал тебе.

С тех пор вот уж сколько лет Николка в монастыре послушником, в хоре стал петь — баритон у него бархатный.

С тех пор и купчиху он забыть не может,— как только приедут гонимые из уездного, так все глаза проглядит с клироса на телеса пухлые. Ипполит, регент,— строгий монах,— Николка на людей уставится, глаза пялит, а он...

— Еже соблазняет тя око твое — изыми его...

— Что я, монах, что ли, и поглядеть нельзя даже?

— Послушание несешь господу.

— Ну да, как же,— вот побуду немножко еще да и поеду просить себе место дьяконское, да еще и женюсь на купчихе, а тут и поглядеть нельзя?!

Ипполит и говорить потом перестал,— плюнул только от искушения.

Николка-то выравнялся, стройный стал, волосы у него завитками, кольцами, лицо умиленное, только глаза жадные.

Заглядываются на него богомольцы.

И теперь Николка о купчихе мечтает.

Грохочет по лесу голос зычный, скачет по соснам эхом раскатистым.

— Молчи, Васька, теперь скоро богомольцы к нам понаедут — лафа будет.

— Господи, помилуй меня, раба недостойного.

— Такую купчиху найду себе, да и тебе сосватаю.

— Беса-то тешишь,— сохрани господи от искушения адова, от наваждения сатанинского!..

— Дурак ты, Васька,— а я себе девку найду хорошую, женюсь на ней — на купеческой, да еще и настоятелем в соборе уездном буду,— тогда чай пить ко мне приезжай...

— Сатана-то как силен, что с человеком он только делает,— изгони его от себя, раб Николай, изгони — понеже не одолел тебя князь преисподней.

II.

Грохочет по лесу баритон Николкин, громыкает по лесу зычно, точно леший по верхам скачет горластый.

От земли дух вольный — живым пахнет, травным.

Мягко на мху лежать Николке.

Под голову подрысник свернут, скуфейка на суку болтается.

— Каб ты знал, Васька, житье вольное, так часу бы тут не остался.

— В обители благодать божия,— куда ж без нее денешься?

— Забыть не могу я купчиху ту,— мальчишка я был, дуropolis — теперь бы мне подвернулась, я бы ей дал гону, завертелась бы, а то и пятнадцати не было мне — на сосунка позарилась. Я бы теперь маху не дал, денежки-то у ней дочиста б вымотал, показал бы дорожку им.

— Тогда в душу-то ангельскую к тебе сатана вселился, а ты и теперь не поборешь его...

— Брось, Васька, не удивишь меня этим,— слышали,— ты это богомольцам разводи ахинею, а я прожженный,— всех вас насквозь вижу.

— Что ты, Николка, что ты — я ж по совести...

— Ну и ладно!.. Помнишь ты, летом-то прошлым была тут одна из губернского?

— Это та, что змею распустила с жалом двуострым, про дьяволицу ты помнишь во образе девьем?..

— Она, брат, самая, про нее говорю, из ума не идет.

— У ней-то не косы, а змея в них жалящая, я сам еще видел, как брызгала она каждую ядом смердящим.

— Духами пахло от ней, а у тебя все зловоние сатанинское!.. От тебя самого воняет псиной.

— Так ты про нее?..

— В соку девка, вот бы сюда ее мне — и про купчиху забыл бы свою. Ты глянь только, лес-то у нас какой — куда хошь веди, дюже здесь хорошо... А пойдет ягода — по ягоду с ней пойду, — приехала б только.

— А сказать тебе что-нибудь?..

— Говори, Вася, послушаю...

— Я сон видел!

— Какой?

— Будто она приехала уж, а на тебя и глядеть не желает, потому ты рогатый будто.

— Врешь ты, Вася, — выдумываешь что-то.

— И сон-то вчера этот снился, — чудной такой, а косы-то ее ужалить меня хотели, я и прибежал к тебе вечером.

— Приехала, что ль, — говори толком?!

— Кучера вчера лошадей водили, — играют на солнышке — чудо господне!

— Приехала, что ль, — говори!

— У кучеров расспроси, — я ничего не знаю.

— А хочешь я на тебя мамашу ее направлю, — баба мясистая.

— Акиндин вчера бегал к ней, — аж вспотел от хотения блудного.

— Приехали, значит, — давно бы сказал, а то развел околесицу.

Благодать в лесу — теплота сочная, по верхам только ветер шумит, и ветра-то нет, одно дуновение легкое, а шумят по верхам сосны темные хвоей колкою.

Золотой лес — стволы ровные в чаще медной, отливается чешуя, а вверху хвоя темная и прогалины в ней голубые, и плывет лес, коли в прогалину посмотреть подольше, — глядеть в нее, и будто не облака в них плывут, а лес движется.

От этого и голова у Николки кружится.

В белом лежит — рубаха посконная, портки такие ж и сапоги опойковые.

Голова кружится и мысли кругом пошли, никак не поймать их за хвост, точно ящерики.

— В старой, ай в каменной стали?

— У игумена были — благословились на лето все в дачах пожить.

— Чего ж не сказал сразу? — выжимай из тебя дурь твою по каплям.

Поднялся Николка, потянулся, — хрустнули кости лени-

во; подрясник одел, пятерней кольца волос перекинул к затылку и скуфейку одел бархатную.

— Пойдем, Вася!

— Куда ты, Никола, куда ты? — я не пойду с тобой, один ступай,— сатана ты, Никола, ты сатана, ты искушаешь,— на солнышке полежу, погреюсь.

По лесу напрямик, по чутью зашагал Николай.

Хрустят ветки по кочкам, сапог по трясине хлюпает, папоротник по ногам шмыгает...

Только глянуть разок Николе на Феничку, дочь купеческую,— глазком увидеть бы в окно только разик ему.

Шагает — песню вольную поет.

— Опять ты, Николка, бесовское затянул?

— Хорошая песня, старая,— в деревне поют у нас про клюшника Ваньку, про боярыню молодую, а тебе все бесовское, сам-то ты бес — святоша,— глядеть не хочу, а сам вприпрыжку, небоюсь, бежишь глянуть.

— Вечером я приду к тебе,— можно, Никола? Боюсь я один в боковушке,— как затемнеет, так она и появится, с прошлого года ходить стала.

— А ты не смотри, плюнь в нее — рассыпется.

— Изгоняю ее с молитвою, а она все лезет.

— Я тебе средство скажу от нее.

— Какое,— скажи, я попробую.

— Сходи к бабам на Полпинку.

И опять смехом грохочет лес монастырский.

Шли по лесу, шли, а Васька, как заяц, рванулся в сторону. Николай его звать — куда там, и след простыл; один пошел Николай,— обошел задами гостиницы и — напрямик к дачам — в оконушко заглянуть на девушку.

Приехала Гракина,— с дочкой Феничкой на лето пожаловала в монастырскую дачку и подружку с собой захватила — Галкину, приехала — к игумену прямо. Просить дачку.

Радетелям обители дачки отдавались на лето отцом Саввой,— придут перед вечерней в приемную, выйдет он шажками мелкими, благословит посетителя...

— Помолиться в обитель пожаловали?..

— Благословите, батюшка, лето пожить с дочкою.

— А сами откуда изволите быть? — память-то у меня слабая, немощная, не упомнишь благодетелей всех.

— Из губернского,— Гракина, вдова с дочерью.

— Бог благословит, матушка,— отчего ж господу и не

благословить благочестие вдове, живите себе со Христом, спасибо, что нас, скудоумных, не оставляете своей милостью.

И опять благословлять станет, заторопится, заспешит, а хитрые глазки так и бегают, так и выпрашивают.

Ждет Савва на благолепие обители скудной лепту посылную от вдовы Гракиной.

Три катеньки на стол выложила.

И братъ не хотел, а на елей да на свечи взял «троеручице».

— А молочка можно нам на скотном братъ?

— Этим не ведаю я,— благословить недугующему бог повелел, а есть ли у скотниц остатки,— к отцу эконому сходите узнать.

Отцу эконому на благоустройство обители катеньку сунула Антонина Кирилловна,— вот ей все лето и молоко, и сметану, и творог, и масло приносить будут.

Такой уж заведен порядок в обители,— ежели богомолец почетный,— почет ему воздают по достаткам его,— такому и порадеть братия любит, а попроще — тот и с квасом обойтись может,— коли ты в обитель пожа́ловал, так значит поститься должен, а разносолы разные — это дома требуй, а Гракиной можно — вдова почетная, с братьями дело ведет миллионное, одних трепальщиков кормит не одну тысячу, с заграницей дела ведутся у них, и Николе это известно доподлинно,— не только игумену.

Зарится сын дьячковский на Феничку,— невеста богатая, от дядьев обиды не будет сделано.

А пожить ему хочется,— вот как хочется, что и сказать он не знает как.

По первому разу как Гракины были — за вдовой впустую охаживал, а прошлое лето на дочку воззрися,— как манны небесной дожидался Николка Фенички.

И Афонька теперь игуменский тоже за ней — вдвоем гуляли,— ни тот, ни другой уступать ее не хотел и ходили целый месяц за нею без толку.

Под оконцем прошелся, удостоверился лично, и к лавочнику заглянул — за елеем зашел дьявольским.

Жосушку в штаны сунул и опять мимо окон прошелся медленно.

Прошелся разок и в келию.

Цену себе знает Никола,— парень красивый, загляденье послушник, роста повыше среднего и не худошав очень,

волос каштановый в кольцах по плечам крутится, голос бархатный, только и есть изъянец — глаз жадный, увидит что — залипает, забегает, так и взял бы — да руки коротки.

Глаз у Николы жадный, с тех пор и стал жадный, как исполатчиком копил двугривеннички новые, а копил для жизни безбедной, пожить захотелось в достатке, в спокойствии.

И теперь они у него целы, — новеньких-то, правда, и не осталось давно, зато старых утроилось, росли они у него да плод приносили.

Зимою-то доходов у братии никаких, — летом богомольцы им жаловали; либо ложками кто — в подарки носил в гостиницу приезжим знакомым и получал на отдаренье толику малую, а зимой — зима бездоходная, — проживут осень запасы летние и потянутся к Николе взаймы брать.

Никола всегда даст, — отчего не дать, не помочь братии?..

Целковый даст до лета, — под залог инструмент ему принесут, а весной ложкарить начнут — товаром расплачиваются вдвойне, либо втройне.

К лету-то и собирается у Николы дюжинок тридцать, он и ходит с ними дарить на память богомольцам в гостиницу, — отдарят ему, после угощения припасами городскими, отдарят за каждую ложку кленовую двугривенничком, а то и полтинником — кто побогаче.

Так и росли у Николы двугривенные, — процентов не брал с братии, а деньги росли да росли, и поливать их не требовалось.

Ложкарила братия к весне поближе, когда настанет день долгий; чурбачков понасушат кленовых зимою, а весной и сидят, колупают стамесками; пригревать станет солнышко — олифою кроют по цветам незабудкам да розанчикам.

И Васька ложкарил с утра до вечера и относил все Николке, — в долгу у него был неоплатном, а долбил аккуратно, лучше и делать таких никто не умел — на ручке-то всякую штуку мог вырезать: либо троеперстие выточит, либо златоперицу-рыбу вырежет, а не то в троеперстие яичко вложит.

Пришел Николка в каморку свою, косушку на веревочку — и в подполье, а сам — к рундучку: из Васькиного рукоделия выбирать покрасивее парочку.

Только что выбрал — на повестку ударили.

Новый подрясник достал люстриновый, скуфейку новую,

волосы расчесал гребнем широким, потом на него маслом розовым капнул и опять по волосам прошелся.

Вечерню стоял — поглядывал, глазами играл черными, на Феничку пялился.

Из собора Феничка вышла с мамашей — подошел степенно.

— С приездом вас, Антонина Кирилловна, — погостить, помолиться пожаловали в обитель нашу?

— Фене отдохнуть можно, — в седьмой перешла, вот и приехали к вам пожить летом.

— А я вам, помните, обещал с златоперицей ложечек, полюбоваться извольте.

— Зачем вы, батюшка, балуете нас?!

— Кушать будете ими, вспоминать обитель нашу да братию.

Проводил до самого дома, — чай пить позвали.

— Если воля на то будет ваша, сочту своим долгом проведать вас после трапезы.

— Приходите, батюшка, приходите, рады вам будем.

Поклонился степенно, на Фенечку сверкнул жадно и пошел медленно.

По дороге забежал на огород монастырский лучку сорвать потихоньку зеленого, — про косушку вспомнил.

В каморку вошел свою — на постели Вася сидит, дожидается.

Вытянул из подполья косушку холодную...

Молчит Вася, только на косушку поглядывает.

Стаканчик лампадный осушил дочиста, и язык развязало ему.

— А я смутный хожу все, испугался я!

— Чего ж ты, Вася, испугался так?

— Рассказать страшно.

— Ты выпей-ка еще лампадник один, вот и страх, как рукой, снимет. Расскажи, друг милый.

По другому выпили, хлебом посоленным с луком зеленым закусывать стали.

— Ну, Вася, рассказывай, что случилось такое?

— Как только сатана ни является, в каком только образе ни искушает меня!

— Ну?

— Мать Евстафию знаешь?

— Сестру Никодимову, что ль?

— Ее самую, Николушка, да только ее не было — приходил бес блудный.

— Какой бес?

— На траву меня посадила,— после вечерни сегодня просилась со мною святые места поглядеть,— ты, говорит, человек божий, в тебе благодать незримая, пойдем, говорит, со мною.

— Куда ходили-то?

— На колодезь пустынника, на дальний ей захотелось, на тот, что под лесом казенным.

— В глушь самую?

— Я житие ей пустынника сказывал, а она на травку села и говорит мне,— слышу я плохо, Васенька, сядь поближе, касатик мой. Я ей рассказываю про пустынника, а она — и ну целовать мои руки, я говорю — недостойн этого, а она — ты человек божий, благодать в тебе... Ножки твои поцеловать нужно мне, грешной, откровение господь посылает мне через тебя, Васенька, благодать божию.

— Чего ей от тебя нужно-то было?

— Не знаю, Ницолушка, чего ей нужно было,— не она ведь была — бес меня водил по лесу,— беса потешил я. Ножки, говорит, поцелую твои, а сама,— через тебя благодать на меня прольется всевышнего,— а сама — Евстафия-то эта — и полезла в портки ко мне — испугала меня до смерти, затрясся я с испуга, убежал даже, а она как заплачет, глядеть на нее жалко стало, а все бес проклятый, а плачет-то — трясется вся,— блаженного жития ты, говорит, лишаешь меня напрасно, Бог тебе судия будет!.. Дай ты еще лампадник один, Николаша,— дашь лампадник?

— Евстафия-то куда ж делась?

— Пропала, Ницолушка, сразу пропала,— как я побежал от нее, так и пропала,— вернулся потом поглядеть — пропала, только травка примята осталась, убежала она в глушь самую.

— Ну, моя, брат, Евстафия не пропадет теперь!

— А ты ее видел, в лесу видел, что ли?.. Я не пойду от тебя теперь, а то в келию еще ко мне заберется утопшая. Я ж ее после искал, по всему лесу ходил, все закоулки обегал, до болота самого добегал,— поглядел на него, а там — яма, провалина черная... померещилось, может — правда, Евстафия там была, из провалины плач до меня слышался — так и хотелось глянуть туда, так и хотелось, да я закрестил место поганое. Сразу и плач притих, и яма пропала, а все бес, все он искушает меня,— боюсь я его, паскудника гаденького, бегаёт он за мною, за ряску

цепляется,— я не пойду от тебя, не гони только, а то опять придет ночью Евстафия, опять искушение на меня напустит — не гони, не гони, Николушка!

— А моя, брат, у вечерни была сегодня!

— Ты б закрестил ее, они ведь креста боятся,— ты б закрестил — слышишь, Николушка!

— Поцеловать ее надо, а крест не поможет мне.

— Дьяволицу-то целовать, Николушка?!

— Да не дьявола, а Феничку Гракину,— видел? Сам же сказал про нее.

— Феничку изгони веничком, веничком...

— Ты, Васька, как лизнешь из лампадки, так совсем идиотом становишься,— ты бы сходил к фельдшеру. Конiec тебе скоро, Вася,— скоро конец, а ложки твои, брат, хорошие,— без ложек ты оставишь меня.

— Изгоняй, Николушка, беса,— изгоняй его!

— Ложки-то понравились им,— чай завтра пить звали, пойдем? Чаек-то с елеем должно быть, а елей-то у них крепенький.

— А лампадки есть у них?.. Ты свои возьми — у тебя большие.

— Ну, допивай да и проваливай к себе,— беса изгоняй, а то Евстафия оторвет, тогда не изгонишь, в нутро он войдет.

— Не пойду я, Николушка,— я боюсь, не пугай меня дьяволицей...

— Уходи, говорят тебе.

— Только в келию не пойду к себе, Евстафия там дожидается,— не пойду я туда.

— Повесишься ты, Васька, скоро,— догниешь еще капельку, и конец тебе,— заживо догниешь, лучше тебе вешаться, я и веревку тебе дам на угощение, а то уж очень тебя жаль стало,— на-ко вот еще напослед лампадник тебе, Васенька.

— Я пойду, Николушка,— я пойду, не гони только, сам пойду — страшен бес полунощи,— ох, страшен как!

Веревку достал Николка, Васеньке подал, на порог проводил, а сам на лавку разлегся о Феничке помечтать Гракиной,— ночь-то месячная, соловьи в саду монастырском щелкают, и жизнь-то у него впереди вся — и Феничка-то перед ним как живая стоит, улыбается.

По монастырю сонному бродил Васенька с веревкой Николкиной, места себе не мог найти и думал, что беса он не изгонит, коли повесится, петлю на шею наденет.

Растрепанный, пьяненький от келии к келии по мосткам деревянным слонялся.

Мысли кружились, как бесы, чадные:

«Бес возрадуется, беса потешу веревкой этою, опоганю естество божие... изнурением тела блудного изгонять его надо,— веревочка-то пригодится для паскудного тела милостыню просящего, яко слепец на паперти».

— Господи, возвах, услыши мя... услыши мя, господи! — запел фальцетом пьяненьким и побрел к звонарю наведаться.

Не закрыта колокольня монастырская,— лестница темная, а под лестницей логово звонаря старого.

В темноте глухой дребезжал тенорок пьяненький, ударялся в колокола сонные, и темнота зазвучала шепотом медным.

— Бес полунощный нисходит на раба твоего окаянного,— да расточатся врази мои, боже, буди мне милостив, буди мне милостив, окаянному.

Под лестницей закопался в сено душное, боялся вздохнуть, слушал шум медный и заснул с веревкой, в руке скрученной.

Подумал Николка еще раз про Васеньку, перевернулся на другой бок и опять замечтался в охмелевшей дремоте о Феничке Гракиной,— не раздеваясь, так и заснул в подряснике новом, люстриновом.

III.

За обеднею соловьем заливался Николка, регента радовал...

Сердце играло хмельное.

Предвкушал встречу с Феничкой после трапезы.

Косил с клироса, искал в люде молящемся завитков золотистых, локончиков Феничкиных.

Не пришла к обедне она,— отдыхает, зря только старался выводить голосом сочным.

За Васенькой не зашел,— Афоньку позвал долговязого, игуменского послушника, надеялся у него раздобыть ключика от лодки, по озеру покатать Феничку. Николка с Афонькой — приятели, друзья закадычные.

Долговязый Афонька, и руки-то длинные по сторонам болтаются, и пучеглазый, а нравится купчихам рыхлым: нос длинный с горбинкой, кудлатый весь, Авессалом библейский,— увалень несуразный, а до купчих — ходок, дока парень. На всю губернию славился, шепотком про

него подле печек натопленных говорили, что такого-де во всем свете не сыщешь, уж так ублажит — лучше некуда.

Николай красотой славился, Афонька — носом с горбиною, и дружба у них крепкая, не раз и условия заключали друг с другом — по-приятельски делили купеческих: один гуляет с дочкою, другой — за мамашею: глаза отводит.

И теперь Николка на Афоньку надеялся, на помощь дружескую, и позвал его чаевничать к Гракиной.

Через двор конный — и к дачам...

Николка в дверь постучал, по привычке молитвил скороговоркою:

— Молитвами святых отец наших, господи Иисусе Христе, помилуй нас...

Из-за двери певуче мамаша, звеня чашками, отозвалась:

Войдите, батюшка!

— Я с товарищем к вам, с приятелем...

— Входите, входите...

Вошел, на Феничку глянул и говорить не знает о чем. С другими привычнее было, когда не надолго знакомство водил, — так, на недельку, другую, чтоб только покрутить молодую купчиху, либо дочь купеческую, да и бросить, а тут и не знаю, с чего начинать ему, — на всю жизнь собирается окрутить Феничку со всем имуществом, с капиталами — тут и слов не хватает — завязли на языке, прилипли к гортани, и кашлем их не собьешь.

Для разговора начала Антонина Кирилловна:

— Тишина у вас тут, батюшка!

Афонька на стол поглядывает жадно, на закуски скромные, — сам в растяжечку.

— Благорастворение воздуха, — это правильно.

— В нынешнем году весна теплая, — май месяц, а как уже тепло, совсем будто лето.

— Летом еще теплей будет.

— В городе душно, пылица, а тут не надышишься, — свежесть такая...

— Духота каменная...

— Закусите, батюшка.

— Не употребляем скоромного.

Николка про Афоньку подумал:

«Чего, скотина, ломается?»

И сказал тут же:

— Святитель Тихон Задонский у мирян все вкушал.

— А вы рыбки, отец Афанасий.

После рыбки — балычка, осетринки купеческой и кол-

баски попробовали под романею английскую, а потом и языки развизались — разговаривать стали, Афонька с Галкиной и прошлое лето припомнил, как по лесу водил по малину с компанией.

— Теперь мы надолго, отец Афанасий...

— В прошлом недельку пожили.

— Теперь надолго.

Сказала Галкина и подмигнула долговязому одним глазом.

Чай стали пить — Николай осмелел, про училище вспомнил духовное и заговорил с Феничкой — разговор нашел подходящий.

— У вас, что же, Фекла Тимофеевна, без конца?

— Что вы, отец Николай, разве гимназия без конца бывает?

— Дальше науку проходить будете?

— Не знаю, — мама меня отпускать на курсы не хочет, а учиться без толку — лень мне.

— А я так жалел, когда из училища духовного уходил; в семинарию мне хотелось, да у родителей на меня денег не было, по недостатку и дальше не пришлось доучиться мне.

— Мне только подруг жалко, а так и надоело уж, восемь лет пробыла, два раза на второй год оставляли, — скучно.

— Вам с капиталами ученье совсем лишнее — это правильно — без него веселее, а то здоровье испортить можно.

Об одиночестве Николке говорить хотелось, о том, что от мира он отрешился, в монастырь по призванию сам пошел и знал, что не к месту, рано еще, об этом один на один, в лесу, говорить надо, чтобы чувства в ней вызвать, а тут и не знал, что сказать дальше...

А подружка-то Гракиной сидит заливается — переконфузила Николая с Афонькой, хоть тот и бывалый и в прошлом году ее видал, а вот же — сконфузила.

Выручил Акиндин — лавочник монастырский, постучал в дверь и рысцою к столу подбежал. Маленький, шупленький, бороденка черная с проседью клинушком, нос острый, глаз юркий — до всего доглядчивый — вертлявый монашек.

— Опоздал я маленечко, ну да я наверстаю свое. С приездом вас, матушка, с благополучным прибытием, еще раз поздравляю вас с радостью.

— Садитесь, батюшка. — ничем не опоздали вы, закусите садитесь.

— Люблю городского покушать, полакомиться, а то щи да квас, квас да щи — и разносол наш, а рыбка-то у вас какая славная — севрюжка, хорошая рыбка, люблю ее, скоромятины я не ем, — это вот они могут, а я рыбку люблю, — по уставу разрешается братии.

— Кушайте, сколько хотите, батюшка.

— Надолго вы к нам пожаловать изволили?

— Думаем лето пожить.

— Вот хорошо, — а я знаю места ягодные, ягода подойдет — непременно проведу вас, — ягода у нас не то, что городская какая-нибудь, земляничка-ягодка, в казенных порубках страсть сколько, да крупная, а душистая — ладан чистый.

Затараторил Акиндин по привычке, — не первый год чаевничать у богомольцев ему, у дачников, — по привычке и сел к хозяйке на диван поближе — занимать разговорами начал.

— А у нас этой зимой медведь одного монашка задрал в лесу, — только летом медведь никого не трогает, летом медведь завсегда сытый — ягодой питается всякой; в прошлом году отец Феогност, — знаете, тот, что ходит с кружкой за поздней на украшение храма? — в малиннике медведя встретил и не испугался даже, а снял скуфейку свою и раскланялся, — приятного вам аппетита, Михаил Иванович, разрешите составить компанию с вами, — медведь на него поглядел, поглядел, — не понравился ему отец Феогност — взял да и ушел к себе в лес.

— Этого быть не может, батюшка!

— Истинная правда, матушка, — медведь, он летом всегда ручной, да тут их и нет поблизости, версты на две они еще попадают, а тут им чугушка мешает, не долюбивают они машину эту, а раньше, бывало, и в обитель захаживали; к одному иеромонаху в келию даже один стучался весною, — привратник-то испугался, маловерный, убежал в келию, а он через святые ворота в обитель прямо, — братия перепугалась вся, — такая суматоха была!..

— Я вам еще стаканчик налью.

— Из ваших ручек с пребольшим удовольствием даже выпью, — чаек у вас славный, ароматический. А ты бы, Никола, гостей покатай на лодочке, да показал бы барышне озеро наше, — у нас, барышня вы моя, чудесное озеро, и цветочки водятся на нем — кувшинчики да лилии, это вы

попросите отца Николая, — живо смастерит вам, он на это ходок у нас, отец Афанасий и ключик даст.

По привычке Акиндин тараторил, как заведенный, и к купчихе вдовой тянулся после романией английской, — та отодвинулась на край самый, а он ближе да ближе, — глазки у него совелые стали, масляные, и рукою ее по плечу стал поглаживать, бородежкой подергивать.

— Я не люблю этого, отец Акиндин.

— Вы мне простите, матушка, — я от всего сердца к вам с расположением, и не знаю даже, как вымолвить, — пожалуйста ручку вашу облобызать с благоговением.

Целовать руку ей стал, — поцелует, погладит ее и опять целует.

Афонька в землю уставился, на Акиндина косится зло — ревность в нем разыграла, сам еле дождался приезда Фенички.

Акиндин в лес погулять позвал.

— Теперь благодать в лесу, — сосна смолу гонит, дух от нее благостный, я тут место одно знаю — чудесное место, красота господня, — елка стоит на поляне, зовем ее царской, — поистине царская, — над всем лесом царствует — неопикуемой красоты елка, — художники приезжали из столицы, списывали елочку эту.

Повел елку смотреть царственную Акиндин купчиху вдовую с веселой приятельницей, и Николай с Афонькою подле Фенички.

Акиндин один подле двух распинается.

До вечерни ходили, до вечерни Акиндин тараторил и все до купчихи старался дотронуться: через канавку ей помогал перейти — за талию подержал, в одном месте кочки попались болотные — помогал с кочки на кочку переступать Гракиной.

Николка губы кусал от зависти да от злости, слова выдать из себя не мог, только на Феничку все поглядывал, любовался ею и думал упорно, что лето велико, успеет своего добиться, не уступит ее, никому не отдаст, — зато Афонька всю старался.

Афонька с Николкою вдвоем возвращались, всю дорогу молчали, — первый раз у них вышло так, что за одной и той же гулять начали, и злились друг на друга — ни один уступить не хотел приятелю — без слов это обоим было ясно.

К монастырю подошли — Николка, будто ничего не заметив:

— Выпьем, что ли, Афонь?! А?..

А тот нехотя:

— Угостишь — буду, на свои — денег нет.

— Подожди у ворот конных, махом сбегаю.

С бутылкою Николай вернулся, а бежал — всю дорогу думал: угостит Афоньку как следует, напьется тот, тогда и разговор он начнет особенный, и план в голове копошился, и тоже особенный — приятеля удивить, соблазнить его, только бы соблазнить, а там все хорошо будет, соблазнить бы его особенным, — дубистый Афонька, а слово держать умеет, только бы вырвать его, слово это.

В каморку пришли, копеечную свечку восковую зажгли и молча в принюшку по лампаднику выпили, — крикнули, по другому стукнули и тоже молча, только кудластая тень Афонькина на стене колебалась судорожно от копеечной свечки канатной, да нос горбиной торчал, и казалось, что не Афонька сопит, задохнувшись водкою, а тень шуршит по стене, захмелевшая.

Налили по третьему — не выдержал Николай:

— Поделим-то как?

-- Кого?

— Феничку!

— Эта моя будет.

И ответ Николай знал этот, а спросил-таки, потому и спросил, что не знал, как начать про особенное, и начал:

— Друг ты мне или нет, Афонь? Ну, скажи, друг мне? Нет, ты постой, я тебе сперва расскажу, ты послушай только, а потом сам скажешь, что друг. Собираюсь я из монастыря уходить, совсем, чтоб никогда в него и не вертаться больше, голос у меня — дай Бог каждому, с таким голосом мне архиерей не то что дьякона, протопопа даст, да не хочу в селе торчать да на поповне, а может, и на дьячихе жениться. Наливайте-ка еще, Афонь, выпьем... Тебе все равно в монастыре оставаться, а мне — невеста нужна, — подожди, дай до конца скажу. С капиталами мне нужно, понимаешь — безотцовская Феничка Гракина...

— Моя будет.

— Ты постой, Афонь, подожди, я тебе такое скажу — ахнешь: хочешь я тебе отдам половину приданного, — а? — твоя половина, и жить у меня по-приятельски будешь, а не то торговлю открой. Наливай-ка еще по лампаднику, — выпьем.

— Сперва моя, а там что хочешь с ней делай — отдам тебе.

— Я тебе серьезно, Афонь, не смейся, а то...

— Мало останется, что ль? Тебе деньги — мне девка. Поделители, что ли, — говори! Ведь поровну.

— А то!..

Поднялся Николай, взял бутылку за горлышко и опять поставил, — Афонька вскочил, и сцепились два взгляда жадные, и глаза налились кровью. Афонька руку в карман — за ножом полез, Николай опять за бутылку взялся.

— Ну?..

— Ну!..

Не удалось Николаю удивить Афоньку особенным; для него отдать половину приданного — особенное, а для Афоньки, коли забьет себе в голову что, ничего нет на свете особенного.

И опять повторили:

— Ну?..

— Ну!..

И оказалось, что особенное-то Афонька сказал Николке и озлил его до зверелости.

— Давай концы тянуть.

— Жребий?

— Да...

— Ладно!

И у обоих надежда явилась, что непременно он вытянет конец счастливый, и отлегла кровь от висков горячая. Достал Николка платок, завязал узелок, — руки тряслись, когда завязывал. Еще налил по лампаднику, еще выпили — тянуть стали — Николай узелок вытянул — счастье свое, Феничку.

— Видишь, судьба мне.

— Судьба!.. Только я...

Что?

— Не отдам тебе.

— Так я ж тебя... Сволочь!

Разлетелась бутылка о нос Афоньки, раскровянил горбинку его до кости — захлебнулся Афонька жижей красною, повалился на стол, повалил свечку и в темноте заохал, а потом замолчал, только слышно было, как губы чмокали, обсасывая кровь с усов рыжих, и отплевывали. Николай по углам тыкался, огарка искал, с перепугу и хмель пропал. Из корца водой поливал голову, рубаху

новую разодрал — обвязал голову, а когда тот в себя пришел, умолил его не говорить никому, не рассказывать, боялся — епитимью наложит игумен, не бывать счастьем, не видать Феничку, добился под конец своего — побойлся Афонька не мешать Предтечину, убедил его, что жребий своему счастью он вытянул, — коли б не жребий, не вырвал бы слова этого.

С того дня Афонька и не выходил никуда из келии — Николка радовался, казенки ему приносил, только чувствовал, что не простит ему Афонька Феничку, по глазам видел, а ключик от лодки раздобыл-таки у него, а вернул новый — старый замок в воду, а новый купил с двумя ключиками, один себе, а другой приятелю.

IV.

И пришел Николка к Феничке с ключиком на озеро звать кататься в лодке.

— А я ключика раздобыл, Афоня дал, после трапезы к вам зайду.

Галкина про Афоньку вспомнила.

— Отца Афанасия с собой приводите.

— Несчастье с ним, лежит он, — послал его отец игуменрой караулить на пасеку, — он и заснул на солнышке, рой вылетел и на сосну взвился, он за лестницей — взлез — не хватает она, карабкается по сучкам, до верхушки долез, за ветку взялся и не видел, что сухая, повис на ней, перехватить не успел — она и тресни, с самой вершины слетел с этой веткою, как только господь хранил, истинно чудо божие, — невредим остался, только нос проломил немножко, и то на тот самый сук, с которым летел вниз.

Заохали Гракина с Галкиной, а Николай свое:

— Я другого приятеля приведу, — монашек хороший, застенчив только, зато душа золотая, добрая.

Развязался язык у Николки, как только почувствовал он, что нет ему противника, точно счастье в руки далось ему без Афоньки.

За трапезой есть спешил, тыкал ложкой во щи со снетками, поймать ничего не мог и хлебал впустую; рыбного супу есть не стал: была рыба костная да соленая — зачерпнул одну, поковырял пальцами и бросил ее на деревянной тарелке разбросанной, каши не ел, только хлеб посоленный запивал квасом.

Благодарственную петь стали, толкнул квасника Михаила сзади, кататься позвал вместе:

— Пойдем, Мишка, на лодке катать, толк и для тебя будет...

Разбитная такая, веселая, — ветрогон-баба; до монахов падкая с мужем старившимся — Марья Карповна Галкина залъется закатиисто — ямочки на щеках прыгают, телесами поводит, вздрагивает, глазами зовет, поигрывает, точно сказать хочет: погляди ж, какая я мягкая.

Антонина Кирилловна, та себе на уме баба, — подразнить любит братию, а чтоб до чего другого, — ни-ни, строгая, цену знает себе, чтоб языки не болтали досужие, потому дочь у ней на возрасте стала, а пример плохой долго ли показать девушке — выйдет замуж, тогда другой разговор — сама за себя ответчица, и мать не указ.

А с Машенькой подурить, подурачить любит братию.

Галкина женщина слабая насчет пола мужского, поиграет недельку и не выдержит. Братии монастырской давно известна.

Михаил с Николаем пришли, Михаил увидел и шепнул приятелю:

— Эта-то, ай не знаешь, — в прошлом году погуливала.

Через обитель прошли, на луга вышли и пошли к лесу.

Михаил — круглый детина, увалень, рыжеватый волосом, засмеется, прищурится, хохотать начнет, всхлипывает, заходится, а насупится — бровями поведет к носу, а нос — лепешка сплюснутая, насупится и загудит басом, точно не из горла, а из этой лепешки гудит трубою.

Застенчив и похотлив Михаил с купчихами.

Прилип Михаил к Галкиной, смущает его кисея легкая — глянет глазом одним на плечико жирное, другой — за кофточку опустит.

— Что вы заглядываете, отец Михаил?

— Материя у вас легкая, и не холодно так-то?

— Ничего, отец Михаил, я сама жаркая, вот мне и холодно никогда не бывает, вы попробуйте.

Схватила руку его, положила ниже шеи своей, в вырез, откуда груди расходятся, подержала минутку, отбросила и залилась хохотом...

— Правда, ведь жаркая? Теперь верите?

В жар Михаила бросило, промычал несвязно:

— Температура сильная.

— А вы говорите — холодно?! Вы расскажите-ка мне — кто вам нравится из дачников?

— Маша, да ты не пугай отца Михаила, он с испугу еще убежит от тебя.

— Не убежит, Тоня,— у меня для него приворотное зелье есть.

Мычал Михаил растерянно, Николаю смешно даже стало, и Феничка улыбалась застенчиво, и ей смешно.

— Вы, отец Михаил, вечерком приходите ко мне, наливочкой вас угощу.

— Я не хожу вечером,— у нас ворота закрываются рано.

— Что я не знаю, что ль, ворота ваши, не первый я год в монастыре живу,— через ограду не лазили разве ни разу на конном дворе?

— Я не хожу вечером, отец игумен меня не пускает.

— Как хотите, а только жалеть будете.

— Вы надо мною смеетесь только.

И опять замолчал Михаил хмуро.

Николай подле Фенички.

Феничке непривычно говорить с монахом, а спросить хочется, почему он в монастырь пошел, отчего не живет в городе. Никуда ее не пускали одну, без призора боялись оставить и подруг не поваживали, только в гимназии с ними виделись и фантазировала по вечерам одна,— в книжках читала, сама слышала, что от любви неудачной в монастырь часто уходят,— думалось, что и Николай тоже. Хоть и сказал он, что у родителя средств ему на учение не было, а может другое что, чего рассказать не может. По наивности Феничка помечтать любила о романах трагических, все ей казалось, что у каждого любовь пылкая к тому, кто взаимностью отвечать не хочет.

В книжках она читала про любовь такую и полюбила она книжки эти. Где любовь по-хорошему кончится — такая ей скучной покажется, а вот, где влюбленный либо убьет соперника своего, либо с собой покончит,— такие книжки любила Феничка.

И самой ей хотелось такой же быть, как и те, что любовь отталкивали, чтоб самой от любви пострадать, помучиться и его тоже помучить. Казалось, что такая любовь и есть настоящая, а то что за любовь это, когда встретятся, про любовь скажут друг другу, поцелуются и к венцу идут, про такую любовь и читать скучно, да и любить неинтересно очень. Сколько она не знает людей, все женятся и от любви не стреляются и с ума не сходят, а живут себе год за годом — торгуют, в чиновниках служат, ребятишек нянчат, зимой вечерами на картах про судьбу гадают, что

и гадать-то, когда все уж угадано. Замуж вышла — значит и угадано все, как ни раскладывая карты, все одно скажут: сплетни, болезнь, удача, с королем свидание, и на самом деле и сплетни плетут небывалые, и болеют болезнями разными — у бабок лечатся, и удача в делах бывает, про это и гадать скучно, а чтоб встречи какие с королем были, — разве что с городовым в престольный праздник — поздравлять придет, да со знакомыми на базаре встретится, а так, чтобы с любимым — не знала про это Феничка. Да что и за встреча, когда замуж вышла, тут не до встречи уж, от мужа все равно идти некуда. Вечера осенние долго тянутся, и в губернском они по-уездному, конца им не видно Феничке, почитает она, почитает роман страшный и пойдет спать ложиться. Свернется под одеялом стеганым, согреется и не спится ей, лежит и мечтает.

Такую паутину в дремоте запутает, что и конца не найдет, и начало забудет.

И герой у нее знатный с титулом, как полагается, и дары ей приносит всякие, убежать ее уговаривает, а она непреклонная — оттого и непреклонная, что подольше ей помечтать хочется, придумать еще что-нибудь удивительное. Она тоже любит его, только гордость никак не позволяет сознаться ему в чувствах своих. О разговорах даже придумывает — точно книжку читает.

— На край света я увезти готов, — разве я не достоин любви вашей?

— Я не могу полюбить вас, поверьте мне.

— Дворец вам построю роскошный, окружу вас забавами, заботою...

— Мне ничего не нужно от вас, не мучайте меня только, — вы другую полюбите, знатную, а я ведь не богатая девушка, некрасивая, меня любить не за что.

— Клянусь вам, — прекраснее вас на земле нет, а богатства я не ищу, у меня своего очень много.

И жалко Феничке, что она полюбить не может, себя даже жалко становится — она хоть и чувствует, что любит его, а сознаться не хочет, и жестокая с ним, непреклонная.

Дрема затомит Феничку мечтаниями бесконечными, подкрадет сон сладкий, и не хочется ей засыпать без любви, и жестокость ее и гордость исчезнут, и дает ему поцеловать свою ручку, потом и сама обнимет за шею и целуется с ним в саду дивном, где соловьи поют ночью, и луна светит, и цветы пышные. А потом он ведет ее в дом свой, а потом... а потом жутко станет Феничке от того, что

не знает, что потом будет с нею, а чувствует только, что жутко и хорошо, так хорошо, что сердце замирает у ней от того, как он в доме своем целовать ее будет.

И хотелось Феничке быть такой же, как барышни в книжках бывают, подражать им старалась.

Из гимназии выйдет — навстречу ей Никодим Александрович, и пойдет провожать ее до дому и все про чувство свое говорит, только она непреклонна с ним, жестокой с ним хочется быть, помучить его.

Смеркнется — Феничка и не знает сама, идти ей или не ходить на Почтовую, и пойти-то ей хочется, и помучить его тоже приятно, а потом боится она — не узнали бы дома.

Посидит, посидит, повертит, повертит учебник какой-нибудь, и покажется ей, что забыла она, что на завтра задано, оденется и пойдет к подруге спросить и маменьке скажет, что забыла, что задано.

Только щелкнет калиткой — Петровский точно из-под земли вырастет и пойдет рядом.

— Я долго вас дожидался, не выходили вы.

— У нас на завтра уроки трудные заданы, — я к подруге иду спросить, что учить надо.

— Можно, я провожу вас, Феничка?

— Как хотите, только с глупостью приставать не смейте и слушать не стану вас.

— Феничка, вы не поверите, как тяжело одному жить, — будемте хоть друзьями только.

К подруге зайдет — посидит, поболтает, посмеется, а Никодим — точно сторож, по переулку шагает — на холоде ждет Феничку.

Обратно идут, Петровский про чувство свое и говорить боится, так из пустого в порожнее пересыпает слова нерешительно, тянет их, мямлит.

И опять скучно Феничке станет идти с Никодимом, идет и сердится на него, отчего у него слов таких нет красивых, как в книжках написаны, отчего он не знаменитый, не знатный, а всего лишь ученик института учительского.

А так хочется ей особенного чего-то и нет его до сих пор, — у других же бывает — обидно ей. Целую зиму Петровский поджидал Феничку Гракину, провожать ходил, о своем одиночестве говорил, а дальше и не решался, поцеловать ее не решался, может только и нужно было поцеловать Феничку, поцелуем мечты разогнать книжные, и она бы его поцеловала потом крепко, как

только первый раз от любви целуют, а вот не решился же Никодим, и у Фенички в сердце туманно осталось.

А в мечтах-то ее почему-то всегда лицо Никодима мелькало, и у знатных, и у богатых, у всех отчего-то лицо его было, и всегда оно наклонялось к ней с поцелуем в дремоте сонной.

Тлелось у Фенички чувство первое, а разбудить его настоящей любовью еще не умел, боялся он.

Так с этим чувством тлеющим и на лето в монастырь приехала.

Николая встретила, и опять захотелось ей особенное услышать, как в книжках было.

В прошлом году раза два он гулял с нею в лесу, да тогда еще ей в голову не пришло это. А теперь вот и захотелось спросить его, отчего он в монастырь ушел,— особенное услышать ей.

— Батюшка, отчего вы в монастырь ушли?

— Людям не верю я, Фекла Тимофеевна.

— Зовите Феней меня, так лучше.

— Ни разу я не нашел чувству своему удовлетворения в людях, а здесь хорошо, станешь молиться — и люди хорошими кажутся, добрыми.

— Разве у вас было что в жизни, от чего вам тяжело стало?

Вздыхнул Николай, в глаза заглянул с выражением и сказал тихо:

— Рассказывать тяжело, лучше не спрашивайте.

Глаза встретились, на секунду одну, на мгновение, и точно искра упала и обожгла сердце Фенички.

— Если вам тяжело говорить об этом — лучше не надо, вы простите меня, что я спросила у вас.

— Может быть, я расскажу вам потом когда-нибудь.

А сказал Николай искренно, оттого и сказал так, что почувствовал чистоту и наивность Феничкину, и про себя вспомнил про то, как купчиха его на колени сажала мальчишкою, и потом по ночам ненасытностью своею мучила, и тяжело ему стало, захотелось настоящего,— такого, чтоб жизнь почувствовать и самому жизнь отдать несуразную.

Оттого искренно и сказал Николай Феничке, оттого и у Фенички искорка осталась в сердце яркою,— рядом легла с Никодимовой — с тлеющей.

Думал-то Николай о богатстве Феничкином, когда мужем ее быть решил, а тут она сразу и всколыхнула в нем

чувство первое, от него ему еще сильнее захотелось Феничку взять вместе с любовью девичьей и с деньгами купецкими.

Любовь загорелась в нем жадная.

К мельнице подошли, за веслами сбегал Николай, оттолкнул лодку, черпаком воду выгреб и садиться позвал.

Михаил с Галкиной сел назади, нарочно потесней выбирал лавочку, а Гракина с Феничкой против Николая устроились.

Медленно плыли, ловили лилии белые, кувшинчики рвали...

Николай веслом доставал крупные, старался для Фенички и, засучив рукава по локоть, стебли срывал длинные.

— Я вам длинных нарву.

— Мне самой хочется.

— А как хорошо здесь! Какое большое!

Часа два бродили по озеру, в осоке застряли и вернулись на мельницу, когда в монастыре повесть ударили.

Заторопились Николай с Михаилом, из леса вывели, дальше не пошли вместе.

— Опоздаем мы, — простите нас, мы побежим.

— Тут не страшно идти, дорога лугом спокойная, все время богомольцы ходят.

Антонина Кирилловна опять Михаила позвала:

— Отец Михаил, так у меня для вас приворот есть, — приходите-ка вечером как-нибудь.

И опять засмеялась Галкина — опять ямочки задаром запрыгали.

Феничка, с Николаем прощаясь, тоже позвала его, — только неуверенно как-то, точно боялась чего.

Замотались подряски черные по траве сочной, запрыгали гривы лохмастые, в разные стороны разлетаясь от ветра, и пропали за бугром ближним.

Гракина с подругой пошла, Машенькой, а Феничка сзади тихонько.

— Ну и монах!

— Они все, Тоня, такие, — не первого вижу, я ведь их не одного пробовала.

Не слушала Феня, не слышала, перебирала мысли свои и стебли сырые лилий белых.

Шла и в золотых сердцевинах лилий глаза Николаевы видела.

И захотелось ей узнать то, что и в книгах-то написать не сумеют, а самой пережить только можно.

Узнать захотелось — отчего Николаю жить тяжело.

Глаза ей сказали такое, отчего грустно Феничке стало и захотелось еще раз взглянуть на них.

V.

Повадился Николай к Гракиным чаи распивать.

От трапезы до вечерни и от вечерни до вечера, как не закроют ворота монастырские, иной раз и через ограду лазил.

Чайку попьют — и в лес по тропам нехоженным красоты смотреть монастырские, а то в лодке по озеру колесят, ключик-то пригодился, недаром и четвертак отдал лавочнику.

И слова нашлись лживые о душе, в мире не признанной, тоской-одиночеством спутанной, — иной раз сам даже верил словам этим жалобным.

День за днем оплетал паутинкою сердце Феничке, — жалость ласковую разбудил в нем; сперва-то слова неуклюжие были, смутные, несуразные, а потом, как елей, заволакивающие теплотой искренней.

В каморку вернется вечером, на топчан ляжет жесткий и сверлит темноту глазами жадными — стоит перед ними Феничка Гракина с тысячами купеческими, с довольством сытым, с почетом да жизнью вольною.

С ними-то, с тысячами, мир повернуть вспять можно, в кулаке покрепче зажать и надавливать, чтоб сок из него капал медленно, как мед из сот переполненных, — ему самым смаком насытиться хочется.

И боится, что рано еще, — надо в срок уловить наивность девичью, да так, чтобы и выхода ей не было больше из омута взбаламученного.

Все б хорошо, до мамаша поглядывает, без себя дочь никуда не пускает.

Погоулять выйдут — сзади с Галкиной и мамаша следует, — хорошо, хоть полушепотом говорить можно, а чтоб один-на-один остаться пришлось с Феничкой — ни разу еще не удавалось.

По глазам видит Феничкиным, что только и осталось ему один-на-один побывать, своего добиться, — всему она верит, каждое слово за правду считает, только теперь о любви сказать с поцелуями жаркими, от которых голова пойдет кругом и повалит на землю истома жуткая.

Зовет уж не Феней, а Феничкой...

Говорит, говорит и закончит, что сказать ему хочется про такое, от чего сразу легко ему станет, если только Феничка скажет.

И Феничке тоже узнать его тайну не терпится.

Как-то даже сама попросила:

— Батюшка, скажите, не бойтесь,— я никому не скажу, вам будет легче.

— Тут ведь душу раскрыть надо, а разве можно, когда кто-нибудь посторонний есть?

И глазами ей говорит жадными, так говорит, что потупится Феничка от взгляда встречного, и сердце забьется, в глубину падая — покраснеет вся.

Ягода поспевать стала, все озеро заплели лилии белые, утка дикая птенцов вывела, в камышах звонко крикает, а ему один-на-один побывать не пришлось.

Прибежал Михаил к нему.

— Знаешь, что скажу-то тебе?

— Про Галкину, что ль?

— Какое про Галкину,— Гракина, брат, сегодня уехала.

Сердце в нем оборвалось, заглодел от испуга весь, и мысль пробежала — упустил, значит, счастье свое сам упустил.

— Да ты что испугался-то? — одна, брат, уехала, дочка с Машенькой в оконце поглядывают, — не надолго значит.

— Что ж не сказал прямо?

— А тебе что, ай Феничка не дает покою?

Не ответил ему, только в клетушке своей заметался от радости,— не упустить бы теперь!

— Мишка, уведи Галкину, куда хочешь уведи...

— Мне-то что — увести можно.

— Неделю поить тебя буду...

— После трапезы уведу нынче,— смотри, не сбреши только.

— Да ты подольше ее...

— Ладно, скажу — заплутались, дорогу забыл,— вернись к вечеру.

Сам не свой за обеднею пел, голос срывался, дожидаться не мог и за трапезу не пошел даже, а в лес побежал к дачам, поодаль все дожидался, когда Галкина с Михаилом гулять выйдут, — ходил — думал, — удастся ли увести Галкину, не догадалась бы пройда, а то никуда и не выйдет без Фенички, сама-то, охоча гульнуть по-купеческому, а девчонку-то от себя не отпустит, коли правду почует,—

у них по купечеству все так: бабе и погулять можно, а за девчонкой доглядывают, беды бы не вышло какой девушке.

Целый час промотался, прождал Николай, а увидел Галкину с Михаилом — в лес поскорей прятаться, не увидела б только.

Подождал пока скрылся, побежал к Феничке.

— Денек-то какой нонче?.. А у вас никого нет?

— Марья Карповна с отцом Михаилом в казенный пошли, а мамаша домой поехала.

— Я было на озере покатать вас хотел, был я вчера там, да и нашел в лесу место ягодное,— поедемте, Феничка.

— Как же без мамы я?

— Мы недолго там будем.

Согласилась Феничка, и страшно ей, что согласилась, и хочется расспросить Николая, узнать особенное.

Дорогою шли по лугу, рассказывал ей про монаха лекаря, что народ травами лечит всякими, про лес говорил, про разбойников, что в урочище жили старом да зимой на дороге купцов грабили,— разговорами Феничку отвлечь все старался, чтоб не боялась она, не подумала чего плохого, не почувствовала бы. Может, и не подумает, а почувствовать может она — испугается, насторожится опасно, и тогда уже трудно добиться чего-нибудь будет, нужно, чтоб неожиданно захватить всю и прикончить сразу, не дать и опомниться.

К мельнице подходить стали — про озеро рассказывал медленно.

Феничка раз только подумала,— может, сегодня расскажет ей...

Размашисто весла сверкали, толчками быстрыми лодка в осоке пряталась,— перешло озеро в речку лесную — медленней двигались берега, мохом облипшие.

В воду сосна повалилась позеленевшая, у сосны привязал лодку, по сосне на берег за руку повел, осторожно и крепко руку держал теплую.

— Хорошо здесь и страшно,— темно; должно быть, медведи есть.

— Летом их нет, Феничка,— вы здесь не бойтесь.

— Даже холодно тут.

— Зато ягод здесь много,— крупная, сладкая.

В тишину темную по топкому моху пошли, держал за руку, говорить стал...

— Феничка, я не ушел бы от вас, никогда б не ушел...

Испугалась Феничка, и не слов испугалась этих,

а гулкового сердца стало ей страшно, и не думала, что жутко ей, а вся чувствовала, телом всем ощущала чувство пугающее...

Ягоды рвать стали,— на стеблях тонких крупные, спелые, духовитые...

На коленях Феничка рвала их и губы от темного сока красного горячей стали, окрасились широкой каймой влажной,— глядел Николай, и его губы жадно вздрагивали.

Вместе с нею собирать стал ягоду лесную, касался рукою, пальцем, когда брала у него из руки зрелые.

Волнуясь, шептал, и шепот волновал Феничку,— что-то ждала, услышать ждала особенное и волновалась вся.

— Феничка, так тяжело одному жить, ведь и мне счастья-то хочется.

— Скажите мне, вы сказать мне хотели что-то...

— Давайте сядем,— я расскажу вам, все расскажу, Феничка...

Сел, близко к Феничке сел, обнял ее тихо, точно испугать боялся, и прижимать стал,— жутко и хорошо было Феничке, не оттолкнула даже, только один раз слабо откачнулась вся, а потом приникла вся, и сразу — голову ей запрокинул, в губы, пахнущие лесной земляникой, губами впился и, не давая сказать ни одного слова, целовал долго, отрывался на миг, шептал одно только слово — люблю, и целовал жадно...

Не сама, а губы ответили, сами, как лепестки, открылись поцелуем,— голова закружилась, и поплыла волна медленно, сердце падало, колотясь.

На мох повалил хрустнувший, и только инстинктивно еще ноги пытались противиться, становились тяжелыми, неподвижными. Суковатым коленом вдавил — раскрылись.

Слышала, как рвет полотно, и когда телом ее придушил — дышать стало нечем, сердце не чувствовало, и не то умолять она стала не трогать ее, пощадить, не то просить не мучать безысходностью жуткой, а скорее освободить ее от чувства этого, чтоб дышать можно было легко и свободно и шептала: «Коля, Коля!!!»

Вскрикнула, дернулась как-то, и томящая боль острая, но такая странная, оттого что с болью радость проснулась в теле, какой никогда еще не было, всю охватило ее жаждою странной чего-то бесконечно жуткого, жутко-покорного.

Темно потом стало и тихо, и чувствовала, как горячо и медленно по всем мускулам разливается кровь струйками облегченности, и воздух стал свежим, радующим и не сдавливало больше затылка острой тяжестью.

Потом только, когда успокоилось тело, и мысль стала ясною — поняла, что случилось страшное, после которого все дороги потеряны.

— Что ты сделал со мной, Коля!

— Хочу, чтоб женой мне была.

— Ты монах, Коля!

— Не монах я, а послушник...

— Как же маме скажу я!

— Ни о чем говорить не нужно.

— Коля, но ведь от того же дети бывают?

О детях сказала, и мысль у него закопошилась назойливая и упорная, — будет ребенок, тогда все равно отдадут за него, тогда уж не уйдет, никуда не уйдет, и захотелось, чтоб был он непременно, теперь же...

— Феничка, не бойся, ничего не будет, не бойся, — я знаю.

— А если мама узнает?

— Ничего не узнает, — никто не узнает.

— А сказать-то хотел ты мне про себя, — расскажи, Коля, теперь ведь все мне сказать можно — и я ведь люблю, никогда не любила еще, и теперь вот люблю.

— Ничего со мной, Феничка, и не бывало, а люблю я тебя, еще с прошлого года, как в лесу мы гуляли, с того самого времени и позабыть не могу я тебя, целую зиму ждал да гадал — приедешь на лето, ай нет.

— Ждал меня, да?

— Как еще ждал, Феничка, знала б ты только.

— И всегда любить будешь?

— Да самого гроба, и детей, если будут, любить буду.

До жестокости хотелось, чтоб был, теперь же, с этого дня был, — и опять целовать стал Феню, пока опять не забилося у ней безысходностью сердце и пока опять не стало хватать воздуха и опять чувствовала и теплоту, и легкость и неослабело утомленное тело, и снова, и снова, пока не обессилила вся, и еле встала с потеплевшего моха, когда стало совсем темно в лесу от смолистых сумерок...

Ровно и сильно взмахами поднимал и опускал широкие весла, смотрел в глаза Феничке, точно спрашивал — будет он, теперь будет?

Причалил к берегу, лодку глубоко врезав в землю илистую.

Вывел из лодки, обнял за плечи и повел по траве влажной, и шептал о том, как хорошо будет им, лишь бы только любила его.

Еле двигалась Феничка — и хорошо было слушать голос бархатный, заволакивающий, и домой идти было страшно: а вдруг как узнают, тогда и счастью конец, и весь век без любви мучиться. И не верилось, что не сбудется, казалось, что как в романах читанных конец будет хороший, даже жестокою быть не хотелось, — это с Никодимом только такую была. Вспомнился Никодим, а почувствовала, что за плечи держит любимый ее, и пропал, потух, потускнел Никодим, будто и не было никогда, даже страшно стало — а вдруг разлюбит ее Николай?

Довел до комнаты — Марья Карповна не вернулась еще.

Поцеловал на прощанье и позвал шепотом:

— Завтра приходи, Феничка, после трапезы в пустыньку, — смотри приходи, ждать буду.

Зашел по дороге к лавочнику, взял две бутылки казенной, спрятал в карманы подрясника, прошмыгнул в ворота и заперся в своей клетушке — дожидать Мишку.

Доволен был, что наконец-то нашел он купеческую, и размечтался, как будет он прѣтопопом соборным.

Феничка да Марья Карповна спать легли, — та поздно возвратилась.

Спросила Феничку:

— Ты что ж так рано легла?

— Скучно, — спать хочется.

И солгать легко Феничке стало, — тайну свою сохранить первую...

До полуночи Мишка у Николая казенную пил, закусывая хлебом соленным, а уходя — пьяным голосом прогудел:

— Сколупнул девку?

— А тебе что?

— Не сквалыжничай только, когда богатеем будешь.

Утром Феничка прятаться старалась от Марии Карповны, придумала к средней идти; побыла в средней, напилась чаю и ждала, когда ударят к трапезе.

Идти было жутко, боялась и тянуло ее, удержаться не хватило сил, пошла ждать Николая на пустыньку, —

боялась,— не придет, если разлюбит ее, он, как рыцарь красивый, его полюбить за красу каждая может.

И опять, истомленная, обессиленная, затемно домой возвратилась.

Марья Карповна спросила ее:

— Ты где пропадаешь, девка?

— Гулять, Марья Карповна, ходила.

— С кем?

— С батюшкой, отцом Николаем.

— Ты смотри, девка!..

— Уморилась я, далеко ходили, спать хочется.

И опять легла, пока огонь еще не был зажжен.

— Ты смотри, Фенька, потерять себя это плевое дело, а вот потом как?

Спящею притворилась.

— Слышишь, что ли?

Не ответила Феня.

— Они, брат, тут, святоши-то эти, все одинаковы,— ты на меня не смотри, что я кручусь с ними — я баба, да еще вдовая, а тебе беречь себя надо: тебе замуж идти придется, а с изъяном-то тебя не возьмет никто, а возьмет — в могилу тебя вобьет колотушками — ты смотри, девка.

И на третий день побежала Феничка Николая ждать, сама побежала, потянуло всю, первый раз потянула разбуженная ненасытность, и на третий день Николай хотел, чтобы был непременно, непременно ребенок чтоб был — иначе не быть ему женатому на Гракиной Феничке, иначе не быть ее капиталам Предтечинскими.

И опять возвратилась поздно.

Марья Карповна лампу зажгла, чай ждала пить Феничку.

Свет испугал Феничку, переступила порог, глаза опустила, идти не решалась дальше.

— А я тебя чай пить ждала,— ты где пропадаешь?

— В казенный ходили,— далеко это очень.

— Я вот матери расскажу, как приедет,— она тебя живо осадит,— ты смотри, Фенька.

Села на стул медленно, чашку взяла налитую и все время боялась взглянуть на Марью Карповну. Боялась, что взглянет она, и солгать у ней силы не хватит, а говорить-то нельзя — не велел, да и самой не хотелось тайну свою выдавать жуткую.

Марья Карповна выпила чашку, другую наливать себе стала и взглянула на Феничку.

— Фенька, да ты глянь, на тебе и лица-то нет, чтой-то с тобою,— а?..

— Далеко мы ходим, Марья Карповна,— утомилась, должно быть...

— Да ты не брешь, девка,— говори, спуталась с ним?

Не двинулась Феничка, вздохнуть страшно.

— Под глазами-то синяки какие!

И начала — выпытывать начала, правды доискиваться:

— Да ты с ним полюбовно, али силком тебя взял? Ну, говори, что ли! Чего как воды в рот набрала, меня-то, брат, не надуешь — я баба, я все вижу, гляну только — сразу узнаю. Этакие синяки-то при другом не бывают, аж глаза провалились,— хоть бы в зеркало глянула на себя, подожди, я сейчас покажу тебя...

Побежала за зеркалом, принесла — против Фенички поставила, та глянула, и ей стало страшно.

— Пропала ты, девка, совсем пропала,— как мы матери-то говорить будем, а не сказать — нельзя, надо же тебе от плода избавиться, долго ли забрюхатить?

— Марья Карповна...

— Что Марья Карповна,— набедокурила, да теперь и Марья Карповна. Ну, говори, что ль, рассказывай, от плода-то избавимся,— можжевельничка-то придется попить, скинешь его, пока не расперло тебя, а там уж как-нибудь выдадим тебя за кого-нибудь, только уж на себя пенять будешь, коли молодой колотить по ночам тебя станет, а что колотить тебя будет, это как бог свят, они этого не прощают нам, ну а ежели за старого выйдешь, так тогда полбеда еще, только за старым не сладко быть, я вот тоже попала за старого: колотить — не колотит, а мучать — мучает...

Заплакала Феничка, тихо заплакала, и часто-часто закапали слезы, прижалась к Марье Карповне, как ребенок, беспомощно голову на грудь положила ей.

— Я люблю его, Марья Карповна...

— Я брат, тоже любила, любить-то не диво, на то и живем мы, чтоб любить ихнего брата,— а вот дальше-то как после этого,— не подумала, чай, когда себя допустила до этого?..

— Замуж за него пойду...

— Что? За него?! Да кто ж тебя за него выдаст? Скажи ты, пожалуйста, мне, кто за него тебя выдаст,— мать, что ль, твоя? А? Она баба твердая — камень-баба, ей для дела человек нужен, чтоб и сам был покряжистее, да

и капиталом ворочал бы, — дело-то у вас, чай, знаешь, не маленькое, с заграницей торгуете! Дядья тебя, что ль, за монаха выдавать будут?.. Да Петр-то тебя и на порог такую не пустит, не то что выдавать за него будет, — он по-старинному, брат, живет, ну а Андрей-то Кириллыч, он хоть и в институтах учился, и на инженера выучился, и книжки читает всякие, а семьи-то придерживается. Ну, кто ж тебя выдавать-то за него будет? Ну, говори, что ль?

— Он меня любит...

— Да ты что из любви-то веревки вить, что ли, будешь? Его-то любовь псу под хвост — вот что! Эх, девка, жаль мне тебя, вот что! А матери-то говорить надо, как ни вертись — говорить надо. И как это тебя бес спутал? Я-то, дура, не укараулила как?! Когда он тебя обесчестил-то? А?

— Во вторник...

— Это когда, значит, я с Мишкой в казенный ходила? Я виновата, никто больше — мне быть в ответе твоей матери, — не уследила, паскудница, бес одолел блудный. А ловко они это меня одурачили, — один это, значит, в лес увел потаскуху, а другой и нагрязнул; да заблудился еще проклятый, до темна водил самого!.. Ну, реветь нечего тут, не поможешь слезами, ты выпей чайку-то, да пойдем спать ложиться, утро-то вечера мудреней, — может, и придумаем что!

Допивать села Феничка чашку остывшую и, слезы глотая, жевала с хлебом, — проголодалась, с утра ничего не ела. Как было все на столе, так и оставили, — спать пошли.

Марья Карповна сердито раздевалась, бросала на стул, — Феничка тихо, еле шелестя юбкой, — раздевалась медленно. Свечу потушили и заснуть не могли: каждая думала о случившемся, каждая — по-своему, комаров слушая.

Феничке казалось, что все пропало, вся жизнь пропала: увезут ее теперь от Николая, всю жизнь до замужества попрекать будут, а потом выдадут за нелюбимого, за чужого, и никогда она Николая не увидит больше. Полюбила его, отдала себя всю, и не думала ни о чем жила утомлением, ласкою, впервые греховным жила — отдалась этому, покоренная утомлением жутким, и мечты все исчезли книжные, и не вспомнила ни разу о них и Никодима не вспомнила — уплыл в сумраке, в девичьем прошлом, и ждала с Николаем встречи, и о завтрашнем дне думала — ждать будет ее, велел приходиться к скиту после

поздней и не пустит ее Марья Карповна, никуда с глаз не пустит теперь, а потом никогда не увидятся больше, а с чужим, нелюбимым, — как подумала только об этом, — сжалась от ужаса вся. Придумать хотела что-то и не знала, придумать что.

Марья Карповна тоже думала, как ей придется в глаза Антонине Кирилловне только глядеть после этого, — понадеялась, на хранение оставила, — сберегла, сохранила?! И Феничку жаль было, — про себя вспомнила, про свою жизнь, про свою любовь первую, вспомнила, как силком в церковь ее повезли, за старого выдали на мучение долгое. Феничку жаль стало, что и ей вот придется муку перенести страшную за старым, — измучает тело все, вымажет лаской слюнявой и уйдет дрыхнуть, только измучает всю бессилием дрыхлым, а прогнать, не данься — чем попадя бить станет, попрекать, что позор покрыл своим именем, а благодарности никакой.

Тихо лежали, — думали, только сверчки по углам скрипели, да через окно открытое колотушка потрескивала.

— Ты спишь, что ли, аль нет еще?

— Не сплю, Марья Карповна. Марья Карповна, как же мне быть-то? Вы добрая — сами ведь знаете, как с нелюбимым-то жить плохо, помогите мне... Марья Карповна, милая, помогите мне...

— Вот затвердила сорока про Якова... Спи лучше — подумать надо. Жаль тебя, девка, — ты думаешь что — разве я ругать тебя стану, сама ведь из-за этого жизнь целую мучаюсь. Ты ведь баба теперь, может, и поймешь меня — в монастырь-то я езжу зачем, — затем я и езжу сюда, чтоб утолить себя, лес-то тут темный — никто не увидит, никто не расскажет, — было — не было — никому дела до этого нет, народ тут прохожий, молящийся — кому до тебя дело? А дачники-то эти — из губернского больше господа, до нас им дела нет никакого, да и сами не хуже, а из купечества — чужим тоже до тебя дела нет, а свои — занесет если летом, так не надолго, — зимою говеть ездят, а летом варенье варят, наливки настаивают, — вот и езжу я утолять себя, чтоб поклепа на меня не было в городе нашем, чтоб языки не чесали досужие, чтоб старик-то мой не знал ничего, а лес — он не скажет, темный он, глухой лес. Про себя подумаю — тебя жаль станет. Ну, да спи-ка, а я подумаю.

С надеждой заснула Феничка, поздно заснула и проспала — к достойной ударили за поздней. Проснулась

и вспомнила, что ждать ее после трапезы будет: заторопилась.

Марья Карповна увидела.

— Ты куда собираешься?

— Марья Карповна...

— Не пущу тебя больше, — хоть ты что тут — не пущу я.

— Марья Карповна — на минуточку только, может в последний раз, — глянуть на него хочется.

— Мать приедет сегодня вечером, а на тебя и так глянуть страшно.

— Ей-богу, я на минуточку, — Марья Карповна...

— Ну, ладно, ступай, да смотри, чтоб в последний.

Уходить Феничка стала, остановила ее Марья Карповна...

— Вот что, девка, — приведи-ка ты его ко мне, повидать его нужно, соколика-то этого.

Через монастырь пробежала, через речку мост перешла и к скиту пошла торопливо, — давно и трапеза кончилась, давно ждет, должно быть.

Подле сосны стоял — злился, со злости ногти обкусывал до крови.

Подошла — спрашивать стал зло:

— Ждать заставляешь, — а то не приду больше, чего опоздала?

— Марья Карповна не пускала.

— Пойдем в лес. Чего она не пускала?

— Знает она...

— Сказала, что ль? Зачем говорила? — я просил же, молчать просил.

В лес вошли, — обнимать его стала, поцеловать хотела.

— Коленька милый, — может в последний мы раз видимся.

Обозлился, — испугался, что пропало все, жизнь пропала, — не видать капиталов Гракинских, и оттолкнул Феничку.

— Целоваться-то после будешь, — говори, зачем говорила?

— Она сама догадалась, — по глазам узнала, — потемнели они от этого, вот и узнала, — я не подумала, что потемнеть могут, не знала про это.

— Что ж теперь делать? Конец, значит?

— Коленька, милый, поцелуй меня, — может, еще не конец, — ну, поцелуй, только раз поцелуй. Марья Карповна добрая, она поможет мне. Не верю я, что в последний раз

видимся, и боюсь все-таки, а вдруг в самом деле последний?..

— Зачем говорить надо было, — просил кто?!

Поцеловал ее жестко, от злости сдавил всю, даже больно Феничке стало.

— Никогда я тебя не забуду, Коленька, — никогда...

— Пойдем в лес, а то некогда мне сегодня долго гулять с тобою...

Жалась к нему ласково, ласки ждала последней, от любви плакала, а он только поглядывал зло и нехотя целовал, чтоб не плакала больно. А потом мысль у него мелькнула, что, может, в последний раз в самом деле и не придется побыть с нею больше, а другую не сразу найдешь, долго ходить надо, пока своего добьешься, и стал целовать ее жадно и зло с досады, что надеялся только на жизнь хорошую, и ничего не вышло из этого, только мечтал зря, зло целовал, жадно, впивался до боли в губы Феничке, пока опять голова не пошла у ней кругом, пока сама не позвала, пока сама просить ласки не стала, — ломался, не хотел долго, напоследок хотелось помучать ее, а потом, как и в те разы, утомил бесконечным желанием назло, чтоб ребенок от него остался, пусть после возьмется с ним — зато помнить будут...

Поднялся с хрупкого моха — сказал:

— Ну, что ж — не приходиться, значит, больше, в последний раз видимся?

— Может, и нет, Коленька! Может, еще вместе будем жить, всю жизнь.

— Это как же?

— Тебе Марья Карповна придти к ней со мной велела.

— Зачем это?

— Не знаю, милый, — пойдем, Коленька, она добрая, она поможет нам.

Пошел с ней и думал дорогой — идти или нет, а потом и поверил, что, может быть, еще и выйдет что-нибудь, и в самом деле устроит она что-нибудь, и опять ласковым стал с Феничкой, обнял даже ее и шептать стал:

— Ты прости мне, что я разозлился, — уж очень обидно мне стало, что и любить-то нельзя нам, а все оттого, что монахом стал, за монаха считают все, а какой я монах?..

Опять утомленная пришла Феничка к Марье Карповне и Николая с собой привела, — та как увидела, так и накинулась на него — отчитать захотелось его.

— Ты, паскуда, что с девкой сделал, зачем опорочил

невинную? — думаешь, что монах, так и управы нет на тебя, — живо в Соловки запрячут.

— За этим-то и звали только?

— Ты еще огрызаться смеешь?

— Да вы говорите толком — зачем звали? — ведь я ее не силком же — спросите! И опять же люблю ее, — жениться на ней хочу.

— Жениться он хочет?.. Да тебя на порог к ним не пустят! Знаешь ты это?

— Из духовного я, — женюсь, архиерей дьякона мне даст — жить будем.

— Ну, чтоб духу твоего тут не было больше, и девку ты мне трогать не смей — не видать тебе ее больше, пока женой не будет тебе, — слышишь, что я говорю тебе? Ты думаешь что? — девку мне жаль, для нее буду стараться, может, и выйдет что, — хоть мать-то у ней и камень, а все-таки мать ей, может и выйдет что, только чтоб духу твоего тут не было, когда нужно будет — сама позову. Дней через пять приходи, когда сама будет — гулять приходи. Да, слушай, что я говорить тебе буду: как в обедне поздней стану подле клироса самого, значит, приходите гулять нужно. А теперь вон убирайся!..

И зло, и надежда в Николае жили. С досады водки купил по дороге в келию свою, в каморку Михаила позвал:

— Миша, приходи вечером.

— Угостишь, что ли?

— Раздобыл я казенки.

— Разбогател значит, — ладно, приду.

После трапезы вечерней, когда стемнело совсем, Михаил пришел. Огарок зажгли церковный и пить стали, до утра самого пили, закусывали хлебом соленным.

С досадой Николай пил, боялся, что потерял все, всю жизнь потерял, а другой раз разве подвернется такой случай?..

Пьянел медленно...

Михаил на топчан повалился и храпел, всхлипывая, а Николай остатки еще допивал и — когда зазвонили к утрени — повалился на стол и, сползая с табуретки, повалился на пол, стукнувшись головой о топчан.

VI.

Феничка и деваться не знает куда, под подушку голову спрятать бы, так и лежать бы, пока гроза не пройдет

страшная, и не двинуться, не шелохнуться, до тех пор не шелохнуться, пока не почувствует, что дышать можно воздухом чистым.

Марья Карповна мимо пройдет, поглядит на нее и про себя будто скажет:

— Так-то, Феничка, так-то, а ты думала еще как бывает? Думала — сразу вот в руки дастся тебе счастье-то человеческое! Сама так-то валялась по целым дням... Ты не сплошай только, девонька, когда мать вернется — может, еще по-хорошему будет все.

Вечером Антонина Кирилловна возвратилась, повидалась с Феничкой и пошла разбирать свертки с припасами.

Наутро Феничка встала и пошла подле дачи погреться на солнышке, только чтоб с матерью не встречаться, не видеться.

Жизнь-то какая кругом Фенички, — теплынь по лесу бродит, ягоду из земли гонит спелую, ветерком подсушивает, алым цветом раскрашивает, так и тянет из лесу ягодой спелой, так и слышится из него переключ бабий, от сосны до сосны прыгающий.

А из лесу идут степенные, с лукошками полными, точно и не рвали в лесу, и не аукались, — с дождем понасыпало ягоду спелую.

— Ягод не надо ли?

— Купите ягодок...

— Сунички купите... све-жая!..

Феничка в платок носовой плетушку высыпала вместе с мать-мачехой, гривенник отдала за них.

Сидит, по одной подбирает помельче. Сперва незрелые, под конец крупную.

Каждый день выходила на лавочку посидеть, чтоб не видела, не спросила бы мать, отчего невеселая, что задумчивая.

Поглядеть на него, повидаться хотелось — в глаза поглядеть; черные кудри погладить мягкие, поцеловать разочек, а там чтоб пошла голова кругом от поцелуя этого. Думала — мимо пройдет, издали поглядит на него — сколько дней тут сидит, дожидается — не прошел ни разу — обидно Феничке.

Спать спозаранку ложилась, чтоб лишний раз глазами не встречаться с матерью, боялась, что взглянет она — по глазам узнает, а либо сама себя выдаст — не выдержит и зальется слезами крупными. И сны она видела странные, снился ей Николай, — идет, будто, по улице подле дома ихнего, а навстречу ему из-за угла Никодим, увидит его

Николай и потемнеет весь, а потом, от страха или еще от чего, глаза выпятит и как удавленник посинеет, а Никодим остановится, в упор на него глянет,— от этого взгляда и Николай до синевы темнеет, и глаза на лоб вылезают. Мучили Феничку сны эти,— под утро снились, а утром у ней грудь давило, точно камень лежал с острями — дышать не давал, и плакать хотелось ей и убежать, чтоб никого не видеть, и мысли вразброд — суетились беспомощно. И о мечтах своих позабыла — перед сном теперь не думалось о злосчастьях любви отверженной. И Афонька ей снился, и не кудластый, а ежиком путанным волосы острижены в скобку, и опять Николай перед Афонькою багровел и синел, и глаза выкатывал. Проснется она, и ясно вспоминается прошлогоднее лето, когда она с Марьей Карповной и с Афонькой подле мельницы монастырской у озера дожидались лодку с катающимися,— и почему-то теперь вспоминается Феничке, как Афонька хотел все за руки ее взять — она только смеялась, была еще девочка и не понимала, не чувствовала, зачем Афонька брал ее выше локтя, брал выше локтя потому, что она прятала назад их и прислонялась к Марье Карповне,— брал Афонька их выше локтя и перехватывал с двух сторон, наклоняясь к ее груди, к лицу почти, и до сих пор она помнила запах от подрясника, от волос его и дыхания: смешанный запах свечей восковых затушенных, ладана, масла лампадного и черного хлеба с луком свежим, и когда брал он ее за руки — чувствовала, как сползают, щекоча, широкие ладони грубые по локтям и берут за кисти и стараются расщепить цепкие пальцы ее,— помнит, как смеялась она — и смешно было, и щекотно, и Марья Карповна тоже смеялась, потому что когда его руки за спиной были Феничкиной, то будто нечаянно касались и ее около бедер и щекотали до нервности, от которой по всему телу дрожь разбегалась хохотом. И когда Афонька почти рознял руки Феничкины — к мельнице подходили катавшиеся, Николай подошел — красота послушник, и Афонька, и Феничка, и Марья Карповна, раскрасневшиеся от возни и хохота, застыдились как-то. Тут-то и Афонька, чтоб как-нибудь вывернуться, подозвал Николая и с Феничкой познакомил. Запомнился Феничке с того раза Николай черноглазый. Не пошел он знакомых молельщиков своих провожать, остался подле Фенички и, не говоря ни слова, выгреб корцом воду из лодки, выбросил стебли лилий, ряски, травы болотной и позвал Афоньку с Феничкой и Галкиной,

и почти ничего не говорил все время, а только поглядывал с улыбочкой хитрой на Феничку, отчего та все время краснела и старалась с Афонькой говорить,— ясно ей вспоминается эта встреча с Николаем, с этой встречи и Николай стал ходить к ним с Афонькой, и ей было приятно встречаться с ним, глядеть на его красоту иноческую. Сама она не знала почему, когда ей сны жуткие снились — вспоминался и тот день солнечный, и первая встреча с Николкою. Давило ей грудь мучительно невысказанным, боялась она матери высказать и любовь свою к Николаю, и, главное, о том, что в омуте она неизжитого и зовущего, и безысходного.

Ждала Феничка по утрам на скамейке подле монастырской дачки, что пройдет Николай, пройдет обязательно, и мучалась, и страдала, и боялась на глаза попасться матери. Одна только Марья Карповна знала, каково Феничке, да все караулила удобные минутки поговорить с Гракиной. В один день и решилась после обеда минутку урвать, а вышло так, что Николай сам поведал о любви своей матери, руки у ней просил Феничкиной. Может, этим все дело испортил, не дождавшись условленного с Галкиной, может, и дождался бы, да и приятель ему совет добрый дал самому пойти к Гракиной.

Угостил Николай Михаила вечером как-то за услугу дружескую и решил пойти проведать Афоньку, приятеля своего. Пришел к нему выпивши да еще и с собою принес полбутылки.

Подле прихожей игуменской каморка была, вроде кладовушки, с окном слуховым в сад монастырский, в этой каморке Афонька отлеживался с носом забинтованным и тоже о Феничке думал. Сколько времени не показывался он в монастыре, боялся, что братия разузнает правду — засмеет его, а тогда не только в этом году, но и в будущем стыдно ему показаться к дачникам, и отлеживался целыми днями в каморке полутемной, и целые дни, чтоб скучно не было, мух ловил, спать ему не дававших, — в коробку их изпод мармелада дешевенького складывал по счету и угольком на стенке изо дня в день число записывал.

Перед вечером только спокойно от мух ему, — лежит, закрывши глаза, подремывает и с какою-то злобой притупленной рисует себе Николку, как тот Феничку в лес повел и как он ей про любовь нашептывает — берет ее исподволь, и как только дойдет до того момента, когда Николка кладет ее на траву, так зайдет у него сердце

злобою. Досадует, что пришлось уступить ее Николаю, может и не уступил бы, да куда показаться с расщепленным носом, и ждал, что, может, придет кто сказать ему новость про Феничку с Николаем — подглядит, может, кто за ними в лесу из послушников и расскажет.

Не мог он забыть того дня, когда прошлым летом подле мельницы на бревнах играл с Феничкой, дразня Галкину: до сих пор и дыхание ее чувствует, антоновскими яблоками пахнущее, и запах волос и кожи вдыхает, как аромат вина крепкого, только сердце ухает в пустоту, как вспомнит, что не ему вино это выпить крепкое, а Николке жадному.

И теперь он лежит перед вечером, про Николку думал, а вошел он — обрадовался Афонька.

— Мириться к тебе пришел, Афонь,— теперь бы и тебе уступил ее, коли б знал, что ничего не выйдет из этого.

Афонька обрадовался, даже подумал, что не удалось Николке взять Феничку,— любопытно стало расспросить его, и с насмешечкой встретил его по-приятельски.

— Не дается тебе,— ну девка, а я думал — уж ты того — сколупнул ей печаточку.

И засмеялся смешком дробным, и смешок-то был тихенький, затаенный.

Николка насупился, не ответил Афоньке и молча на деревянный ящик сел из-под свечей и стал казенную посуду доставать из кармана.

— Тоска у меня, Афонь,— такая тоска... давай с тоски выпьем, не знаю сам, что и делать теперь.

— Эка, невидаль — не далась, другую найди, только меня из-за ней изуродовал — показаться куда — засмеют наши; игумен — и тот насчет этого, что я об камень в реке разбил,— не верит, слышал, должно, кто-нибудь, когда мы с тобой шумели — донес Савве. Ты вот про Феничку расскажи мне, про нее знать хочется. А что водчонки принес — спасибо, давно я не пил зелья этого.

Откупорил ее по-мужицки Афонька — об ладонь толкнул — пробка вылетела, пригубил, сощурившись.

— Так я, Никол, полежу,— одурел я тут, а ты рассказывай, по порядку, значит.

— Да что говорить-то?! Ягодки-то я собирал с нею, один-на-один собирал, и того, значит, было, как полагается,— не девка, а что твоя казенка белоголовая, дух от нее заходитя...

— Значит печать сколупнул? Ну, говори, что ль?

— Обабил ее...

— Ну?

— Вот тебе и ну. Она это в рев — утешил ее... Любит она — веревки из нее вить можно, да только проболталась она, Галкиной рассказала, ничего не выйдет. Я тебе, Афонь, по секрету, никому чтобы — ни-ни...

Крякнул Афонька, привстал даже, на локоть оперся и впился глазами в Николку — сверля его до нутра, точно хотел знать больше того, что за словами Николки таится в душе темной.

— Испугалась она, насчет ребеночка сказала, а мне и приди в голову, чтоб и взаправду он был, забрюхатила чтоб, тогда, может, верней будет, отдадут, может. Просил я ее про любовь нашу не говорить никому, а баба-то и узнала у ней по глазам, дока она — сразу разглядела глаза, та и не выдержала — девчонка! — испугалась и в слезы. Галкина вызывала меня, напустилась сперва, под конец только помочь обещала.

— Эта поможет — дожидайся! Отвязаться она от тебя хочет. Не верь ей. Как кошка блудлива, а такие, брат, ничего не сделают, напортят только...

И по-дружески будто Афонька говорить стал приятелю, наклонился к нему, шепотком, а у самого огоньки в глазах бегали злые — в темноте разглядеть не мог Николай огоньки эти в глазах прищуренных. Нарочно и посоветовал:

— Самому, Николай, нужно это дело обделать, не верь Галкиной, брехло баба, а ты после обедни, что ль, а либо подкарауль где, да и подойди к ней, к самой, к Гракиной, и расскажи, как на духу ей сознайся — разжалобить ее надо, только б разжалобить, а тогда и крой сразу, что-де Феничка, дочь ваша, жена мне, а я-де мужем ей буду, и теперь муж.

— С чего же начну говорить с ней? Ай, сразу что ль?

— Тебя-то учить с чего начинать?! Да хоть бы с того — разукрась ей житье прежнее и о будущем воспари ввысь, а потом и вали — выкладывай. А Галкиной этой — тебя замануть только, поводить за нос, а там и — свищи — лови, когда след простынет — уедут, и Фенички не видать.

— А правду ты говоришь? По-честному?!

— Я тебя, Николай, тож спрошу... Друг ты мне или нет?! Коли друг — верить должен. Ты не смотри, что подрались мы, мало ли что бывает между приятелями... Лютость во мне говорила, взревновал я — уступить не хотел. Как другу тебе говорю, к самой ты ступай.

До плеча дотронулся даже, в глаза ему заглянул глазами окаменевшими, и поверил ему Николай. Караулить стал Антонину Кирилловну — два дня бегал: то в скит, то к елке царственной, то на дальний колодезь основателя пустыни, то на пустыньку — во все места, куда дачники ходили прогуливаться, на трапезу не ходил, на братию не глядел. Обманывался сколько раз, покажется ему — идет Гракина, между сосен не распознать сразу, и давай бежать напрямик — потом остановится и зашагает к ней, подойти станет, раздосадует и опять назад.

Два дня ходил — отыскивал, и два дня тревожился о мечтах своих, — боялся, что уплывут от него капиталы Гракинские вместе с Феничкой, уж очень пожить ему захотелось, деньжонок скопить — к своим двугривенникам прибавить да и в банк — процентики получать, и не на Гракинские капиталы — на Предтечинские, не бегать за ними, как за ложками — сами к тебе пожалуют с уважением да с почетом.

Один раз побежал после трапезы на пустыньку глянуть — нет ли, — через Свинь по лавам с полотенчиком идет Гракина — прохлаждается, испулавшись.

Разулыбалась ему издали.

— К нам отчего не заходите, отец Николай?

Сама начала первая.

— Погулять бы куда нас сводили...

— Хотел я, было, Антонина Кирилловна, об одном деле поговорить с вами.

Сразу начал Николка — решился.

— Не успею сказать, назад бы немножко вернуться... а мне бы хотелось сейчас, а то в другой раз не решусь я...

Нахмурился Николай, точно слова изнутри выжимал каменные.

В заказник дубовый повернули, насторожилась Гракина, будто предчувствовала — пытливо ему в глаза заглядывала.

— Я как матери вам, как на духу — до капельки. Мать-то в гробу лежит и отца нету — сказать некому, так я вам. Из духовного я: деды, прадеды — протопопами благочиннили, а мой-то родитель — в бедности, горели два раза, оправиться не могли, тут и мать померла...

Задумался Николай, сломал ветку сухую, обламывал сучки, обгрызал и остановился, запутался, не знал, какие слова подобрать; точно суковинки изо рта сплевывал, точно они ему говорить мешали.

— Один ведь я, Антонина Кирилловна, один. Не по своей воле в монастырь пошел, епископ послал, службу учить велено, место мне обещал дать, а я-то тут сколько годов... — на восемнадцатом я пришел, и как в прорву. Не монах я... В болото попал, в трясину, — не выдерешься из ней. Все в прорву...

Ничего понять не могла Гракина — тревожно стало ей, думала, что просить ее хочет о чем-нибудь, либо в любви ей признаться, не про Феничку, а ей, вдове, молодой вдове — пожалела чтоб. И в самом деле жалко ей стало, видела ведь, что мучается человек, и не то, чтобы любовь, а жалость, бабья жалость, руку ему на плечо положила, сказала слово душевное.

— Ну да что у вас, что?! — пододвинулась даже, — говорите!..

— Феничку я люблю, уж так я люблю ее, Антонина Кирилловна...

Не положила бы руку на плечо — не сказал бы ей, а тут, точно дух перевел, вздохнул как-то всем телом и выпалил, и понес, как сорвавшись, боялся, что перебьет, говорить не даст. И о капиталах не думал, оттого и не думал, что говорить было трудно, а говорил искренно, может во всю жизнь так искренно говорил Николка только один раз, покоя ему захотелось, от сутолоки монастырской отдохнуть потянуло. Точно в промерзшем окне заиндевелом свет прорвался, и душу страдную на свет потянуло...

Гракина глаза удивленно на него вскинула, свет от зрачков его в ее брызнул и в сердце упал холодное и заледенел, камнем лег и от тяжести своей дыхание ей прервал. Молчала она, и глаза молчали холодные.

— С прошлого года покою себе не знал нигде, всю зиму во сне до весны снились косы да глаза. Дождаться не мог приезда вашего — сам я не свой хожу. Антонина Кирилловна, я бы сан принял, епископа попросить — место в городе даст, — на руках бы носил, и не нужно бы ничего было, только б Феничку. Нет, вы подождите, дайте сказать мне, я ведь сам знаю — монах, потаскун, дармоед, — молиться?.. Да может я и молиться бы научился в миру, а тут — жадность одна, мирская зависть. С прошлого лета я...

— Учиться ей надо, а не замуж...

— Антонина Кирилловна, учење-то ей ни к чему это, потому любовь важней всего, а ведь она...

— Девчонка!

— Коли б она не любила меня, а то ведь она любит, сказала, сама сказала, что всю жизнь любить будет, не томите вы нас...

— Сказала?.. Когда?!

— Да вот вы уезжали тут, без вас и сказала, катались мы, на лодке катались по озеру вдвоем!..

— Вдвоем?

— Ведь я как на духу теперь перед вами,— женой обещала быть, на всю жизнь, мне и капиталов не нужно...

Так вот и сказал Николка — капиталов не нужно, побоялся, что подумала Гракина — на капиталы польстился, и сказал, и передернуло Антонину Кирилловну от этих слов, потому с выкриком она вырвалась у Николки.

— Антонина Кирилловна, как жену полюбил и ребеночка, ежели будет, и его буду любить,— один ведь я, один и больше ее никого и на свете нет у меня теперь. Ведь жена она мне, перед богом жена, Феничка, до смерти, на всю жизнь жена...

Как щебень с горы дребезжали слова его в душе Гракиной, как лавина какая давила ей голову, и руки, отяжелев, опустились.

— Жена?..

И не смотря на него... с ужасом и на ты:

— Так ты ее погубил?! Посмел?

— От любви я, не силком, как на духу вам, как матери, теперь и я вам как сын, по-честному жить...

— По-честному?! Честь погубить?.. Феничку?.. Посмел? Ты?

Не взглянула, повернулась, перед глазами темно было, шатало всю — шла молча.

Вдогонку Николай, как пес, скулил жалобно:

— Как матери, как на духу я... Антонина Кирилловна — на всю жизнь, счастье ведь, ее счастье, наше... отдайте Феничку.

Обернулась она, и как прорвалось что, в пропасть ухнуло:

— Мерзавец! Слышишь ты,— мерзавец! Думаешь, грозиться буду? Жаловаться к игумену, к архиерею пойду?.. Жениться он!.. Сан принять. Без капиталов ему Феничку! Плюну я тебе в богомазную харю, и все тут.

И плюнула, глаза обдала слюною горькою и ушла опять.

Стоял Николай, думал, что конечно — теперь кончено. Не мать — камень. Не человек — зверь. Жадность лютая. Испугалась за капиталы свои, и в закоулке только где-то

в мозгу мелькнуло: а все-таки хорошо, что не будет жаловаться, и опять досада сверлила, — как на духу ей — всю душу, а она — мерзавец. Плюнула, в глаза плюнула.

Глаза протирал подрясником и от обиды стал злобствовать, — на траву лег, с корнями горстью выдергивал, отшвыривал. Зрачки загорались насмешкою, веки ширились.

Заскрипела мысль злобою.

— Пускай-ка теперь замуж ее выдаст?! Такую-то муж бить будет, — пускай-ка она ее на мучение отдаст. Пускай-ка, пускай! Она выдаст — капиталы помогут. За капиталы и бить не будет.

Думал, лежал, злобствовал, сам себя тешил словами злобными, а в душе все время скребло...

— Кончено. Вся жизнь кончена. Не удалось мне.

До вечера пролежал, дотемна и, крадучись через конский двор, по задам к Афоньке, и всю ночь пили горькую. Афонька с топчана встал, приятелю место свое уступил, уложил пьяненького, сам на полу подле топчана на зимнем подряснике развалился и радовался, что совет добрый дал.

Как в бреду просыпался Николка и с икотою, со слезами пьяными бормотал, захлебываясь:

— В глаза плюнула... На духу я ей — в глаза прямо. Оплевала всего. Отмыть бы... Афонь, отмыть надо, — плюнула, мерзавцем меня, а я ей душу всю, понимаешь ты — душу, а она плюнула. Как матери ей, — мать плюнула. Это она в нее, в Феничку...

Распочал Николка двугривеннички, с Афонькою, с приятелем, запил горькую.

А Гракина не помнила, как к даче пришла, и где шла, не помнила — не в себе вошла в комнату, — клокотало в ней все, только голос был ледяной, жесткий и слова от горя жесткие.

Марья Карповна с Феничкой чай пили с просфорками, с земляничкой.

Взглянула Галкина — поняла сразу все, приготовилась.

— Ты что это? Говори? Ну?!

Вплотную подошла к Феничке.

Заколотилось сердце у девки, руки похолодели — пот выступил.

— Выгоню паскудную. Спуталась! Говори — где?

И шепотом — голос пропал от страха:

— Маменька... маменька...

— Целовал тебя?

— Целовал...

— А еще что? Насильничал? Нет?! Сама! Ай не знаешь, что бывает от этого? Лишил невинности, говори!

— Сама я, люблю...

— Да ты еще отбредиваться?!

И по щекам, по обеим, обеими руками ее, размашисто, так что голова покачивалась из стороны в сторону. Загорелись щеки быстро, слезы брызнули, по щекам потекли градом и к ладоням налипали материным. Галкина из-за стола вскочила, бросилась отнимать Феничку.

— Не смей ее бить, не смей, не дам я — не смей. Ты меня лучше, меня. Моя вина, с меня спрашивай. Меня бей.

Над столом руками закрылась Феничка, чай остывший с земляничкой размятой пролила на стол с блюда, и по скатерти ручейки красок расплескались пятнами, точно слезы кровавые на стол падали от содроганий, от всхлипов Феничкиных.

Отошла Гракина, побоями облегчила душу свою, и безнадежно, без слез, каменно:

— Убереечь не смогла девушку... Тебе бы путаться с ними. За тем и едешь. Моя вина, сама знаю, что моя. Понадеялась. А с нею что делать, а? К бабкам водить, плод вытравлять, в Москву отвозить — будто гостить к тетушкам. Все равно ведь не спрячешь, не зашьешь прореху. Деньгами грех покрывать. Тож жених отыскался. В глаза ему плюнула, жениху этому. Протопопом быть хочет на капиталы наши. Не первую он ее. Не видать ему капиталов наших и девки ему не видать больше. Как добрый, подошел говорить о деле.

— Да ты на меня погляди, меня тож силком выдали — грех покрыли. Сама знаешь, как... Отдай ты ее. Любит ее, пускай любит. Приказчик у нас был, любилися... Помнишь ведь Тоня — сама надо мною разливалась, как братцы мои в чулане его придушили. Слышала я, охал Вася-то, всю ночь охал. Кончили б лучше, сразу б кончили, а то все почки отбили ему, а потом в беспамятстве на двор зимой выбросили. В месяц зачах. Выдали — потом выдали. Слезу проливали, что Вася-то мой помирает, — убийцы! Так ты не губи свою, слышь, не губи, Тоня. Меня тож вот старику отдали, — узмучает, разбередит всю, а не может от старости... так до утра-то и пролежишь затомленная, только подушку вымочишь всю. А утром попрекать — почему в невинности не пришла к нему. За всю жизнь свою радости не видела. Хоть бы слово сказал ласковое! Кроме

попрека-то весь век от него ничего не слышала. Тело-то что, его утолить можно, а вот душу-то, ее ничем не утолишь, душа мается. Ты не смотри, что я лясы точу, да с чужими баблюсь, не от радости я, а как пьяница, запой у меня такой бабий,— у других по-иному, а у меня свой запой, душу мне утолить хочется, чтоб не помнила ни о чем она в грехе прародительском. Отдай ты ее — пусть любятся. Жить-то один раз... Сама знаю, что моя вина, меня казни. Сама приезжаю сюда... Молиться, что ль?.. Тело свое утолить. Мать ты ей или мачеха?.. Молодого найдешь — бить будет.

И замолчала Галкина. Всю свою правду рассказала и умолкла.

Феничка тихо над столом всхлипывала, слипались глаза от слез, и не плакала, а текли они по щекам сами на рукавчики мокрые.

Поднялась Гракина и вслух высказала решенное:

— Завтра уедем мы! Там видно будет...

Без Галкиной Антонина Кирилловна с дочерью собралась наспех, на станции из вагона крикнула:

— Напишу тебе... Видно будет!.. Оставайся тут.

VII.

Осталась Галкина душу свою толить смрадную.

К обедне пошла, подле клироса стала, как с Николкою уговаривалась.

Еле дожидаться могла, когда обедню кончат, сердце от радости екало.

Кудрями потрянул, сбежал с солеи после креста,— к Галкиной.

— Твоя-то краля уехала, мать увезла сегодня с первым.

Глаза на нее выпучил.

— Да ты постой, погоди,— с братьями говорить будет, отдадут еще, может писать будет, заходи узнавать.

К приятелю побежал, к Афоньке, выслушал тот заспанный, и стали решать, судить да рядить. Афонька и вправду подумал, что выгорит у приятеля дельце начисто, призадумался, как ему быть, не в монастыре же вековать до старости.

— Никол, я с тобой пойду к Галкиной, обещал же ты не забыть меня, на хлеба взять вольные, может, и у меня что выйдет — попробую.

А сам думал, что помрет же старик Галкин, еще в прошлом году говорила, что не долго ждать; полюбила б только. Я уж ей по совести ужожу. Сколько их уезжало плакало, только допнуться, а там сама не отстанет да еще и полюбит, тогда все, что хочешь делай. Не долго ведь старику чужой век заживать, что ль, а не то и попасть чем можно — окочурится.

И Николке сказал:

— Не долго проживет старый и на мой век ее хватит. Так, что ли? Так ты заходи, делать так вместе, вместе и поедем в губернский к ним.

И только в глубине где-то (и не мысль даже, а так, вроде тумана будто) в голове полезло бессознательно, — и к Феничке ближе. Ходить к нему буду, к приятелю, к другу милому. Забыть того не могу, как на бревнах руки ее ловил, и будто невзначай Николаю сказал, чтоб рассеять у него подозрения, что не к Феничке он приставал, а заигрывал с Галкиной, — на будущее время рассеять хотел подозрение у приятеля и сказал:

— Помнишь, как в первый раз еще, когда ты с Феничкой познакомился, я и тогда начал гулять за Галкиной.

Только мысль скреблась тайная, точила ему сердце, как мышь, по капельке да по капельке и камень не выдержит, не то что сердце молодой бабенки, и подточу я у Фенички в свое время ее сердечко словами ласковыми. И приятелю невдомек будет, потому жить буду с Галкиной — в нос не клюнет, вот как... А Феничка-то должно ласковая, полюбит кого, что хочешь делай.

Уговорились приятели дело обделать, чтоб комар не подточил носу, и Мишку отшить условились по-келейному. И на горбину с пробоиной не поглядел Афонька рыжий, пошел к Галкиной. Не с первого чаепития начал купчиху ласкать, а полегонечку. Первые разы и Николка сидел вместе, только больше молчал, пригорюнившись, опечаленного из себя разыгрывал, утешения ждал — помощи.

Потом и письма приходил писать к Галкиной. И не в ящик просил бросать, что подле двора конского на столбе сосновом прибит, а на руки ему отдавать, потому соблазняется братия житием мирским богомольцев и дачников и не то что открыточки, а и клапаны у конвертов открывает искусно и прочитывает над огарком рукописание о делах и делишках, о любви многоскорбной и радостной и за особую плату и докладывает почтарь, кому из братии знать полагается, для провидения

чудотворного во врачевание душ удовлетворяемых. С покон века заведено так, — а игумену, как на духу, почтарь рассказывает с подробностями.

На станцию Николай бегал с письмами к почтовому, четыре версты гонял по болоту (боялся, что по дороге встретит еще кого — расспросы начнутся, тогда не открутишься) и дожидал не на станции (собственно не станция была, полустанок с одним подъездом, а называли станцией), а на противоположной стороне за щитами прятался; подойдет почтовый, вынырнет Николай, перескочит через площадку, письмо бросит в вагон — и назад: в суете незаметно было, мало ли по каким делам к поезду приходит братия. Отсидится в лесу, пока линейки монастырские не уедут с гостями, и опять лесом.

Один раз и ответа дождался, Антонина Кирилловна писала Галкиной:

«Машенька, друг мой, и делать не знаю что. Заговорила о Феничке с Алексеем, говорит, подожди Кирилла, старшего. Он и ученый у нас, и старший, и дела он ведет наши, — как он скажет. И ждатель-то не знаю сколько, потому с весны уехал он в Англию по делам нашим, на будущий год пеньку запродать хочет и машины собирается привезти шпагатные — сам выпускать фабрикат хочет, писал, что к Успенью будет. Хоть бы божья мать мне помогла. С Фенькой и делать не знаю что: целые дни молчит, ходит, в рот ничего не берет, говорит — тошнит ей, не идет пища в рот, воротит ее от всего. Не забеременела ли? Вот беда! Полюбился он ей, что ли, вправду?! Я уж, на нее глядя, на все согласна, да без брата, сама знаешь, не могу решить. Он хоть и по-новому все: и машины там, и фабрики, а как что — на старинку поглядывает. Ты поругай его, Николая-то: и девчонку, и меня измучил он».

И не на конский двор, не по адресу монастырскому ответ пришел, а на станцию — «до востребования». Шкапчик висел подле билетной кассы, зашнурованный проволокою, и ключик хранился от него у начальника, почтарь монастырский поглядит на письма, зубами пощелкает, а достать нельзя — дудки-с. Потому и написано было Галкиной по станционному адресу. Только и знал, что Николай с Афонькою.

Ответ пришел — зачистил Афонька к Галкиной, опоздать боялся, не прозевать окрутить бабенку лютую: потихонечку, полегонечку, с подходцем — возрыдал, заплакался о счастье земном и не то чтобы разжалобил

слабость женскую, — а решила Галкина закон преступить с иноком в послушании, напослед, перед отъездом, — недаром же прошлое лето за ней гулял. Мишка-то был от веселости невоздержанной, утолить с ним душу хотела и утолила, и не свою, а девичью, неповинную, а теперь в смятении горестном не только на весь год, до весны новой, а на всю жизнь зарекалась она не ездить в монастырь каяться, а согрешить перед святынею и закаяться, зарок дать в обители. Еще и потому напослед и в последний хотела, что точил ее червячок тайный, — на всю губернию среди купчих славился могутой неутомимой Афонька послушник, — любопытно было на Афоньке зарок дать. Тот возрыдал, восплакался, а она и поддалась будто, и пожалела его рыжевласого и не только душу свою утолила, но и сама утопла, на всю жизнь погрузилась в бездонное.

Через неделю домой собиралась, да и запоздала на две.

День за днем, да капля за каплей долбил ее Афонька, мозг заволакивал:

— Машенька, я бы последним дворником к тебе пошел, лишь бы с тобой быть, на тебя гладеть и не то что за деньги служить, а, как Лазарь, питался бы в конуре собакою, а работал бы — старику твоему угождал вот как!..

— Боюсь я, Афонечка, боюсь, милый — у старика глаз острый, чутьем чует...

От нежности растомленная Афонечкой звала и рыжие кудри гладила, в лесу лежа на мху бархатном, а у самой екало сердце думою, — а может и можно... Страшно: придушит Касьян и кончено. Сонную и придушит. А хорошо-то как с ним... Голова кругом. Попробовать разве?

И не выдержала — сказала:

— В чайную чем-нибудь, половым, что ли?

— За хлеб буду жить, только видеться.

А в нутре говорило ему, — подле Фенички буду. Придет она, непременно придет к Галкиной, а придет — и начну с этою.

Сам и уговорил потом Марью Карповну поехать, самой помочь Николаю, приятелю.

Напослед, как прощались, шептала ему и голос дрожал от страха, потому знала, что предает старика своего, мужа, нелюбимого пусть — зато пред господом, перед людьми всеми — обрекаю себя на муку вечную.

— Придешь наниматься к нему — говори, что в миру

соблюсти лик ангельский послушания монастырского
большой подвиг, чем в пустыню от людей скрыться.
Угодишь ему — говори так-то. Это его слова. Он говорит,
что в миру соблюсти себя от соблазна, во сто крат тяжелей,
чем в монастыре-то. Ты вот устой перед соблазнами, творя
молитву иноческую — и слава, и честь тебе. Говори,
Афонечка, что потрудиться хочешь. Угодишь ему —
сидельцем в трактир поставит, доверенным человеком
будешь, и никаким наветам не будет верить, а тогда мы
вольные будем. Николаю устрою я, с ним и приезжай
вместе.

Как зачумленная поехала Марья Карповна к Гракиной.

Стали приятели в путь готовиться.

Николка с утра до вечера ектеньи зудил: и про себя,
и вслух, и нараспев по-дьяконски, измусолил требник
весь — готовился.

По всей обители разнеслось:

— Николка в дьякона готовится, на купеческой, на
миллионщице жениться — плохо не думай.

За трапезу не ходил — смеялась братия, завидовала
и смеялась злобно. Пожитки свои собирал, пересматри-
вал, — про долги зимние вспомнил — ходил собирать
ложки монашеские. Встретит кого, подойдет и до келии
покоя не даст.

— Брать-то вы все мастера, а как отдавать — дудки!?

— Ты ж богатей скоро, на перинах валяться будешь,
в довольстве жить, — прости ты мне ложки эти, всего я пять
штук не отдал тебе.

— А мне-то задаром достались они, деньги-то эти? Ты
б сам заработать попробовал их, а то на хлебах
монастырских на гульбу только чужие тратить умеете!

— Так и ты ж хлеб монастырский жрал.

— Что я вам дался, что я монах, что ли? — я из
духовного звания, а вы сиволапые водохлебы тут,
привыкли зажиливать, так и думаете, что и я вам дался
такой же!

Женихом его братия звала, дьяконом, — запирается
в каморке стал, по целым дням никуда не ходил — выводил
только баритоном густым ектении разные, дотемна
нараспев выкрикивал. Мимо окон проходили насмешки,
Николаю покрикивали:

— Жених, не сорвись смотри...

— Лопнешь!..

— Отец диакон, с натуги воздух испортишь...

Вспомнил, что Васенька должен ложек пять штук,— в окно смотрел, караулил его, упустить боялся блаженного. Увидел его перед вечером раз, навстречу пошел, из келии выйти решился.

Васенька увидел Николая, головой затряс, руками замотал, побежал от него.

— Васенька, подожди!

— Сатана в тебе вонзился,— убегу от тебя, зловоние бесовское от тебя во образе смрада адова на меня нисходит,— камо убежу от тебя, камо пойду от лица сатанинского?

— Ложки отдай, слышишь ты, сволочь вонючая, пять штук отдай!..

— У леса убегу дремучие,— беса вижу в тебе — прилепился он в образе жены грешницы,— камнями побей ее очи змеиные, вырви уд твой, яко жало змеиное, и спасен будешь.

Кричал Васенька по монастырю сумеречному.

Монахи из келий на крылечки выбежали поглядеть — отчего кричит блаженный Вася, Николку увидели — загалдели сразу:

— Отец дьякон, ошибся малость...

— Это Васенька — невеста уехала!

Побежали через двор монастырский,— мимо пекарни неслись, Васенька шмыгнул в дверь открытую и запел оттуда:

— Се жених грядет во полунощи,— се жених грядет во полунощи, аки гад бесноватый.

Кулаки сжал Николка, а Васенька дверь прихлопнул, одну щелочку оставил и закричал напослед:

— Бес обуял тя, изгони его, изгони, Николаша,— обретешь рай небесный благодатью божьей...

Не решился в пекарню пойти Николка, кулаков побоялся крепких.

— Ложки отдай, паскуда!

И ушел опять в келию, и опять заперся, а спать ложился — попробовал, одет ли крючок на двери, на окнах задвижки закрыты ли,— боялся, что ночью ограбить придут, в последние дни и придут окаянные.

И в непогодь раннюю в августе, через двор конный крадучись, с котомкою ушел из монастыря Николка с приятелем в губернский к Феничке.

Письмо за два дня до ухода получил от Галкиной, и в письме написано: «Отец Николай, приезжайте, теперь

можно — дядя согласен; не один — с приятелем приезжайте, с отцом Афанасием, — скажите ему — и ему можно».

И написано было Николаю, чтоб не было подозрения в будущем на нее с Афонькою.

Подле станции под щитами товарного дожидались, когда на запасной поставят пропускать курьерский.

За двугривенный на площадке всю ночь тряслись, мокли до самого города.

VIII.

Дождалась Гракина братца своего старшего Кирилла Кирилловича и тоже не решалась ему рассказать про напасть-беду, ждала минуты удобной, чтоб под дух попасть.

На Феничку тот глядел, глядел да и заметил неладное с ней.

— Что у тебя, Феня, неразделенная любовь или больная чем?

За обедом спросил. Алексей Кириллович усмехнулся, на сестру глянул и в полусшепот, чтоб слышно было:

— Не могла в монастыре грехов отмолить...

Чуть не заплакала, скраснела девушка.

Антонина Кирилловна:

— Мне с тобой, Кирилл, поговорить нужно.

— Ну, так и есть — влюбилась племяннушка. Значит, на свадьбе гулять?!

Раскурил трубку с табачком душистым, перетерев его меж ладонями, и позвал в кабинет сестрицу.

Антонина Кирилловна, как вошла, — на что камень? — а прямо в слезы и не в бабьи, со всхлипами, а по-мужски заплакала — слеза за слезой из-под век покрасневших падала.

— Садись, говори, Тоня.

В кресло сел, по привычке ладонью по щекам провел — гладко ли выбрит. Спокойно ему рассказать хотела, а вышло вразброд; с одного на другое перескакивала, начала с середины, началом кончила, а про конец забыла:

— На даче в монастыре были. Прошлый год ездили. И опять поехали с Галкиной. Ты ее сам знаешь... С монахами погулять любит, а мне горе. За провизией на

три дня домой ездила. Приехали мы — на лодке катались с монахами, один красивый был, молодой. Певчий.

— Ну, и Феня влюбилась в него?.. Это не горе еще, на то она и девчонка!

— Приехать к нам хочет, руки просить.

— Монах? Руки просит Феничкиной?! Ну и потеха.

— Да это не горе, не это, а то, что, понимаешь ты, Галкина не уберегла ее. Сама — в лес гулять, а девчонку оставила. Он и сманил ее покататься на лодке. Женой она ему стала.

— А это вот хуже. Женой монаха!..

— Он из духовного, не монах — послушник. Если б попросить кого — дьякона получить бы мог...

— Феничка да дьяконица?!

— Так научи, что делать. Любит она его... Понимаешь?..

— Подожди, подумаю...

И опять трубку набивать стал табаком душистым и, прищурившись, выпускал клубы — думал.

— Вот что не девушка она — плохо, жаль Феню. Милая девушка, фантазерка, а милая.

— Я бы выдала ее за Николая этого, пусть живут. Я напишу ему, пусть приедет.

— Пусть приедет. Интересно поглядеть на претендента из духовного звания в образе инока. Он, что же, семинарию кончил?

Нет... Из училища. Хороший он...

— Ты сама не влюбилась ли?

— Тебе шутить только. Феня забеременела от него.

— Пусть приедет, посмотрим, а там видно будет.

А с Феничкой я сам поговорю.

Улыбался когда — глаза щурились и огоньки загорались от затаенной мысли.

Проводил сестру, в себя улыбнулся, сощурился, провел по щекам ладонями, в кресло сел, ноги вытянул — думал.

Потом встал резко, к столу подошел, и в чековую книжку — десять тысяч вписал, позвонил в контору.

По лестнице стрелой прибежал секретарь снизу.

— Получите завтра и телеграфом «Европейская» Петербург, Михайловская. Техник приедет — поставит машины, до меня не пускать — сам буду. Через десять дней дома. Все. Подождите... беговые мне заложить. На станции Степан лошадь примет.

И еще написал письмо. Полным титулом. «Госпоже начальнице Л...ской гимназии.

«Моя племянница Гракина к началу занятий явиться не может, ввиду осложнения аппендицита, требующего оперативного вмешательства.

Примите и прочее... К. Дракин».

Веселый из кабинета вышел и на старую половину, где не выходил ладан столетий и паутины дрожат по углам пыльным, а в коридоре от сундуков кованных махоркой с нафталином тянет и шуршат накрахмаленные юбки приживалки последней Евдокии Яковлевны. К Феничкиной подошел комнате.

В комнате белой с голубыми цветочками на обоях, с кисейными занавесочками — тоже с цветочками, в подушку уткнувшись белую, без слез и без мыслей с закрытыми глазами лежала Феничка.

Не отозвалась, когда стучал дядя.

Вошел.

— Ты спишь, Феня?

— Нет, дядя.

— Можно к тебе? Я тебе радость принес.

Приподнялась — золотая коса рассыпалась. Ждала и надеялась — разрешил дядя.

— Я и не знал, что у тебя жених есть. Будь счастлива. Только зачем же не есть, не пить? Фантазерка ты!.. Хочешь кататься?.. на беговых... Вся тоска пройдет, все от ветра захватит. Поедем?

Нерешительно, точно счастью своему не веря еще, без улыбки, одними заулыбавшимися глазами на дядюшку поглядела. Перекинула косу на плечо и нерешительно также прядь за прядью перебирать стала и быстрее, все быстрее заплетала косу, и от движения пальцев вся ожила.

Нежданный гость у ней дядюшка, да еще гость радости. Случалось — катал на беговых ее, да и то случайно, а так чтоб самому приходиться — не бывало этого, может обрадовать захотел?

Не верила...

А он подошел, положил на голову руку ласково, пахнущую и табаком английским, и ландышем, и еще прибавил:

— Позволил приехать к тебе.

И про то, что тошнота подступала к горлу тягучая, и про то забыла.

— Надень с горностаем шубку белую... далеко поедем... за город... еще дальше.

Пенька да канаты, мужики да деньги, трепальщики да машины,— а тут вспомнил о родной племяннице.

Антонина Кирилловна из окна глянула — на образ перекрестилась, вздохнула.

И за город на вожжах натянутых, во весь дух — день выпал золотой сентябрьский — дорога накатана...

Между ушами жеребца глядел и говорил, бросал слова коротко,— на ветру хватала:

— Дьяконицей будешь — не придется больше. Духовной особе не полагается. А хорошо,— простор-то какой? Правда?

Сам думал: «Чтоб за монаха отдать?! Никогда! Жадные низкопоклонники. Женится, а там подай деньги».

— Твое золото да к соболю?! Красота! Художнику любоваться...

Мысль своя, как шарманка заведенная.

— Через пять лет о миллиардах мечтать можно... Да чтоб отдать из дела куда? Кому б еще — монаху?! Хочешь портрет свой иметь?.. Знаешь — у меня приятель был, академию кончил — точно поэт — волосы выются, глаза черные... Видела ты когда-нибудь беретку? — беретку носил бархатную...

«Ни за что. Пусть лучше сама на баловство тратит, причуды выдумает, а выдумать нужно их — в обороте лишние. Молода, не истратит много».

— Дьяконицей будешь — нельзя будет. Наденут на тебя салоп, ребята куча,— деньги?.. На них не купишь волю. Ты еще ничего не видела, за морем не была. Хорошо за морем!... А дьяконицей просидишь весь век под оконушком. Соборную знаешь? Хороша?! — Твоя участь.

И заскребло, и защемило у Фенички, вспомнила, как Николай злился, когда сказала, что Марья Карповна знает все, и подумала: «Не посмел ударить тогда»:

Сердцем почувствовала, что мог бы, избить мог и сможет, а мысль допустить не хотела — не верила.

Кирилл Кириллыч свое долбит:

— Мне хочется иметь портрет твой: волосы золотые на меху черном и шелк зеленый.

Фантазировать стал, заманивать; и жеребцу отпустил вожжи — пошел шагом взмыленный. Засмеялся весело...

— Давай, Феничка, удерем с тобой.

— Куда, дядя?

— Куда хочешь! В Питер. А?.. Мать будет ждать —

пропали. Гонцов посылать — нету. А мы ей телеграмму срочную — в Питере веселимся.

И Феничке показалось с дядей удрать забавно.

— Последний раз ведь. Выйдешь замуж — не пустит муж, сама от ребят никуда не поедешь. Я говорю попросту. Ты, кажется, и теперь не одна. Так едем значит?

На часы посмотрел, подумал:

— За полчаса... доедем к курьерскому.

Понеслись с окриком на прохожих, на мужиков встречных.

Оглядывались, говорили вслед:

— С б́арышней...

— По-ученому обдирать может.

— Не чета старику.

Не ответила, согласилась Феничка, покорила словам дядиным. Вторым классом укатила в Питер. От езды сумасшедшей, от ветра дух перехватывающего, покачиваясь, заснула и до Твери не встала. И дядюшку закачало с улыбкою, на губах застывшею.

Через Знаменскую под звонки трамвайные на лихаче, по Невскому...

Растерялись глаза в сутолке, — примолкла Феничка.

В шелках, в обновках — от витрины в театр, с островов в музей — с дядюшкой.

Одно — тошнота мучила.

— Дьяконицей будешь — не увидишь Питера. Я бы на твоём месте отложил сводьбу, подождал бы. Выйдешь за дьякона — на курсы думать нечего. С семнадцати лет и на всю жизнь...

За ужином в зале светлом, на хрусталь с вином шурясь, пел дядюшка, подливая и ей розовой влаги, кружившей и путавшей желанья, мысли...

— Я тоже, когда студентом был — полюбил простушку, спасибо отец спас — на Кавказ погулять послал. Спасибо ему, говорю. Двадцать лет — молодости, — ни за что б пропал, а тебе семнадцать.

Дернулась, рот зажала платком, убежала в номер — остановить не могла спазмы.

Вернулась к столу побледневшая.

Всю неделю с утра до вечера подтачивал Кирилл Кириллович мысли Фенички, про курсы ей, про житье вольное. Бесшабашное, про любовь золотую свободную рассказывал, а под конец шепотом:

— Что же, Феня, все-таки будешь дьяконицей?

— Не знаю, дядя, сама не знаю. На курсы мне захотелось теперь, и его-то люблю,— жалко, себя жалко, не любви, а себя. Не умею сказать я...

— А ты отложи свадьбу. Может — ждать будет, а нет — будешь свободная, другого полюбишь, студента встретишь — со всей России здесь молодость жизнь празднует. Вот если бы твой Николай мог студентом быть?..

— Вот Петровский собирался.

— Так у тебя не один!.. Значит, и еще есть кого полюбить. Всегда вспоминается неожиданно и другой человек,— всегда так. Решено значит,— на курсы!..

— Только у меня вот... тошнит все время.

— Я тебе как племяннице, любя, скажу,— хочешь, не будет тошнить, и ничего не будет, понимаешь, и н и ч е г о , только скажи, что хочешь — я помогу, устрою.

Вырвалось, не думавши, вырвалось:

— Хочу, дядя!

На лихаче, вечером, на Васильевский, в особое заведение для секретных, за две с половиной тысячи, с удобствами, с пансионом полным и не по объявлению газетному, а по предварительной справке у специалиста врача — отвез дядя Феничку.

Поцеловал ее, даже перекрестить хотел, радуясь успешному завершению прогулки в Питер с племянницей, и пьяной вишни в шоколаде коробку сунул.

— Через две недели за тобой приеду.

На Николаевский, к скорому, даже английский не купил табаку,— пускать машины новые, о миллиарде мечтать; по дороге послал сестре срочную: «Еду, все хорошо».

На диване потягивался, не выпуская изо рта трубку, от Москвы в ресторан перешел и опять цифры, вычисления, расчеты и только сердце сильнее стучало...

«На полный капитал разверну дело. Гракинские да дракинские стасить цены на бирже будут. До замужества они должны быть общими, а потом отдам монастырскому дармоеду?.. Одна и пяти процентов, с чистого не истратит, а замуж не выйдет,— фантазия только».

Домой прилетел, к сестре прямо, на старую половину, не раздеваясь.

— А Феничка где?

— Оставил в лечебнице. Ты не волнуйся — прекрасно сделают. А любовь, что весенняя птица,— тепло — живет, а помянули края заморские — улетела осенью и не

вспомнит больше. На курсы захотелось. Свадьба отложена.

— Как же быть, приедет он, написала я.

— Пускай приезжает, любопытно поговорить с ним.

— Феня-то, Феня как?

— И телом и душой здорова будет — вылечу. Машины поставлены? Алексей — с людьми, я — с машинами. Электричество свое будет — динамо пустим. За Фенею — сам поеду.

Радовалась Антонина Кирилловна и плакала и от радости, и от горя; молча слушала Евдокию Яковлевну, одевшую траур по любви загубленной: платье черное кашемировое и косынку шелковую и не в накрахмаленной юбке ходила, чтоб не шуршать, не шуметь, не волновать благодетельницу. Вечером шепотком утешала скороговоркою:

— Со всеми бывает, матушка, такая уж жизнь человеческая — от сумы да от беды не давай зарока, а свою беду — выживешь. Не гневайтесь на меня, от всей души я... Такого найдем ей красавца, вроде братца вашего Кирилла Кирилловича, — ученого, питерского. Живучи, как кошки, мы, — сословие женское, уж так живучи!.. Перетерпится — перемелется, мука будет, из этой мучицы бражки наварим, жениха потчивать Феничкина. Не монашка чай, чтоб за инока выходить. Только вот напрасно, моя благодетельница, к доктору ее отвезли — помогают травки — ничего б не было, а то боль-то какую, муку примет, а травка бы безболезненно исцелила девушку. У меня и бабка была на примете — опытная, по купцам она больше; а все это братец ваш. Ну дай бог не без милости. Травкой бы лучше право...

И без травки настоенной, а положили на стол белый зачавшую в утробе девичей, прикрутили, распяв теплые ноги ремнями жесткими — не шелохнулась чтоб, не дернулась и вместе с кровью, с слизняком дышавшим, душу исполосовали Феничке, из нутра в лохань выплеснули.

Без боязни, покорная шла, не думала, что по-звериному завизжит, корчась: точно в душе скребли, выскабливали прокаленной сталью жизнь девичью.

Без кровинки на простынях недвижимая, безучастная: и Николай и Никодим Петровский как призраки мертвецов казались. Соседки шептались:

— Девочка... Измучилась — трех месяцев. Любовь — без жалости. А может быть, обманом?..

По ночам бредила.

Фельдшерница до утра в головах сидела... По секрету неспавшим рассказывала:

— Дядя привез. Богачи страшные... Миллионы.

— Неужели с дядею?

— Не знаю, ничего не знаю. Только страшные богачи. Должно быть — секрет. Из губернского привезли. Пенькой торгуют...

И целую ночь от скуки судачили — догадки строили, на другую ночь от болтливости про себя, про знакомых рассказывали полушепотом, а под конец — фельдшерница:

— Знала я пару... В одном доме мы жили... Дверь в дверь... В бедности жили, и я, и они-то тоже... Студент с бесприданницей. Хорошая была девушка, — как девушка была, тихая, такая покорная. Поженились только что. От венца ее привез прямо в эту комнату, — в подвальной жили, и сырость была, и темно — окна-то ниже земли, только и видно, как ноги шмыгают по мостовой. Привез от венца — подарочек ей... Кружку ей подарил промываться, в первую ж ночь, сам перед этим и воды нагрел и гвоздочек вбил над стенкою. Сама мне рассказывала... Прибежала как-то за горячей водой, а у самой веки красные. Зачем вам, Олечка, вода нужна? И не выдержала, на моей постели выплакалась, да сквозь слезы: милая, Марья Ивановна, не могу я так, понимаете, — не могу больше. Вы женщина, вы поймете — наболело тут, а сказать некому. Люблю его и не могу больше. По любви выходила, мечтала о жизни, — трудилась бы, только б ребеночка, одного бы. Потом пускай бы всю жизнь как хотела бы, за ребеночка б все позволила. А теперь заставляет меня воду греть, раньше сам... После венца мы пришли в комнату, попили чайку, смотрю — он еще греть воду. И не знала зачем, не понимала я... а как вынул кружку... и тут не поняла сразу, только жутко стало чего-то... Легли мы — ласково, хорошо было, любила ведь я его... А он — я покажу тебе, как надо. И огонь не тушил, при огне — стыдно было, только сперва я стыда не чувствовала — любила его, а когда любишь — нет стыда, а как встал потом... я, говорит, покажу тебе, как надо... хотела обнять его, приласкаться, заснуть рядышком, а он... сам... и воды перед этим нагрел, и сам... медик. Тут-то только и стыд почувствовала, и противно мне стало, его противно и своей

наготы перед ним... Марья Ивановна, ведь первую ночь так-то!.. И потом первое время грел сам воду. Как начнет... не раздевалась бы я, ушла бы... А теперь меня заставляет, меня... Перед тем как ложиться — скажет: Оля, воды нагрей; от слов его закаменю вся, люблю, а души нет у меня, из груди он у меня смысл дочиста, может и любви теперь никакой нет к нему, и с ним я — пластом лежу и потом — пластом, как хочешь, сам промывай, если нужно. Только воду теперь сама грею... Теперь — все равно, воду и самой греть можно... Как мертвая стала. А сегодня вот... у нас керосину нет, греть не на чем; так он к вам послал воды нагреть. Ему все равно!.. Хочу, говорит, любви твоей... И пошла к вам. Не выдержала, не могла больше, вы мне простите, Марья Ивановна... И не плакала уж, заикалась только, когда рассказывала. Я уже ей нагрела воды сама — как собачонка избитая — понесла ее.

Кончила — и тишина темная.

Никто не сказал ни слова...

Задумались...

И еще страшней бред Феничкин:

— На край света... Любви недостойн... дворец роскошный... В золотой парче... лилии на воде... Не богатство ищу... Никодим — непреклонная.. Ника! Ника... Николай... монах с кудрями... В последний раз — Коля. Поцелуй — в последний! Целовать в саду дивном... соловьи, цветы пышные... Рыцарь мой. Никого нет... и все, все!

На утро синева в глазах засветилась.

После обхода врач, с пушистой бородой, в пенсне, успокаивая себя, сказал вслух:

— Все хорошо, — был кризис, теперь жить будет.

Вместе с вином по глотку впивала силы — перерождалась.

В приемную вечером за племянницей с пьяными вишнями в коробке бархатной и под платочком шелковым — перстенок с рубином...

Через Васильевский мимо Исаакия по Невскому на бесшумном форде с веселой песенкой рожка шоферского на Михайловскую.

И лукаво, как женщина:

— Дядя Кирюша — жениху отказать решила, сама только, при вас — хорошо?! Помогать будете?..

— Расцелую тебя, моя умница. Проси чего хочешь?

— Есть хочю.

За фруктами после ужина оживившаяся:

— Теперь я ненавижу его, за все, за все ненавижу. Мне кажется, что я сама другая стала после этого... А жить буду — хочу жить.

Не договорив, поежилась — ощутила боль пережитую, вспомнила и, качнув головой вверх, точно решила что, весело и с расстановкою:

— А я, дя-дя Кирюша, на курсы по-е-ду... И знаете зачем?.. Жениха найду интересного. А главное — жить буду.

— Теперь ты свободная, твоя воля.

И опять с курьерским — на старую половину к матери, только не под занавески кисейные с цветочками, а под драпри тяжелое в новую комнату с электричеством, поближе к новой половине, на английский манер, дядюшки, и не сидеть взаперти монашеской — фантазерской, а звенеть смехом с подругами подле кабинета Кирилла Кириллыча.

IX.

На запасных путях на товарной станции, от вокзала за версту с площадки слезли с вагона товарного и в темноту между фонарями зажженных стрелок в подрясниках, с котомками, как у странников, пошли к городу.

В чайную, где люд перехожий греется.

Афонька вкрадчиво:

— Уж ты, Николай, свои трать.

Пальцами не показывали, а с удивлением поглядывали гости редкие.

Николай озирался, под столом котомку ногой все время щупал. По сторонам глядел, прислушивался.

В семь утра от гудка повалили трепальщики — галдеж подняли:

— Ну-ка мне, человек, чайку, дракинским,— слышь парочку.

Начатый разговор кончали...

— Дела!..

— Привез рыжего, не поймешь ничего, пальцами только тыкает. Смеху с ним.

— А сам укатил опять? За племянницей, значит! В Питер?

— Кучер мне сказывал, земляк мой,— велел, говорит, его он жеребца к беговым подать, а самому — на станцию. Да... Ну, хорошо... Ждал я, говорит, ждал — подлетает

с барышней. Выскочил, вожжи бросил, ссадил Феклу Тимофеевну (как перушко на руках поднял), на землю поставил. Носильщики его ему шапки долой, — на чай дает хорошо, и на ходу из кармана сотенную и — два, второй, в Питер. Мне это антиречно, чего дальше будет. Укатили — увез барышню. Потом говорит, сказывала мне одна женщина, — сестрица-то его, благодетельствует, по старинке, — так это Евдокия Яковлевна и сказывала, как отвозил я ее в шарабанчике в монастырь девичий, — спрашиваю, говорит, куда ж это барышня-то, Фекла Тимофеевна, с дядюшкой укатила, зачем же в Питер-то, и сказала она мне по секрету — лечиться будто, операцию делать — пиндицит резать, с лета еще привезла, как в монастыре гостила с мамашей да с Галкиной, с купчихою. А он и спроси, — какой же это такой пиндицит, — мешаночка-то его, Евдокия Яковлевна, с улыбочкой ему, — какой от вашего брата у девушек неразумных пиндицит бывает, — знамо какой — скидывать будет в Питере.

— Ну, и дядюшка, — до всего мастер.

Афонька прислушался, Николая ногой под столом поталкивал.

— Слышишь?

— Уехала, слышу.

— Как же ты теперь?

— «Сама» писала приезжать мне, пойду.

— Ты расспроси у этих, — может, еще что знают, чтобы наперед знал, что говорить нужно.

Николка и стал приглядываться, в упор смотреть на трепальщиков, и те на него уставились.

Тех все равно кто подталдыкивал заговорить с монахами.

— Вы что за отцы, по какому делу? Откуда, а?

— Из пустыни...

— То-то у вас проходу нет честным девушкам? Уж не вы ли так-то купеческих дочерей в грех вводите?

Да на всю чайную, так что все уставились на Николку с Афонькою. Не ждали они — скраснели. Николай даже за котомку свою ухватился; соседи и это заметили.

Загототала чайная.

— Да ты, отец, не спеши, Расскажи-ка про подвиги?! А?! Как было дело с Гракиной. Ну-ка!

Николай Афоньку толкал, шептал встревоженный:

— Пойдем, как бы чего не вышло — народ аховый, — пойдем Афонь?

И не дождавшись — котомку схватил — и к двери. Половой за ним:

— Отец, а платить-то, — забыл, что ли?..

Кричали трепальщики:

— Перепугался маленько, пушай идет, заплатим.

Еле из дверей выскочили, улюлюкали вслед хохотом.

За угол повернули — деваться некуда.

В мелочной лавочке спросили, где переночевать можно.

На вдову казали на Ситной.

Николай до утра не заснул — не мог понять, отчего же это Феничка в Питер уехала, — духом пал.

— Неужели не отдадут?! А звала!.. Писала — брат согласен, — взял да и увез ее. Как же так? Ждала и уехала. И насчет ребеночка тоже — операция.

Высчитывать стал — сколько месяцев, и решил, что трех нельзя скинуть. Сам не знал, отчего решил так, — для успокоения, должно быть.

И чаю не пил — побежал к Гракиной и не с парадного, а во двор вошел и по сторонам стал оглядывать.

И опять навстречу трепальщик, что вчера в чайной его на смех поднял.

Как к знакомому подошел.

— Здорово, отец, — ты что?

— По делу мне, к Антонине Кирилловне.

— Уж и в самом деле — не ты ли? Смотри, отец!.. Вчера это к слову пришлось, а ты и вот он, точно накликал тебе. Ты б с главного, а? Верней будет. А барышни-то нету нашей... Да ты что, как воды в рот набрал! Не то ребят позову, — поглядим кто такой.

Задом пятится Николай к воротам и слышит, как на резинках подъезжает кто-то.

Разулыбался мужик, замолчал, шапку скинул. Оглянулся Николай — Феничка: шапка соболя, шубка белая, — задрожало сердце.

И, не боясь уже трепальщика, навстречу к ней, как к знакомой, как к своей, к близкой.

— Фекла Тимофеевна, здравствуйте, — а я к вам!..

— Дядя Кирюша, это отец Николай...

— Очень приятно встретиться. Значит, приехали?..

И от безнадежности, нерешительности — к нахальству развязанному — напропалую — напролом — будь что будет — один конец, почувствовал просто, должно быть, что не то что протопопом, и дьячком не придется быть в городе.

Но даже в развязанности нахальной боялся Кирилла

Кирилловича, и не его, может быть, а внешнего вида — выбрит иссиня, под сухими губами усы подстрижены и вечная трубка, — говорил — в левый угол трубку и, опустив правый угол нижней губы, отчего казался и рот покосившимся, с придыханием бурлили слова горлом, а из-под широкого козырька кепки — остриями глаза сверлили.

Вперед его пропустил с Феничкой.

По лестнице в новую половину с парадного поднялись: в скуфейке бархатной, несмотря на холод, в том же подряснике люстриновом и — в белой шубке и шапочке: одного роста, а казалось, что Николай выше — сутулый и длинный в черном, и рядом, неузнаная, иная — в белом вся и от белого — легкая и живая — худенькая.

Даже боялся нечаянно задеть подрясником, не упала чтоб, не запачкалась.

И не знали, что говорить: почувствовал Николай, что иная теперь, чужая, совсем чужая, и все-таки шел, напролом шел, трусливая злость подымалась в душе, не на нее даже, а на неизвестное, путь ему преградившее.

Испуганно как-то, торопясь, шепнул:

— Феничка!..

Не ответила, не взглянула, только голову опустила ниже, а потом побежала быстро, быстро, точно боялась, что в темноте схватит и не отпустит, измучает, как в лесу летом мучал ласкою, и на лету, матери встретившей, с хохотом:

— Маменька, я с женихом, жениха привезла с собой.

— Еще какого жениха нашла?

— Отца Николая, маменька.

Скуфейку в карман сунул, пятерней по волосам провел и озираясь, как затравленный неожиданным смехом Фенички, у дверной притолки остановился в гостиной.

С грязью налипшею на сапогах нечищенных (от растерянности забыл вытереть), так топтался на месте, два шлепка сбросил на ковер старинный.

От обстановки не купеческой, а дворянской (сам Кирилл Кириллович из Москвы привез) оробел еще больше.

Точно толкнул кто сзади:

— Не стесняйтесь, отец Николай, — жениху стесняться не полагается.

И опять, точно от слов этих, с развязным нахальством и до конца уже так, до последней минуты.

— Антонина Кирилловна, мне поговорить нужно с Феничкой.

Дядя ответил, Кирилл Кириллович:

— С Феничкой?! Хорошо. Она придет сейчас. Пойдем, Тоня, не будем мешать.

Посреди комнаты, в тишине, один — дышать даже трудно было и каждый толчок сердца, как бесконечное тиканье маятника, длился смертно.

С высокой прической уже коронкою, с напущенными завитками волос на висках к ушам пышными и углубленными глазами от пережитого и не девочка, а женщина, и не та, что в монастыре плакала, на скамейке подле дач со слезами землянику евшая, а смеющаяся (плевок жизни) всему, переступив пропасть, выбежала к Николаю.

— Я не ждала вас, отец Николай, и не думала, что приедете к нам. Вы зачем к нам в город?

— К тебе, Феня, теперь совсем, — из монастыря ушел.

— Монахом, значит, не будете больше, да? Да вы сядьте, и я тоже сяду. Я на диван, а вы — в кресло, у нас протоирей всегда садится в кресло.

— Мать твоя написала, что дядя согласен. Завтра я к епископу, просить благословения место занять в городе дьяконское. Будто не понимаешь, зачем приехал?! Феничка...

Приподнялся, протянул руки, обнять хотел, поцеловать ее.

— Не трогайте, не смейте. Я вам чужая — не люблю больше и не любила, знайте — не любила, обманом взяли меня.

— Как же так обманом? Я женюсь и дядя согласен, и мать написала.

— Зато я ничего не писала. А теперь говорю — уходите, отец Николай, не люблю... хотите знать — ненавижу!

— Да ведь ты не невеста — жена мне, а я муж твой, а муж все может... Я прощу, все прощу... Беременна, да? Говори, слышишь, говори мне! А то ведь я прикажу. Приказываю. Муж я!

— Никто мне теперь приказать не смеет. И не жена я теперь — нет ребенка. Говорите о другом, о чем хотите, не смейте на «ты» называть. Или сейчас же уходите от нас, — слышите, отец Николай, сейчас уходите!

Сердце рвалось от злобы, на последнее решился, как в омут бросился.

За плечи взять хотел — оттолкнула, хотела убежать — схватил за талию и, не рассчитав силы, опять на диван села, падая, он упал на колени и, все еще держа руками ее, точно всползти пытался и между руками хотел просунуть

на грудь к ней голову и без звука, без слов, одними движениями короткими боролись, и когда лбом локти разжал ей — откочнулась вся, сползая на пол, и одним движением в лицо ему вытянутыми руками ударила и сжала скулы его пальцами, закрыв глаза ему, — от боли опустил руки и, точно хватаясь за что придется, чтоб не упасть, — ноги схватил руками под коленками.

И от щекотки, истерично смеясь, крикнула:

— Дядя Кирюша, спасите!

Отскочил Николай, на кресло сел. Багровели щеки от следов ногтей врезавшихся.

Дракин вошел, Кирилл Кириллыч, — не торопясь, спокойно.

— Дядюшка, он за ноги меня хватает.

Ни слова не говоря, подошел к Николаю с кулаками сжатыми.

— Уведите вы его отсюда, дядя!

Глазами на дверь показал молча.

И еще острее в Николае злоба.

— Она мне жена. Хозяин я ей. Не мешать нам. Что хочу с нею делаю.

— Так ты еще тут разговаривать?!

И точно мысль промелькнула, родилась идея у инженера Дракина.

— Феня, пойди позвони в контору, все равно кого.

Николай глухо и зло:

— Пойду я...

— Никуда не пойдешь. Сядь в кресло. Ну?!

Правым углом рта говорил, дымя беспрерывно трубкою.

Какому-то счетоводу вбежавшему, коротко:

— Послать понадежнее двух трепачей сюда, живо!

Те самые и оказались надежными, что в чайной на смех подняли, один-то из них еще на дворе Николая признал и за ворота выставил.

— Вот этого на вокзал отвезти, билет ему взять и отвезти в монастырь (в пустынь), игумену сдать на руки. Понимаете?.. Да чтоб!.. Письмо ему от меня передать это.

Трепальщикам письмо передал и на проезд деньги.

И зло, и беспомощно жалко закричал Николай фистулой, срываясь:

— А ты, а ты не жена больше, проклиною тебя, проклиною! Гадина ты! Ребенка моего скинула, теперь знаю я, зачем в Питер ездила. Потаскухой быть хочешь!

И уже не к инженеру Кирилл Кирилловичу, в том же

тоне, захлебываясь, обратился, а к мужикам-трепальщикам, порываясь бежать к двери:

— Что я разбойник какой, грабитель, с провожатыми, с полицией меня провожать, я ведь хотел по-честному, — когда целовал ее — говорила, что любит, в лесу говорила, бог слышал, и ребеночка сама хотела, никому не верьте, что я хотел, она его выпросила, а потом убила его, слышите — сама убила, а вот этот помог, черт помог, сатана этот! Я и сам уйду!..

Все это скороговоркою, с выкриком, до истерики, и когда Кирилл Кириллыч молча мужикам показал на него — набросился, почти с плачем, растерянно:

— Да я квартиру снял в городе...

— Квартіру?..

— Вперед заплатил, имущество мое там, нельзя же так — потратился я на поездку, за квартиру, хоть вещи-то , взять, одежду.

И, точно боясь испачкаться, выхватил из бумажника Кирилл Кириллыч сотенную и швырнул ее, смятую, Николаю.

— Без разговоров на вокзал ведите, а будет безобразничать по дороге — поучите его.

Потом к Николаю:

— А ты смотри у меня, в Соловки запрячу. Ну, марш!

И к мужикам опять:

— Да чтоб ни гу-гу, — слышите?

— Это мы понимаем... Спокойны будьте!

— Ну-ка, отец, пойдем!

Под руки взяли, порывался из кармана скуфейку достать и рукой дергал.

Проклинать начал Феничку, вскочила, отбежала к двери и, точно цепляясь за что, к притолке прислонилась и ладонями оперлась, тяжело дыша, и закаменела, откинув назад голову, расширенными глазами, стекло-видными, глядела куда-то в стену.

Уходя, закричал ей в прихожей:

— Проклинаю тебя! Проклятая!

И этот крик дикий, разбудил в ней смех всхлипывающий, закатистый.

Кирилл Кириллыч, точно вспомнив что, быстро пошел в прихожую и по лестнице вниз крикнул:

— Зайдите на квартиру с ним, пусть вещи возьмет, черт с ним!

Повели его мужики, пересмеиваясь, переглядываясь.

С последним выкриком напряженным потерял Николай силы и безучастно шел, куда вели подталкивая.

Спросили его:

— За вешшами пойдешь, што ль?..

— Пойду.

— Так веди,— куда знаешь.

И чем ближе подходил к домику вдовы машиниста в слободе привокзальной, тем больше не хотелось показываться на глаза Афоньке, на позор себя выставлять перед приятелем, на посмешище, а все-таки шел — расстаться с ложками жаль было, с подарками купчих-молельщиц — с колечками, с перстеньками, с брошками разными — камушками,— годами их собирал, богатство нажил на жизнь вольную. Про ложки подумал, что пригодятся еще на будущее, а подарки жаль было — прежде всего — золото, а второе — взглянет на какой — купчиха вспомнится богомольная, сердобольная, немощная податливости на кудри его волнистые. От Фенички только ничего не осталось на память, не вещичку хотел получить от ней, а капиталы гракинские, да не удалось, сорвалось место поповское, житье вольное. Как прибитый пес, шел понурясь.

В домик вошли — хозяйка навстречу:

— Ваш-то приятель сошел от нас.

— Как сошел?!

— Говорил, что место получил в городе и пожитки с собою взял.

— Котомка моя должна быть.

— Ничего не оставил, ничевошеньки, с собою унес все, велел сказать, коли отец Николай вернется, скажите, мол, он знает, куда пошел, и за комнату заплатил дочиста. А про вас говорил, что вы прямо к нему пойдете, такой у вас уговор был. Извольте сами, батюшка, посмотреть в комнате — ничего нет, все с собою взяла отец Афанасий.

Огорошило Николая, забежал в комнатушку, под столом, под постелями поглядел, одеяла подымал — тряслись руки, не верил, не хотел верить, что последнее достояние утащил Афонька, оползал углы все, закоулки — нет котомки.

Мужиков-трепальщиков,— глядит,— смех разбирает.

— Чего уж там, отец,— пойдём, видно.

— Пропало твое дело, совсем пропало,— приятель-то у тебя хороший, видно.

— Одно слово, что один, что другой,— пара!..

— Пустите меня, сбегая, отыщу его, знаю, где он — пошел к Галкиной.

— К кому?..

— К купчихе, к Галкиной.

— Так вы, тово, по купцам промышляете?.. Занятие!..

— Ей богу вернусь, — пустите, в один миг сбегая.

— Ну, нет, отец, нам тоже ответ держать — не велено.

— Боже ты мой, а я-то глядела что, и не знала, кабы знала, ни за что не пустила бы, городского б крикнула, а не выпустила б. Он-то, как добрый, — приятелю, говорит, передайте, хозяйшка, к знакомым я — отец Николай хорошо знает куда идти.

— Пустите меня, сотенную вам отдам, только б найти его.

— У тебя что ж там такое?

— Ложки... вещицы разные.

— И сотни не жалко... ишь, ты ведь как, — должно, вещицы?! Все-таки не можем пустить — не велено, у нас анжинер беда, — человек сурьезный, — нам тоже хлеб есть.

— Сто рублей дам, понимаете — сто!

И скомканную бумажку из кармана достал, тому, что со двора собирался гнать, совал в руку. Хозяйка руками всплескивала, охала:

— Пустите его, сто рублей вам дает — не валяются на земле, я б взяла... годились бы, уж вот как годились бы денежки эти, вам и греха-то не будет...

— Собирайся, отец, а то уведем силою, — не велено. Видал барина?.. То-то.

А другой за руку без разговоров взял:

— Ну-ка, пойдем, что ли!

И повел из комнаты.

Кричать Николай хотел...

— Посмей только! А то и проучим тебя, у нас недолго его.

— Тоже купцы?! Сволочи!.. И девка-то ихняя...

— Ты не тронь ее!.. Ишь, соколик, какой?! Иди, куда говорят...

Поджав губы, хозяйшка, как горох сыпала, — раскудахталась.

И повели, повели его с зуботычиной, в потылицу подталкивая.

Присмирел Николай, видел — не в шулки трепачи, говорят, надежные. На станции в сутолоке не спускали глаз с него, на платформу вывели, — один с Николаем, другой за билетами, на дорогу калачей купил.

В вагон посадили — беспомощно ногти обкусывал, в уголок отвертывался — намокали глаза, краснея...

А Феничка целый день не находила места себе, точно в пустоте из угла в угол по всему дому ходила, как потерянная: сама не знала, что лучше б было — ненавидя жить дьяконицей или о жизни мечтать вольной, питерской, — хорошо жить, когда жизнь не узнала, когда она манит неразгаданным, телом, еще греха не вкусившим, тогда все пути ровные, по какому ни пойдешь — все прямые: ведут в обитель, преисполненную тайны любви непознанной, а нет тайн — и любви не будет: — пустота, жизнь потерянная, не жизнь, а призраки.

Ложилась — дрожала всем телом, хранившим еще в себе звук голоса Николая: оттого и дрожало оно, — был близким и звучал, во всю проникая, голос его в минуты жуткие, когда и кровь звучит голосом близкого и на всю жизнь, до смерти, хранит его. И сегодня, когда о любви молил, — хотя и знала, что не любит его, а сказал только слово, и проснулась волна ответная. Всем телом дрожала.

Легла и заплакала.

Днем смеялась над ним, а ночью плакала и не о счастье потерянном, не о любви, которой и вовсе-то не было, — была только фантазия, воображение книжное, а об распятой душе, и теле, оскопленных прокаленной сталью, потому знала, вся чувствовала — не видать, не узнать счастья, не отдать души чистоте ясной ложа брачного с грядущим ей в жизни человеком.

И свечка дотлела и сероватыми окна стали — не спала, от слез в забытьи до утра лежала.

МИРСКОЕ
СТРАНСТВИЕ

I.



Николай за дверь, Афонька ее на щеколдочку, да еще, постояв минуту, послушал — не идет ли кто, хозяйки нет ли. И прямо за котомку приятеля своего. С утра раннего на нее поглядывал, потому и поглядывал, что Николай ночью два раза вставал, ощупывал ее. Когда спички искал по памяти, на столе шаря, разбудил Афоньку, только тот, притворился, что спит, любопытно было, зачем такое приятель котомку смотрит, а тот открыл ее, даже и руку засунул, попробовал — на месте ли все, цело ли, и загремел ложками деревянными, а потом будто зазвенело что-то, — показалось Афоньке, что зазвенело что-то; лежал, думал: «Ишь ты, ведь сколько набрал ложек, две недели ходил за ними, собирал у братии, и не одни, должно, у него ложечки, еще что-то звенит».

А когда второй раз Николай вставал и опять в котомку лазил и опять разбудил приятеля — Афонька и решил:

«Так и есть, не одни у него ложки. Только что...

Поглядеть бы...».

Утром встал Николка, собираться начал к Гракиной, от волнения и на котомку свою не взглянул, о встрече с невестой думал, о том, сколько просить приданного,

прикидывал в голове сумму и округлял ее постепенно, пока не дошел до ста тысяч. Под конец только попросил приглядеть за котомкою. Ночью и в голову не пришло подсчитать приданное, потому напугали его в чайной трепальщики, еще там имущество свое потерять боялся, с этим чувством и лег спать, и просыпался — казалось, что сидит в чайной, спросонья, и к котомке два раза кидался...

Не спеша, Афонька подошел к котомке, а все прислушивался, — поднял ее, на стул положил, отстегнул ремешки — выперло. Ложки высыпал, тряпье вынул и на самом дне, в белье, в кружевах, запутался и опять, как ночью, звякнуло.

«Вот это и есть самое. Кружавчики-то зачем только...».

Вытягивать стал — за крючок зацепился — полотно затрещало — перстенок выкатился.

«Ишь ты, ведь, какая у него штучка».

И развертывать стал — рубашка женская, батист чистый, валансьен кружево — метка выпорота.

— С кого ж это он снял ее?.. На память берег, видно. Ну и Николка — забавник.

За перстеньком и еще такое ж, с камушками, браслетки с бирюзой, с жемчугом.

— Это и мне пригодится про черный день. У того теперь приданное — капиталы будут, а мне пока и того хватит про черный день. А черные дни у меня будут, может и не угадаешь, как придут они, да и теперь — на авось, на авось пришел к Машеньке, а перстеньки да браслетки забавные... должно, деньги плачены и работа ж — тож делать, и выкручивали фестончики, завиточки... забавные.

Вещицы разглядывал, разбирал, а где-то внутри толкало:

— Все равно не отдадут за него Гракину. У нас они все добрые, а придут домой — монах, мол, — не отдадут. Коли еще и дядюшка взялся — и думать ему нечего о Феничке.

И опять где-то шептало тайное:

— Не отдадут ее — еще может и встретимся. Галкина-то верней будет. А только и мне уходить надо. Котомочку-то прихвачу, годится — не оставляю ему, еще наживет красотой своею. Перебуду на постоялом где-нибудь, деньков пять, — не найдет, с тем и останется. Потом и к Галкиной можно будет, к старику ее понаведаюсь.

Собирался дней через пять, чтоб следы замести с котомкою, а знал, что сейчас пойдет, из каморки мещанской выйдет на улицу, дохнет свежим воздухом

и пойдет на базар перед окнами потолкаться, себя показать Машеньке, — увидит — не выдержит.

Пособрал вещицы опять, закатал в рубашку ту же, положил все, расчесал кудлы рыжие и позвал хозяйку: за двоих расплатился — понес котомку.

Не было у Афоньки подарочков от купчих богомольных, не выпрашивал себе памятки, не обдаривал всех домоладцев ложками, а попросту — заведет в лес темный, и все тут, — знал, что такая про него у купчих слава: рост высокий, нос горбиной, непомерно сила неудержимая в любви плотской, и заводил наверняк в лес темный, потому и наверняк, что каждая, когда шла, — знала, за чем идет. Подарков на память не брал, не выпрашивал, а ел да пил вволю, чтоб силы своей не терять православной. Бывало, и дочек заманивал, и это случалось, зато уж тогда отдавался весь, с ума сходил от любви дикой, на руках носил по лесу, зацеловывал. Все равно знал — не видать ему женой девушку. И о богатстве не мечтал, жил себе с пятнадцати лет в монастыре, в пустыне Симеоновой.

Если б не Николай, не приятель, может, и до старости бы монахом дожил, а собрался приятель в мирское странствование, и самого потянуло на волю, глянуть — житейское перейти море. К тому же и Галкина подвернулась — не упустил случая и окрутил бабу, дыхнуть ей не дал — затомил ласкою. Сама позвала, а уж если позовет баба при муже старом, да еще купеческая, — сдержит слово, не даст пропасть с голоду, потому от силы мужской не потянет к старому, а привяжется к молодому вся и телом, и душой, и мыслью. И пошел за ней, за Машенькой Галкиной, в большой город преодолеть пути странствия и причалить на ладье утлой к берегу благополучия своего.

За ночлег расплатился — пошел искать трактир Галкина.

На сенной площади в неделю три дня сутолока: в понедельник на ларях, да в лабазах, что в стороне площади подле хлебных ссыпок Собакинских, до обеда торг мелочной для приезжих из деревень ближних всякой овощью, крик, да кудахтанье, поросячий визг; по средам — подле трактира и красной лавки с бакалеей Галкина — скот ревет, ржут лошади, прасола о зипуны, о поддевки мужицкие руками хлопают, а в пятницу подле весов городских посреди площади сено да солону с телег растрясаят.

В среду Афонька, будто закусить, чайку напитокся,

в трактир зашел Галкина,— пришлось так. Сперва под окнами помотался, заглядывал — не увидать бы Машеньку, да с улицы днем ничего кроме занавесок да цветов на окнах,— может, и видала, да ему неведомо.

Всякого народу набилось в трактир в день базарный, и не заметили его в углушку заднем. А ему все видно, и от двери совсем близко, что не то во двор, не то кухню, не то еще куда вела. Заманула его дверь эта и сел подле нее в уголку за столик,— заскрипит блок, и Афонька повернет голову.

Боялся только, не пришел бы Николай, приятель,— еще и поэтому забился в угол.

Мотались половые с закуской горячею — моталась голова Афонькина.

И стряпуха выбегала к прилавку два раза за приправую к приказчику и на его кудлы поглядела рыжие,— ухмыльнулась ему — смешон больно.

А потом какая-то, точно барышня, выбежала, этак глазами на него морг и тож с улыбочкой,— стала у двери отворенной и пальчиком его поманила, и головой мотнула даже — показала: иди, мол.

Поерзал на стуле, по сторонам поглядел — не заметили ль и тоже ей головой мотнул,— сейчас, мол, приду, подождите капельку.

Без слов поняла, за дверью стала.

Один только и заметил сиделец-приказчик: потому хоть и два у него глаза, а во все стороны смотрит — на каждого, такой закон — на всех глядеть сразу и все видеть.

Ну, там стряпка еще зачем придет, а то — сверху горничная, ей-то зачем? — должно, не без дела послана. И не глядел на нее, а видел, как монаха кудластого поманила пальчиком.

— К самой, значит...

Сообразил сразу и подумал тут же:

— Сам-то в лавке сидит за кассою, так она через двор послала,— баба.

Нырнул Афонька в дверь, скрипнула блоком,— не пошевелился сиделец, будто и не было ничего.

— Марья Карповна вас позвать велела.

Мимо кухни по темному коридорчику и по крутой лестнице деревянной повела наверх.

Отлегло на душе у него.

— Николка-то струсит, не пойдет узнавать к самой,

побойтся старого, — а раз позвала — не найдет теперь, дудки-с.

Пока взбирался по лестнице, и барышню расспросил эту, на всякий случай:

— А вы чем же будете у Марьи Карповны?

— В комнатах я — за горничную.

Про себя подумал:

— Может, еще пригодится зачем...

И не в комнаты повела, а через кухню опять коридором каким-то в боковую, где ненужные вещи складывали — старье всякое, мебель ломаную, сундуки изъеденные без петель, без крышек.

— Подождите тут, сейчас придет...

Не улыбнулась — повела только, уходя, глазами хитро.

— Знать не знаю, зачем позвала тебя, а раз по секрету — значит, не без греха тут! Недаром торопила в трактир сходить привести, если сидит рыжеволосый, нос горбиной проломленный, и старику не велела сказывать.

В капоте вошла, колыхалась вся.

И, не думая, облапил ее клещами костистыми, дыхнула теплом на него, к губам присосалась и сейчас же руками о плечи его оттолкнулась с силою.

— Подожди, Афонь, не тронь меня — твоя, ведь, теперь все равно твоя — не обману, не бойся. Коли пошла на то — один конец. А вот Николая-то в монастырь отправили...

— Как? — вырвалось у него, дух захватывая от радости.

— По телефону мне говорила Гракина. Ухитрился как-то дядя ее увезти в Питер, там и выкидыш сделала, оттуда другая совсем приехала. Сегодня только. С поезда и Николая встретила. Он с наскоком на нее, сразу, а дядюшка с двумя трепальщиками к игумену его отправил. Я с утра еще знала, что ты приехал. И заметила сразу тебя на площади, — хорошо, что зашел в чайную. А теперь вот что, Афоня, найди себе комнату в слободе, денег я дам, пока там поживи, да каждый день ходи, — тут кладбище есть Крестительское, при нем церковь, приход наш, так ты к вечерне ходи, ко всенощной, — мой-то старик ктиторм, каждый день ходит. Ты и молись получше, и до последнего человека дожидай — все молись, он это приметит тебя и, вот посмотри, непременно расспрашивать станет, а ты тут-то и говори ему, как в монастыре учила еще. А теперь поцелуй разок, да и ступай себе. Дуняша тебя через постоялый двор проводит.

Говорить не дала, за шею обвила руками, прижалась вся

и голову на груди у него спрятала, а потом опять отскочила, вспомнила и четвертой сунула в руку, за дверь вывела. В конце коридора Дуняша ждала.

По крутой лестнице, опять коридорчиком и на ходу спросила:

— Чтой-то она нашептывала? А?

— А тебе что?

— Любопытно мне...

Засмеялась, глазами сверкнула, с Афонькиными встретилась.

Подумал:

— Ничего себе девка из себя выглядит. Успею еще...

В самом конце слободы, где частоколы из досок, на реке пойманных, вразброд вколочены и домики-то в два-три окна покосились, вскинув крыши дырявые набекрень — за три рубля нашел комнату: стол со стулом, кровать — повернуться негде.

Изо дня в день на погост к Крестителю ходил к вечерне и, пока поп не уйдет, отбивал поклоны земные, крестился истово, дожидался, пока ктитор не сосчитает медяки поминальные, — против свечного ящика становился, чтоб на примете быть, на виду. Один раз так разбухался, что сам не заметил, как Касьян Парменыч подошел к нему и с минутой стоял молча, на него глядел:

— Уходить пора, храм закрывать сейчас буду.

— Простите меня, не заметил, как служба кончилась. Молиться тут хорошо, тихо, сама душа возносится в обитель горнюю ко всевышнему.

— Не видел что-то раньше тебя, откуда ты?

— Из обители я, ушел в мир из обители.

— Чего ж ушел оттуда, — прогнали, что ль, за какие художества?

— Спаси господи... что вы, за что прогонять?.. Сам я... В обители каждый спасется, — на то и обитель поставлена. А вот в миру, среди искушений, в суете сует человеческой, вот где иноку подобает искать спасения. Когда кругом действо адово — вот где спастись! Затем и ушел из обители Симеона старца. В миру буду иноком — тернистый путь странствия земного тут хочу выдерживать, как искус старческий.

— Живешь-то чем?..

— Сам спаситель в своем учении заповедал иноку: воззрите на птицы небесные — не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а отец небесный питает их. Много ли

надо мне?.. Может, и работу найду какую. Последний человек на земле буду, лишь бы о господе потрудиться. Мне бы все равно что, лишь бы кормиться как. Здоровому человеку побираться грех — нашлась бы работа! — за двух бы, как послушание нес смиренно.

Не вставая с колен, говорил, опустив голову, вполголоса, точно боялся нарушить тишину храма кладбищенского и умилил старика Касьяна.

Решил ему работенку дать у себя на дворе постоялом.

— А ты сам из каких будешь?

— Мещанин города Брянска.

— Грамотный?

— Три класса уездного, а как сиротой остался,— отец помер,— так меня в монастырь потянуло, с одной странницей убежал, с пятнадцати лет в пустыни.

— Ну, поживешь, посмотрим, а теперь тебе двор убирать и келью тебе найдем — под лестницей комнатуха есть — там будешь вместо сторожа.

Поднялся Афонька и опять в ноги Касьяну старику бухнул.

— Яко игумену поклонюсь повелителю моему на земном пути и возблагодарю господу за чудесное обретение заступника и благодетеля.

Умилил старика,— с колен его поднял, утешать стал и поверил ему, сразу поверил, уж очень искренне говорил человек, в душу влез.

Двери церковные запер, занес протопопу ключи и пошел с Афонькою.

— Только тебе волосы-то остричь придется, а то засмеют и меня, и тебе не будет проходу на дворе от мужиков заезжих,— не народ — звери, да и поддевку какую купи, что ли.

И дал ему вперед красный билет в зачет жалования. Афонька не уговорился о плате, не за тем поступал к Галкину, не из-за денег шел дворником на постоянный двор. И раньше, и теперь о деньгах не думал, не скардничал. Есть деньги — гуляй душа, а нет — без них хорошо, когда баба есть на примете,— сытно с нею, пожалеет его — накормит. И в город пошел не из-за денег — из-за любви к Феничке. Полюбилась ему краля писаная, хоть и приятелю досталась, а любовь осталась; может, потому и осталась, что не пришлось ему первому целовать девушку. И еще сильнее загорелась душа, как узнал, что не выдали за Николку Феничку. Машенька-то

ему пригодится, через нее и повидать и поговорить с ней придется, может, — в монастырь ездили вместе, значит и в городе живут — знаются. Пока что и Машенька хороша, Марья Карповна, а подойдет время — долго ли по боку жену мужнюю, — что он, что она, — друг у друга вольные — без отчета жизнь ихняя.

К площади подходить стали, — старик Афоньке:

— После обеда приходи завтра, перед всенощной, — пожитки приноси, а потом пойдем к Крестителю. И мне-то теперь с тобой лучше, а то одному ходить по субботам не того, — слободские тут пошаливают. Народ аховый. Так, слышь, приходи завтра.

Доволен был Касьян, что сделал дело доброе, человеку набожному приют дал.

Через площадь по камушкам, по кирпичам переступал насланным, думал:

«Теперь и не встретишь таких. Да разве уверишь мою? — ей хоть что, все — хи-хи, да ха-ха. Из окна бы глядеть все, а не то богу молиться по монастырям ездить, хорошо хоть его не забыла еще, а то совсем никуда...».

И сейчас же в голове промелькнуло:

«Ну да на такого красавца и не позарится, — чего стоит один нос проломленный, да и морда... а человек-то какой — душа ангельская! А ей только смехотунчики, пригожие ей нужны, а на человека и не взглянет даже, — зверь-баба!»

Даже про себя улыбнулся успокоенно.

Издали еще Марья Карповна услышала шаги мужнины, по походке знала настроение старого, — тверже ступает, — доволен чем-то, благодушествует, а не спеша поскрипывает половицами — изъест поедом, как ржа скрипучая.

Вошел — по глазам поняла, из-за самовара разглядывала.

— Машь, дворника я нашел, и не дворника, а человека...

Те же слова, что и дорогой в голове были, сказал жене:

— Теперь и не встретишь таких.

Поняла Машенька, как только упомянул о дворнике, так и поняла, про кого разговор будет, и, чтобы ему в голову не пришло, наперекор сказала:

— Тебе сперва все хороши, а поживет месяц-другой — увидишь, что за соколик.

— Сам бог мне послал его, в церкви на него указал господь.

— Смотри, Касьян Парменыч!..

— Не человек — душа.

И добавил, чтоб укольнуть жену, посмеяться над нею:
— Только и страховит же!.. Тебе и поглядеть не на кого будет.

Радовалась в душе Марья Карповна: удалось перехитрить старика Касьяна.

А он будто к слову:

— Может, и видала когда, монах из Симеоновой пустыни,— ты ведь едешь туда.

И точно кольнуло что в сердце ее:

— А ну как узнает что, а может и узнал уже... Задушит тогда. Сколько раз собирался задушить ночью. Пальцы костлявые, сухие руки...

На другое перевела разговор, боялась выдать себя пустяком каким, подозрение заронить словом оброненным, часто ведь одно слово нечаянное погубить человека может.

На ночь в постель ложилась — об Афоньке мечтала и, лежа навзничь, вспоминала про житье монастырское дачное — ждала и смеялась, как старика-то обвела вокруг пальца святостью да молитовкой.

И радость сильнее еще была, потому старика под боком не было — пятница: по старозаветному к ней старик хаживал,— понедельник — богоматери день, среда с пятницей — страстей господних, а под праздник и подавно не велено.

Засыпала — вздрагивала и на мгновенье, несколько раз в голове мелькало и счастливо, и тревожно:

— Не красив — зато ласков... Не выдать бы завтра себя чем?!

II.

Перед всенощной к чаю пришел Афонька и не по задворкам искал дверь, а с главного. Дунька ему отворила, взглянула на него и припомнила, шепотком ему:

— Ишь ты ведь как вырядился... К кому тебе: к самому, либо к Марье Карповне?

— Касьяна Парменыча надо мне повидать по делу.

— К не-му?..

И опять улыбнулась одними глазами:

— Знаю мол, не проведешь меня,— я тоже хитрая.

Волосы обстриг в скобку, из-под картуза топорщились лохматые рыжие,— водой примачивал — не помогло. Ког-

да шапкой до плеч ложились — не так нос был заметен, а теперь выпер и проломина видней стала, лоб оголился, раздались скулы, и глаза вылезли. На плечах лежали копной — складней казался, а подстриг — разнесло плечи в сторону. Сам на себя с непривычки оглядывался, боялся, что пальцами указывать будут на улице. Глянул в прихожей в зеркало и подумал, что коли б дубинку в руки, и под мост на большую дорогу выходить можно.

Вышел старик — разулыбался на Афоньку:

— Ну и страховит же ты! Входи — гостем сегодня будешь, а уж завтра — не гневайся.

Пол некрашенный, белый с коврами домотканными, с подстилками деревенскими и, как полагается, поставец с иконами, по-старинному с аналоем в черном бархате и крестами серебряными.

Истово на образа крестился, глядел восторженно:

— Яко в корабль вхожу в дом ваш переплыть море житейское.

Чуть было не поперхнулся, когда вошла Марья Карповна. И со смущенным видом издали поклонился в пояс.

— Хозяйка моя, жена, — Марья Карповна.

За руку взял, выдаясь, и огонек пробежал в глазах лукавый: «Ну, как, хорошо ломаю комедию? — для тебя только!»

А с понедельника потекла у Афоньки жизнь будничная в каморке под черной лестницей. С утра в дни базарные до вечера с метлой да с лопаткой ходил по двору, а вечером в каморку придет и ну распевать псалмы — старика ублажать Галкина, ляжет на постель, из досок сколоченную, прикрытую матрацем соломенным, и, пока не одолеет сон, — поет, потому над клетушкой его, старикова молельня, так чтоб слышал, не забывал бы о подвиге иноческого мещанина Афанасия Тимофеевича Калябина. И по двору ходит — завидит старика или еще кого, и ну под нос молитвы нашептывать.

Жалел старик Афоньку:

— Тебе и помолиться теперь некогда.

— Я по ночам, Косьма Парменych...

— Слышу я, слышу... Истинный инок ты.

Тот только поджимал губы, да в землю глядел со смирением.

По субботам только и ходил Афонька к Крестителю со стариком, против свечного ящика становился — поклоны

бухал. Всю дорогу о святом подвиге иноков Соловецких рассказывал старому — умилял его душеньку...

А через два месяца поехал старик за товаром в Москву — Дуняша послана к Афоньке от Марьи Карповны.

Вбежала к нему перед вечером — пятилинейная лампочка с пожелтевшим от копоти стеклом сопит тускло, и Афонька лежит, похрапывает.

Растолкала его со смехом и на ты: потому знала, зачем зовет купчиха дворника, и сразу на ты — сблизает секретное, делает заговорщиками против людской совести. Взглянула Дуняшка на сонного — жуть взяла.

— Афанасий Тимофеевич, вставать надо.

Не разобрал спросонья.

— Ты, Машенька?..

Вскочил, глаза заспанные на Дуняшу вытаращил.

— Ишь ты как ее зовешь, — Машенькой?..

— Тебя б Дунюшкой звал — хочешь?

И засмеялись вместе, оттого и засмеялись, что обоим жутко стало: одному — оттого, что идти к Машеньке и в тайну свою посвящать Дуняшку, а другой — как назвал Дунюшкой — сердце заколотилось, и страх обуял в каморке крохотной, где кроме лестницы черной да коридора темного — убежать некуда, если вздумает что Калябин, а в темноте-то еще страшней бежать — не уйти пожалуй. И сразу у Афоньки родилась мысль задобрить чем, покорить, рабой сделать Дуняшку, чтоб старику не выдала, — а в случае — глаз отвести Касьяну от Марьи Карповны: соблазнился, мол, в мирском странствии не женой благодетеля, а прислужницей: за это и простит скорей.

Закопошилось у Дуняши досужее любопытство:

— И чем только прельстил ее урод этот?! Ужли не нашла покрасивее какого? А то эфиоп какой-то страшный. Узнаю ужотко, у самой спрошу, теперь скажет, коли за ним послала...

— Наверх пойдем, позвать велела — самого нет.

— Знаю, что нет.

— С монастыря, что ли, вы?

И, к двери шагнув, вперед ее выпустил и нагнулся к ней, будто чтоб голову не разбить о притолку.

— С монастыря, Дунюшка, знакомы.

По коридору вела темному — и на лестницу шли, молчали, и от близости девки смешливой по-звериному сердцу прыгало, — все равно кто бы ни был Афоньке, лишь бы прижать, да облапить, — тело чувствовать. Феничка — то особ-статья, как о святыне думал теперь о ней Афонька — всей завладать ею хотел — на всю жизнь. И знал, что все равно не удастся, не полюбит его, а мечтал. Хоть знает человек, что напрасно все, а все-таки в глубине надежда призрачная: а может быть, а может быть, еще не все кончено.

Без любви шел — от голоду к Марье Карповне и зачуял дорогую свежинку девичью, Дуняшкину; ноздри даже как у жеребца вздрагивали, а ее жуть обуяла; за перила цеплялась, спешила добежать поскорей до двери, ухватиться за скобку, а ноги тяжелые назад волокли всю, на порожах спотыкались, как пьяные.

Войлоком зашуршала дверным — вздох вырвался, точно от смерти избавилась, и про себя решила:

— Никогда не пойду больше, пусть сама за ним ходит, коли нужен ей. А то надругается в чулане этом и не пикнешь даже.

Нараспашку в поддевке вошел в горницы, с лампой в руке навстречу вышла и деловым тоном к себе позвала в комнату, будто старик велел ему приказать что-то, — при Дуняшке так; та только подумала: «Ишь ты, ведь, как — по делу. Ну, да я расспрошу.. не скроешь».

И почти до зари у ней пробыл: затомил Машеньку; провожала его — нашептывала приходить до приезда старого, не бросать ее на тоску бабью, поразмыкать с ней тишину ночью, чтоб не страшно было в пустом доме оставаться с Дуняшкою, и обещала у старика попросить ночевать кого присылать наверх к ней, когда уезжать будет в отъезд надолго; надеялась, что Касьян непременно его пришлет, страховитого, на кого никакая не польстится дура, а пришлет его — не нужно будет из тепла уходить ему под утро: спи тогда, пока не разбудит солнце под перинами с разлюбезною. Напослед попросила его растолкать Дуняшку, чтоб на крючок дверь закрыла.

— Не наткнись на нее, Афоничка, в коридоре она, на сундуке там спит.

Постояла минутку еще, поглядела вслед и ушла, вздохнув.

Наощупь по коридору шел и, озорства ради, пошутить захотел над девкою — нащупал сундук и наобум под одеяло к ней засунул руку, будил шалый за груди.

— Ой, не трожь, ты!

— Не добудисься!.. Поди дверь закрой за мной.

Озлилась девка — змеей зашипела:

— Дай приедет Касьян Парменыч, я ему про тебя выложу. Ей-Богу, во те крест, расскажу. Попомни ты!

В темноте шептала зло, в спину по коридору поталкивая, в одной рубашке шла босиком. Довела до двери, закрывать хотела — взялась за скобку, а он руку хватъ и опереться ни за что не успела — на черную лестницу выдернул, другой рукой дверь прихлопнул и привалился — припер...

Обнял ее — без озорства всякого, всерьез будто, потому, как сказала, что старику скажет, подумал — и вправду тогда беда: как Николку с понятым в монастырь сошлет, а тогда до смерти и Фенички не увидать ему, и давай шептать Дуньке:

— Пошутил это я, не трону тебя, дура!.. Я ведь еще с того раза, как ты в трактир прибежала за мной, тогда еще полюбил. Ты думаешь, что по любви я хожу к хозяйке, — как же! Она еще в монастыре меня в город сманула, житье обещала, человеком сделать, в люди вывести, а тут и заперла в чулане этом. Терплю я, — потому и терплю, что я через нее, может, в люди выйду. Она-то давно известна, как же — богу ездит молиться, всем монахам на шею вешается. А мне что монастырь? По сиротству я пошел в него. Отец помер, мальчишкой был, а у матери еще и сестренка была, ну и посоветовала ей богомолка одна в монастырь меня отвезти, кормиться. Вот и жил я там; может, и не ушел бы, кабы не сманила меня твоя купчиха.

От холода дрожала, слушала, зубами стучать начала.

— Холодно мне, пустите.

— Прикрою тебя, рассказать дай.

И прикрыл ее под поддевку свою, плечи закутал и сама прижалась от холода и конец поддевки даже рукой держала, закутывалась, сама не знала, отчего слушала — не одно любопытство бабье и еще в душе разгоралось что-то.

— Ты думаешь, в монастыре святость?.. Для кого святость, а для нас — грех один. Мы тоже люди!.. Издали-то еще сильней разжигает баба. За каждой там молодые монахи гоняют, как псы язык высунут, не надышатся, а зима подойдет — зверье-зверьем. А все эти купчихи, они в грех вводят. А я-то что, каменный, что ль, по-твоему?! И я человек... Да только лишил меня бог красоты. У нас больше купчих красотой берут, а на меня ни одна и не

глядела — прокаженный я. А эта вот и накинулась. Она ведь, я тебе говорю, на кого зря кидалась, лишь бы мужик поздоровей был. Зато и понравился ей, что силен, и стала она меня сманывать к себе на житье хорошее. И старика своего научает обманывать. А как увидал тебя — полюбил сразу. Вошла ты сегодня в чулан мой — испугался я, подумал: сама пришла, а это ты, — коли б не идти наверх — не пустил бы тебя, будь чтоб было б, а не ушла бы ты. Полюбил я тебя. Сам знаю, что страшен, а страшного кто полюбит?! Разве девка полюбит страшно-го, — ей красивого подавай, кудреватого...

А потом прижал ее к себе крепко и распахнул поддевку сразу:

— Ступай, Дуня, — я разве силком хочу?! Силком не дождешься любви. Так-то... А что хожу-то я к ней — нужда ходит.

Отошел от двери, ощупью по ступенькам сходить стал, оставил ее наверху, в рубахе одной, на холоде, и как зачумленная от слов этих подле двери стояла, думала, а потом сразу рванулась к лестнице и чуть не закричала ему:

— А вправду ты говоришь?..

Дверь закрывать стала, послышалось будто ей:

— Правда...

Сама не знала: не то крикнула, не то только хотела крикнуть ему вслед.

Так бы и кинулась к нему от слов этих, за сердце взяли они девку-чернавку. Целый век понукали только и ласкового слова не слышала от людей. Как мать привезла из деревни в девчонки четырнадцати лет, так с места на место по домам и ходит. Попала к Галкиной и прижилась у ней, — одно беда: приказчики да работники не дают житья, — на возрасте стала — округлилася, как яблоки, спелые груди колышатся и от самой пахнет яблоком. Встретит какой в пиджачке, сейчас это заигрывать: за бок ущипнет, за грудь ухватит, — хозяйке жаловалась — посмеялась только.

— С красивой девкой, Дунь, всегда парни заигрывают, а старую будешь — никто тебя пальцем не тронет, и рада б поиграть когда, да поздно будет.

Ушел, не позвал, не вернулся. Дверь на крючок, и легла на сундук под одеяло стеганное: так и не заснула до утра самого. Целый день думала, работа из рук валилась.

— Правда, аль нет?! Пошутил только...

Под вечер опять позвала Марья Карповна Дуньку, будто помочь перебрать комод. Белье разобрала — принялась в сундуке за платья, и не перебирала, а искала, что дать Дуньке из старого, подарить за молчанье, за секрет ночной.

— На-ка тебе, перешить годится, не буду носить — из моды вышло.

А потом и не выдержала:

— Только ты, Дунь, никому чтоб про Афанасия Тимофеевича. Томно мне жить со старым, не маленькая — понимать должна. Будет все по-хорошему — дарить тебе буду, и замуж выдам, жениха найду.

— Что вы, Марья Карповна, чего ради мне говорить про вас, разве мне нужно это?

— Поставь-ка самоварчик, позови его чайку попить, а сама, если хочешь, погулять пойдешь, небось, и у тебя есть знакомые?

— Куда мне ходить, Марья Карповна, сами знаете...

— Так позови его.

Афонька перед вечером зажег коптилку и опять лег дожидаться, когда наверх позовет Дунышка, — Дунышку ждал.

Самовар ставила — руки отяжелели, еле подняла его. Боялась идти за Афонькой в кладовку, и тянуло на него поглядеть: может, опять такие слова скажет, от которых у девушек голова кружится. Собирала на стол — еле двигалась, хотелось оттянуть время до той минуты, когда через порог к нему переступит. Точно приговор произнесла над собой:

— Барыня, самовар подан.

И пошла опять по лестнице темной наощупь. В коридорчике казалось, что стены ее придавить хотят — обеими руками опиралась, шла. И не вошла, как вчера, сразу — постучалась. Не спал Афонька, лежал, услышал стук — приподнялся, сел.

— Ты что, Дунь, опять за мной?

— За вами, Афанасий Тимофеевич, чай пить идти велела.

До того как о любви ей сказал — на «ты» говорила, как и всем на своем дворе и приказчикам, и работникам, а как тревожное чувство закопошилось в груди — начала на «вы». В первый раз, когда, как прислужница, в господскую входила тайну — за панибрата с ним, а сказал про любовь — ожгло ее и на «вы» застенчиво.

— Да ты сядь, не бойся. Расскажи, говорила что про меня сегодня?

— Платье мне подарила, старика боится. А только идемте, Афанасий Тимофеевич, не подумала б что...

— Помнишь, что вчера говорил?.. Не забудь, смотри. Шутить не умею я — серьезно. А что неловко разбудил вчера, не сердись — не буду больше. Пальцем тебя не трону, пока сама меня не полюбишь.

— Идемте уж, ждать будет, заругается.

Не тронул ее — повеселела Дунька: точно камень с души свалился. Вечером на сундуке своем спать укладывалась и будто что-то скребло в сердце — не ревность, а обида ревнивая, и не любила еще, чувствовала, что тянет ее к Афоньке, от слов ласковых к нему захотелось спрятаться — к несуразному, плечистому, на голову почти ее выше — под поддевку его, как прошлой ночью, чтоб никто не посмел тронуть... И опять разбудил ее Афонька, растолкал за локоть. Теплом от него веяло, одеколоном ее слегка пахло, и опять захотелось к теплу, под защиту крепкую. А он и не тронул, и не сказал ничего ей ласкового. И каждый вечер ходила она звать его к Марье Карповне, и почти каждый вечер он говорил ей, что любит и неволю несет от купчихи жадной, — для того и говорил, чтобы приручить ее, покорить сердце, помощницей своей сделать на всякий случай, а трогать не трогал, ни разу не обнял даже — Дуньке и то обидно стало. Афонька и Марью Карповну уговорил, чтоб посылала за ним Дуньку, потому-де, хоть и любит он, а не хочет настырным быть, а позовет — значит видеть рада. Две недели ходил до приезда Касьяна — ни приказчики, ни рабочие не знали про то, потому жили они во дворе в особом помещении вместе с прислугой, а что в доме — никто не знал. На Афоньку смотрели, как на полоумного за вечное распевание псалмов до полуночи, за бормотание на дворе молитв, и Афонька их сторонился — жил в конуре, молча, мечтал о Феничке, думал — придет же она когда-нибудь с матерью к Галкиной, а не придет — дожидался он своего времени и сам может по делам от старика пойдет к Дракину и увидит ее.

Приехал старик — расплакалась Марья Карповна: и по ночам не спала от страха, казалось все, что по комнатам ходит кто-то.

— Хоть бы на ночь кого спать присылал наверх, а то заберутся воры, что мы тут на весь дом вдвоем с Дунькою, и не пикнешь, как топором прихлопнут.

— Ладно, уезжать буду — пришлю кого.

И опять изо дня с лопаткой на дворе Афонька, а вечером — псалмы распевал до полуночи. Целые полгода старик без выезда жил, целые полгода в конуре дождал своих дней Афонька, только по субботам и говорил с Касьяном Парменычем, когда от Крестителя домой возвращались вечером.

И вспомнил старик один раз про Калябина: пожаловался ему сиделец трактирный, что неумоготу управляться одному стало в дни базарные, за народом уследить трудно, утечка в деньгах большая.

— Постой, Петрович, у меня на примете есть человек один,— верный, ручаться могу. Грамотный он, как раз тебе в помощь будет.

— А кто такой, Касьян Парменыч?

— Да ты, должно, видел его,— Афанасий дворник.

— Как же, Касьян Парменыч,— видал...

— Не нравится? Страховит?

— Не нравится он мне что-то... Дело хозяйское, самим вернее, а только — не нравится.

И так это с растяжкой говорил сиделец. Еще в тот раз заприметил его, как еще кудластый в подряснике нырнул с горничной. После того и ее расспрашивал — ничего не сказала, потому тогда еще толком и сама ничего не знала. Никто про него не сказал дурного, смеялись только над его песнопениями. И взяло сомнение Наумова, сидельца трактирного...

— Может, и в самом деле ничего нет?! Только зачем же сама-то за ним присылала? Тут непременно что-то есть. Или с придурью, или прожженный жулик,— пройды монахи эти,— не пойму что-то. Богомолен больно,— уж не хочет ли старика обойти? Не пьющий и работает, говорят, хорошо — не пойму я...

Глаз у Наумова наметался, сразу человека узнает — только взглянуть стоит; сколько лет за прилавками стоит в трактире базарном: всякий народ перебивал у него, и делишки всякие не раз обделывал: и покупателей сводил с лошаdnиками, и жуликов выдавал полиции, и с прасолами водил дружбу. И Афоньку приметил сразу.

Старик от всенощной шел — Афоньку порадовал:

— В людскую перейти можешь, к приказчикам,— Петровичу за стойку помогать будешь, приглядывать за народом.

Ничего не ответил Калябин старику Касьяну.

— Ты что ж молчишь,— недоволен, что ль?..

— Не знаю, благодарить как заступника моего, хозяина, только не хочется из-под лестницы мне уходить, вот что!.. На людях-то и помолиться нельзя будет, псалом пропеть... Надо мной за это и так смеются.

— Я тебе хотел лучшее — в людскую-то... По мне и под лестницей оставайся, как хочешь...

И начал Афонька с Наумовым стоять за прилавком, привыкать к делу, за народом доглядывать, чтоб хозяйской копейки не заел кто. И все молчком, все молчком, что бы ни сказал ему сиделец — молчком исполнял. Не влюбил помощника своего Наумов, и Афонька почувствовал это и всегда начеку был.

Один раз Касьян Парменыч спросил сидельца:

— Ну, как, Петрович, помощник твой?

— Сказать ничего не могу, а только не нравится он мне... Где вы только нашли его?..

От всенощной шел с Афонькой, — сказал ему:

— Не любит тебя Петрович, — с чего это?

— Я ему, Касьян Парменыч, ничего не сделал, кроме как уважение оказываю. Я как на духу вам, по совести... Уж если так говорить, так и он по мне не хорош. Может, он у вас и давно, и верите вы ему оттого, что давно он, а только мне ближе теперь видно... нехорошие он дела делает, небожеские. Может, это я по глупости своей ничего не разумею еще, может, и полагается так в торговом деле!..

Прислушался старый, может, и правда за Петровичем водится, и не перебивал Афоньку, спросил только:

— А что?

— Да я не пойму что-то. Я вам лучше потом, когда уразумею, расскажу все.

— Не верит тебе он, говорит — молчалив больно.

— Я, Касьян Парменыч, как послушание несу, кому поставил игумен — не прекословлю, а своего что сказать — скудоумен еще по младости.

Пришел старый домой — на столе телеграмма — собираться в путь дальний. Марья Карповна опять возопила, что страшно ей одной оставаться в пустом доме с одной девкой.

— Афанасия ночевать пришло. Страшен, да зато троих уложит.

— Ты б другого кого, я сама боюсь его.

— Другим страшен, — а своем доме овца... Дунька!.. сходи-ка в трактир, позови Калябина.

И опять Дунька с усмешкой лукавою Афанасия

поманила пальцем. Наумова аж всего передернуло; как и в первый раз, показалось ему в усмешке недоброе. Дождался Афоньку назад, расспросить хотелось, кто, да зачем звали, и он точно чувствовал, что не просто Наумов не доверяет ему, и захотелось подразнить сидельца. Вернулся к стойке — перетирать рюмки стал, будто и не было ничего, и еще больше разбередил Петровича.

— Чтой-то наверх тебя, Афанасий, звали?..

— Хозяин, по делу.

— Ишь ты ведь как?! Я сколько лет тут, и то ни разу к себе наверх не пускали. На что деньги, и то приходят принимать вниз, а тебе почет какой!

— Ночевать в доме без хозяина буду — от воров караулить Марью Карповну.

Еще больше задал задачу Петровичу. До самого почти закрытия трактира стоял, думая, и решил, что тут хозяйкины штуки — вокруг пальца старика обводит, и решил последить за Афонькою, подкараулить как-нибудь, да старику сказать, от позора избавить.

Старик, уезжая, через трактир выходил и на ходу сказал зло, на Петровича не взглянув:

— Афанасия, Петрович отпускать будешь раньше времени ночевать наверх, слышишь?!

— Слушаю, Касьян Парменыч.

Ни слова не сказал больше, дверью хлопнул. Бывало, про новости расспросит трактирные, про выручку, а тут и не взглянул даже.

И опять Дуняшка заскрипела дверным блоком и не у двери остановилась помануть, а к стойке подбежала с усмешечкой, на Петровича усмехалась хитро.

— Афанасий Тимофеевич, Марья Карповна наверх приказала звать, спать ложиться, запирайтесь будем.

Через двор прибежала и увела через двор мимо кладовки его по коридору темному и на лестницу. Точно обидная ревность заговорила в ней, как узнала, что Афонька ночевать будет с хозяйкой; не на половинке в передней, где для виду ему приготовила, а с самой, с Марьей Карповной.

— Вместо мужа теперь будете?.. Небось рады?!

На последних ступеньках перед дверью войлочной, в темноте наугад обнял девку — к себе прижал, даже кости хрупнули, и в губы ее, — не знала сама, отчего прижалась к нему, ответила.

— Дуношка, говорил я тебе, — не веришь ты. Каб женился я на тебе сейчас — все б мое дело пропало.

Подождать надо. Либо тебя с места сгонит, либо меня сама сживет. У Петровича я теперь в помощь, — придет время, — и сам на его место сяду, обсижусь год, другой и свое заведение открою... Тогда никто нам не будет помехою.

— Правда ли, Афанасий Тимофеевич? Не верится...

— О тебе думаю, когда с ней бываю, вот что, а ты верить не хочешь, — люблю ведь.

Сказал так-то ей нехотя, поверила и сама к губам лютянулась ласково.

А сказал — с расчетом, чтоб верней была, не выдала б и чтоб ревности не было, если любит, а в случае чего и на помощь пришла для отвода глаз старому.

И стал Афонька по зову Дуняшкиному без хозяина с восьми до восьми караулить купчиху Галкину и каждый вечер на лестнице целовал девку. Кроме поцелуев никак не трогал ее, хоть и чувствовал, как грудь ее в него упирает туго. И она ждала поцелуев этих, чтоб потом до полуночи на сундуке в коридоре ворочаться, про любовь мечтать.

Только Петрович не мог успокоиться, дознаться хотел и придумал раз самому наверх идти сдавать хозяйке выручку, да так подойти, чтоб поглядеть, да подслушать.

Афоньку позвали наверх, и Петрович через полчаса следом и тем же путем через черную лестницу, — в темноте чиркал спичками и сейчас же бросал, чтоб свет не заметили. Выбрался наверх — дверь не заперта и опять по коридору в комнаты, а из столовой в замочную скважину полоса светлая — на нее пошел. И Дуняшки не было — в кладовую за вареньем послана. Подошел к двери, приглянулся к сважине — Марья Карповна за самоваром сидит, Афонька сбоку чаек пьет с блюдечка. Прислушался — говорит хозяйка:

— Сегодня от Фениной матери письмо получила, просит насчет денег со стариком поговорить моим. Братец ее Кирилл Кириллыч, инженер-то, еще задумал новое. Перед тем, как отцу Николаю приехать — шпагатную выстроил на капитал Гракиной, а теперь задумал канатную строить, а денег нет. Алексеевы и свои в пеньку вгоняет, не то что с нашей губернии, из соседней у мужиков на корню скупает, и все ему мало, — теперь канатную. Корпуса хочет строить новые, за машинами ехать в Англию, ну и просит под залог моего старика дома взять, а дома-то Фенины. Мой даст, отчего не дать, только дома-то к рукам приберет: святой человек, а в трубу пустит, либо еще что... перепродает вексели кому.

Дожидался Петрович, стоял, не скажет ли Афонька что, не назовет ли ласково. Видел, что глядит на него — глаза сияют, а говорит постороннее. Спина заломила согнувшись стоять подле скважины, не слышал ничего, не чувствовал — впился, прилип к скважине, слушал — слова проронить боялся... и головой и носом о дверь ударился. В потемках с разлету Дуняшка бежала с банкою и по спине ею Петровича. Наткнулась — кричать с испугу не своим голосом.

Марья Карповна из-за стола к двери, Афонька следом, и на коленках в сюртуке длинном в смородине сиделец трактирный ползает.

— Чего ты кричишь, кто тут? Дуняш?!

С перепугу ей со слезами:

— Стоял тут... до смерти испугалась!..

— Зачем вы, Петрович, тут?

И, обтирая фалды сюртука своего руками клейкими, сказал, глухо:

— Выручку отдать...

— А стояли подле двери зачем? Подслушивали? Да?! Что же, по вашему, хозяйке служащего своего чаем напоить нельзя?! Афанасий Тимофеевич, помогите ему в трактир сойти, у него из носу кровь течет.

И чтоб не измазаться — за ворот держал Афонька Петровича, сводя с лестницы. До трактирной двери довел...

— Что, Петрович, не удалось подслушать, — черт попутал. Не пойду я с тобой в трактир, ступай один — половые тебя оботрут, обмоют.

И назло ему крикнул, приоткрыв дверь:

— Эй, кто там, Василий, пойдя Петровичу помоги варенье с сюртука очистить.

Сиделец только и мог прошипеть Афоньке:

— Твоя взяла... Ну, ладно ж... попадешься ты. Припомню я...

Вернулся старик. Марья Карповна и войти не дала, накинулась — про Петровича рассказала, про обиду кровную, что-де, мол, либо сам он подглядеть хотел, да подслушать, либо муж подослал его.

— Что ж, мне чаем напоить нельзя Афанасия? Не человек он, что ли? С утра до вечера на ногах и ночью бог знает как в передней валяется, а тут вот тебе.

И решил Касьян Парменыч мещанина Калябина посадить в трактир сидельцем, а Петровича на постоянный двор за приезжими наблюдать, если еще не хочет уходить

от него на четыре стороны. Больше прежнего доверять стал Афоньке старый и по старой привычке ходить начал в трактир посидеть за прилавком вечером и позвал даже как-то Афоньку молельную поглядеть свою.

III.

Марья Карповна старику про письмо Гракиной, а тот:

— Дома, говоришь, — дома знаю, пятьсот не дам, а триста тысяч вложу. Работает инженер, ничего себе, и на свои и на сестрины, да еще и на сиротские хочет.

Сам не пошел, а верного человека послал отнести ответ, да и насчет подписи поговорить Феничкиной: потому в летах девушка, и сама при свидетелях с поручителем подписать может.

Призвал на другой день вечером Калябина Афанасия, завел в молельную и ну поучать, что, да как говорить надо.

— Доверяю тебе, понимаешь ты, — смотри лишнего не скажи что. Из двенадцати годовых, мол, дам, на три года. В письме тут прописано. Да чтоб согласие Феклы Тимофеевны было — ее дома. Домики-то и побольше трехсот тысяч стоят, а мы их и за триста к рукам приберем. Векселечки получим, а через годик и передадим кому следует. С моей стороны свидетелем будешь, а процент тебе три тысячи.

— Касьян Парменыч, что я — нехристь какой, деньги брать?

— Такие дела задаром не делаются, — молод ты, поучить надо. Ступай с богом.

— А я, Касьян Парменыч, все на иконы гляжу ваши, — перед такими образами душа сама молится...

— Уеду когда, ночевать будешь, — приходи, молись.

И стал Афанасий Тимофеевич верным человеком у Галкина. Первый раз когда в молельной был, ничего разглядеть не успел как следует, а на этот раз, кроме икон старинных в жемчугах, да в яхонтах, и конторку приметил ореховую. Подле аналая стоит и тоже прикрыта бархатом с крестами нашитыми, а приподнять крышку — капиталы Галкинские, векселя сторонкою и свои и чужие, в уголку и чернильница, а в самом низу книга толстая: приход-расход, а под линейкой — чистое. Денег Касьян не держал дома — в коммерческом банке в бумагах, да на текущем, а на расход мелочишки — было: разных колеров пачками, веревочками перевязано подле передней доски в один ряд,

а подле боковых стенок — золотые стопками. Еще прадеды постоянный поставили подле конского и с конюшнями, и людская для приезжих, и чайная, и с бакалеей красная лавка выстроена, а все для того, чтоб мужику не заботиться, — лошадок продал и магарыча тут же пропей, и бабе купить что — под боком лавка. Свои прасола у Касьяна Парменыча по торгу ходили и скупали у мужиков лошадей для поставок военных за границу, а не то и своим — ремонтной комиссии. Вот на расход и нужна была старику мелочишка. А главные доходы у Галкина — ссужал под заклад деньги, ничем не гнушался: и в слободе хатенку брал, и под имение не раз выдавал господам дворянам, и своего брата не забывал — купца. Не только что деньги, а в срок не заплатит процентов, и пошла писать, — глядь через несколько месяцев и пошло с молоточка, свои же, подставные, за дешовку и купят, и опять продадут с процентами. И выходило, что не двенадцать брал божеских, а всех двадцать пять выходило с расходами. И теперь на сиротское нажить захотелось Галкину. Понять не понял Афонька всего, да нашелся человек добрый, разъяснил ему.

Тоскался в трактир с портфелем, небольшого роста, один человечек в пальто поношенном и в брюках на выпуск с бахромкою — Иван Матвееч Лосев, частный поверенный. Нет работы, сидит, мужикам в трактире Галкина кляузы строчит, а специально — сводничал: кому что продать, купить, заложить ли дом, под залог ли устроить деньги. Своим человеком в трактире был и с полицией за одну душу.

Пришел Афонька за стойку, в руках письмо и сам задумчив, стоит, на все стороны пакет поворачивает, а напротив в уголку, — в том самом, где Афонька в первый раз монахом сидел, — приглядывается на него Иван Матвееч. Точно нюх у него, — почуял, что не простой пакет у сидельца, а должно от старого поручение, потому раньше Наумов ему исполнял все, а теперь, значит, доверие к Калябину, Афанасию Тимофеевичу.

Подошел, будто рюмочку пропустить, а сам:

— Ай в первый раз вам, Афанасий Тимофеевич, по такому делу идти от хозяина?..

— В первый...

Не подумавши и ответил, озадаченный поручением, да не к кому-нибудь, а к Гракиной, да еще имеющему отношению к Феничке.

И опять не подумавши:

— К Гракиной...

— По денежному делу, значит, идти. Слышал я, как же, Дракин-то, инженер, деньжонок ищет. Вы не изумляйтесь, Афанасий Тимофеевич, — такая у нас профессия, — понимаете — поверенный, значит, значит доверять можно, потому под присягою царю и богу. Да-с... И нам все известно — потому что поверенному по секрету-с все доверяют.

И захотелось Афоньке расспросить у него, в чем тут дело, почему подпись нужна Феничкина, и как так дома старик прикарманить может? Соблазнился узнать у Лосева, потому ближе Фенички человека у него в душе не было, как звезда Вифлеемская на путях земного странствия. Странно старик говорил Галкин, чуть прищуривая и без того свои глазки бесцветные, — так что даже Афонька тревожился за судьбу Фенички. А если он охранять ее будет спокойствие — хоть на шаг, да ближе к цели, к пристанищу жития бренного.

— Хотел я спросить вас, господин Лосев, да семь скоро, идти с этим пакетом нужно.

— С превеликим-с удовольствием готов услужить моему кормильцу новому, потому как при Николае Петровиче у меня кредитор был небольшой, так я и теперь надеюсь получить его у вас. Не всегда-с при деньгах, уж такая наша профессия-с: сегодня густо, а завтра пусто-с. С превеликим удовольствием даже услужить вам готов. Кроме хорошего, ничего от меня не услышите. Уж такое положение-с наше сообща с сидельцем коммерцию наводить. Каждый человек у вас на глазах, всех видите, и опять под началом половые — насчет этого они народ верный, с первого слова гостя насквозь видят, народ смекалистый. Процентик им маленький и будьте-с спокойны... они это вам, а вы-с мне только глазом моргните, уж я знаю как подойти к делу-с. Так вы-с, Афанасий Тимофеевич, выйдете к столику, удобней там поговорить будет...

Василий половой сразу смекнул, что обрабатывает Лосев сидельца нового, и без предупреждений поверенному селянку с графинчиком маленьким и с закуской:

— Для начину-с, Афанасий Тимофеевич, прикажите и вам подать?

— Некогда!

Рассказал ему Афонька про заем Дракинский, про

старика Касьяна и про то, что Феничкина подпись нужна зачем-то, и осторожно спросил:

— Никак не пойму я, в чем тут дело?

— Одну только минуточку-с обождать извольте, сейчас я селянку свою кончу и провожу вас немножечко, а то и вы опоздать сможете; Касьян Парменыч насчет таких дел человек строгий, да и на людях говорить — и стены-с теперь уши имеют, а я вам, Афанасий Тимофеевич, один на один объясню все. Только вам бы следовало вперед выйти и там, знаете, подле лабаза на углу обождать капельку, — я мигом-с.

Сдал Афонька Василию кассу и пошел ждать Лосева на угол.

Темная ночь, по-весеннему, когда лед на реке ломает и ветерок легкий подмораживает ручьи на улицах.

Вынырнул Лосев, за собою идти велел и на втором проулке обождал Калябина.

— Так вы говорите-с, триста тысяч собирается дать старик?! А много ж он вам обещал, — не секрет-с?..

— Три тысячи.

— За такие-с денежки маловато... Меньше десяти брать нельзя. Ну да на первый раз что делать?! А как домики-то улетят от барышни Гракиной, это я расскажу вам сейчас. Да-с... Получит господин инженер денежки-с, ухлопает в дело, а про черный день и не оставит — да-с, а такой день подойдет, обязательно-с. Поверьте опыту моему, — придет такой денек обязательно-с... В три срока платить придется, да процентики. Подойдет первый — а у него, глядь, несчастье — либо пенька сгорит, либо на фабрике пожар какой, — в такой день обязательно-с несчастье случится: всегда уж бывает так. Подошлют человека с угла керосинцем пеньку полить и керосинцу немного нужно, всего-всего на полтинничек, куда там, и на двугривенный хватит, — небольшой расходец ведь, а?.. А тут либо закуривать станет кто подле, либо незатушенную папироску-с обронит, — обязательно в этот день подле политого курить будут, такой уж закон-с — не дорого и возьмут за это — красную и готово дело — товар такой, что через полчаса и сарая нет, и пожарные не успеют доехать, как одни балки останутся. А тут платеж завтра-с... да-с, денежки-то есть, конечно, а пожар потребует пополнения, либо перестраховки какой, а если на фабрике произойдет несчастье — ремонт, — не останавливать же из-за этого всего дела! Ну и выйдет, что в срок и не

сделан платеж. Законный срок Касьян Парменыч выждет и предъявит векселек куда нужно-с, домики-то и ухнули барышники. Может, и не сам Галкин заниматься станет таким делом, а продаст векселечки эти кому, а тот и устроит что полагается. А может и сам, а только векселечки-то будут проданы для отвода глаз. Векселя-то, разумеется, не уйдут от Галкина, на то и подставные люди у него есть для таких случаев, а домики-то ухнут. И не с инженера уплаты требовать будут, а с барышни-с, потому как над ними теперь опеки нет, вышли из такого возраста, а только попечительство, так сказать надзор за имуществом на случай расточительства, а попечителем-то у ней маменька-с. Другой бы, может, и успел что придумать, а женщине — куда ж?! Инженеру не до того будет — своя работа!.. А чем платить барышне, ежели дядюшка не внесет деньги, ведь в полном здравии и разумении векселек подпишет с дозволения попечительницы и при свидетелях. Да-с... И полетят домики... Была невеста первейшая-с и вдруг — бесприданница. Несколько тыщенок может останется про старость, а уж домики-с — тютю-с... Тут, Афанасий Тимофеевич, дело тонкое-с... Старик-то не даром дает денежки. Мозговатый старик... А дело-то верное, не было б верным — Касьян бы не дал. Понимаете-с теперь, почему я говорил, что три тысячи тут не деньги? Уж если послал — значит и в будущем помогать по этому делу будете: человечка найти курящего, либо еще что. Только вы никому-с про меня ни полсловечка. А если еще в чем понадоблюсь, либо человечка найти какого нужного — с превеликим-с удовольствием посоветую-с и человечка укажу нужного, потому вы теперь вместо Наумова кормилец наш. А затем до свидания, Афанасий Тимофеевич, не смею задерживать вас своим присутствием, мне тут-то-с сворачивать. Извольте оставаться счастливо-с!..

IV.

Задал Афоньке задачу частный поверенный, всю дорогу продумал он.

— В первый раз уступил ее,— сам, можно сказать, Николке отдал, сам его познакомил подле мельницы, и теперь предаю Касьяну — на нищенство ее обрекаю пакетом этим.

В кармане пакет щупал и руки горели — разорвать, уничтожить его, чтоб и помину о нем не было, и знал, если разорвет, другого надежного найдет человека Касьян Парменыч, а он ничего и знать не будет о судьбе Фенички.

— Если буду следить, может и помогу чем, из беды ее выручу как-нибудь.

Не заметил, как подошел к дому Дракинскому, что почти на самом конце города с трепальными и фабрикой, — спокон века стоят — кирпичный, нештукатуренный, точно острог новый или богодельня мещанская. На пеньях, подле самой железной дороги поместье Дракинское. Был в старину лес темный, а пришли времена новые, и лес вырубил, и остались одни пенушки, пеньки, и стали мещане на пеньях селиться, и оттого вся слобода звалась Пеньки.

Звонил когда — руки дрожали и, пока со второго этажа сбежали отворять по лестнице, все время сердце выстукивало:

— Предатель, предатель... Сам предаешь, сам предаешь, сам, сам...

А по лестнице подымался...

— Увижу ее, сейчас увижу, сейчас, сейчас...

И увидал ее с репетитором — провожала его в передней, Никодима Александровича Петровского, ученика последнего класса Учительского института, — того самого, что в мечтах рыцарем был недоступным. Только теперь уже не мечтала о нем по-девичьи — разорвали перед ней завесу познания ласки Николкины, и мечты и фантазии улетели сказочные, — был перед ней: роста среднего, с резким лицом угловатым — без усов, бороды, с папироскою и с большими глазами серыми. Может, и теперь мечтала, да по-иному только: не о рыцаре, что в прекрасном саду ей соловьем про любовь расскажет и поведет в волшебный замок, а о человеке смертном, в грехе рожденном, ласки которого и хотела и боялась, что теперь поняла только, что и раньше любила его, да не та уж любовь девичья, а любовь греха смертного. И сама не та Феничка, и любовь иная, и мечты по ночам в сновидениях всем телом вздрагивающим томительны.

Не застенчивость провожаний к подругам за уроками позабытыми, а лукавый смех женский, завлекающий и отталкивающий.

Афонька взошел, сперва не узнал Фенички, и она его не признала в поддевке синей, с короткими волосами, с бородкой клинушкой.

Вошел в горницу дожидать Антонину Кирилловну и слышал, как Феничка говорила с Петровским:

— Без хорошего сочинения нельзя, Феня, на курсы ехать,— стыдно в седьмом классе не знать Рудина и Базарова: это ведь первые типы будущих революционеров.

— Как вы, Никодим Александрович, до сих пор не можете понять, что на курсы я собираюсь, чтоб интересно пожить,— это вы только мечтаете о революциях, а мне и без того хорошо. Ишь вы какие волосы отпустили, хоть заплетай косу... Любая ваша курсистка стриженная позавидовала бы...

— Теперь и курсистки прическу носят... А все-таки надо уметь писать сочинения.

— Научусь, Никодим Александрович, и на курсах буду, вы за мной потом и ухаживать будете, как студенческую фуражку оденете.

— Ухаживать кавалеры могут, а мне некогда. Вас не волнует, что 130 миллионов людей до сих пор у царей в рабстве, а я живу этим, понимаете?!

— А разве я уж так неинтересна, что за мной и поухаживать нельзя?

— Ну, до свиданья, Феня,— об этом мы говорит не будем...

— Как всегда, удираете, точно красная девица...

Уходя, Петровский еще раз невольно заглянул в горницу на Афоньку и встретились глаза их, и скользнул огонек в них жуткий: встретились и почувствовали, что враги, на всю жизнь враги заклятые. Может быть, больше никогда и не увидят друг друга, но врагами на всю жизнь останутся. У Петровского ни одной мысли не мелькнуло об неуклюжем человеке рыжем, только чувство вражды ощутил странное,— зато у Афоньки загорелось в душе ревность и ненависть. Почувствовал, что не ровня Никодиму Александровичу и не может запросто говорить с Феничкой: кроме любви упорной не о чем ему рассказать девушке, не придумать ему комплиментов вежливых, не рассмешить ее забавным чем, а без этого он не человек для ней, а так — сиделец в трактире Галкина; оскорбленная злоба легла против репетитора с шевелюрой пышной. И тут же подумал, что Никодиминой красоты позабыть не может и теперь длиннокудрого ищет. За каждым движением следил Фенички.

Дверь за Петровским закрыла сама и с улыбкой задорною, пробегая в свою комнату, спросила:

— Вам кого нужно?

— Антонину Кирилловну, маменьку вашу, Фекла Тимофеевна, и дядюшку тоже — Кирилл Кирилловича, господина инженера.

— Маменьку я сейчас пришлю, подождите.

Сама Гракина узнала Афоньку, сторонкою слышала, что прижился он у Марьи Карповны и у старика в почете, в доверии.

Целый час о письме старика Касьяна Парменыча проговорили они вместе с самим инженером Дракиным, и согласился Кирилл Кириллыч хоть и триста тысяч получить от Галкина, и день назначили, где условия подписать, и ответ вручили Афоньке.

Подписали, как полагается, векселек под дома Феничкины с ее подписью собственноручной, и запер его Касьян в конторку ореховую в молельной и, перекрестившись благодарственно Казанской в жемчугах с яхонтами, повесил старик за икону на киот ключик.

Только не спал по ночам Афонька в кладовке под лестницей — ломал голову, как Феничку из беды избавить — добыть векселек подписанный. Поет псалмы — сам думает. И еще стал смелее со стариком Касьяном. Иной раз и в молельную с ним после всенощной, и не то, чтобы помолиться образам стотысячным, а получше посмотреть на конторку ореховую да послушать восторженно стариковы сказания про образа трехсотлетние, про каждый у старика была своя летопись: от пожара избавили, от воров спасли, из воды в половодье на берег вывели.

Как-то уехал старый по делам в уезд и оставил опять его Марью Карповну караулить, а он перед сном грядущим помолиться вздумал, лампадку возжечь угодникам, и Машеньке сказал, что пойдет помолиться. Достал из анолая бутылку с маслом, налил лампадки, фитили заправил, стал тянуться ставить их, пошатнулся нечаянно и задел киот Казанский — с места сдвинул. И показалось ему, будто за киотом что-то звякнуло, закачалось. Что такое может постукивать за киотом? — заглянул — не видно, руку подсунул — ключик.

— Что за история? Ключик какой-то на бечевочке... От иконы — велик, от чего ж бы он мог быть?

И как что осенило его:

— Уж не от конторки ли?! А что если от конторки?..

Спасти ведь могу Феничку. Захочу и спасу! Тогда век будет благодарна мне. И не ключик паршивенький, а судьба ее а моих руках,— вся жизнь ее тут, в этом ключике.

Вспомнил, что купчиха его дожидается, и обратно повесил его за Казанскую.

— Береги ты его, пресвятая богородица, никому не показывай.

Неласковый был с Марьей Карповной, все про ключик думал; спросила его — отчего сумрачный, и ответил, что не по себе что-то, тоска гложет, и в первый раз почувствовал, что и вправду он по обязанности с ней любится. Сперва, как приехал, озорство было старика надуть,— и от озорства даже вроде любви что-то жило в теле — жадность несытая, а как цель свою подержал сегодня в руках — ключик этот, так и понял, что ради ключика, ради Фенички он лежит с Галкиной. И раньше знал, что цель — Феничка,— повидать ее, а может, и поговорить когда, да только далеко эта была, а под боком-то жила Марья Карповна, потому благодаря ей, может, и Феничку повидать придется, а сегодня вот и уразумел и почувствовал, что Феничка-то ближе стала к нему. И все-таки до самого приезда Касьянова не уходил от Галкиной, потому, если уйти, и в молельную тогда не придется зайти поглядеть на ключик. До приезда еще один раз побыл, точно удостовериться хотел,— висит или нет? Еще раз и рукой пощупал его, и Казанскую поровней поправил, чтоб старик не заметил чего. По монастырской привычке и перекрестился несколько раз.

Приехал старик, и потекли дни будничные. Целые дни за стойкой Афонька сидел, думал про ключик тот,— даже Лосев заметил.

— Чтой-то вы, Афанасий Тимофеевич, сумрачны-с? Или хозяин что?..

— Ничего, по-старому все...

— Должно, денежки-с не получили еще за то дельце? У Касьяна Парменыча всегда так — любит потянуть, пока особая-с нужда не подойдет ему в вас, знаете — человека к сроку подыскать курящего,— помните, я говорил вам еще-с тот раз? Он вам к рождеству-с, к праздничкам в виде особой милости пожалует, а после Нового-с года и на-помнит, что-де, мол, задаром-с ни одной копейки не дают теперь, а извольте-с, мол, к весне, (в марте-с векселек-то был, так?) устроить пожарец у купцов Дракиных. Только вы, Афанасий Тимофеевич,— я вам хочу дать совет

добрый-с, неопытны-с вы еще, уж вы извините мне, что я вперед забегаю-с, события-с, так сказать, опережаю-с,— не продешевите, когда на расходы брать будете; понимаете? — угостить кого нужно, сводить по пьяную руку в слободку к девочкам,— конечно-с, простому человеку не первого сорта и угощение, и девочки нужны, и за труд, а все-таки-с расход, потому, изволите ли видеть, в один день такого человека не найти вам, может, и не одного испытать придется,— не сразу к нему подойдешь — тюрьмою-с пахнет, уголовщиной, ну, и придется вам поискать человечка такого, а найдете — и с тем провозитесь не одну неделю,— ведь раньше-с, чем осенью, да еще поздней, пока мужичок-то не повезет пеньку, и несчастного случая нельзя устроить, а вот когда фабрика-то на полный ход пущена, тут-то и придется позаботиться. Так я изволил говорить с вами, что и с найденным человечком и то не одну-с недельку возитесь, потому как он заломит с вас цифру круглую, и придется с ним поваландаться. А уж тут,— я по секрету-с вам ради особого уважения-с, холостой ли, женатый, а найдите вы ему-с под пьяну-с руку получше-с девочку, чтоб по вкусу пришлась,— понимаете-с?.. По вкусу придется, сам вас потащит к ней,— вы и стакнитесь с ней насчет цены, и ей за это дадите сколько,— не возьмет много, кто-кто, а они цену деньгам знают-с, а уж кого нужно уговорить насчет цены, улучит такую минутку тайную и уговорит его. А там и делу конец. Так вы-с, Афанасий Тимофеевич, на расходы не прогадайте у хозяина взять. Тут не тремя тыщами пахнет, а если умеючи-с и еще пять заработать можно. У Наумова, я по секрету скажу вам, и на собственное питейное заведение хватит, и никак я не могу-с понять, чего он остался дворником,— тут тоже не без каверзы-с на ваш счет. За ваше-с здоровье, Афанасий Тимофеевич,— за успех предприятия-с, а с успехом поздравляю-с особо вас... Наумова остерегайтесь только, прознает про это дельцо — наперед старику пойдет, чтоб только вам напакостить, и денег не пожалеет своих на того человечка, что вы трудами-с долгими найти-с соизволите. За ваше здоровье, Афанасий Тимофеевич!

Вечером в кладовку пришел свою из трактира, только ложиться хотел — будто дверь кто трогает, раздеваться стал — опять будто стук легкий.

Приоткрыл — Дуняшка стоит.

— Тебе чего?

— По делу к вам, по секретному. Еле дождалась, когда улягутся,— к ней сегодня пошел и пост не соблюл — пошел к хозяйке. Насчет вас история у них вчера вышла.

— Заходи, говори в чем дело.

И не обнял ее — заколотилось сердце, как услышал про старика с хозяйкою.

— Неласковый вы сегодня!..

— Неласковый? Ты говори, Дунь, что случилось?..

— Петрович ему наговорил вчера про вас чего-то, а чего — сказать али нет, уже не знаю сама,— говорить ли?!

— Не мучай ты меня, говори, Дунь!

И с досадою на колени к себе посадил, в первый раз. За шею его обняла и шепотом, и не на «вы», а на «ты», Афонёю:

— Видел он тебя в спальне у ней, сама слышала,— говорит,— не занавешано было и ставни не было, сам видел, как сиделец-то новый ваш, так это в десятом часу, зачем-то в хозяйкиной спальне был и. Марья Карповна с ним, а он-то уже без поддевки, только потом, говорит, ставни заставил, сам заставлял, хозяйственно. Я это к Марье Карповне — рассказала ей,— говорит, скажи, что отпущена была — ходила в цирк поглядеть, а я, говорит, скажу своему, не могла ставню сама поднять и позвала Калябина, а что без поддевки был, так в передней скинул ее, прикрывается ночью, мол, так уж перед сном было. И к тебе за этим послала. А еще послала к тебе за тем, чтоб до утра я у тебя пробыла, ты говорит, Дунь, спаси меня,— побудь у него, будто любовь у вас, а я приду, искать тебя буду, найду, тут и старик успокоится: не со мной, мол, живет, а с Дунькою. Так мне, Афонь, оставаться? А?..

И вправду его обняла, когда согласился, чтоб оставаться на всю ночь до утра.

— Сама прислала, Афонь, к тебе. Не пришла б может, а теперь — судьба.

— Ложись, Дунь, а я посижу тут, а может, и на полу лягу.

— Я тебе было еще рассказать хотела, а ты, вишь, какой, точно не любишь, говоришь только?

И от волнения, от тревоги за судьбу свою — за подпись Феничкину, за ее судьбу, через силу целовал ее...

— Каб не любила тебя, Афонь, не пришла бы,— ради тебя согласилась придти. А еще я тебе скажу — пытал меня сегодня Наумов, в тياتер звал. А что, говорит,

Афонька-то с хозяйкой как дружно живут, душа в душу. Смеется, окаянный, точно чувствует,— нюх у него, как у собаки гончей. Я ему говорю: «А тебе что, завидно, что ль, что из сидельцев тебя согнал хозяин? А в тиятер-то я и с Афанасием Тимофеевичем пойду, коли надобность будет. Пусть и он знает, чтоб старому не набрехал чего».

Еще ночью по дому Марья Карповна подняла гомон: Дуняшку искала, за дворником самого Касьяна Парменыча послала, чтоб и Наумов знал, что чиста она, как агнец; понадобилось ей в коридор, глянула на сундук (со свечей шла) — Дуняшки нет, дверь попробовала — не заперта, и знала, что нет, да хотелось комедию разыграть получше и самой войти в роль возмущения. Самого Наумова и в кладовку к Афоньке послали, и привели с повинною девку к самому старику.

Наумов за дверь, Марья Карповна и давай старику вычитывать:

— Видишь теперь, с кем твой сиделец-то новый любовь крутит, попал в трактир, подле водки засел,— небось и выпивать стал, а стал выпивать и до этого дошел. Вот тебе и монах, и святой человек, а ты меня поедом ешь, человека ставень позвала закрыть, а он не бог весть что придумал, только меня-то измучили, а все это твой Петрович злобствует, что из сидельцев прогнал, и не то что на Калябина, а на весь свет злобствует, и на меня тоже, а я-то тут при чем, ну, скажи, Касьян?

Старик только покрывал да головой крутил. И вычитывала-то Марья Карповна при девушке, чтоб старика застыдить сильнее. А Дуняшка чуть не в причет, будто и вправду перед барыней провинилась:

— Заманил он меня, Марья Карповна, барыня, голубушка,— не сама я. Я, говорит, люблю тебя; как на место сюда пришел, так и полюбил,— женюсь, говорит, на тебе.

— Я вот его оженю завтра, а ты ступай, не голоси тут,— прикажу — так женится.

И опять пошел Касьян к Марье Карповне,— добродушно посмеивался:

— Все они святоши, дай только им до вашего брата добраться, и святость свою потеряют. Ложись, Машенька, до утра еще долго.

— Ты не гони его, Касьян Парменыч,— был монахом, а в город попал, и потянуло его житье, как и все живут. Трудящийся он, смиренный.

— Жениться заставлю на ней, а не женится — прогоню.

Наутро Афонька за стойкой сидел сумрачен, дожидаясь, что хозяин ему говорить будет,— до обеда не дождался, пришел только к вечеру.

— Ты что это вздумал?! Монах да распутствовать, да еще у меня в доме?

Молчал Афонька, молчанкою решил отделаться, дать старику выговориться.

Под конец отошел Касьян Парменыч, только жениться ему приказал на девке.

И начал Афонька опять ото всеобщей старики провожать, и о святости по-прежнему говорил, и о том, что женится-то он, конечно, на Дуняшке женится, а только надо сперва деньжонок на житье да хозяйство себе заработать, одному-де и в каморке жить можно, а как дети пойдут — не запрешь в кладовку. И старик настаивать под конец не стал, когда от Марьи Карповны узнал, что не Афоньке столкнуть девушку с пути истинного, а как узнала Дуняшка, что хозяин ему приказал жениться, так и с ним только на людях видится.

А Марья-то Карповна и в самом деле Дуняшку расспрашивала, от ревности и выпытывала:

— Ты по правде мне говори, не тронул?!

— Вот перед истинным, Марья Карповна,— что ж бы, я далась ему, что ли, да ни в жисть, на что он мне сдался-то! Что я не знаю, что ль, что он с вами живет, так что ж я себе, что ли, враг, коли пойду против вас? Да мне он и того не по душе, страшный, а здоров-то, аль ни страшно,— навалится, так задушит, что ж враг себе, что ли?..

И опять потекли дни за днями, субботы за субботами, отъезды Касьяна да возвращения, только еще зорче Наумов следить стал и за Афонькою, и за хозяйкою, и за Дунькою.

К Рождеству, как по-писанному, подарил хозяин Афоньке за труды, за свидетельство и за будущее половину обещанного, а вторую посулил, когда конец будет успешный, а если он хочет, чтоб успешный был, так и дальше поможет хозяину, ради своей же выгоды. И почувствовал Афонька, что подходит для всего время страшное — решать судьбу Феничкину.

V.

На масленной и призвал хозяин блинка поесть Афанасия Тимофеевича, а потом, после романей аглицкой (первый

раз разрешил Афонька старинку вспомнить), разморило ему душечку, и пошел он с хозяином в молельную отдохнуть. Разные разговоры были, только под конец перед чаем начал Касьян про дома Дракинские и перевел на пенечные склады инженера Дракина:

— Я тебе, Афанасий, что скажу, — надо нам домики в оборот пустить; я ему первый взнос на второй только год просил сделать, осенью этой, только я смотрю, деньги прах тленный, не в деньгах дело, и у него-то они лишние, потому — фабрика новая, так либо фабрику, либо дома береги, а то на чужие денежки и то, и другое подай. Домики-то не его, собственно, племянницы, да это все равно, одним миром мазаны, а вот как у него пенька сгорит осенью, — а ведь может сгореть, мало ли каких не бывает случаев, недобрый человек подвернется — и пеньки нету. Тут уж либо завод держи, либо дома, а то мои деньги работать кому не лень, а мы с тобой, Афанасий Тимофеевич, — так, кажется? — Тимофеевич? — так мы их и приумножим во славу божию, и тебе они не лишние будут, — такой потом откроешь трактирчик — беда просто, за пояс заткнешь нас, стариков... ха-ха-ха... Сам себе был бы хозяин, не смотрел бы из рук Касьян Парменыча, и опять дело доброе, народ кормить будешь. А подле фабрик-то Дракинских ни одного нет, а народу у него — тысячи, нет-нет да и зашел бы какой-нибудь душу чайком промочить, водчонкой побаловаться, я б тебе и помог, у меня рука легкая. Да что ж ты молчишь, ай не нравится, что не так говорю, как сам думаешь, — а ты расскажи, вдвоем и надумаем, — может, еще что получше придумаем.

— Не пойму я, Касьян Парменыч, речь вашу, попрямей бы как, — может, я понял что.

— Так ты говоришь попрямей, — изволь и попрямей можно. Нужно, чтоб к платежу у Дракина пенька погорела, либо на фабрике пожар случился, что будет выгодней, а тогда либо на сколько все дело останавливай, либо денежки-то, что приготовил в уплату, спать в оборот пускай. Понял, что ль? А тебе только человечка подыскать верного с огоньком на склады либо на фабрику и весь труд; а за работу, уж я говорил тебе, заведение открою и деньгами дам. Ты не забудь, Афанасий, — три петрушки получил... За мной еще три.

— Что уж, Касьян Парменыч, нанялся — продался, придется уж видно кончать дело.

Точно рак вареный Афонька вышел из молельни чай

пить, а сидел, старика слушал в молельной, из стороны в сторону ерзал, не по себе было от слов Касьян Парменыча ему. Ждал, когда старик скажет, и не верил, что скажет,— сам себя утешал, концу своему отсрочку делал, и подошло время. Так и подмывало наперекор старику пойти, да знал, что в конторке ореховой под бархатом черным с крестами нашитыми лежит судьба Фенички, а может, и его тоже, и ключик от судьбы этой висит за Казанскою. Заглянуть даже хотелось — на месте ли, не перевесил ли куда старый на другое место... И согласился ему помочь, не обедняет, если дома целы будут сиротские,— что ему триста тысяч?..

За чаем хозяин сидел благодушествовал, косточки перебивал соседские, и не перестал бы, если б не звонок в передней.

— Кого это бог принес?.. Да ты, Афанасий Тимофеевич, оставайся, без тебя Василий в трактире справится.

Не ждали гостей, а пришли, любы — не любы, надо потчевать Антонину Кирилловну с братцем, инженером Дракиным.

Марья Карповна встречать вышла, а старик подмигнул Афоньке:

— Ишь ты, легки на помине... Чутье у них — гончее. Поглядим, чего говорить будут,— послушаем... Вот, помяни мое слово, заговорят про деньги.

Обрадовался Афонька, что, может, что-нибудь да услышит про Феничку,— хоть несколько слов да скажут, если не Дракин, так мать не вытерпит.

Старик, будто добрый,— дела хвалил дракинские, только глаза шурились, когда смеялся, и огоньки злобные бегали:

— А здорово ты, Кирилл Кириллыч, пустил фабрику,— англичанке-то, небось, не по вкусу? А? Недовольны, что не пенькою, не сырьем, а пожалуйста канатики у нас покупать. Одного народу у тебя сколько кормится.

— Денег, Касьян Парменыч, на такое дело много нужно,— если б еще набрать полмиллиончика, осенью и в Калужской губернии можно было бы закупить пеньку, послать понадежней людей, и гони через Коммерческий,— треть внес, а две трети — кредиты.

— Ты, что ж, монополию, что ль, на пеньку думаешь взять на всю Россию? Смотри, не сорвись, Кирилл Кириллыч!.. А то в полгода загудишь.

— Вы только подумайте, наша дает 18%, да Курская —

16, а если еще прихватить и Калужскую, так всех 50 процентов и наберется. До монополии далеко, конечно, а конкуренцию создать можно. Пусть на мою долю тридцать выпадет, и то можно цену поставить на рынке, а по копейке сбавлю против остальных, и не угнаться за мной никому. Только б деньги!.. Я и то хотел попросить вас отсрочить мне на полгода взнос первый, а сезон отработаю, оберну деньги, тогда сразу вам за полтора возвращу и проценты за остальные вперед отдам.

— Никак не могу, Кирилл Кириллыч, сам знаешь, голубчик, осенью ремонтный на два полка поставка, да за границу надо отбой сплавить,— лошадки, брат, тоже чего-нибудь стоят.

Только Афонька видел, как старик радуется, бороденку растрепанную пощипывает,— первый признак — как начал подергивать волосенки реденькие — доволен, злобствует. И стариков разговор слушал, и к женскому прислушивался,— с левой стороны сидели — к сердцу ближе и слова-то о Феничке.

— Осенью, вот, Маш, на курсы поедет Феничка, в Петербург хочет, соблазнил ее дядюшка Петербургом — все время бредит.

— И одну отпустить не боишься?

— Теперь бояться мне нечего за нее, сама знаешь.

— Не надоело еще учиться?

— Насчет ученья не знаю, а поживет и жениха найдет. Не выходить же ей, в самом деле, за купца,— теперь купцы-то своих посылают за границу даже, или вот еще за репетитора, что ли, своего,— может, он и хороший человек, да только у полиции под надзором, и не скрывает даже — героем себя чувствует.

Одно только понял Афонька, что осенью Феничка в Питер укатит, да что с репетитором у ней неладно что-то. Вспомнил, как в передней они разговаривали,— с того раза и запомнилось, как глядел на нее репетитор этот. И почувствовал, что конец близится: спасти Феничку от старика Галкина и самому за ней следом — пока не поздно. За каждым шагом следить надо старика Касьяна, каждое слово знать, и опять об Дуняшке вспомнил.

— Пригодится она, теперь и пригодится. Может, сама и не говорит всего, свой интерес соблюдает, а Дуняшка скажет, ей беречь не для чего.

В тот же вечер, по коридору проходя в кладовку свою, мигнул на дверь Дуньке,— вышла за ним.

— Что надо?

— Что ж ты, Дуняшка, ко мне никогда не придешь?!

Обнял ее с поцелуями...

— Да что ж приходит-то, ночью была и то ни к чему,— ославили только, каб вправду — не обидно бы было...

— Тогда, ведь, я знал, что была послана, знал, что каждую минуту придут искать,— приходи сегодня, ждать буду.

И ушел к себе вниз по лестнице, и ответа не стал ее дожидаться, из темноты вниз опять повторил:

— Приходи, Дунь.

Будто и обида еще в душе жила, и от поцелуев-то надежда опять проснулась, и ушел-то, сорвался точно — не знала, что делать, и, цепляясь за надежду последнюю, — вскрикнула тихо:

— Приду...

Шла — было жутко, а вошла — душа оборвалась, как играть с нею стал, дразнить ласкою с поцелуями, на коленях у него сидела — на руках лежала, запрокинув голову, а он целовал ее, целовал и давай шептать:

— До осени ждать нам, теперь не долго, Дуняша, — всего до осени, свое заведение открою осенью, сам старик обещал — дельце одно ему надо обладать, не надул бы только меня, этого и боюсь я, а тогда и осенью не придется.

Прислушалась к шепоту и точно очнулась Дуняша.

— До осени?.. А я, Афонь, думала...

— Да ты слушай, глупая!.. Как же теперь-то можно? Узнает ведь, сама узнает и взревнует тебя. Взревнует — тогда выгонит, а помочь-то и некому будет. Без помощи тут ничего не выйдет. Я тебе теперь как свой говорю, — знаешь Дракиных?

— Ну, знаю...

— Так хочет их старик в трубу пустить, а я что вздумал... самому в это дело вступить, потому наобещает Касьян много, а к чему придет — шиш масленный, а если сам возьмусь — такие капиталы нажить можно, не то что трактир — откроем гостиницу на главной улице. А без твоей помощи — ничего не выйдет.

— А мне-то что делать?

— Каждое слово Касьяново слышать. Сама-то, ты думаешь, расскажет что, — дождайся! Пока не надоем — живет, а свой интерес — во как блюдет — ни слова не скажет, продувная. И с ней-то я из-за этого дела, понимаешь? Взревнует — конец тогда, — от кого я узнаю

что, а тут ты, своя,— не любил бы, не сказал бы тебе, не доверился. Да так нужно, чтобы и про нее со мною старик ничего не знал, узнает — тогда мне конец,— так и тут не обойтись без тебя. Ее тож надо от старика беречь — не узнал чтоб, а то Петрович выслеживает, местечка-то жаль ему, ну и не дождется, когда старику про меня наговорить можно. Сама знаешь, один раз было уж. Понимаешь, Дунь?..

— Как не понять — понятно, только боюсь я, Афонь,— возьмешь ты на себя кровь Касьянову. Так, что ли, будет?

— Вот те Христос, пальцем не трону, ничьей души не загублю — не возьму на душу греха такого. А что я теперь такой-то, так сама пойми, сладко, что ль, нам урывками-то, как вора, видеться, коли б я принял тебя теперь? Разве ж я не люблю тебя?! Самому держаться трудно, а надо, а ты обижаешься...

— Не любила б, не пришла б к тебе тогда ночью, а ты как бесчувственный. Ладно, буду стараться, не разлюбил только.

И на лестницу проводил с поцелуями, а вернулся — до утра не заснул, продумал.

Опять Дунька девкой вернулась на сундук к себе, и жутко ей стало, что затеял Афонька недоброе что-то, а в то, что замуж возьмет ее — поверила, оттого и поверила, что заодно будут действовать, а раз заодно — на всю жизнь связаны,— все равно не уйти от нее Афанасию, на всю жизнь будет в ее руках.

А Касьян Парменыч наутро к Афоньке в трактир пожаловал. Бороденку почесывал, ехидно шурился и посмеивался:

— Слышал вчера? А? Гостечки милые? И еще б взял, коли б дал. Ушел рано ты, а он говорит, что и шпагатную-то заложит к осени... Теперь наш, не зевать только. Так ты, Афанасий Тимофеевич, займись-ка теперь, подыщи человека верного!..

— Да я, Касьян Парменыч, и не знаю как!

— А ты поучись!.. Не мне ж учить тебя этому. Расспроси кого-нибудь.

— Кого ж про такое дело спрашивать?..

— Таскается тут один,— небось знаешь,— кляузы мужикам строчит.

— Поверенный, что ль? Лосев?

— Поверенный, брат, поверенный!.. Он самый. Ну, а мне некогда, пойду я... Да ты не зевай, поскорей надо, надо все

обстроить за полгода, чтоб в августе запасы-то старые пустить по ветру, да к самой работе-то и на фабрике петуха пустить. Расходы будут какие, за деньгами сам приходи, да не в лавку, смотри, а наверх вечером. Ну, с богом!

Понял Афонька, что начинается мирское странствие для него, и путь-то порос репьем, да волчцами. А Лосев после того раза, как поучал сидельца Калябина, глаз не спускал с него, караулил, выжидал, когда работка ему выпадет по делу дракинскому, и каждый вечер садился за столик в углу подле двери кухонной, против стойки Афонькиной. В базарные дни по трактиру таскался, работенки искал случайной, а по вечерам без дела ходил, посидеть просто против Калябина. И дождался на масленной маслены. В тот же вечер велел Афонька Василию блинками угостить Лосева и графинчик подать маленький, и Василий смекнул, что неспроста захотел Афанасий Тимофеевич угостить кляузника,— от хозяина разрешение, значит, получил особое. Запросто селянку ел Лосев — задарма, а тут — блины с закуской и выпивка. Лосев тоже понял, что начинается, значит, работа, и подошел будто Калябина за угощение поблагодарить особо.

— Премного-с вам благодарен, Афанасий Тимофеевич, блинки-с у вас удались нынче,— такие блинки-с, что и еще бы в охотку скушал, одному только скучно-с...

— Ладно, я за компанию съем с вами, все равно ужинать буду, так с вами.

И вторые подал Василий с закускою и даже икорки принес кетовой.

— Ну, как насчет домов дракинских?

— Коли уж начали говорить, кончу я! Нужно мне человечка найти...

— А что я вам говорить изволил? — как по писанному-с...

И рассказал Афонька поручение старика Лосеву:

— Будьте-с спокойны-с, с удовольствием-с, Афанасий Тимофеевич. Такое дельце и у старика не каждый день, да-с... Дельце-с крупное-с, осторожно-с начинать надо-с... Да-с... Ну, да время-то до осени короб-с, девать некуда, а что заработаем мы с вами на нем — будьте-с покойны, только извольте-с моими указаниями не брезговать. За ваше-с здоровье, Афанасий Тимофеевич, за доброе начинание-с...

И целый вечер слушал Афонька причитания Лосева, пока пора стало трактир закрывать Галкина.

На другой день и Наумову через Василия стало известно, что сиделец блинами кормил Лосева,— значит, какое-то поручение от старика есть Калябину.

Каждый день Петрович Василия спрашивал:

- Ну, как рыжий-то? "
- Сидит, Николай Петрович...
- Никаких дел не заметно?..
- Никаких.

И стал Наумов целые дни на скамеечке подле ворот просиживать, выжидать — не пойдет ли куда Калябин,— пойдет — и он следом. По пятам ходил издали вечерами, потому больше вечерами по таким делам и сам хаживал, и с Лосевым. Одна выука что для него, что для Калябина. Наперекор пошел и Касьян Парменычу, и Лосеву, лишь бы сжить сидельца нового.

VI.

Зима, не зима, в марте — ростепель, на несколько дней подморозит — опять холода, сидеть бы дома, либо за стойкой в трактире Афанасию Тимофеевичу, а тут гоняй вечерами с ребятами слободскими по веселым заведениям,— постом-то. Выбирай человечка нужного. Указал Лосев на трех человек, что в базарные дни на лошадей набивали цену, а сам, говорит, некогда, не мое дело, я только советец подать добрый, а чтоб в уголовщину пускаться, на то я и присягу принимал, чтоб честь свою охранять.

А тут опять хозяин уехал — по ночам караулить, ублажать Марью Карповну. Раньше хоть дома сидела, а теперь в баньку с ним ходить выдумала, потому в тепле, да в прародительском образе точно в раю человек пребывает, и что на земле-то живет, и про то забывает, когда любовною лаской объят греха смертного. Один раз после омовения возлежала в предбаннике с ним и говорит:

— Афонечка, а ты знаешь, раньше-то я была дура, мы б и при старике тут могли побывать, и в нос бы не клюнуло,— теперь умней буду, и при нем любиться будем, еще слаще любовь, когда постоянно в опасности.

Приехал старик, спросил только:

— Ну, как подыскал кого?

— Трех человек нашел, о цене не говорили еще,— узнать хорошенько надо.

— Смотри, чтоб к сроку готово было.

И Дунька по вечерам с вестями бегала, всякое слово передавала ему, а уходить станет — прижмется к нему ревниво и поцелуями дышит, вздрагивая:

— Скорей бы, Афанасий Тимофеевич, ваше дело кончалось, кажется — до осени-то не весть сколько время еще, а терпения моего нет на ваше житье смотреть с хозяйкой, обидно мне, силу-то свою тратите — ей на забаву только, а мне бы — на всю жизнь с вами, а сила-то уйдет, растратите все, а мне-то что ж?.. И ласки не останется вашей...

— Теперь скоро...

— Что ж, что скоро, а с хозяйкою по-прежнему, да еще в баню ходите. Мяса не ест, постится, а с мужиком ублажаться в бане — и поста нет. Старик бы знал?!

— А тебе-то что?

— Как же что, она и мне говорит, я теперь и при старике буду с ним в Зайцевское ездить, только и будешь знать одна ты, чтоб на случай какой найти где нужно, а то и выручить.

Один раз вечером прибежала:

— Говорили сегодня насчет Гракиных, не то Дракиных, под дверью стояла, всего не слышать было, а только говорил, что не знает, как с векселем быть, не то продать с обратным, не то у себя держать. Не шутка, говорит, в чужие руки триста тысяч передать, хоть и своему дам на время, а как улизнет куда, либо еще что выкинет.

— На чем порешили?!

— Конца-то я и не слышала, ушли к окну... Старик только бурчал все время...

И опять Афонька целые дни мучился — продаст или нет, уплывет векселек из конторки ореховой — конец тогда, целый век придется за стойкой сидеть, да ублажать купчиху. Ехал к Марье Карповне и не думал, что тяжесть от этого на человека ложится, потому наголодается за зиму на монастырских хлебах, летом и рыщет по лесу, купчих высматривает, как зверь лютой. А тут хоть и передышка ему, а все будто убавляются силы плотские. Дождался свободы своей Афонька, своими руками ее схватил за глотку и не пускал, чтоб не вырвалась, — мечтал, как он избавителем будет Фенички. Как еще будет, не знал, думать некогда было, а только ждал дня страшного.

В слободке таскался с ребятами по разным домикам, в картишки играл с ними и проигрывал для поощрения

и намекал, что дело к ним есть, петуха пустить Дракину, — отговаривались все — страшно, мол, в остроге сидеть и дорого стоит будет работа. Один даже трепальщиком нанялся и про базар позабыл: во все закоулки — на фабрике и на складах совал нос.

— Караулы там, Афанасий Тимофеевич, строгие, запоры крепкие, — тяжело будет.

— Цену мне говори...

— Меньше двадцати тысяч не возьмусь, неохота в остроге сидеть, карьеру портить свою, — в паспорте-то пропишут, если с поличным захватят, — хорошо улизну, а нет — на всю жизнь арестант крапленный.

Афонька с ребятами, и старый сиделец следом Василия подсылал свиданье устроить, — пойти — пошли, а толком ничего не сказали Наумову.

— Не договорились еще, в цене никак, должно, не сойдется.

— Уступи половину, а половину я дам.

— За что ж это?

— Афоньку подвести под тюрьму, мое место занял и с купчихою занимается, поймать не поймал — пере-хитрил бестия, — только знаю, что старик дураком ходит. Хочу доканать его...

Посмеялись ребята над Петровичем, а только так и не сказали ничего. Встретили Лосева — к нему за советом, — так, мол, и так — наперекор Афанасию Наумов идет, на чью сторону становится.

Лосев смекнул в чем дело.

— Дурачье вы, вот что, с молодого-то по неопытности содрать можно будет больше, и волюнку тянуть сколько выйдет, так-то, ребята, дельце-то во сколько лет одно попадаете такое, — надо пользоваться человека... Да-с... А Петрович обстрелян на этом, шиш вам это масляный. Да-с... Вы только уши развесите — ослы этикие — обведет вас Петрович-то вот как-с, за мое почтение-с...

Так и не вышло у Наумова ничего, хотя и не переставал он следить, и через Василия у ребят узнавал, что нужно, потому Василий приятелем прикинулся Афанасия Тимофеевича, так и ребятам сказал, — заодно, мол, действуем, вы уж не очень-то наседайте на него — человек хороший.

Как белка крутился Калябин по этому делу и от купчихи не отставал, когда в баньку просилась с ним. И при старике стала ходить в Зайцевское, на другой конец города, на Дворянскую. С одного конца улицы баня в три этажа

кирпичная, а с другого — острог новый и тоже без штукатурки, а через всю улицу господа дворяне в особняках с палисадниками. Простой народ почти и не хаживал в эти бани в дни будние, поблизости только и была одна слободка Новорецкая, а ходили из ней под гору, в Бакинские. Наумову и невдомек было за хозяйкой следить, а Афонька когда в баню шел — на трамвае через весь город ездил, а раз сел на трамвай, значит, еще по какому делу — не по галкинскому, и следить нечего.

Перед страстной седмицей Касьян говеть, а Марья Карповна — в баньку вздумала. Призвала Дуняшку:

— Пойди, Дунь, скажи Афанасию Тимофеевичу, Марье Карповне, мол, в баньку хочется. Он знает куда.

Прибежала Дунька в трактир к Афоньке и передала шепотком просьбу хозяйкину. Вышел из трактира — после дыму табачного, запаха винного и захотелось по апрельскому вечеру пешочком пройтись, Наумов глянул — Калябин пешком пошел и — следом. Ежели через гору идти слободою — совсем близко, глухими переулками подле заборов, садов мещанских, приятно даже — почка листву гонит, и ветерок землю пахотной с полей тянет. И дошел Афонька дорожкой ближнею, а следом, по другой стороне, в отдалении Петрович. Взошли на гору, повернули к Дворянской, подле бань Афонька прохаживается.

Петрович подле ворот чьих-то в потемках стоит — думает:

— Зачем же это в бани ему?.. Ждет кого-то... Поглядим кого.

И полчаса не прошло — на легковом Марья Карповна подкатила.

По походке узнал Петрович, а подошел к ней Афонька, у него дух захватило от радости.

— Теперь-то ты мой... С поличным можно сказать.

И пустился под гору во весь дух. Прибежал к дому, глянул — огонь у старика, от вечерни пришел, молится. Попробовал дверь — не заперта, по лестнице — позвонил. Дуняшка встретила, увидала, что запыханный и передохнуть не может, — глаза горят, заикается...

— Вам что, Николай Петрович?

— Касьян Парменыча повидать, срочно.

— У себя молится, от вечерни пришел только что, беспокоить нельзя.

Рвется в дверь, отталкивает девку — проскользнуть хочет, — поняла, что неладное что-то, не даром выпытывал

про хозяйку да в цирк звал. Пустила его, а сама не к себе в коридор, а за дверь поглядеть, что дальше будет.

Старик из молельни на стук рассерженный вышел.

— Тебе что?

— По секрету, Касьян Парменыч.

— Говори тут, никого нет. Какие там завелись секреты?

— И сказать-то не знаю как, говорить страшно. Насчет Афоньки я... Тогда говорил про него вам, что в хозяйской спальне видел, а теперь — того хуже.

— Ну?..

— Подле бани их сейчас видел, вместе пошли.

— Этого быть не может! Брешь ты!

— Хрест истинный, — в Зайцевских.

— Вели заложить, сам поеду, а ты тут будь, с тобой срамиться только. Погляжу — вернусь.

Петрович во двор, старик в молельную, а Дуняшка накинула кацавейку, покрылась платком и через парадное и не заперла даже — во весь дух через слободку на гору, опередить старого. В номерной этаж влетела — к коридорному, чуть не плачет, указать молит номер ихний...

— Знаешь ведь ее... Галкину, бывает часто... видеть нужно, несчастье у нас... покажи в каком...

А тому все равно, показал Дуньке. Стукнула... Из-за двери сама...

— Кто тут?

— Марья Карповна, я, Дуняшка, отворите скорей, беда!

Мыться еще не начали, прохлаждались в предбаннике, — в юбке еще была, только Афонька, должно быть, разделся, потому слышала, как звенел тазом.

— Говори — что?..

— Петрович выследил, прибежал запыхавшись, — хозяин велел заложить, сейчас тут будут. Одевайтесь поскорей.

— Как же быть теперь?..

— Я тут останусь, скажу хозяину, — Петровичу помершилось; пускай мне отвечать и теперь на себя приму. Коридорному не забудьте дать.

Торопясь одевалась Галкина, позвонила банщику, на рысях прибежал, кланяясь, — сунула красную...

— Спросит кто — меня не было. Понимаешь? Другой раз еще на чай получишь. Потребует показать — покажи их.

— Спокойны-с будьте, знаем-с... Счастливо оставаться...

А бани, что мертвец, молчат и банщики, как исповедники немощи человеческой. Отец семейства придет уважаемый, а нажмет номерному два раза и вместо банщика

в предбанник девица явится, только и нужно два раза кнопку нажать, и банщику за услугу на чай от барина и от девицы процентик. Специально дежурили и девицы на сей случай из благородного заведения, а нет свободной — на извозце в слободку слетает к фонарю красному. На другой — третий день мамаша с дочками в номера, а банщику все равно, будто и не знает, что супруг ее был с банщицей. А если по секрету от мужа с возлюбленным — на чай красную и будто рот на весь век замазали, тут хоть сам следователь, не то что муж.

— Не знаю я, мало ли бывает господ у нас, не запомнишь всех.

Приметы рассказывать станет банщику, походку опишет, и нос, и глаза — один ответ:

— Такой барыни никогда не видел, не знаю.

Никогда и не скажет, потому: первое — узнает хозяин, что гостей выдает, дохода лишает от вина да фруктов — выгонит, а второе, и самому жаль доходное место — такие гости не скупятся на чай, за совесть нечистую откупаются, такими посетителями и жили только.

Только за угол в темноту повернуть успела — на дрожках подлетел Касьян Парменыч.

Дорогою шла — ревновала девку, знала, что девка, — как на духу ее сколько раз пытала после той ночи, когда послала сама к Афоньке, а теперь даже губы кусала — сама осталась, выручила. О старике и не думала, оттого что в темноте страх пережит сразу, — не застал, не поймал, — цела-невредима, и Петровичу не сдобровать от хозяина — не пойман — не вор, а что думать будет, так Дунька с поличным в номере. Одного и боялась, что заставит-таки Афанасия жениться на ней, а тогда опять на богомолье в монастырь ездить, либо еще как устраиваться.

А Дунька бежала — придумала: ходила к нему — ни с чем на сундук возвращалась зацелованная, а теперь — один конец, либо и вправду не любит, а либо женится.

Хозяйка за дверь — раздеваться Дунька: и замирала-то вся от страха, белье сбрасывая, и думать боялась о чем-нибудь, а как в пропасть кинулась, когда дверь на замок закрыла в номере.

Слышал от слова до слова Афонька и сказать хотел что-то и не успел выйти, боялся из парной прародителем, — двум показаться — стыд смертный. Захлопнулась дверь — ждал, что будет. И тут в голове носилось — губить, изуродовать буйством девку, — не трогать, не связываться,

а как вспомнил, что хозяин придет и нужно ему ради себя выручать купчиху, — не знал делать что. А потом со злобой и решил — пусть будет, что будет — сама лезет, от ней тож по доброму не отвяжешься, — одной веревкой все спутаны, и без нее быть нельзя — помощница! — коли придется, без хозяйки в отъезд хозяина зайти в молельную ключик пробовать, что за Казанской висит, от конторки, да векселек найти Феничкин — по гроб не выдаст, коли будет знать, что невеста ему, жена верная.

Ополоумев от страха, вбежала, к нему бросилась и с закрытыми глазами на шею повисла, ожгла его тело холодком кожи розовой — и не выдержал близости естества смертного...

А потом уходить не хотел от нее, когда старик забарабанил в дверь — обо всем позабыл: и о Феничке, и о хозяине с хозяйкой — самого себя позабыл с девкою. Очнулась от стука Дуняшка первая.

— Сам пришел. Ступай, Афонь, отвори ему. Пускай теперь ищет.

Касьян подлетел на дрожках — в номера прямо, банщика вызвал...

— Тут хозяйка моя?

— Какая такая?

— Купчиха Галкина!

— Мало ли тут народу бывает, не упомнишь всех, может и тут... подождите, когда выходить будут.

— Ты смеешься, что ль, надо мною? Говори, а то полицию позову, скандал сделаю.

— У нас скандалить не полагается и вывести можно.

Распалился старик, бороденку дергает; пятерку достал — сует в руки...

— Не одна она тут, мужчина с ней — рыжий такой, высокий...

— Этого я заметил, это точно — в пятом с кем-то.

Подбежал Галкин к пятому — в дверь дубасить.

Народ из номеров выгльвает, перешептываются — посмеиваются на старика. Лабазница из одного вынырнула и соседке по номеру выкладывает:

— Ишь ты, ведь когда опомнился, — всем купчихам этот рыжий сатана памятен, такую силу забрал над бабами — в монастырь к нему на поклон гоняли, а Марья-то Карповна всех перехитрила — к себе привезла. Только сам до сих пор не знал, что кружится она с рыжим, надоумил кто-то...

Номерной, как мумия, стоит подле пятого, только смешливые огоньки в глазах бегают.

Из-за двери отозвался зло:

— Что нужно?

— Отворяй, хозяин твой, Касьян Парменыч...

— Не один я, нельзя сюда.

— Отворяй тебе говорят, — дверь выломаю!

— Сейчас, дайте хоть простыней прикроюсь, — что вам?..

Захлопнулась дверь — по коридору смех, а номерной только поглядывает ехидно...

Касьян Парменыч свое в номере:

— Показывай, где она?.. Марья Карповна, выходи сюда, а не то сам пойду...

Афонька стал подле двери парной...

— Касьян Парменыч, не пушу, не ходите лучше, никакой тут Марьи Карповны нет, слышите!..

— Пока не пустишь, не уйду отсюда. Машка, слышь ты, иди, выходи, а не то прикончу.

— Стыдно вам, — ну, согрешил я, — в трактире-то и не до того дойти можно... а чтоб бесчестить хозяина, да что я сам себе враг, что ли? Доверие-то ваше мне дороже всего, потому как я в хлопотах целые дни гоняю с ребятами по девкам, ну и сам дошел до точки, а чтоб бесчестить хозяина... Постойте тут — я хоть простынку снесу ей прикрыться.

Не выдержал старик, пошел в парную.

— Опять ты тут, проклятая! Ты ж дома была?

— Вы молитесь, а я сюда.

— Петровичу ж отворяла?..

— Я ж говорю — отворила ему и сюда прямо.

— Афанасий, ступай сюда!

— Я, Касьян Парменыч, женюсь на ней осенью, — невеста моя.

— Не про то я... Скажи: была тут?.. Была? Хозяйка моя, Марья Карповна?

— Вы что ж думаете, Касьян Парменыч, — втроем что ли, тут были?!

— С вами черт скружит голову.

Вернулся домой — один Петрович сидит, дожидается...

— Хозяйка вернулась?..

— Один я тут...

И напустился Касьян на Петровича, потому нужно было излить хоть на ком-нибудь досаду да злость накопившуюся.

— Так ты, что ж, срамить меня хочешь, чтоб на весь город прохождению не было. У тебя, как с Афанасием какая баба пойдет,— хозяйка мерещится?.. Нечего сказать, перед причастием удружил!

— Истинный Христос, хозяйку с ним видел...

— Ты еще разговаривать?!

С кулаками на него, да по чем попадя — по глазам, по носу, по губам — кровянил.

— Да чтоб твоей ноги на дворе завтра не было!

Больше полчаса по горницам проходил, пока Марья Карповна не вернулась. Бороденку свою теребил — думал:

— Была, непременно была... Не поймана... С Дунькою заодно...

Сбивало с толку его:

— Как же так?.. Дунька ж невеста его... Ужли допустит? Прогоню пакостницу, а свою — не помилую...

И тут же вспомнил закон свой:

— Не поймана — значит не вор... Теперь сам поймаю... Дождется она... Поймаю...

В то же время вспомнил про дело:

— Дуньку прогнать — Афанасий нагадит, продаст Дракину. А дело-то, кажется, к концу скоро — о цене уж торгуются...

Под конец и решил:

— Осенью прогоню и Афанасия, и Дуньку с ним. Выкину последние полторы — ступай на все на четыре стороны, сучий сын,— прости меня, раба окаянного...

И такая обида шевельнулась в душе,— всем стариком завладела, о другом и не думал...

— Из грязи вытащил человека, к делу поставил. Через десять бы лет сам был хозяином, а он тебе вот что. Лоб расшибал — молился, псалмы распевал до полуночи...

А потом и раскаяние проснулось, потому и проснулось, что исповедался — о грехах, о душе вспомнил.

— Может, и правда трактир его погубил,— не первый в трактире с пути истинного совращался, народ больно аховый,— базарный, да и дело-то его ввело в искушение — поскользнулся гульбой с ребятами... Женю его. Упираться будет — сам отведу к попу. Хоть одно доброе дело сделаю...

В глубине где-то, бессознательно:

— Женю его, с рук сбуду, и о своей думать тогда не придется — от сраму избавлюсь...

Не заметил, как Марья Карповна возвратилась. Вошла

в горницу — в первый момент даже взглянул на нее удивленно, а потом только спросил глухо:

— Где была долго?..

— Говорила тебе, сам знаешь, что за покупками в город ходила, на причастное платье себе выбирала.

И опять повторил, как и в первый раз:

— Смотри, Марья, не пойман — не вор, а поймаю — на себя пеняй!

И до полуночи перед Казанской молился, а Марья Карповна в подушки всхлипывала, потому, может, и не любила она Афоньку, а привыкла к нему, по-особому свой был — ласковый; успокоенная жила с ним, и со стариком была добрая, — придет — не осилит, помучает, а обиды и нет, оттого и обиды нет, что утоленная плоть спокойна, а когда плоть спокойна и человек добрей по-человеческому и все обиды готов забыть, зарождающиеся от греховной немощи, бесом мятущейся. Горько было расставаться с Афонькою, — потому знала, что любит Дунька его, потому и осталась с ним в бане, что любит. Знала, что и в ту ночь, когда посылала к нему, — не тронул девку, сама говорила ей, и почувствовала Марья Карповна в словах Дунькиных обиду женскую отверженной, — горше этой обиды, особо для девушки, пришедшей отдаться к любимому и отвергнутой, и на свете нет, — такой обиды только любовь беспамятная позабыть может да решимость отчаянья на последний шаг. Когда в номере одевалась она, а Дунька с себя все сбрасывала, по глазам видела, что на последнее человек решился в отчаяньи, и не то, чтобы победительницей на хозяйку смотрела Дунька, а глазами ей говорила, что девичье превосходство в ней, а в этом над мужчиною сила тайная, побеждающая. И знала она, что не выдержит от наготы девичьей, а тогда — потеряет она безмятежное житие плоти немощной.

К полуночи и Афонька вернулся в кладовку свою с Дунькою, и сам ее до утра ночевать оставил, и не потому, чтоб любил, а просто, как пьяница упиться хотел невинностью.

Марья Карповна утром только и спросила у Дуньки:

— Взял тебя?.. Да?..

Не ответила ей, глазами на хозяйку зло вскинула, точно вопросом своим Марья Карповна в душу залезть хотела лапой грязной, и не обида, а ненависть проснулась в Дуньке.

Марья Карповна еще ночью чувствовала, что было

с Дунькою в номере, и спросила-то от ревности оскорбляющей, и ответ ей не нужен был — по глазам прочла.

И все-таки — подошла к комоду и достала старинный ларчик кованный, села на скамеечку подле печки, открыла — позвала Дуньку.

— Иди сюда, Дуня, выбирай что хочешь, ничего не жалко! Жизнь ты спасла мне вчера... Понимаешь ты — жизнь...

— Не возьму я... на что мне?..

— За жизнь не хочешь, бери как подарок брачный.

Дрогнул голос, когда говорила — вся горечь сказалась в словах этих, и Дунька это почувствовала, и нехотя, а подошла взглянуть и выбрала с простой бирюзой колечко.

Обе почувствовали, что — враги, и близкие.

VII.

Касьян Парменыч будто совсем позабыл про случай банный, по-прежнему либо днем, либо вечером приходил посидеть в трактир — насчет дела своего расспросить Афоньку. И с ним попросту был, о Дуньке и не вспоминал — будто не было, только приказывал суше, — в голосе строгость, не отцовская, как прежде, а хозяйская звучала холодно. И с Марьей Карповной в мясоедные дни по ночам бывал и, засыпая подле тепла бабьего, толкал в спину:

— Подвинься, задавишь!..

И сквозь сон Марья Карповна дыханье его на спине чувствовала и слышала, как бурчал старик ее, засыпая:

— Тебе б молодого сюда, небось не повернулась бы спиною...

С того дня и Дунька каждую ночь уходила в кладовку Афонькину, — сама Марья Карповна разрешила, и каждый

вечер дверь на крючки запирала за ней и в дни постные засыпать не могла — ревновала и плакала, а в мясоедные — опять со стариком мучилась.

Рассказала Дунька любовнику своему про ларец кованный, про сокровища: жемчуга да яхонты. Когда перстенок выбирала себе — не волновалась брала, понравился и взяла, а рассказывать стала и дух захватило — вспомнила перелив радужный, теперь бы и не отошла от шкатулки, каждую вещьцу перебрала.

— Эх, Афоничка, и откуда только у ней набрано, еще бы разок глянула, уж очень-то хороши камушки, — одни мне

сережки понравились, и теперь жалко, что не взяла сдуру, — с подвесками и висюлички-то синенькие — фешками. Во сне даже снятся... И что в перстеньке этом... Позарилась на него. А еще тебе скажу — гранатки у ней — ну прямо вишни, а через две-три жемчужинки. Вот бы под венец мне одеть их или в гости куда, — будем ведь ходить когда в гости, — одеть бы их — позавидовали б. И что не взяла, дура! Вишь ты ведь — понравились незабудочки... Люблю я незабудочки эти — цветочки, и перстенок с незабудочкой, ну и взяла. А ей что, хоть бы когда одела, лежат без призора, как сироты...

И целые дни ходила Дунька, про сережки думала, про гранатки. Станет спальню ее убирать и нет-нет — на комод глянет. Марья Карповна и при ней постоянно в него лазила и ключи не прятала, а бросит их на комод и пойдет по хозяйству куда. И Дуньку соблазнять стали ключики эти, — не было мысли украсть, а всего — поглядеть бы на камушки. Уходить куда соберется Марья Карповна — ключи не берет, либо в коробочку сунет какую на комод, либо просто — за зеркало положит, чтоб не соблазнили кого, не валялись как придется. И об этом знала Дунька. В субботу придет Дунька постель готовить, — хозяйка ко всенощной... Так и тянет ее посмотреть за зеркало — лежат или нет, уходить станет — вернулась бы, да берет страх. Один раз и не выдержала, думала посмотреть только, на одну минутку открыла комод, достать ларчик и опять назад поставить. Ларчик открыла — на самом верху сережки с подвесками. В руки взяла, и жалко назад стало класть. К ушам поднесла против зеркала и сама себе показалась красивее, — оттого и показалась, что горели глаза тревогою и с завистью на сережки поблескивали. Сама не знала, сколько перед зеркалом простояла... В передней звонок хозяйский. Бросила на комод сережки — скорей ставить ларчик на место, комод замыкать, за зеркало, как было, ключи прятать. Вспехах и про сережки забыла... Глянула одним взглядом, — в порядке ли все, — лежат сережки... Подумала даже, что как же это она забыла их опустить в ларчик, схватила, в карман сунула и решила, что в другой раз положит обратно. А ночью пришла к Афоньке показать захотелось, — одела, примерила...

— Хорошо, Афоничка, — а?..

— Сережки-то хороши, — что и говорить, отличные, и цена-то, должно, за них хороша, кому не то что дом, и хозяйством обзавестись можно...

— Идут ко мне,— нравится?!

— Подарила еще, что ль?

— Ко всенощной шла — подарила,— хороши сережки!..

Показала ему,— спросил,— правду сказать — стыдно, и соврала, да так соврала, что самой жалко стало расстаться с ними: ложилась в постель — одела даже, а утром сняла и попросила Афоньку побережь, куда-нибудь спрятать. А у Афоньки своя мысль,— сразу решил, что задабривает хозяйка невесту его — соскучилась без Афоньки, стосковалась без дружка со стариком Касьяном и — чтоб не ревновала особо — наперед задаривает. Думать стал, куда прятать, и сразу про вещицы Николкины вспомнил,— два года почти провалялась котомка его под постелью, и не вспомнил ни разу, а теперь вот на вершок пылью покрытую достал и к вещичкам его в рубашку ту сунул, а запикивал под кровать ногою — подумал, что, как уходить будет, и их оставит Дунюшке, чтоб проклинала меньше.

Случилось Касьяну на три дня в отъезд ехать. Подошел вечер — Марья Карповна не своя ходит,— посылать или нет за Афонею караулить на ночь: если послать, да с Дунькою ночевать оставить в горницах — еще обидней, еще больней, и такая тоска ее захватила — душу мучила, сердце разрывала на части, а если к себе позвать — знать будет Дунька, ревновать будет — сама не знала, что делать.

Дунька пришла постель ей стлать, Марья Карповна не выдержала,— просящим голосом, почти шепотом сказала ей:

— Афанасия позовешь караулить?..

— Сейчас позову.

Сбежала в трактир и тоже шепотом ревниво:

— Караулить звала,— пойдешь?..

— Пойду напослед,— ты ж от ней вперед получила подарочек, так что тебе и говорить нечего,— откупилась она за меня, молчи уж... Ну, да последние дни,— потерпи, видно.

Точно в сердце кольнуло Дуньку... «Ну, да я тебе и вправду теперь не отдам сережки те. За него будут выкупом»...

И Афоньке сказала:

— Твоя правда, ступай, Афоня, только в последний чтоб...

— Я же тебе говорю — в последний...

Захотелось ему на купчиху поглядеть горемычную, а второе — нельзя не пойти к ней, караулить обязательно нужно, и не ее, а за Казанскую ключик, а не пойти караулить и не ублаготворить хозяйку — в другой раз не позовет наверх, тогда, значит, и ключика не видать, и векся не добыть. Пошел наверх к Марье Карповне.

Она тож не решалась сразу позвать его без Дуняшки, без ее разрешения, так сказать,— и придумала: позвала Дуняшку и велела послать его закрыть ставень и опять с тревогой злобною,— скажет что или нет Дунька.

Пришла в переднюю к Афанасию Тимофеевичу:

— Ступай, велела послать заложить ставни ей...

Зло говорила, ревностью,— обнял ее и шепотом с поцелуями:

— Последние дни, Дуняшка,— последние, потерпи,— сказать я тебе не могу, секрет, а только без этого никак нельзя...

Не ответила ему ничего, целую ночь проворочилась на сундуке в коридоре — целую ночь в темноте слушала, и казалось, что через семь стен слышит, как целуются,— через семь стен видела...

Марья Карповна тоже не спала до зари: забудется с поцелуями грехом смертным и опять очнется слезами горячими,— с груди Афонькиной волосами их вытирает, губами сухими, горячими просушивает.

— Афоничка, вот когда я поняла только, что дорог ты мне, милый,— сама отдала, уступила ей. Судьба уж такая уступить было. Раньше и не знала, что люблю тебя, а как ушел от меня,— сама знаю, что ушел, не говори лучше,— тут-то и стал дороже жизни. Раньше-то по привычке,— старик уедет — поживем, а там опять дожидаюсь я,— по-заведенному, никогда и в голове не было, что уйти от меня можешь, потому — баба я, и не вдовая, а мужняя. Ведь разлюбил,— ну, скажи? Не бойся! Мне теперь все равно... скажи только, правду скажи,— разлюбил?..

И не жалость, а ласка да любовь женская родила в сердце слова Афонькины:

— Я тебя люблю, Машенька!

— А ее — тоже любишь?..

— И ее люблю.

— Как же так, сразу двух?!

— Обоих люблю за любовь вашу. Она ведь сама осталась в бане,— может, за тем и пришла тогда тебя спасти. А тебя — отдыхаю с тобой,— может, в первый раз только и отдыхаю сегодня, Машенька,— близкая ты...

Искренне говорил, оттого и искренне, что и в самом деле — мучался с Дунькою любовью ее и оттолкнуть боялся, не выдержал — взял, и победила любовь девья, а с хозяйкою — не любя, отдыхал и только сейчас понял, что она любит его, только сам-то он не любил ее никогда,— оттого и казалось, что и она не любит, а ублажается только; а слезы ее отогрели сердце ласкою — про двух говорил с чистым сердцем, а в душе мысленно сияла звезда Вифлеемская — Феничка. И на другую, и на третью ночь, как и в первую. Сама не своя Дунька ходит, на хозяйку шипит змеею, на Афанасия не глядит, а в спальню войдет к Марье Карповне — колотится сердце, стоят перед глазами гранатки с жемчугом и не украсть хочется, а отомстить за Афоньку барыне. И опять не выдержала — достала из ларчика и не примеривала, а прямо в карман сунула и опять вечером принесла к Афоньке.

— Чтой-то она тебе?.. И в другой раз позовет — идти придется, ничего не поделаешь, видно.

Дело к осени — беспокоиться стал Касьян Парменыч, то и дело спрашивает:

— Ну, как, уговорились, что ли?

— Уговорились, Касьян Парменыч, на той неделе должно дам задаток.

— За сколько ж?..

Просил двадцать, за пять торгуемся, а под конец и за тысячу, зато расходу четыре сделано — пятьсот Лосеву, при свидетелях — верней.

Получил на задаток, в сентябре обещал несчастье на фабрике; надеялся — хозяин опять в уезд за лошадьми, а он за ключиком, и до приезда еще на волю вольную. Сам еще не знал, что с векселем сделает.

Перед самым отъездом собрался старик в гости с хозяйкою, а гости-то званые — на Успение, и попросил старик побрякушки одеть, лицом в грязь не ударить перед другими купчихами. Стала она собираться... Застегнула ей на шелках Дунька кнопки, полезла в комод за ларчиком — ни сережек любимых с подвесками, ни гранаток... Взглянула на Дуньку — скраснела та...

— Ты взяла, говори?!

— Что, Марья Карповна?

— Сережки с гранатами...

— Не брала я, зачем они мне!..

— Приду из гостей, чтоб были, а то иначе с тобой разговаривать буду.

Не струсилa девка, в глаза про Афоньку ей:

— Не брала я, может Афанасий,— он и ночует с вами, и все ваши порядки знает,— небось, сами дели куда, а на меня говорите. Хоть и хозяину скажите, что украла — молчать не буду, все расскажу по совести, что я вам — служу столько лет — не знаете, что ли?..

И не знала Марья Карповна, что делать ей,— вещи — стариков подарок, хватится куда делись, что говорить тогда, а про Дуньку сказать — отомстит из ревности, и про баню, про все Касьяну выложит, чувствовала, что злоба у ней от ревности, а узнает старик — конец ей. Из гостей вернулась — хотела по сердечному расспросить Дуньку, а увидала, что та окрысилась,— прогнала от себя:

— Чтоб в спальню ко мне ни ногой больше!..

Август на исходе — хозяин дома, Афонька и делать не знает что,— в сентябре палить фабрику, а тогда закатится звезда Вифлеемская в Петров град, и жизнь его кончена. В трактире сидит сумрачен и с Лосевым не говорит ничего, тот ест и пьет хозяйское, про дело спрашивает. Афанасий Тимофеевич только поглядит косо, буркнет нехотя:

— В сентябре велел.

— Трудно-с вам, Афанасий Тимофеевич, по первому-с разу приходится... Привыкнете-с, на всякое дело сноровка-с нужна. А только вы ко мне напрасно-с не обратитесь за советом-с. Я бы вам до подробности, по порядку-с все изложил. Так, значит к хозяйскому-с возвращению готовите люминацию?..

Подскочил даже Афонька...

— Когда он поедет?..

— Должно, скорешенько-с, потому давно разослал подручных людей,— через недельку воротится — к люминации,— ведь тоже волнуется... На этот раз — всего недельку в отлучке-с будет, то бывало — две, а то и все три раскатывает, а тут только товар поглядит, расплатится и домой-с...

Настали тяжелые дни, смутные Калябину, Афанасию Тимофеевичу. Дождался отъезда хозяйского и опять ждал — позовет или нет Марья Карповна наверх к себе.

И в первый раз шевельнулось недоброе в ней, — а ну как Афоня-то этот заодно с Дунькою, а ей только пускает туман в глаза, — заодно, значит, и про ожерелье, и про сережки знает, а может, и спрятали вместе где-нибудь. Думала — и не верила, потому ласков был с ней в последний раз, так ласков, что за сердце взяло, облегчило душу ей темную. Целый день мучилась. — звать или нет караулить на ночь, до позднего вечера мучилась, из комнаты в комнату проходила без толку — искала чего-то все, в спальню вошла, — тоска без него, пусто, — знает, что стоит Дуняшку послать, и опять закружится голова снами жуткими. Так и не решилась, что делать — со слезами заснула за полночь. Дунька ждала, что пошлет опять в трактир за Афоней, а как услышала, что кровать скрипит, на пружинах ворочается — обрадовалась и про себя шептала радостно, что не хочет откупаться хозяйка яхонтами, стоят дорого.

Прошел час положенный — десять, не позвала, Афоньку — как обухом по голове ударило: что значит такое, отчего не прислала, а что если и все дни не пришлет — тогда пропадать ему: не спасти от беды Фенички; понять не мог, отчего не позвала. На половых кричал, на Василия, и по делу даже решил не идти завтра с Лосевым к Ваньке Каину, поджигателю, уговор делать последний, — решил подождать, что дальше будет. Утром до девяти провалился, пока Василий на сдачу не пришел просить мелочи, — сказал — нездоровится, голова болит. И целый день до сумерок пролежал в своей кладовке. Вышел в трактир, — Лосев ждет...

— Что ж вы, Афанасий Тимофеевич?! А я с утра жду вас. Василия спрашивал — говорит — больны-с, хотел навестить вас, так сказать, проведать вас самолично-с...

— Сегодня я не пойду и завтра тоже, — болен.

— Болезни-с гуляют теперь везде-с, Афанасий Тимофеевич, — беречься надо-с, особенно вам в такие дни, а то недобрый час подойдет, без вас-то и кончать нельзя. Совет-то я дам, а исполнить-с его, приказать-с, припечатать, как говорится, и никому-с, а вы полечитесь перцовочкой, — я, как что, пропущу рюмочку и никакая меня болезнь не берет, — прыгаю-с воробушком...

Любил Лосев тирадами говорить, начнет и конца не дождешься, он бубнит, а Афонька про свое думает:

— А что если его спросить?..

Сам не знал, о чем спрашивать будет, а как беспокойство обуяло его, так и казалось, — стоит только спросить кого-нибудь, и сразу все переменится. И крикнул Василию:

— Господину поверенному селянку с котлетами, на закуску селедку с яишенкой и мне то же, и перцовки большой, — две рюмки дашь.

Сел за столик и начал спрашивать:

— Иван Матвеевич, что человек должен, по-вашему, сделать, когда, ну скажем, к самой цели он подошел, до чего целый век добивался, может испохабился через это, лишь бы своего добиться, чтоб всю жизнь потом жить счастливо, а под конец самый и не вышло из этого ничего, и себя-то втоптал в грязь, и других тоже, а на самом-то деле — впустую все?..

— Я бы вот что сказал-с... За ваше здоровье, Афанасий Тимофеевич, за успех предприятия-с нашего... Духом не падать-с, а бить в стену каменную — поддастся, особливо, если тут особа замешана полу женского... Долбить и долбить — и непременно поддастся, не выдержит...

— Не то, Иван Матвеевич, не то... А если уж поздно, понимаете — поздно будет?!

И еще б спрашивал и еще б говорил, да вдруг — Дуняшка пришла, — глаза разгорелись, щеки пышат, со злостью к столику подлетела и не стесняясь Лосева:

— Ступай Афанасий, наверх зовет...

Ждать не стала его, повернулась, — только и слышал, как дверь хлопнула.

Встал из-за стола Афонька...

— В другой раз, Иван Матвеевич, когда выпьем, хозяйка зовет... А тот глазки прищурил, сам руку трясет ему, а сам полущенотом по-приятельски интимно:

— Вот и добились своего-с, Афанасий Тимофеевич, и не поздно-с, — десяти нету... Ведь добились своего-с?.. Да-с?..

— Добился, Иван Матвеевич, теперь добился...

И всю ночь до зари кровь чадела перцовкой бурно.

Истомленная спросила ласково:

— Пил сегодня?.. Да?..

— Думал, что разлюбила меня, — с горя я, — думал, что не поверила, о чем в прошлый раз говорил, — горько мне стало — хлебнул перцовки.

— Зачем ты?..

— Да, ведь, может, в последний раз, и не позвала меня, может после как дело-то кончу одно, никогда и быть не придется вместе... оженит Касьян на Дуняшке.

— Какое дело?..

— Разве не говорил старик?

— О делах — редко когда, а какое скажи, Афоничка, скажи, — знать буду, и мне легче будет.

— Поджог Дракиных.

И хмель отошел греховный, как о Феничке вспомнила...

— Дома Фенины?.. Да?..

— Они.

— Нельзя ли спасти? Как-нибудь!..

— Можно.

— Помоги ты, спаси ее...

— Люби только, от себя не гони.

— Что хочешь делай со мной, — спаси Феню. Опять я тут, и тогда не уберегла девушку, и теперь, будто через меня погибнет. Были друзьями мы, а с той поры — врозь, а тут опять я.

И вся отдалась ему покорно, как пьяную шатало днем от усталости, и не к десяти, а как зимой — к семи позвала чай пить. Сама и постель после чаю готовила, чтоб Дуньки не видать только, и дверь на ключ закрыла в горницы, чтоб один на один в последний раз любовью измучиться.

Пошла спать, Афанасий вслед...

— Я помолюсь пойду к старику твоему в молельню... Тоже, может, в последний раз на образа гляну.

— Что хочешь делай, Афоня, — без него в последний раз ты хозяин... Ступай.

По памяти у старика на аналойчике копеечную свечку нашел и сбоку нащупал серники, и свечкой зажег лампадку большую синюю. Стал на скамеечку стариковскую становиться, чтоб не тянуться, и за Казанскую просунул руку, — на старом месте висит ключик на веревочке. Конторку открыл ореховую и в кожаном бумажнике отыскал подписанный векселек Феничкой, и в карман его сунул. По-старому все положил и ключик повесил, и даже для чего-то земной поклон перед Казанскою положил, и пошел к Марье Карповне такой же спокойный, как и в молельную к старику входил, — только глаза по-особому блестели, точно смерть перед ним прошла только что.

— Чтой-то с тобой, Афоня?..

— А что?

— Бледен ты как, смотреть жутко! Страшный какой-то.

— О спасении Фенички помолился я...

И точно без слов поняли, что свершилось последнее,

и в последний раз всю ночь и смеялась, и плакала Марья Карповна, а когда уходил от нее утром, спросила шепотом:

— Спас ты ее?..

— Спас...

И может, в мысль не пришло, а только искрою сердце прожгло на секунду, на одно лишь всего мгновение, как догадка, для чего с приятелем человек пошел в мирское странствие, из-за кого отдавал себя, не любя,— так и ответ Афонькин обжег Марью Карповну,— почувствовала, что больше не нужно звать, незачем, и целый день с глазами почерневшими от любви потерянной просидела над своим ларчиком,— теперь поняла, что не он взял — Дуняшка украла сережки с гранатами...

И Афонька ходил, как в чужом доме, и не знал, что ему делать с этим векселем.

Послала хозяйка Дуняшку перед вечером в монастырь женский за бельем, что отдала вышивать еще летом, а сама, как во сне, перебрала рундучок ее и не нашла вещей своих, и как во сне сошла по лестнице темной к чуланчику Афонькину, постучала,— никого нет, и опять, как во сне, зашла в трактир и сама позвала Афоньку,— половые переглянулись только.

— Я к тебе, по делу... К тебе нужно, в твою... комнату.

Вошли в темноту,— зажег коптилку свою и взглядом спрашивал:

— Зачем ко мне пришла?.. Что нужно?! Жалеешь теперь, что спас...

И, торопясь, точно прощенья прося, точно уверяя, что не затем вовсе, а по своему делу:

— Пропажа у меня, Афонь,— такая пропажа, что узнает старик — в гроб вгонит... вещи у меня пропали... сережки одни да еще...

— Ты ведь Дуняшке их подарила?

— Я?

— Ты! Она мне побережь отдала их. Я думал и правда подарок,— откупаешься, мол, перед нею...

— Украла она... Не давала я ей — неправда. Разве б. стала я откупаться за любовь свою. Баба я, сама знаю, что баба, а коли любовь придет — гордая. Дарила я ей, правда это, перстенок подарила, правда, а только откупаться я не хотела,— вышло так, чтоб молчала, может и гордости не было, тогда не было,— а теперь я другая, другая я стала, теперь гордая.

— Прости ты меня. Плохое думал... Я отдам тебе вещи...

И опять пыльную котомку из-под постели выволок и, не думая ни о чем, достал рубашку женскую в кружевах и с потемневшими пятнами буроватыми и сережки с подвесками, и гранаты с жемчугом. Вскрикнула Марья Карповна, увидав перстеньки да брошки...

— Откуда у тебя это?.. Так и ты вор, значит?! У кого накрал? А говоришь, и про мои вещи не знал...

— Не мои вещи!

— А чьи же они, когда под кроватью у себя держишь?! А рубашка чья,— говори: чья?..

— Николкины вещи, помнишь Николку,— его, он собирал. И ложки его тут, он ведь раздаривал богомольцам ложки. Осталась сумка его, до сих пор лежала...

— Может, и правда Николкины?.. Николкины, да?.. И ты мне прости, прости, Афоня — душа у меня разрывается, голова помутилась... Прости...

А потом опять на рубашку взглянула — опять вскрикнула:

— А рубашка чья, говори?..

А потом вспомнила про Николку да Феничку и упавшим голосом сказала тихо:

— Может, ее...

На Феничку намекнула, и Афонька подумал тоже,— берег что...

Больше ни о чем не расспрашивала, только уходя сказала:

— Спас ты ее?.. Спас?..

— Спас!

— Уходи, если спас. К ней иди!

Как близкие брат и сестра и как чужие разошлись — спокойно, только у обоих, у каждого про свое клокотало в сердце.

Сказала Афоньке уходить к ней — осенила его, сразу дорога ясная обозначилась. Вернулся в трактир, спокойно до закрытия досидел, взял выручку и в последний раз пошел в свою кладовку собрать пожитки. Собрал котомку свою монастырскую и Николкину, еще с теми же ложками резными монашескими и не в рубашку девичью с кружевами завернул вещички, а в старый носок ссыпал и бросил на дно котомки, а рубашку под самый низ в свою положил и, оставив на столе выручку, залер тем же замочком погнутым свою конуру и через двор, мимо дворянничкой на Пеньки пошел,— к ней, к Вифлеемской звезде — к Феничке. Через Оку шел по мосту, оглянулся кругом — ни

души, и бросил в воду котомку приятеля. Сперва, когда у Николки украл, думал, что про черный день пригодятся вещицы его, а теперь, в такой день, когда звезда поднялась подле станции со стороны Пенъев, — показалось, что ничего кроме нее и нет на земле сумрачной, и отряхнул прах тления монастырского — кинул котомку черную.

VIII.

Дунька вернулась вечером, белье принесла, гладью шитое; и подивилась, что караульщика нет ночного — Афонички, с радости у хозяйки наниз попросилась, подбежала к кладовке — замок, и подумала, что по делам пошел на всю ночь в слободку с ребятами.

Наутро постель прибирать Марья Карповна позвала, вошла в спальню Дунька...

— Возьми перстенок свой...

И подала ей колечко с незабудочкой. Та рот даже раскрыла от ужаса.

— Откуда у вас?..

— Афанасий Тимофеевич велел передать.

— Как передать?! А где ж он?..

— Не знаю. Ушел.

— Куда ж он ушел?

— Не знаю.

— А вернется когда?

— Никогда.

— Как?!

Тут же и опустилась на пол — ручьем залилась, приговаривая:

— Как же так это вышло?.. Свадьба у нас к Покрову... Да неправда ж это... На четвертом оставил меня... Что ж я с ребеночком делать буду?.. Как же это так?.. Да я самому Касьяну Парменычу расскажу: отыщет его, жениться прикажет... А колечко-то как же?.. Откуда ж оно у вас взялось?.. Как же это так?.. Что ж теперь делать-то?..

И, ополоумев, волосы ключьями растрепала, за ворот кофты тянула себя — отлетали пуговицы белые и рубашка треснула, а голову положила в колени — до полу перегнулась и поползла к ногам Марьи Карповны, хотела молить ее — возвратить, вернуть, потому горела голова мыслью, что она, хозяйка, повинна во всем, и знает наверное, ушел куда, сама, небось, отослала, спрятала, чтоб только от нее избавиться.

Точно слезы выплаканные в последние ночи перед концом, с Афонькою перед разлукою, не от злобы и уж не от ревности, а от горечи за свою муку — вынула Марья Карповна из кармана сережки с подвесками да гранаты и, побрякивая над ухом у ней, — шепотом:

— И ожерелье отдал с сережками... Не знал, что краденое, — думал, от тебя откупалась подарками... Вот они... Погляди... Ты погляди только... Красивы яхонты... Он ведь принес, Афоня мой, и не твой, а мой, и все время моим был... Сережки-то вот они... Он принес.

И глубоко где-то у Дуньки шевельнулось на миг, что ни ее, ни хозяйки не любил Афонька, а что-то еще тут было, а что — не знала и почувствовать не могла, — но только на миг чувство такое было, а потом — резануло по-звериному ревность — подпрыгнула с полу и вцепилась ногтями в глаза Марье Карповне, — та только охнула, руками вскинула и ухватилась за ее руки — оторвать от лица хотела — резала боль глаза, не замечала сама, что своими же руками Дуньки руки на глаза надавливала и тоже, по-звериному от боли рванувшись, зубами впиалась в руку ей.

От злости повизгивала, говоря хозяйке:

— Это ты... Ты, блядь, спрятала от меня?.. Говори, куда его дела?.. Живой не пущу, — говори, где он?..

И, как у безумной, конвульсивная сила свела руки Дунькины, кинулась во второй раз — кадык сжала пальцами Марье Карповне, перехватила дыханье ей, на постель опрокинула, — инстинктом в один миг почувствовала Марья Карповна в чем спасение — ногами отбиваться стала, в живот ей бить изо всей силы. И Дунька от боли, всего только от толчка первого, еще судорожной пальцы сжала, даже чувствовала, как концы горят и покалывают, а другою от хозяйкиных рук отбивалась, отмахивалась, а Марье Карповне уж только казалось, что и ногами-то она колотит Дуньку и руками по глазам, по лицу бьет, оттого и казалось, что по глазам у самой еще боль резала остро, а на самом деле — только мускулы в ногах вздрагивали, а сами-то ноги повисли плахами, и руки не двигались, а только пальцы у ней шевелились, и казалось, что падает она в пропасть куда-то, в пустоту, и вот только бы нащупать, за что ухватиться и спастись, удержаться б от падения можно. И каждое ощущение, мысль каждая пробегала молнией, ударяла в сознание, а за нею еще и еще бежали стремительней и последней вспыхнула — смерть:

И, только услышав последний хрип, поняла Дунька, что

задушила хозяйку, — дернула руку, от горла ее оторвала, потому — затекшие пальцы глубоко впились, и выступили на шее кружки красные — счетом пять, — загорелись багрово иссиня, а потом лиловеть стали.

Целый день до темноты, растрепанная, с разорванной кофтой, просидела в спальне подле кровати, уставившись на хозяйкины ноги, повисшие в черных туфлях лаковых, а с полу зачем-то подняла сережки и ожерелье, выпавшие из рук Марьи Карповны, когда Дунька ей, вцепилась в глаза, и, зажав в кулак серьги, одними пальцами, как четки, перебирала гранаты с жемчугом.

Не слышала, как и хозяин, точно чувствовавший, что безо времени вернулся и, входя, сердито сказал:

— Что вас тут, придушили, что ль?..

Очнувшись от слов хозяйских, опять как безумная Дунька вскочила с пола.

— Это я, я, Касьян Парменыч, — я ее придушила.

В полумраке не мог еще ничего разглядеть старик и спросил гневно:

— Кого придушила?!

— Марью Карповну придушила, хозяйку вашу...

— Как придушила?..

— Сама я ее, руками... Афоньку она моего к себе допускала. И после того, как невестой его, женой ему стала, и тогда к себе призывала, ночевал с нею... За это ее... сама... руками...

Руками размахивала и позвякивала гранатками и про них вспоминала:

— Кабы только жила с ним, а то откупалась, подарки давала, вот эти сережки дала перед тем, как вам, Касьян Парменыч, на три дня уезжать было, — на, говорит, тебе, Дуняшка, память будет... Это, чтоб я про Афоньку молчала, отпустила б его к ней ночевать. Я и спрятать ему отдала, — пусть, думаю, напослед побудет с хозяйкою, без вас перед свадьбою моей пусть уж она, от одного раза последнего не убудет мне, и в другой раз она тож подарила гранатки эти, — вот они, — теперь вот, совсем недавно, я и их отдала Афоньке спрятать и опять допустила его до Марьи Карповны, чтоб совсем в последний побывал, да и конечно, и опять он без вас ночевал тут, — Наумов-то правду говорил тогда, да Афонька меня улестил: подожди, говорит, Дуня, все равно не люблю я ее, тебя только одну, а нельзя мне у ней не бывать, потому, говорит, дело у меня важное с хозяйном есть и должен я быть при хозяйке, чтоб

доподлинно знать все про дело-то это, — подожди, говорит, о Покрове повенчаемся, сами будем хозяевами, тогда с места сойду и ни ногой к хозяйке. И в бане-то она с ним была, — опять и тут меня улестил анафема этот; — коли что, спасай, говорит, свою барыню, — пока дело не кончу с хозяином — помогать должна. С того дня и я от него понесла, — в бане, значит, слюбились мы, — на четвертом я, Касьян Парменыч, — что ж делать-то мне?.. Афоньки-то нет моего...

— Как нету? Куда ж деться он мог?

— Сама сказала, что не вернется больше... А он что, подлюга!.. Надругался надо мной, а сам убежал... Заодно они были, она услала его... Потому подарки-то ее — сережки с гранатами воротил ей — с подарками-то было расстаться ей жаль... Заодно были. Вчера убежал, вечером... Услала меня за бельем к монашкам, а сама и обделала, — чисто обделала, да еще издеваться давай надо мной утром, — сережки с гранатками показывать.. Взяло меня за сердце... Говорит, — и Афонички твоего нету, не видать больше, а сережки-то вот они, и гранатки тут, да еще что, — я с горя плачу сижу, а она потешается... перед глазами ими поматывает... Не выдержала... в глаза вцепилась ей, а она меня цап за руку и укусила... Я не выдержала, в глотку ей вцепилась, и сама не знаю, как придушила — гляжу, кончилась... Сама ее... Касьян Парменыч, — всю правду вам, как на духу, — теперь что хотите делайте...

Молчал старик, бороденку свою теребил, глазки шурил, усмехался зло... Кончила Дунька...

— Туда и дорога ей...

— А мне-то что будет?.. Касьян Парменыч, батюшка!..

— Замуж ее взял — грех покрыл, клялась честною быть, а жила курвою... А тебе, — посмотрим, — может, и ничего не будет... Поглядим еще... Василия позови, ступай... Чаю мне принеси! Да пока — сама хозяйствуй, не первый год живешь тут, порядки знаешь. Не бросать же мне из-за ней хозяйство в доме.

В столовую принесла чаю и вместе с Василием из трактира вернулась.

— Сиделец где?..

— С утра не был и на сдачу ничего не оставил, — бегал к нему — замкнуто...

— Вчера был?..

— До конца досидел... А сегодня его не видал никто.

— Замок сорви пойдя, к нему погляди.

Пошел, а на столе в кучке мелочь серебряная с медяками и бумажками, а в стороне конвертик с надписью — «Хозяину Касьян Парменычу, по делу поджога Дракиных, сдачу».

Принес Василий, подал пакетик, — старика в жар бросило...

— Удрал, мерзавец, — теперь ясно... Ступай, позову тогда...

А Дунька опять причитать:

— Она это, она с ним орудовала... Истинно ваше, — мерзавец!..

И пронеслось у старика в голове, уж не Гракиной ли помогла с Афонькою, оттого и жила с ним, и дела не кончил — водил за нос, и опять пронеслось новое, — ну, видно, придется на второй взнос отложить пожарец, опять Петровича, видно, брать помощником... И как что подсказало пойти посмотреть в конторку ореховую, — сердце екало от предчувствия, когда шел в молельню, — Дунька со стола убирала посуду, — в стакан слезы скатывались со щеки половевшей и от злобы, и от того, что задушила она Марию Карповну.

Копеечную свечку зажег и тот же лампад синий, — только поплавок повыше выдвинул... По привычке на скамеечку стал и за Казанскую просунул руку, — ключик нащупал и даже подумал, что на том же месте висит, значит все в порядке, и все-таки отомкнул конторку. И в конторке порядок — мелочь не тронута — лежит пачками. Кожаный бумажник достал — рыться начал и не мог доискаться векселечка Гракиной Феклы Тимофеевны.

Голову как ожгло...

— Она это... Ох!..

И грохнулся перед образами замертво и аналойчик на себя повалил вместе с лампадом синим, новый сюртук облил маслом; выпали свечи, в ногах рассыпались... Дунька услышала грохот — вбежала с лампой... Лежит хозяин... Послушала сердце — стучит, — жив значит. Сбежала за водой на кухню, голову ему поливала, сама раздела и на постель уложила, — очнулся старый и замычал, шевеля рукою, будто к себе подзывал — подошла... Глазами показывать стал на хозяйкину комнату и на себя, глаза закрывая с силою.

Хотел и другое, может, что показать знаками, да была

перед этим мысль на себя вину принять Дунькину, потому ему, как мужу, ничего не сделают,— свидетели на то есть, а как начала Дунька, смекнул по-своему, догадками говорит старику Касьяну, так мысль к нему давнешняя воротилась и стал кивать головой утвердительно.

— Говорить, что не я?.. Хозяйку?..

Головой качнул.

— Сами ее, значит, кончили?!

Опять мотнул...

На колени подле него стала.

— Да чем же я, батюшка, заслужила милость вашу?! От каторги, от тюрьмы спасаете... Век за вас буду богу молить, за благодетеля моего... Рабой вам буду по гроб покорною...

Касьян старый подбородком подергал, отчего бороденка затряслась седенькая, и глазки сощурил, даже сборочки у переносицы собрались мелкие.

Василий зачем-то назад вернулся из трактира, видит, в горнице нет, а в молельной чего-то Дунька вопит,— вошел — только руками развел, а старик и давай ему на Дуняшку глазами показывать,— она, мол, расскажет все и тут же она при хозяине рассказала, чтоб сам слышал и помычал бы хоть в подтверждение, что не врет, а всю правду говорит, как свидетелю. И рассказала, как старик вернулся нежданно-нечаянно и, через верного человека узнав про ночного караульщика Афоничку, собственноручно хозяйку свою задушил, и не слышала даже как,— не пикнула, значит, а потом и пошел в молельню свою зачем-то, да и упал подле конторки, и аналойчик завалил на себя, и сюртук залил деревянным маслом и ни словечка больше, только мычит; говорила Василию, а Касьян на каждое слово ее мычал утвердительно,— правильно, мол, все правильно и пальцами шевелил костлявыми. Только никак они не могли понять, почему старик в угол глазами показывает и мычит все время,— может потому, что аналой повален, да конторка открыта, и постарались утешить хозяина, и бумажник положили в конторку, и закрыли ее, и бархатом завесили, и аналойчик поставили, пособрали все свечи копейные, лампадный вправили и зажгли даже, а пакетик-то Афонькин и остался лежать незамеченный под конторкой, из бумажника выпав.

Василий сбежал вниз растерянный, кричит половым:

— Трактир закрывать, несчастье в доме, гостей уходить просите!..

Потом подозвал одного и шепотом:

— За доктором поскорей бежи, бери первого, какой попадется, да скорей — на извозчике, с хозяином плохо...

А подле двери в углу за столиком Лосев сидит, Афанасия Тимофеевича дожидается, потому последний день сегодня — по уговору при нем, как при свидетеле, половину платить поджигателю, а тут трактир запирают, и так наймиты тянули два месяца, торговались, у девки под красным фонарем спаивали, — заартачится, тогда начинай с начала тянуть волюнку.

— Василий Карпыч, нельзя ли мне подождать, тут остаться как исключение-с... По хозяйскому делу Афанасия Тимофеевича повидать надо, — по важному...

— Где ж вы, Иван Матвеевич, раньше были?..

— А что?

— Вчера еще сбежал рыжий.

— Как сбежал?.. Быть не может... Куда?..

— Не сказался нам, не знаем... Через него и несчастье у нас... по секрету вам... Марью Карповну задушил хозяин... А после и сам грохнулся... Без языка лежит, обе руки не движутся... Мычит только... Послал за доктором.

— Нельзя ли, Василий Карпыч, навверх мне?.. Может, тут и не один доктор нужен... Дело-то у меня с беглецом этим хозяйское-с, не терпящее-с отлагательств... Я б на одну только минуточку-с...

— Без языка он... Ну да я спрошу про вас, самого спрошу...

— Так я подожду тут?..

Доктор приехал, поглядел и говорит Василию:

— Отчего это с ним?..

Дуняшка и давай опять, как и старику, с подробностями:

— Возможно, что и от этого, — страшный все-таки случай... А бумага у вас есть, рецепт написать?..

Василий услужливо:

— Сейчас я в трактир сбегаю...

И убежал, а доктор-то городской, при всяких делах бывал, всякие виды видывал, и оглядел опытным глазом комнату: заметил под конторкою, — бархат не доставал до полу, — пакет небольшой с надписью, и поднял его — писанье Афонькино прочитал — «Хозяину Касьян Пармьнычу, по делу поджога Дракиных, сдачу», — раскрыл его, рукописание достал, оторвал кусочек белый и написал рецепт, а конверт с содержимым в карман сунул, — один со стариком оставался в комнате, — и этот в забытьи лежал.

Василий принес из трактира и бумажку, и чернил, и перо...

— Только извинить просим, перушка не нашел нового.

— Да я тут нашел клочок, вот рецепт, карандашом написал... все равно... А теперь покажите мне хозяйку задушенную, мне все равно придется вскрытие делать, так, может, что до следователя увижу сам...

Бумагу-то давал Василию Лосев и вместе с ним наверх пришел к Галкину и всего-то на пять минут опоздал,— попала его расписочка Афоньке по тому же делу к доктору и замазала рот про вексель — в тот же день нарочито извещен был за полночь в квартире собственной тем же доктором.

На Марью Карповну поглядел доктор — все в порядке, как полагается — задушена, разглядывать не стал, на извозчика поскорей и к Кирюше Дракину, к загадочному другу с рукописанием мещанина Калябина...

После доктора Лосев против старика простоял с час, пока тот опять не очнулся, пить не попросил, губами шлепая,— подала ему Дунька, выпил, взглянул — стоит Лосев,— обрадовался, подле переносицы складчики обозначились от улыбки радостной...

— Отчего это с вами, Касьян Парменыч?..

На конторку головой мотнул...

У Лосева и зашевелилось в голове про Афонькино бегство, когда понял, что старик на конторку кивает и мычит отчаянно...

— Хотел бы я один на один, Касьян Парменыч, побыть-с,— вопросец у меня один в голове вертится... Без прислуги-с вашей...

Опять кивнул старик...

— На минуточку-с... Я скоро...

Вышла Дунька за дверь, хотела послушать, может, главный секрет узнать про Афоньку, а Лосев наклонился к старому и давай шепотом:

— Не пропало ли что у вас?..

Качнул утвердительно.

И осенило тут сразу Лосева...

— Уж не векселек ли барышни Гракинской?..

Замычал старик и опять дернулся.

— Говорил я вам,— вы уж простите-с мне, Касьян Парменыч, иде в такой час для вас страшный, говорю об этом, а все-таки зря вы тогда советом моим пренебрегли-с, по старинке-с, все по-домашнему векселек писали-с, а мой-

то совет был под закладную-с бы дать их, под домики прямо... да у нотариуса, копейка б и была у нас, а теперь-с... ухнули денежки. Оно правда-с, не заработать бы на закладной, как по векселю с комбинацией. Ну, да я-с... вот перед господом-с, отыщу его, прощальгу-с этого... Не уйдет от меня...

Впустил Дуньку, и ему она по порядку опять рассказала, чтоб лишний человек знал, что не она Марью Карповну придушила, а сам хозяин прикончил ее, собственными руками, и старик промычал опять, и головой кивнул, и глазами.

— Поздно-с, Касьян Парменыч, я уж завтра-с чуть свет прибегу, сообразим-с что до следователя, а теперь простите-с, домой побегу, к своим ребятишкам-с, к супруге-с...

Домой прибежал на Мещанскую за полночь, постучал в ставню, чтоб знали, что сам идет,— жена выбежала.

— Ваничка, к тебе какой-то доктор зачем-то,— срочно, говорит, видеть нужно... Может, сказать, что домой не придешь?.. Он говорит: дожидаться будет хоть до утра — дело важное...

— Какой доктор, откуда?

— Ни разу такого не видела, не знаю...

И раздеться не успел в передней, навстречу к нему Болотов и говорить не дал Лосеву:

— Не раздевайтесь, я уйду, проводите меня немного.

И на улице в темноте, раздельно и коротко:

— Слушайте, Лосев, я сейчас от Дракина. Существует пакет, оставленный сидельцем Калябиным по делу о поджоге фабрики... Надеюсь, вам это дело о ч е н ь хорошо известно, потому что в этом пакете находится ваша денежная расписка по этому же делу и в расписке задатка Ваньке Каину, тоже, вероятно, хорошо вам известного, есть также ваша подпись, затем ваши расходы на знакомую вам Маньку Галчонка и так далее... Понимаете?.. Все подробности известны, до мелочей... Выяснено, что о векселе знают только: Калябин, вы и еще одно лицо, может быть, вы его и помните со стороны Дракина. Так вот слушайте,— если вы не хотите попасть на скамью подсудимых по делу о поджоге фабрики Дракина, как одно из главных действующих лиц,— а чем это пахнет, надеюсь, вам хорошо известно, как п о в е р е н н о м у,— так запомните хорошенько — никакого векселя, выданного Феклой Тимофеевной Гракиной купцу Галкину, не существовало,

иначе... сами знаете, что будет. Ясно вам?.. Надеюсь, возражать не будете!

Как пришибленный, Лосев начал:

— Не буду-с, господин доктор... Сами-с изволили видеть мою семью-с...

Не дал говорить, торопясь, перебил Ивана Матвеевича:

— Верю, что будете молчать. А это вам за труды по неоконченному делу о поджоге фабрики три тысячи и без свидетелей и расписок, а затем имею честь кланяться.

Обескураженный, вернулся в избенку свою Иван Матвеевич,— ничего не мог понять, каким путем даже такая мелочь известна, как угощение Маньки Галчонка в слободке под красным фонарем гулящим, а больше всего обрадован подарку трехтысячному; пока дошел до дому, все время вертелось в голове, что вот бы с кем какое-нибудь дельце сделать, заплатил бы не по-галкински, а сколько спросил бы.

На другой день и к Касьяну Парменычу не пошел, до девяти часов провалялся в постели, чего никогда не бывало с ним и в праздники, и жену от себя отпустил только в восемь,— ласковый был, точно в первый день свадьбы мальчишка влюбленный,— жена удивлялась и радовалась...

— Да что с тобой, Ваничка, точно праздник у тебя какой или именинник ты?.. Давно такой не был, и я-то с тобой одурела... на старости.

— В тридцать пять лет в старухи записываешься? Что ты, Шурочка!.. А праздник у меня большой,— можешь поздравить,— какой — не скажу, секрет-с, а только правда твоя, именинник я... Поневоле именинником станешь, когда попало в карман три тысячи...

Галкин мычал, на дверь показывал, дожидал Лосева и не дождался его до смерти. На второй месяц и рукой начал двигать и писать каракули, и нотариуса призывал завещание делать в присутствии доктора и священника,— торжественно, чтоб и подкопаться не к чему было, и написал его в полном рассудке и памяти в пользу Евдокии Семеновны Денисовой, сироты крестьянской.

А доктор, что лечил его (не городской врач, а знаменитость губернская) — изо дня в день трешницы получал, после чая торжественного с закусочками, когда уже разошлись все, в передней серьезно сказал Дуньке,

поглядев на ее живот распухший,— подумав, что не без греха-де старик насчет полу женского, иначе бы и завещание бы не написал на ее имя:

— Только вы смотрите, с Касьян Парменычем теперь в половые сношения нельзя вступать, иначе вы будете в его смерти виноваты... Понимаете?..

Та на него только посмотрела, ничего не поняв, и головой отрицательно покачала.

— Понимаете, вместе с Касьяном Парменычем вам пока нельзя спать.

Покраснела вся и про себя подумала: «Думает, что от него у меня»... И так слова эти врезались,— покою ей не давали — захотелось поскорее хозяйкою быть полной. Все время за ним ухаживала, с первого дня, как сказал ей хозяйствовать, и в самом деле хозяйкою стала,— Евдокией Семеновной величали все, и ларчик покойницы берегла как собственный, из сундука на постель перешла в спальню,— мучило только, что и Афонька на ней же валялся с хозяйкою. И не каждую ночь ночевала в спальне, а через день: один день сама себе барыней, а на другой,— подле старика на полу, чтоб не скучал со своими богами. А как сказал доктор, так и не через ночь, а почаще в молельной, молилась и при лампе (все время по ночам с того дня горела), не торопясь раздевалась, чтоб и старый поглядел на нее, потому хоть и распух живот, зато сама по-купечески округлилась кралею. Один раз старик глядел, глядел, да и подозвал ее, заикаясь:

— Хо-оть бы при-ла-а-скала меня ста-а-а-ро-о-го...

Улыбнулся, глазки сощурил и морщинки сдернулись подле переносицы...

И приласкала его, да так, что на утро язык отнялся.

Приехала знаменитость губернская, поглядела и, одевая шубу в передней, шуточкой Евдокии Семеновне:

— Сознайтесь-ка... согрешили с хозяином?..

А сам будто не про то, отчего язык мог отняться, а глазами на живот показывал.

Через месяц и хватил Касьяна Парменыча третий, и отнесли старика к Крестителю.

И осталась Евдокия Семеновна Денисова к родам сына своего, Василия Афанасьевича Калябина, хозяйкой полною, купчихою первогильдейскою по всем законам Российской империи.

ЗВЕЗДА
ВИФЛЕЕМСКАЯ

I.



Фонарь подле дома, самый обычный фонарь, водруженный на корявом дубку с керосиновой лампочкой поманул Афоньку, как только на Пенки вышел. Слякоть под ногами хлюпает, поддевка в стороны разлетается — в темноте и крючка не найти; под картуз залетает дождь мелкий, и ни души — ни встречного, ни поперечного, путь вольный. Через площадь перешел и уперся в фонарь прямо.

Разглядел — дом двухэтажный каменный и склады кирпичные, — значит дракинские.

— Чего тебе нужно?

Окрысился Ванька Каин на Калябина в темноте.

— Ай не узнал?

— Афанасий Тимофеевич? Чтой-то вы поздно как? А мы-то вас ждали с Лосевым. Теперь караулю тут, а через недельку фабрику караулить буду.

— Карауль, Вань, дело хорошее. Спят или нет?

Мотнул головой на окна.

Звонился — сам не знал сколько, пока не забегал свет в окнах. Вышли со свечей отворять.

— Кто тут?..

— Феклу Тимофеевну повидать, либо самого инженера.

— Да кто?

Ванька Каин свой человек,— прибавил:

— Отпирайте, знамый человек,— к хозяину дело срочное...

Загремела доска, заскрипела дверь,— поддевка на размах, с сумкою — ввалился в переднюю.

Слышал, как через две комнаты инженер возился, харкал, сплевывал, чиркал спичками и, наконец, шлепая туфлями, в халате и с трубкой, с помятым лицом заспанным, выходя в переднюю, ворчал сердито:

— Что нужно? Кто тут?

— Калябин я, сиделец Галкина,— еще вексель Феклы Тимофеевны при вас подписывал,— помните, от себя я по делу к барышне либо к вам,— секрет, один на один нужно.

И опять ворчащим голосом заспанным, дымом фыркая:

— Скорей только,— в чем дело?.. Тут говорите...

— Дело большое, не скажешь сразу.

Уходить хотел инженер, Афонька шепотком ему:

— Насчет поджога пришел к вам...

Сразу и глаза открылись заспанные...

— Какого поджога?

В кабинет его ввел.

И рассказал Афонька ему правду всю, как хозяин через него людей нанимал перед уплатою поджечь канатную фабрику и склады спалить под одно и про то, что караульщик-то их и есть тот самый человек нанятый, и про каждого. Лосева прихватил, как сводника, и про Маньку-Галчонка, как за деньги спаивала Ваньку Каина у себя по ночам под фонарем красным, и про ребят слободских...

— А только самое главное-то при барышне я скажу, потому, собственно, ее это дело, а вы только ответчик за нее будете... Побудить ее надо...

— Уезжает завтра в Петербург, должна выспаться... Говорите мне.

— Дело ваше, а только все равно ее разбудить надо... Не уйду без этого.

И злость на гостя ночного, и любопытство самое важное услышать заставили разбудить Феничку.

Слышно было, как Дракин бурчал, возвращаясь с племянницей:

— Черт его знает, сумасшедший какой-то... требует, чтобы главное при тебе рассказать...

Вошла в кабинет — халатик запахивала,— в чулках да в юбке; на спине топорщились две косы жирные, из-под чепчика, точно рожки, торчали папильотки бумажные,

и тоже глаза были заspanные и, от снов неоконченных, мечтательные. И руки еще были от подушки теплые.

— Вот вам барышня, говорите...

— Не признаете меня, Фекла Тимофеевна, — позабыли?..

— Совсем не знаю... Не помню.

— Ну да ничего, придет время, может и вспомните, а только я вам бумажку одну принес, прочтите ее, получите, и ввек не забудете... Правду говорю... сейчас я...

И Феничка, и Кирилл Кириллович смотрели на него удивленно, инженер про себя думал, что либо идиот, либо жулик какой, и нетерпеливо дергал трубкою.

Поддевку распахнул и из жилетного кармана бумажку, вчетверо сложенную, протянул Феничке; Кирилл Кириллович в нее заглянул и взял у Фени.

— Откуда у вас вексель Фенин?

— Так что назад Фекле Тимофеевне принес его, чтоб не забыла никогда Афанасия Калябина.

Рванул вексель из руки Дракина — оторвал половину и подал ее Феничке...

— Так что теперь конец ему, извольте получить, барышня. Вот это и есть главное, а затем я уж пойду, а то меня хватятся, тоже уезжать надо...

Ничего не понимая и не сказав ничего, ушла Феничка; обидно Афоньке стало, что даже и спасибо ему не сказала, — жизнь ей спас, она хоть бы что...

Инженер деловым тоном:

— Садитесь, Калябин. Сколько за вексель вам?

— Ничего не возьму.

— Да ведь тут триста тысяч.

— Знаю, лучше вашего все дела знаю, а только денег не нужно мне. Не затем пришел.

— Двадцать тысяч довольно?..

— Сказал же я, ничего не возьму... Отпустите лучше. Ста бы не взял, коли б не... Ну да что говорить? Ухожу я.

— Ну, да черт возьми, говорите же, сколько вам?.. Пятьдесят довольно? Нечего ломать комедию.

— От самой барышни взял бы тысячу, чтоб на первое время обернуться было.

— Опять от самой?.. Ничего не пойму. Сейчас, сидите тут.

И опять привел Феничку. Задремать не успела и ко-стерчик мечтаний не затух еще о Петровском, халатик одевать пришлось снова...

— Что ему от меня нужно?..

— Из твоих рук благодарность принять хочет... я тебе дам, подай ему пять тысяч...

Вошла, огоньки злые, досадные в глазах заспанных, на Афоньку не смотрит.

Открыл инженер стол письменный и привычной рукой отсчитал сотенными, в пакет сунул и заклеил, да так, чтоб не видал Калябин, будто Феничке показывает, где деньги лежат, и незаметно ей в руку пакет подал, шепнул, чтоб спасибо сказала.

— От вас только, Фекла Тимофеевна, и возьму,— ни от кого б не взял больше...

Пакет взял, а другой рукой схватил и поцеловал ее. От поцелуя Феничка беспомощно рукой дергала и беспомощно на дядю глядела, без слов просила ее защитить, точно в этом поцелуе ее судьба затаилась, а дядя стоял и, как на неизбежное, смотрел спокойно, думая, что, должно быть, ненормальный человек Калябин. Поцеловал и отбросил ее руку с отчаянием...

— Проводите меня, пойду... поеду...

И спасибо сказать не успела,— от испуга забыла. Осталась в кабинете дожидать дядю. Сам в полумраке утреннем со свечой проводил на лестнице, дверь хотел отворять — остановил Калябин и шепотом:

— За Ванькой Каином присмотрите — раз, а второе — совет мой, дайте через кого-нибудь Лосеву тысячи три,— по весь век ему по этому делу рот замажете, потому старик, ему бы и пятьсот за работу не дал,— не забудьте, спокойней будет,— кроме него про вексель никто не знает.

И ушел в полусумрак, к станции.

Инженер Дракин по дорожкам ходил, медленно — кружил в голове бурелом, и никакие комбинации не укладывались в голове, одно только думал, что непременно тут не обошлось без крови, а про Афоньку...

Вошел в кабинет и Фенички не заметил, про себя говорить начал:

— За триста тысяч пять отдать... Это больше чем двести тысяч выиграть... Идиот какой-то...

— Кто идиот, дядя?

— Ты не ушла?.. Да этот Калябин. Почему он тебя знает? Где ты его могла видеть?..

— Не знаю, дядя Кирюша... Одну минуту и мне показалось, что где-то видела, а припомнить никак не могу...

И в первый раз умиленный дядюшка обнял за плечи

Феничку и поцеловал в перемятые от сна губы, такие теплые, как и все полусонное тело бывает дремотным и теплым, и в первый раз почувствовал не девочку в ней, не племянницу, а женщину, и даже мысль отогнал соблазнявшую, и не мысль, а ощущение тела, родившего желание в мыслях...

И каким-то голосом, слегка нервным, трясая ее за руку, говорил весело:

— Ну, Феничка,— поздравляю тебя... триста тысяч выиграла... дома, деньги... самая богатая невеста теперь... Точно предпраздничный сон... Теперь я тебе должен, без малого, триста тысяч... Может быть, вексель выдать?..

— Ничего мне не нужно...

— Так, значит, завтра придется ехать... иди, спи... Легла — не спалось больше, самой себе притворялась, что спит, думала, как известить попутчика своего Петровского, что на другой день едет. Комнату ей обещал найти, все-таки будет не одна в большом городе. Первые дни страшной всего потеряться среди чужих, а тут свой, и в мечтах по-особому близкий: и по-женскому, и по-девичьи еще в мыслях ее неразлучный. И не фантазии рисовала, стараясь заснуть, в дремоте, а жизнь вольную. Хотелось по-разному любить Петровского: к душе приковать любовью, а самой быть свободною, и так, чтоб не ревновал к ее свободе — захочет любви, позовет, отдастся вся до конца, до последнего, расскажет и мысли свои до подробности, но только сегодняшние, те, что в ласке его родились, а не те, что в будни живут серые, да так расскажет душу, чтоб ни вперед, ни назад не заглядывал, а жил бы с ней днем сегодняшним и не спрашивал. Больше всего пугалась, если о прошлом спросит, когда почувствует, что не девушка. И знала, что всегда говорит ей о свободной любви безбрачной, о сегодняшнем дне счастья земного краткого и девственность зовет предрассудком древним, — может, оттого и зовет, что или сам девственник, или никогда не познавал девственной. И хотела верить словам искренним и боялась чутьем доверять, когда любовь его к ней столкнет с правдою, может, и не скажет ни слова, а обида упадет в душу, что кто-то другой, — не его полюбила первого, а еще раньше кого-то, и сказать, намекнуть боялась о правде, чтоб не ушел, и не от нее, а от любви своей. И вот этот-то первый, к которому и не было ничего, и не осталось, и была свобода ее, за которую в браке законном, может, и заплатить можно чем,

а в любви — никакой не заменишь лаской. И все-таки близким ей был — единственным, оттого и единственным, что девчонкою ее провожал за уроками и книжки носил, и в тетрадки, как в душу, заглядывал. Потом изменился, — возмужал, сознательным, разумным стал, и к жизни холодно стал относиться, как по шахматной доске людей расставлял, говорил, что и чувство его — в игре королева, а король разум; и что разум захочет, королева выполнит, собою пожертвует, а выполнит. И все-таки не верила, что любовь, как пешка в игре разума. Закутавшись лежала, думала, и помимо желанья перед глазами выплывал Афонька рыжий, позабыть хотела и в то же время припомнить старалась — где его видела: чувствовала, что видела где-то и не знала где. Точно камень, голова рыжая придавила мечты ее, не были они отчего-то ясными, позабыть хотела и не могла... До сих пор, как лишай, на руке губы чувствовала. И чуть слышала, как по комнатам ходить начали, халатик накинула и наспех Петровскому написала коротко, что просит его завтра ехать с тем же ростовским, и отослала на квартиру к нему прислугю.

До вечера из угла в угол, ничего не делая, проходила, потому если собрался куда человек — и пустячное дело из рук валится, а тут еще этот гость ночной таинственный, про которого Антонине Кирилловне братец рассказал по-своему. К вечеру утихомирилась жизнь суетная — сели в последний раз чайку попить семейного на старой половине, по желанию матери, и даже с Алексеем Кириллычем, потому не любимый он был, на чесальне огрубел с трепальщиком и жил-то не в законе с простой бабою в конторе и в дом почти не показывался. По стакану не успели выпить — дребезжит звонок в передней.

Антонина Кирилловна приказала никого не пускать, хоть бы кто был.

Девка бежит обратно...

— К молодому барину, к Кирилл Кирилловичу доктор... говорит, не уйду, — скажи, Болотов.

С досадою привести разрешили.

Вошел взволнованный...

— Пойдем, Кирилл, в кабинет, дело есть — ахнешь!

И опять ему в кабинете один на один:

— Понимаешь ты, как на исповеди, прислуга ее, — как ее... Дуняшка, — рассказала, как старик Галкин от ревности к сидельцу своему задушил жену свою, а сам-то

вернулся в молельню и грохнулся,— без языка лежит, мычит только... Прибежал за мной половиной... Поглядел... паралич... Да и нашел пакетиц. Понимаешь ты?..

— Ничего не понимаю, какой пакет?

— Читай,— «Хозяину Касьян Парменычу, по делу поджога Дракина, сдачу...» «мещанин Афанасий Тимофеевич Калябин»... ты посмотри только...

А потом и Кирилл Кириллович тоже ошарашенный (хотя и знал все), другу своему поведал правду...

— Лосева этого видел я... представился, как поверенный старика, физиономия, я тебе скажу... подозрительная, не даром, видишь тут, и счет на девку какую-то... Надо заставить его замолчать про вексель... А как?..

И вспомнил Кирилл Кириллович совет Афонькин, и мысль даже мелькнула, что лучшего человека, чем друг Болотов, и не найти для такого дела, и сказал сразу:

— Рот замазать деньгами...

— Как?

— Ты друг мне, Ваня,— да?

— На кражу бы не решился, если б не был другом, а просто передал бы следователю.

— Понимаешь ты, такое дело доверить никому нельзя, а самому мне, инженеру Дракину, миллионщику, на такое дело идти...

— Хочешь, чтоб я?..

— Да.

И замолчали, точно себя проверяли в тайном,— потом нервном...

— Ну?

— Что?

— Можешь?..

— Что?

— Дать ему...

— Кому?

— Тому, Лосеву?

— Давай,— все равно.

Точно гора с плеч свалилась — заговорили весело, когда полез в стол письменный за деньгами и о постороннем совсем, хотелось друг перед другом скрыть, что в самую грязь окунули совесть.

Подали деньги ему, и будто и дела нет никакого, а только была между ними беседа приятельская, позвал чай пить.

Отказался приятель, проводил его сам и дверь запер, и на прощание молча пожал ему руку.

Вернулся в столовую и, точно оправдываясь в чем, без Алексея уже:

— По делу приходил Болотов... опять относительно этого Калябина.

И у каждого пробежало жуткое чувство, каждый по своему Афоньку вспомнил.

Антонина Кирилловна спросила только:

— Еще что-нибудь?..

— Старик Галкин Марью Карповну задушил из ревности к Калябину и самого удар схватил.

Сказал и почувствовал сразу, что, может, из-за векселя задушил старик жену, может, из-за векселя и удар был.

А Антонина Кирилловна в ту же минуту приятеля Николки вспомнила — монаха рыжего.

— Страшное дело, Кирилл, вот что...

— Спать пора, ступай Феня...

Феничка дядю упрашивать стала вместе с матерью ее на вокзал проводить...

В кабинет пришел и решил, что нельзя ему племянницу провожать ехать, а лучше пораньше у Болотова узнать, удалось или нет ему видеть Лосева, если не удалось — уголовщина запутает имя Дракина и пошатнет кредит в Лионском.

Из угла в угол ходил, сосал трубку, подергивая губами, а потом подошел к столу, открыл и, увидав к платежу приготовленные кредитки пятисотенные, сказал сам себе, — шальные... И Феничку тут же вспомнил, и захотелось из шальных подарить девчонке, — сознаться даже себе побоялся, что на нее поглядеть хочется, поцеловать племянницу, а на забаву без матери сунуть ей втихомолку.

Подошел к двери, постучал...

— Не спишь, Феничка?..

— Раздеваюсь, дядя Кирюша...

— Я к тебе попрощаться... забыл, что завтра дело срочное...

— Сейчас...

Слышал, как халатик зашуршал шелком...

— Можно теперь?..

И как в прошлую ночь — в губы Феничку и опять, точно опомнившись, в душе обругал себя.

— Как вы, дядя Кирюша, целуетесь крепко...

— А это вот тебе... на что хочешь... все равно шальные... трать... мало тут... только не говори матери, напиши, что на театр не хватает... мигом вышлю, все равно шальные...

Перед утром проснулась и опять не заснула — подумала про Петровского и про Калябина вспомнила — чувствовала, как на руке от поцелуя лишаем сидит. И на вокзале успокоиться не могла — вспоминала все, где она видела рыжего, и, прощаясь на площадке с матерью, спросила ее тревожно:

— Мама, кто этот Калябин, вспомнить не могу, а мучит... кто?

Мать тоже испуганно шепотом, целуя в щечку:

— Приятель... того... Монах рыжий...

И точно от радости, что могла, наконец, вспомнить, и от того, что вспомнился ей на бревнах рыжий, хватавший за руки, а теперь и поцеловавший руку — вскрикнула:

— Помню!

II.

Спозаранка забрался на вокзал Афонька, еще в полумраке мигали фонари слепо и носильщики не выходили к поезду. На прилавке весовщик похрапывал, а в третьем на лавках мужицкие свитки от дыхания подымались ровно. К скорому зашевелился вокзал и мужики проснулись — надо не надо, а стал каждого с кокардой расспрашивать, скоро ли почтовый на Мценск будет.

Вместе с мужиками Афонька напился чаю, за одним столом, из одного чайника. Как пакет сунул дракинский, так и не дотрагивался, про черный день хранить собрался и не посмотрел даже сколько, а из засаленного гамана кожаного достал мелочи, еще из тех полторы тысяч, что от Галкина получил в задаток.

— А вы из каких будете сами?..

— Приказчиком был...

— Куда ж ехать изволите?..

— В Питер.

— Сами, ай от хозяина зачем посланы?..

— По своему делу, сам...

— У меня там тоже сынок работает.

И ухватился Афонька за мужика, чтоб хоть кого-нибудь да знать в чужом городе.

— Где?

— На пристанях был... грузчиком... Поклончик бы ему отвезли... вот гостинчика никакого нет...

— А где он живет?.. Я ему сам отвезу гостинчик.

Замусоленный конверт достал из-за пазухи и подал ему.

— Тут прописано... неграмотный я...

И поехал Афонька с адресом в столицу за Феничкой до Москвы с почтовым; в Москве проболтался день и на Николаевский пришел к вечеру, опять дожидать почтового. Осмелел, огляделся и залез во второй класс ужинать; поезда гроыхали, носильщики бегали за господами и важными, и неважными,— сидел за бутылкою пива, поглядывал, будто дожидал кого.

Со смехом компания ввалилась веселая.

Господин, что с Афонькою сидел рядом в широкополой шляпе мягкой, с волосами, раскинутыми густыми космами, чтоб только сказать что-нибудь, начать разговор от скуки, обратился к Калябину:

— Молодежь едет, смеется, им и война нипочем — веселы, до японцев и дела нет никакого...

Встрепенулся Афонька, как про студентов услышал, так и подумалось, что Феничка тут с ними.

Глянул, издали увидел ее и к стойке пошел — выпить будто рюмочку. Потом около нее прошел и картуз снял, как знакомый.

— Фекле Тимофеевне почтение-с... Тоже в Питер-с?.. вместе, значит...

Обернулась она и отшатнулась к Петровскому, ужас пробежал по всей и беспомощно ухватилась за рукав Никодима — спрятаться, убежать куда-нибудь, второй день ее мучил, в каждой мысли преследовал, а теперь наяву, как знакомый, обращается к ней,— так и встала перед ней мельница и бревна, раскидавшиеся у ворот, и в черной скуфейке монах рыжий, на Марью Карповну ее клонивший, тогда еще понять не могла, что не за Галкиной, а за ней, за Феничкой, ухаживать начал Афанасий Калябин.

— Что вы, Феня, что с вами?..

— Этот, опять этот, Никодим Александрович.

— Кто этот, где?..

— Вон там стоит, рыжий... поклонился мне...

— Да кто это такой?..

— Так, ничего, пройдет это...

А сама к Петровскому прижималась и тянула его за рукав:

— Пойдемте в вагон... опоздаем...

И кампания в Афонькину обернулась сторону, и расспрашивать стали Феничку.

— Это так, господа, ничего... идемте, я вам расскажу...

Были у нас еще в позапрошлом году на святках ряженые, и он был — не то монахом, не то странником, не помню уж, и так меня напугал, что с тех пор позабыть не могу этих волос рыжих,— так и кажется, что схватить хочет за руку, как тогда...

И все это скороговоркой, с улыбкой нервной, обращаясь все время к Петровскому, точно ему одному рассказать хотела. И в вагон вошла, посадила его рядом с собою и, чтоб не остаться наедине с мыслями, продолжала, теперь уже посмеиваясь:

— Пришли они к нам ряжеными, и я из задних комнат девкой деревенскую выбежала, кто в масках,— знаете, такие бывают картонные,— а кто и без масок, и я без маски тоже, а он, этот монах рыжий,— я сперва думала в маске, уж очень страшный,— давай оглядывать — нет ли новых кого, увидел меня с Галкиной...

А кто-то спросил из землячек:

— Это что муж задушил старый из ревности к буфетчику или сидельцу трактирному?..

И еще больше заволновалась Феничка, и еще торопливей рассказ фантазировала, и еще больше от этого испугалась:

— Он, он задушил, мне тоже так кажется... Так вот, я с нею стою, болтаю, а он сзади меня хват, обернулась — рыжие волосы, брови рыжие и нос проломленный, прямо ужас какой-то, как маска страшная, и хохочет в лицо,— новенькая говорит, да еще без маски, какой деревни? — я от него к Марье Карповне, а он и давай нас обеих руками обхватывать,— не уйдете, говорит, раскрасавицы вы мои... Марья Карповна говорит: «Оставьте, Калябин, довольно вам...».

И опять даже вскрикнула...

— Так это сам Калябин?.. Что ж ты, Феня, раньше мне не сказала,— я бы хоть рассмотрел получше.

И сразу Феничка замолчала, оборвала свою фантазию и еще больше придвинулась к Петровскому в полумраке синеватом,— плацкартный пассажир на верхней полке фонарь задернул.

Феничка не закончила, и другие никто не спросил больше — по вагону разошлись укладываться, только остались вдвоем Петровский с Феничкой. Никодим чувствовал, что встревожена Феничка, только не знал чем, отчего, хоть и правдоподобна была история с ряжеными, а что-то в ней фальшивило, и, тоже, припоминая, сидел, где он мог видеть его? и сказал вслух:

— Где я его видел?.. Отлично помню, что видел, а где?..

Все еще взволнованно, хотя и полупшепотом, сказала Феничка:

— Прошлой весною, помнишь, приходил к нам,— мы стояли в передней после урока.

И опять замолчали...

Под стук равномерный, в тишине сонной, и полудреме, плечом к плечу, как за крепкой стеной подле Петровского, точно он защищал ее от Калябина, сидела Феничка, постепенно и об Афоньке уплыли мысли, и только осталось чувство, что одна теперь, и даже какая-то беспомощность разлилась в душе, отчего еще крепче к плечу прилегла Никодима. И он сидел молча, не двигаясь, чувствуя плечом через косоворотку тепло баюкающее.

Давно, еще когда две косы на одной ленте широкой носила, и тогда подле дома вздыхал, дожидался — не выйдет ли, за два переулка, почуя, из гимназии шла, узнавал по походке и бежал навстречу, а потом — понять не мог отчего! — съездила прокатиться с дядею в Питер, и переменялась вся,— та, да не та: и застенчива будто, а нет-нет, да и сверкнет глазами и смех заиграет разливчатый и глаза стали не те — наивность исчезла девичья и не то тоска, не то бесшабашность отчаянья блеснет заманчивая, и походка — не семящая горошком дробком, а вольнее — в коленях с подкидцем, резкая; и о любви заговорила, как о будничном, посмеивалась над влюбленными. А как начал ходить уроки давать, учить писать сочинения и с литературных тем на личное перекладывал,— даже показалась шаблонною, оттого и показалась, что ни в какие идеалы не хотела верить. Уже в то время Петровский (в последнем классе учительского института был) народником и революционером себя считал, и фуражку одел студенческую, после аттестата зрелости, и вошел в партию. После этого еще обыденней Феничка ему показалась, и гулял иной раз с нею летом, и на студенческом вечере на рождестве у колонны просидел в дворянском собрании весь концерт,— все еще найти в ней хотел что-то, и не нашел, а только еще не умершее к ней сентиментальное чувство ребячье привязывало любопытством. А теперь вот задумался, когда в правдивом рассказе про ряженных чутьем уловил и больное, и жуткое. Когда ходил репетитором — не мог понять,— не то влюблена в него, не то играет только, отталкивая и дразня, а теперь — сразу почувствовал, что не влюблена, а любит,

и не отталкивает, а прячется, и самому захотелось заглянуть поглубже — отчего человек от какой-то встречи, не то чтобы содрогнулся, а растерялся неприлично. И, не отодвигаясь, тихим и ровным голосом спросил:

— Почему на вас, Феня, так повлияла встреча с этим... Калябиным?.. Почему?..

Не ответила сразу, а сперва жуткая мысль про Николку мелькнула, точно боялась, что в тишине заставит ласкою, может всего одним поцелуем, душу раскрыть и опять надорвать ее отчаянием, оттого, что самое страшное рассказать страшно, сил не хватит любовь пережить к Петровскому и может потерять ее навсегда, и замкнулась в себя, и опять заиграл смех дразнящий и не отодвинулась, а только ближе стала в глаза заглядывать, точно сказать хотела: «Зачем тебе прошлое?— Вот она я, теперь вольная, одна, без матери, люблю и свободна, в Питер едем...», опять, как утром вчера, те же мысли витали.

— А зачем вам, Никодим Александрович, знать нужно?.. Думаете, что романтическое было какое-нибудь?.. Да?..

И все еще тем же ровным голосом:

— Мне кажется, что вы прячете себя и еще что-то за своим смехом и за своими, ну как бы сказать, не за глазами, а за своими взглядами.

Рукою дотронулся до руки ее, до того места, где сидел еще поцелуй Афонькин, отдернула и засмеялась громко.

— Никодим Александрович, что вы?..

А потом с тем же смехом почти шепотом:

— А если б земляки наши видели?..

И опять громко, поднимаясь:

— Спать надо, поздно...

Откинул волосы назад рукою и встал резко, точно от сна очнулся:

— Поздно, пора, вы правы... Пойду курить... А вы ложитесь...

На площадке стоял у окна, в темноту всматривался и через окно видел открытые фонари мелькавшие, и старался думать о Питере, о работе, о партии.

Легла Феничка и долго лежала, не шевелясь, не двигаясь,— не спала, не думала, а чувствовала, что жизнь началась — и только глаза, крепко сжатые, были без слез горячими. Слышала, как вошел, развязал ремни, короткими движениями одеяло раскинул — и лег, вздохнув глубоко.

III.

За Васильевским островом на плавнях ютились в хатенках грузчики и всякий народ с бору с сосенки собранный, изо дня в день с хлеба на квас перебивались и у баб гулящих, что подле казарм толкались за пятак с ночевкой, лохмотье свое штопали и с ними же в пивной пропивали заработки, пятаков не давали, а за угощение ублажались прелестями поношенными. К обеду нашел Афонька Якова Рябина — коренастого парня, в плечах косая сажень — мешками да ящиками разъело, раздало плечи. В хатенке жил, черным людом набитой...

— От родителя вам поклон низкий.

— Сами откуда?

— Из города, — все равно земляки, одной губернии.

— Кабы денег прислал, выпили бы для знакомства, а то ждет, чтобы ему послали.

— Сказать правду — прислал красную...

Из своих Афонька решил дать, чтоб разузнать получше про город, про порядки разные...

— Это дело... На Васильевский ходим, там и девки, куда лучше наших, — не видали еще, небось, питерских...

Усадили под граммофон полдюжины под хрустики сушеные с солью, под бараночку, и языки развязались. Афонька, хоть и рассказывал приятелю новому, а на уме держал — не выбалтывать, а главное, чтоб не показать, что деньжонки водятся.

— У нас тут народ трудящийся, пролетарии, как в листочках-то господу пишут.

И Афонька, чтоб лицом в грязь не ударить, замолол по-своему, что еще от Лосева слышал, когда от скуки к нему подсаживался по вечерам в трактире:

— Что и говорить, Яков Петрович, времена трудные, возьмите у нас хоть бы, в рабочую пору за полтинник работает мужик с лошадей, а сколько одра прокормить стоит?.. А в городе рабочему человеку и говорить нечего...

Слышали, может, купцы у нас есть — Дракины, миллионными заворачивают, — народ чуть с голоду не подыхает, как же тут жить-то, — заводы выстроил, за границу канат гонит...

И почувствовал, что правду он говорит; когда у Галкина в трактире сидел и целый день гул слушал мужицкий — не приметно было; разговоры мужицкие проходили мимо,

все равно было, — о своем думал, и слова пролетали мимо ушей и теперь вот только зазвучали явственно, когда говорил с Рябиным, из нутра выходили, и сам не чувствовал того, что правду говорит, а вышла-то правда, самая настоящая, даже Рябин спросил:

— А вы, Афанасий Тимофеевич, не от тех, что министров караулят с бомбами? У нас тут одного здорово прихватили — вдребезги разнесло и кучера-то ни за что ахнули...

— Это я к слову, потому разговор зашел. А интересно бы, повидать их... этих господ...

— Да вон там в уголку компания, — чего ж глядеть-то?..

— Это студенты.

— А вы думаете особые, — студенты и есть. Уж если правду сказать вам, — хороший народ, правильный... Что других баломутят... а больше все от того, что сами-то они баломутные, как неприкаянные мечутся. А сколько их по острогам-то... И хоть бы что — другие б оставили это дело, а они-то... сажают их и все нипочем, как грибы вырастают, так и прут. Я только что думаю, должно вправду они стараются за нашу братию. Уж ежели б за работу платил кто, а то ведь по охоте они, сами, — народу, говорят, жить трудно и нам тож от того не легко, душа у нас мучается.

И сразу Афоньке пришло в голову, что, должно, и тот, что с Феничкой был, — тоже из таких, у кого душа за народ мучается, с ним бы сойтись как, может и Феничку через это повидать можно, побывать когда. Квартиру себе не стал искать, с Рябиным сперва поночевать пошел, на другую ночь опять по случаю выпивки и угощенья барышень василеостровских некуда было деться, — наутро вернулся к Якову, а там и привык. Работы искать не спешил, еще галкинские не растаяли. А потом изо дня в день по пивнушкам слонялся по вечерам, — выбирал, где студентов побольше, и садился поближе, — может, услышит что одним ухом и присоединится. С Васильевского забрел и на Петербургскую сторону, на Малый проспект — все искал, не встретит ли того, что с Феничкой ехал. А чтоб говорить о чем было, и газетки почитывал — в каждое слово вникал... Сторонились его, — подойдет, сядет — и замолчат, переведут разговор на пустячное. Один раз зашел на Малую Спасскую и, как всегда, оглядел столики и встретил черноволосого с компанией и подсел поближе. Целый месяц он искал его, целый месяц по трактирам ходил, по пивнушкам и его-то искал, и мысли стали бродить несуразные, всплыли они из глубины откуда-то про

неправду темную, и Касьян вспомнился, и мужики базарные с лошадьми, и лошадики прасолы, ради хлеба выколачивающие из мужика кровное, и стал он искать по пивным, по трактирам таких людей, что за правду стоят, к студентам приглядывался и все расспросить хотелось ему, не знают ли такого, что подле барышни Гракиной,— может, и он стоит за правду эту. И потянуло его к нему, даже Феничка и та стала ему еще дороже, если она с такими людьми знается,— значит, и она за правду стоит.

Дождь моросил, когда раз как-то к Рябину плелся по плавни, по окраинам пустынным, и только впереди один человек шел, повиливая в пальтишке легком с пуговицами блестящими. Показалось, что студент, шагу прибавил, поравнялся с ним и захотелось заговорить ему, расспросить студента.

— Погодка-то нынче какая, молодой человек, а?

Занятная... А вы тоже изволите проживать тут?..

Не ответил ему, подумал, что по пьяному делу пристаёт, на водку двугривенный хочет выпросить.

— И вам не легко живется, вижу ведь я,— не жили б тут-то, в дыре этой. А только и мне тоже... А что я спросить вас хотел... Не подумайте что... Я ведь по-честному...

Навидался и я этого... А теперь вот ищу я таких людей, что за правду стоят, целый месяц хожу по трактирам, да по пивным. Честное слово, господин студент. Да вот и решил я, счастье мне видно, в темноте расспросить. Ни вы меня, ни я вас не знаю, и лица в темноте не распознать после, так и останется в темноте промеж нас... Скажите вы мне. Хочу я найти, понимаете, таких людей, что за правду стоят, послужить им хочу, потому видел я эту неправду, вот как нагляделся ее, и теперь как волхв хожу за правдою, за звездой Вифлеемскою. Уж очень я знать хочу,— может, и вы из тех, что стоят за правду? Сказали бы мне, указали б путь, где таких людей мне искать?..

— Вы правильный путь взяли, в трактире да в пивных скорей всего таких людей встретите и ищите там, а я хоть и студент, а людей таких не встречал.

И повернулся за первый угол господин студент, чтоб отвязаться от навязчивого проходимца, да к тому же и подумал про него,— либо пьяный какой, либо шпик дурачком прикинулся.

Пошел Афонька опять искать по трактирам да по пивным

таких людей, что за правду стоят,— того искать, что подле Фенички был Гракиной.

Встретил в пивной на Спасской и подсел поближе.

Один шепнул товарищам:

— Господа, шпик пришел...

Оглянулся Петровский...

— Где?

— Рядом сидит, рыжий,— ну и морда... новенький.

Петровский сразу узнал Афоньку и улыбнулся, и не ему, а тому, что его за шпика приняли, и сказал приятелям:

— Это не шпик, господа,— наверное знаю.

И Афонька ему улыбнулся, точно знакомому, обратился, чтоб разговор начать:

— Земляки, кажется?..

— Кажется, да...

— А я, по правде, вот уже целый месяц по пивным вас поглядываю...

— Меня?.. Зачем я вам нужен, Калябин? — кажется так, Калябин?

— Афанасий Тимофеевич Калябин. Не то чтобы у меня дело к вам, а интерес особый по особому делу. Если не заняты очень, побеспокоил бы вас на минуточку за свой столик.

И постучал, чтобы подали пару светлого.

Опять улыбнулся Петровский, мелькнула мысль у него, что, может, сама разгадка дается в руки, сама судьба помогает разгадать секрет Фенин, не даром в вагоне тогда стала совсем другая; и пересел за Афонькин столик.

— Видите ли, господин студент,— имени, отчества вашего не имею честь знать...

— Никодим Александрович.

— Так видите ли, Никодим Александрович, по разным путям странствия жизнь меня водит, и не думал я никогда в такой махине обитель жития обрести, а вот взошла звезда в полночи и повела к Вифлеему, как волхва-библейского,— в Петербург, значит, прямо. И не так, чтобы без дела блуждал, не подумайте этого, а у каждого человека предначертан путь, и я себе предначертал его; прежде всего, надо вам сказать, ни в какую судьбу я не верю, а сам ее, по-книжному говоря, выковываю. Сам и звезду свою отыскал, там,— и неопределенно ткнул пальцем не то в потолок, не то по направлению к двери,— и иду сам за нею, она движется себе по своему пути, а я следом за нею. Еще в трактире сидел у Галкина, среди

люду базарного, гомонящего, каждый грош друг из друга выколачивающего, и нагяделся я этой самой неправды. Один купец чего стоит, коли б вам рассказать правду,— ну, вот каждый грош из человека вытягивает, за глотку только не душит, а можно б было, за полушку бы любого мужика придушил...

— Он и самом деле придушил, не знаю только точно за что...

И не обратив внимания на слова сказанные, увлеченный своим рассуждением, спросил, как говорится, для порядка, чтоб, может быть, найти подтверждение своей мысли.

— Кого придушил?..

— Жену, Марью Карповну... разве вам ничего неизвестно?..

Вглядываясь Петровский стал в Афоньку — знает или нет, или притворяется только. Сказал — Калябин привскочил даже и в замешательстве стал наливать пиво в стаканы.

— Марью Карповну придушил, да за что ж хоть?..

Чуть не вскрикнул Афонька,— только вид сделал, что не соразмерил пива налить, и на стол пролил, будто нечаянно.

— Как же это я разлил-то?.. Да... Хорошая была женщина, добрая...

И чтоб еще больше Афоньку смутить, может, если и не на откровенность вызвать, а только заставить говорить к правде больше, наклонился к нему и полушепотом, будто чтоб не слышали соседи, с расстановкою:

— Говорят, что из ревности к вам, Калябин...

И опять потянулся за стаканом и, закрыв глаза, без передышки стакан выпил.

— Ко мне?.. А говорил-то кто, кто говорил про это?..

— Может, вы хотите знать, от кого он узнать мог?..

— Вот, вот... Это самое,— от кого, если бы было что (ведь ничего и не было), про такую вещь тайную узнать старик мог?..

— Прислуга ему рассказала, девка, а доктор одному с подробностями...

— Доктору? Зачем же доктору?

— А затем... Вам и это неизвестно, Калябин?..

И опять пытливо заглянул в глаза Афоньке,— сказал, остановился и заглянул, чтоб посмотреть, что будет с Афонькою, потому что почувствовал, что, вероятно, правда не знает этой истории,— может, перед этим ушел, чтоб не знать и не видеть.

— Что после того, как он Марью Карповну задушил, пришел к себе и грохнулся — удар его хватил, без языка лежит, руками шевелить не может...

Афонька от неожиданности потерялся, глаза вытаращил и даже руки смешно расставил, ладони вывернув.

— Его?.. Кондрашка?.. Касьяна?.. Пар... ме... ны... ча?..

— Ну, теперь вижу, что правда не знаете ничего.

— Честное слово, не знал, ей-богу...

Товарищи дожидались Петровского и удивленно поглядывали и на него, и на рыжего в поддевке синей, а потом стали на часы смотреть...

И, точно вспомнив что, Петровский приподнялся, а потом опять сел, боясь упустить такой случай, когда человека на откровенность можно вызвать, попав в самую точку, задев за живое, и про Феничку узнать хоть что-нибудь, и сказал, почти не оборачиваясь, отодвинувшись только слегка, чтоб не упустить ни одного движения, ни одного взгляда своего собеседника:

— Идите одни, господа, позднее приду...

Афонька тоже оправился, собрал мысли и улыбнулся в душе тому, что без языка старик, без движения, — без движения и дело будет, и про вексель не сразу узнают, и когда Петровский снова к нему придвинулся продолжать разговор начатый, Афонька откровенность на себя напустил простодушную и первый заговорил:

— Ну история... Так теперь я дальше вам говорить буду — задерживаю, спешить изволите, — я покороче. Прежде всего, уж если у нас такой случай, что пришлось вам первому мне про историю рассказать эту, так сказать, вроде того, чтобы огоршить, — не думал я, что выйдет этак, — так и я вам по правде говорить буду... Я покороче... не задержу долго... Было дело с купчихою, скрывать нечего, а только и то правда, что и с Дунькою я тоже жил, с прислугою, вот она-то и возревновала меня и старику, значит, — выложила дочиста. А у меня другой путь, свой... Правды я хочу доискаться, почему простому люду живется голодно? Целый месяц и расспрашивал я людей разных, — на студентов указывали, — они, говорят, знают правду, у них спроси; и вспомнил я вас, — как еще в Москве на вокзале увидал с Феклой Тимофеевной, так и заприметил. Я и раньше вас один раз у них видел, — по делу я приходил к господину инженеру и встретил вас. Так вот ищу правду я: отчего один человек другого душить может и ничего ему, только брюхо растет да мошна тяжелеет. Неужели простой

человек не может и слова сказать, а как что — в кутузку его волокут?..

— Что, собственно, вы хотите, Калябин?.. Говорите прямо.

— Я, Никодим Александрович, хотел бы послужить таким людям, что за правду стоят. Не умею я сам, не знаю как,— а вы, говорят, знаете,— студенты то есть, ведь вы тоже студент?..

— Студент... Ну?.. Может, и знаю... А что вам нужно?

— Может, вы знаете таких людей, что за правду стоят... Хотел я познакомиться с ними,— может, вы меня с ними познакомить можете?.. Даже не то, чтобы познакомиться, а указать, я уж сам познакомлюсь как-нибудь...

— Я?.. Не знаю... Сейчас, по правде, некогда мне, а если хотите — в другой день...

— Познакомите?..

— Поговорить можно,— может, и найдем таких людей... Сам не знаком, а у товарищей могу спросить...

Боялся Петровский, что если и не шпик Афонька, то проболтается в трактире кому не нужно может, в поисках этой правды, и не по глупости проболтается, потому что хорошо видел, что не глуп Калябин, повидал людей, а только не обтесан еще, не опытен, попадетя шпику и конец — угрозами заставят указать и самого запутают — окупут в грязь собачью, ишейкой сделают.

И упускать не хотелось Афоньку: первое — что народ хорошо знает и при известных условиях может быть кое в чем полезен, второе — про Феничку узнать захотелось, почему она испугалась его и что за странный рассказ про ряженных. Собрался уходить было Петровский, а Афонька еще заказал пару и налил в стаканы.

— Никодим Александрович,— теперь уж для знакомства давайте вот эти выпьем и до свиданья-с... Не буду задерживать больше ни минутки, и разговорами занимать не буду время. Теперь я нашел, можно сказать, путь к звезде Вифлеемской, дойду до ней и в Вифлееме буду. За десять минут опорожним, живо...

И, выпивая стакан, чтоб освободиться скорее, думая уже о своем, спросил, чтоб не сидеть молча:

— Это у вас, Калябин, Вифлеем что же, так сказать, цель, идеал?..

— Я, Никодим Александрович, не отвык еще по-монастырскому говорить, хоть и два года в городе пробыл,

пришлось с простым народом больше, ну, и путалось с деревенским, а по-городскому...

Быстро, точно боялся, что Афонька ничего не скажет про монастырь, спросил, не донеся пиво ко рту:

— Вы разве монахом были?..

— Был... послушником...

— Монахом?..

И про себя dokonчил, — рыжим... и подумал, что, может, в этом-то и есть какой-то секрет отгадки перемены Феничкиной, и опять на стул уселся.

— Послушником...

— Никогда не бывал в монастыре... делать мне там нечего...

— Это правильно, мужчине там делать нечего...

Почувствовал, что, может, самое главное теперь расскажет, и хотел наводить Афоньку вопросом к главному...

— А женщинам что же — молиться?..

— Правильно ваше, — молиться...

— И городские бывают?..

— Бывают, только больше простого народу...

— Говорят, монахи за богомолками ухаживают?..

— Не знаю... не видал, у нас деревенщина больше...

И Афонька почувствовал, что не спроста Петровский про монастырь стал спрашивать, то спешил, уходить собирался и пива допивать не хотел, а теперь сам в стаканы подливает и ему и себе, — чутьем угадал, что про Феничку расспросить что-нибудь хочет, — может, и слышал что, да не знает наверное, потому и спрашивает и уперся — про свой монастырь ни слова, понес околесицу про баб деревенских, про другие монастыри, а про свой и про себя ни слова...

— Это вот в Троицкой лавре, да в Киево-Печерской... там всякий народ бывает и пешком, и машиною, там и монахи не те, что у нас, у нас... послушание да молитва, а там они жалованье от монастыря получают, — работа — языком брехать с богомольцами во славу обители...

Петровский тоже понял, что поспешил, — не с первого бы раза начинать, а постепенно и зная уже, что Афонька про главное ни слова не скажет, не даром монахом был, и стал опять собираться, допивать пиво...

— В другой раз вы расскажете мне, Калябин, — хоть и не был, — интересно знать, как живут тунеядцы, а теперь, — я и забыл было, — идти надо...

— Расскажу, Никодим Александрович, отчего не рассказать... Любопытного много... В другой раз обязательно...

Вместе из пивной вышли и на порожках, на свету попрощались и опять, как и в первый раз, Афонька почувствовал, что враги, навсегда враги, из-за Фенички, и решил ничего не говорить про нее, про монастырь, про Николку и про Марью Карповну Галкину, помолчать лучше будет, чтоб Феничка и не знала, что он через Петровского путь к ней прокладывает сплетню; лучше если увидит его с Петровским по иному делу, через это верней ходы будут.

Петровский не заметил взгляда Афонькина, завладела им мысль про Феничку, почувствовал, что самое главное тут, в Афоньке, а узнает от него, тогда и Феничку разгадает, уловит такую минуту искреннюю и заставит самою собой быть, не прятаться от него. Всю дорогу шел, думая про Феничку, и разбираться стал в ней, может, и не пустая, а в пустоту прячется, может, и смех разбитной игра только, маска, а в душе — надорванное и больное. Казалось, что ошибался в ней раньше и пожалел, что думал о ней плохо. И все время не шел из головы рассказ ее и на вокзале в Москве, и в вагоне, когда она хотела к нему спрятаться, за руку испуганно схватила, в вагон звала и в вагоне, притихшая, придвинулась к нему близко и, может быть, мучилась, недаром потом сразу опять начала смеяться нервно и вопрос задала почти истеричный: «Думаете, что романтическое приключение было какое-нибудь?»... Если и не выдала себя ничем, то на мысль навела, — теперь только и понял Петровский этот смех и вопрос, глаза ему открывающий к главному. И тут же подумал, что недаром и Калябин искал его. Но эта мысль промелькнула на миг и потухла, потому что о главном Петровский думал — Феничку разгадать, захотелось человека в ней увидеть, не маску, — от этого и чувство стало к ней разгораться снова. И Феничке решил Петровский не говорить ничего, чтоб не замкнулась, в себя не ушла бы еще больше, а пока не узнает у Афоньки, до тех пор по-прежнему оставаться с нею.

На другой и на третий день до закрытия Калябин просидел в пивнушке на Малой Спасской, — только в субботу дождался Петровского. Как и в тот раз,

с компанией пришел и за столик к Афоньке подсел и прямо к делу с первого же слова:

— Говорите правду, Калябин, иначе и разговаривать не буду,— вы не шпион, не сыщик?..

— Истинный бог, Никодим Александрович... ей-богу...

— Верю. Теперь слушайте. Если хотите иметь дело с такими людьми, что за правду стоят, прежде всего надо работу найти, чтоб не стали следить за вами, а то слоняетесь без дела по городу — сразу подозрение, на завод поступите куда-нибудь...

— Что ж я делать там буду, Никодим Александрович? Окромя как за прилавком сидеть в трактире ничего не умею.

— Поступайте к Лесснеру, на Выборгский. Силы — хоть отбавляй у вас, молотобойцем проситесь, научитесь, не мудреная штука клепать. Присмотритесь к товарищам новым, а там посмотрим. А в субботу я постоянно бываю здесь. Только надо вам эту поддевку бросить, а то к рабочему не подходит, точно купец какой...

Петровский рассказал про Афоньку вечером на собрании и из прошлого кое-что, и указал, что знает хорошо простой народ, полезен может быть — сведения в будущем будет давать точные о настроении рабочих, а в случае и послать можно куда будет. И решили испытать, ничего не говоря Калябину про тех, кого он искал целый месяц, а работать начнет — сам поймет, разберется. Петровскому только руководить поручили и ответственность на него возложили за поступки Калябина.

Сменил Афонька на Сенной у старьевщика поддевку свою с приплатою на пиджак и с жилетом, бутылками сапоги да картуз оставил и пошел на Выборгскую искать завод Лесснера.

Одели на него фартук синий, кувалду в руки и отвели в мастерскую болванки плющить. За два дня закоптился, обуглился, въелась сажа да пыль в морщины, и стал прислушиваться, что говорят товарищи. Яшке Рябину сказал, что съезжает, на Выборгской угол нашел дешевый.

И с новыми приятелями по пивным да по чайным за газетками, больше всего в трактире «Свидание друзей» просиживал. В комнатухе вдвоем стоял с слесарем и жил скромно, из галкинских на выпивку добавлял только и то не на себя, а на приятеля: помнил, что говорил Петровский.

В одной комнате жить — вместе и клопов давить, и досуг расхлебывать.

— Тяжело, Афанасий?..

— Поясницу за день разломит — не разогнешься вечером, все тянет...

— Не за даром хлеб ешь...

— Что и говорить — трудимся.

— Кому труд, а кому по Невскому расхаживать.

С этого и разговор начался, с этого и приятелями стали, и стал давать слесарь Калябину и листовки и книжечки почитать вечером.

— Ты прочти, Афанасий, — сразу поймешь, отчего рабочему человеку лучшего хочется. Трудиться нужно, от труда не уйти человеку, а только хорошо трудиться, когда ты все права имеешь, равный... Капитал ограничить нужно, а то буржуй, хозяин, акционер — с тебя наживают двести процентов чистого, по заграницам катаются... Как в песне-то говорилось — «твоим потом жиреют»...

— Сила солому ломит... А этот капитал — сила...

— Увидим еще чья сила, на чьей стороне. Ты возьми, Афанасий, — войну начали... кому эта война нужна с японцами? — народу?.. Какой интерес народу драться, было бы за что?.. Кричали — шапками закидаем, а вышло, что не шапки нужны, а шимозы. Закидывают наших солдат шимозами, зарылись в землю... Это, видно, не с турками воевать.

И в мастерской про то же говорили рабочие, и по капле протачивало душу Афонькину, сперва для своей цели работал, чтоб через Петровского побывать у Фенички и не по делу, а как знакомому, повидать ее, о себе напомнить, чтоб не забыла про то, что спас ее — вернул вексель трехсоттысячный, а потом и стал понимать, если и убивают министров, то есть за что — не задарма поясницу ломило, на что была сила, и той стало мало. Каждого городского стал ненавидеть и на каждого человека осторожно оглядывался — не подслушал бы что, да в полицию не донес бы, и на мастера поглядывал искоса, как и все, — думал, интересы блюдет хозяйские. Сколько лет среди разных людей толкался и в монастыре, и на постоялом дворником, и сидельцем в трактире, а теперь попал на завод и сразу жизнь почувял, — там еще в губернском городе не видал такого труда каторжного, не случалось видеть, и понял, что, может, недаром и Дракина не хвалят трепальщики. Кузьма старый продувной был жулик, да и Дракин тоже — по-ученому с капиталом выжимал из рабочего по копеечке, и пожалел даже, что

вернул вексель,— если б не Феничка,— ей бы и теперь отдал,— а Дракину — никогда бы. По субботам на Малую Спасскую приходил прямо с завода — закопченный, просаленный и пива брал пару — дожидаясь Петровского.

— Ну, как, Афанасий Тимофеевич?..

— Как?.. У каждого в уме одинаково. Сколько ни слушаю — все одно говорят, сами знаете что.

— Так я вам теперь скажу,— слышали о партиях,— ну, так вот, и мы с нею работаем. Сразу вас привел в христианский вид, и не мы, а этот труд проклятый.

— Работу давайте, теперь сумею.

— Никакой вам работы мы не дадим, придет время... обождать надо... А вот листки насчет войны если возьметесь в мастерской раскидать, вот вам и работа. Только смотрите, осторожнее,— теперь сами знаете, что товарищ тот только, кто в партии, только этому и верить можно.

— А нельзя ли мне в партию?

В следующую субботу и в партию приняли под ответственность Петровского за его поручительство и явку получил и кличку — Монах. Одна только и осталась у Афоньки слабость — девки с Выборгской да работницы с трикотажной. К девкам иной раз ходил с слесарем, а за работницами ухаживал, только лясы точил, знакомства заводить было некогда да и пугались его — рыжего в картузе синем, еще в том, что у Галкина за прилавок одел.

В мастерской говорить стали, что народ собирается к царю идти, сам пойдет, говорить будет, просить милости, как в старину ходили — с крестом да с хоругвиями, и не одни пойдут, а с попом — петицию подавать, на министров, на генералов жаловаться.

Передал Афонька разговоры Петровского... явка у него с ним была постоянно, с поручителем.

— Знаю, Монах,— ничего из этого не выйдет, и это знаю, а начинать надо,— с этого и начнется, никогда еще не было, а как будет, и сами не знаем,— всколыхнуть трудно, понимаешь ты, всколыхнуть,— после само пойдет, как половодье, а вот всколыхнуть?..

В морозы рождественские, когда и рабочему люду в кабаке греться приходится либо в пивнушке граммофон слушать осипший за парюю пива, чтоб хоть какой-нибудь

свет увидеть на людях, а не в конуре своей прокопченной коротать вечер в тоске смутной, и разговор вольнее, откровеннее. Один если и придет в комнатушку с обоями выцветшими от туманов да сырости питерской, глянет в окно — кроме фонаря газового да сутулых людей ничего и не видно, и пойдет отвести душу с приятелем, и все будто легче станет. На свету под ацетиленовый фонарь шипящий и в душу светлей — надежда закопошится на лучшее. И по пивным, по трактирам разнесся слух, что народ собирается на поклон идти к самодержцу, просить милости усмирить разгулявшихся господ да министров. Заядлые только не верили, говорили, как Петровский, что толку не выйдет, — прогуляются к Зимнему, ни с чем и воротятся. Но у каждого надежда жила, и каждый думал, что авось что и выйдет, — не пробовали, надо попробовать. И старая сказка про старинку, когда московские цари сами и батоном колотили, и суд чинили, и со всякого звания людьми говорили запросто, и теперь жила у каждого, — как-нибудь наладится, когда, по пословице, царь до правды дознается, и солнце выглянет. И пословицу приплетали в сказке, и выходило так, что, небось, после этого и солнце выглянет. И дня никто не назначал особого, — сам собою и день вышел — по-сказочному. И пошли, горлая до отчаяния: «Спаси, господи, люди твоя», точно отчаяние и молитву заставляло петь, чтоб не погасла надежда на милость царскую, да не родило страха отчаяние, когда человек и обратно повернуть может по своим конурам в трущобы питерские.

С самого утра раннего и Афонька, после явки с Петровским на улице почти подле квартиры его студенческой, толкался по городу, на народ посмотреть вышел. И, сам не зная зачем, на Малой Спасской прохаживался, точно дожидался кого. А вышло так, что и дождался Феничку, — из ворот вышла почти рядом с пивною, где по субботам сживал с Петровским. Сперва показалось, что Феничка, прибавил шагу, на другую сторону перелетел и узнал Гракину. И следом пошел в отдаление, просто захотелось поближе быть к своей звезде Вифлеемской. Шел и думал, что, должно быть, живет тут и Петровский, если не в одном доме, то по близости, — оттого и в пивнушке бывает этой.

И Феничка пошла на народ поглядеть — вышла из

ворот — течением понесло через Тучков мост по Первой линии к Николаевскому, — Неву перешла — по Конногвардейскому и до Зимнего близко. Еще вечером уговаривал ее Петровский не ходить: из верных источников было известно, что встреча готовится, потому из партии почти не идет никто — одни наблюдатели посланы. Не послушала, — никогда еще не видела волну людскую, неудержимую и в отчаянии, и в надежде. В потоке, глядя на лица ясные, и у самой ясней на душе стало, и день-то выпал ясный, солнечный — от этого еще светлей было. На Конногвардейском народу гуще и полицейских тоже — и тоже сияют парадные, пересмеиваются с казаками, подмигивая. На Конногвардейском и Афонька шел за ней шагах в трех, чтоб не потерять из виду. И у самого радушие дню праздничному на лице сияло — на дворников поглядывал, что у каждого ворот сияли бляхами, как на парадах слюнявками господ офицеры. Ни о чем не думал, а шел, куда вела его за собой Феничка, — оттого и не думал, что в первый раз видел одну в многолюдьи, где все и враги, и братья.

Под арку сенаторов с Миллионной зашли и в стороне стали — слушали, как гудела издали молитва над толпой серою, — как стена надвигалась она к колонне гранитной, — может, и дальше бы двигалась — колонна становила, предел указав желаниям человеческим, надеждам тщетным.

Заслонила толпа от Афоньки и Фенички штыки солдатские, за молитвою голов обнаженных не видали винтовок, на прицел к замкам вскинутых, и не слышали; не уловили мгновения, когда самое главное началось, — вещей слов не слышали:

— Рота-а-а... пли...

Услышали только вой звериный, людей шарахнувшихся, и как искра зажглась — спастись, и через ту же арку парадную побежали по Невскому и не к Адмиралтейству, потому что и оттуда бежали с криками, — а к Казанскому. Локтей не жалея, растолкав мешавших, бежал Афонька подле Фенички, заслоняя телом своим девушку. Гнались по пятам казаки, нахлестывая по головам, по спинам. Поскользнулся Афонька, шатнулся в сторону и увидел, как нагайкою у Фенички отшвырнуло шляпу и как она в ожидании второго удара пригнула голову, и в один миг заслонил ее спиной широкою и вместо головы ее рассекло ему плечо до кости — с мясом вырвало, а он, не чувствуя боли, схватил ее за плечи и с середины улицы на тротуар

и к Казанскому, в переулок — приподнимал на бегу под мышки, чтоб только ноги переступать могли скорее. И только у каких-то ворот глухонемого дома, желтого, в пять этажей казенных, оглянулся назад и остановился от боли, чувствуя, как трет плечо мокнувшее, и Феничка очнулась от ужаса. Когда побежала с площади, ничего перед собой не видела, — знала только, что бежать надо, и не сворачивая за толпою следом, на бегу, и резинка лопнула, и один чулок сполз до шиколки — не почувствовала, и без шляпы, с мокрыми волосами от запорошившего снега, с прической растрепанной от рывка, шляпу сорвавшего, и от бежания — на Афоньку взглянула и, не придя в себя, не узнав еще, не опомнившись, вскинула руки ему на шею и поцеловала в небритую щеку рыжую, исколов губы.

— Спасли вы меня, спасибо, товарищ...

И товарищем назвала по-студенчески.

— Судьба, Феничка...

От неожиданности, что незнакомый назвал по имени — взглянула испуганно, пробуя пальцами ладонь липкую, и растерянно смотрела то на Калябина, то на ладонь, в кровь вымазанную. И, точно спохватившись, все так же испуганно, заговорила быстро:

— Это он, вы, Калябин, Афанасий Калябин?.. Да?..

— Я, Фекла Тимофеевна, — такая судьба, значит...

И, все же пальцами ладонь пробуя, взглянула на него...

— В крови, посмотрите — кровь... отчего это?..

И вспомнила, что обняла его, когда целовала...

— Это у вас, Калябин, у вас кровь...

— У меня, Фекла Тимофеевна...

Пробуя плечо рукою и от боли сжав мускулы на лице, чтоб не охнуть, зубами поскрипывая, тихо:

— Пройдет... Ничего... До кости.

Пот даже на лбу выступал, когда плечом шевелил мерзнувшим. Когда бежал — потный был, а у ворот — застыл и плечо саднело.

— Вы без пальто?..

— Когда бежал — сбросил... чтоб легче было...

— Завязать надо чем-нибудь... Завязать...

И, точно на себе что ища, на ноги посмотрела, увидела чулок спустившийся и покраснела, стыдясь Афоньку, а потом с решимостью расстегнула шубку, чулок вздернула и, приподняв платье, стала отрывать подол в нижней юбке, обрывая кружева. И под воротами глухонемого дома, уже

в полусумраке, в безлюдной тишине переулка, перевязала ему плечо, неумело просовывая под рубашку холодные руки, и пиджак даже потом подала, а у самой зубы стучат нервно-продрогло, и от холода ломило намокшую голову...

Блуждали по улицам незнакомым, у Пяти Углов на Владимирской свернули к Лиговке и уже молча шли, от холода вздрагивая. Не догадывались извозчика взять, все еще подавленные и ужасом, и встречею. В одном переулке подле трактира остановился Афонька и, точно что важное вспомнил, сказал Феничке:

— Подождите... Сейчас...

И через минуту выбежал с полбутылкою.

— Пейте. Согреться надо.

Как приказание исполнила Феничка, несколько глотков обжигающих сделала и, закашлявшись, отдала Афоньке.

— Не могу больше...

— Довольно с вас, остальное я допью.

Горячо разлилась в груди, перехватывая дух у Фенички, и бодрее с Афонькою пошла рядом.

Через Литейный от Сампсониевского опять по глухим переулкам на Петербургскую...

Видел Афонька, что еле идет Феничка, и, ни слова не говоря, опять взял сзади под мышки и поддерживал, идя сбоку, только правая рука слабела, сильнее ныла.

И Феничка ослабев, покорилась молча, а потом уже, подходя к Малой Спасской, сказала тихо:

— Ведь вы меня почти несли через Невский...

— Если б нужно было, на руках бы донес куда захотели только.

До той самой пивной, где с Петровским по субботам встречался, дошла молча, и через два дома остановилась Феничка.

— Спасибо вам, Калябин..., Спасли вы меня...

— Такая судьба наша, Фекла Тимофеевна,— во второй раз, теперь — в третий должен.

— Я пришла... Прощайте.

Опять назвал ее полуименем:

— Прощайте, Феничка...

И, взглянув на ворота, нагнув голову, зашагал Афонька домой, о судьбе своей думая, счастливый от ее поцелуя, не застывшего на щеке небритой.

Простилась с Афонькой и опять ослабела, еле взошла на третий этаж в свою комнату и, переступая через силу по порожкам, почувствовала силу Афонькину, которой она покорилась невольно, когда шел с нею по глухим переулкам, и подумала даже, что с таким человеком спокойной можно быть и за жизнь даже, и, вспомнив про вексель, про то, как руку ей поцеловал, — вздрогнула, хотя уже не чувствовала на руке пятна противного, — оттого и не чувствовала, что такие дни, как сегодняшней, примирить могут с неизбежным. И, встретив в своей комнате ожидавшего ее Петровского, сбросила шубку и обессиленная ничком на постель легла и, вздрагивая, рассказала полусловами, намеками и про Афоньку сказала:

— Знаете, кто спас?..

— Кто?..

— Калябин... Он, он спас... С собой спас, загородил меня...

Только не сказала, что поцеловала его и что заставил ее водки выпить. А потом замолчала и ждала — судьбы ждала, что может быть подойдет, обнимет, поцелует ее обессиленную, утомленную душу отогреет ласкою и отгонит навязчивый образ монаха рыжего.

Не понял Петровский молчания, не почувствовал, о своем думал, о том, что началось, кровь пролита, и о том, что самое главное в Афоньке, — надо только подойти к Феничке ближе и разгадать этот рассказ с монахом рыжим.

И, не дождавшись, что подойдет, сейчас вот, когда душа раскрыта, обнажена пережитым, сказала, сдерживая слезы, в подушку:

— Идите домой... Утомилась. Спать хочу.

— Я завтра приду, Феничка...

— Да... Завтра...

От обиды, что не смог понять, когда душу взять можно и всю покорить можно одним словом, одним поцелуем, одной лаской маленькой — навсегда покорить, в рабство, — заплакала, вздрагивая, оттого, что опять — он, рыжий монах, а не родной и любимый своим телом заслонил от смерти.

IV.

На Выборгской, на Старом Невском, на Васильевском по глухим переулкам озирались по сторонам люди молчав-

шие, от фабричной копоти дымом кашляя, а в пивных и в трактирах рабочий народ сгрудился и, озираясь на пальто гороховые, свое думал.

Пролилась кровь — всколыхнулась волна бурная и, то затихая у берегов гранитных, то разливаясь огнем-польшем по деревьям курным, под ядерные пули солдатские покатила по широкому морю людскому, ударила о хребты горные и затихла, пока снова не взошли семена, брошенные в океан-море.

В первую ж субботу встретил Афонька в пивной Петровского и не смотрел обывателем простоватым, а насупился, затаил в душе тайное после крещения первого нагайкой казацкою. На Никодима взглянул — и опять почувствовал в нем врага кровного. Только связала его с Никодимом одна воля к простору буйному, из Половецких степей занесенному еще до татар, когда звонили на площадях колокола вечевые. А ненависть стала из-за Фенички — от ревности ненавидел товарища. Взглянул на него и понял, что про 9-е разговор начнет, и не о том, что слышал и видел, а как случилось, что Феничку встретил — узнал, откуда восходит звезда Вифлеемская.

— Да вот после, как с вами-то утром виделись тут, вышел я из пивной, рано еще, ну и опять в пивную, выпил бутылку, только что вышел — они идут, Фекла Тимофеевна, и пошел я за ней, и сам не знаю зачем, — должно, судьба; они это через Тучков, и я тоже, — вижу, куда все идет, и мне туда ж, и захотелось подле своего человека побыть среди людей чужих, и стал поближе, а как случилось это, вижу, что выручать надо, — куда ж ей одной-то бежать было в сутолоке, ну и подставил свою спину вместо ее головы под нагайку казацкую, — до кости пропороло и теперь еще ноет. Вот как и вышло, вот где и пришлось с землячкой опять встретиться.

— Хорошо, что так вышло, — я ей говорил, чтоб не ходила: любопытство женское.

И будто что подтолкнуло Афоньку, подзадорило спросить Петровского:

— А вы-то что ж не пошли с ней, коли знали, что не послушает вас? Если б казак голову размозжил Фекле Тимофеевне, тогда что?

— Раз не случилось этого и говорить не о чем.

— Ну, а если б случилось?..

— Сама виновата была бы. Сама должна отвечать за свои поступки, как взрослый человек.

— И все равно бы вам было, Никодим Александрович?..

— Что вы, Калябин, допрашиваете, что ли, меня?.. Вам-то что?..

— Я ничего... А только нам она не чужая... землячка...

— Ну, оставим об этом... спасибо, что случилось так, и вам спасибо, что не бросили девушку.

Петровский посидел, помолчал и опять спросил неожиданно:

— А где вы, Калябин, первый раз встретили Феклу Тимофеевну?

— Известно где, в доме у них, по делу от хозяина был и вас тоже там встретил и тоже тогда в первый раз.

— Разве ряженым вы приходили позднее?..

— Каким ряженым? Что вы, Никодим Александрович?..

— Деревенскую девку помните?..

— Никакой не знаю.

— Так вы никогда не приходили к ним на рождество ряженым?

— Первый раз от вас слышу.

И еще больше запутался Петровский: чувствовал, что за Феничкиным рассказом какая-то правда кроется, — недаром монахом его видела рыжим в скуфейке бархатной, — вот в этом-то монахе и есть отгадка, а выходит, что никогда и ряженым не был, а в монастыре действительно послушание нес, познакомился же, т. е. скорее в первый раз видел ее вместе с ним, а тогда у купца служил и монахом уже не мог быть. И не зная, кто из двух говорит неправду, может быть, оба лгут, — только что же у них ближе к истине? Хорошо видел, что и Феничка не лгала, когда прижималась к нему испуганно, увидав в Москве Калябина, и, рассказывая, больше всего упирала на монаха рыжего — или раньше что было у ней с монахом рыжим? И опять уверял себя, что не могло быть, и Афонька искренно ему говорил, что в первый раз увидел ее в городе, а что ряженым не был — ясно.

— Давайте о деле теперь говорить, Калябин. В командировку поедете?

— Куда?..

— В командировку от партии в другой город.

— А завод как же?.. За прогул...

— Заплатят. На три дня. Отказываться нельзя. Поняли?..

— Ехать-то куда, Никодим Александрович?

— Узнаете, когда поручение вам дадут. А теперь я пойду. Опять в субботу.

Не допил пива и, все о своем думая, не попрощавшись, из пивной ушел. Афонька вслед подумал, что не попрощался даже, должно быть, какая причина есть, и, вспомнив, что нет-нет да и начнет заговаривать о Феничке, интересоваться, когда познакомился, да где видел ее, и решил, что не спроста спрашивает о ней, что-нибудь да говорила ему Феничка про него,— только что, и захотелось знать, что могла говорить ему Гракина, и стало досадно, что уезжать в командировку придется, отказываться нельзя,— и сейчас же мелькнула мысль, что, может, нарочно его усылают, и еще острее пробудилась ревность,— не мог позабыть поцелуя ее, нежданного, когда рванулась к нему и по-человечески поцеловала его, может другой поцелуй и не повлиял бы на Афоньку так глубоко, как в благодарность простой поцелуй, от души, искренний, сразу почувствовал в ней доброту душевную, и тело потускнело — осталась одна красота ясная, и еще ярче стала звезда Вифлеемская, в крови очистила душу его человеческим, и, когда клочком от юбки нижней ему плечо перевязывала рассеченное, такую чувствовал радость от прикосновения руки и пальцев,— ни одна ласка не могла дать такого счастья, как простое ощущение руки теплой, и теперь готов был даже калекою из-за нее стать, лишь бы еще раз почувствовать утешающую боль руку Фенички. Может быть, один раз во всей жизни и пришлось пережить сильному зверю человеческое, может, и пережил его только в ту минуту, когда и сам шел к Зимнему и с надеждою, и с верою в тот момент, когда погасла надежда, жившая в ту минуту не у одного его, а у всех людей, доверчиво шедших на казнь, захватившая и его одним чувством с толпою, с массою, вот в эту-то минуту, все еще готовый и верить, и собой, может быть, жертвовать во имя надежды общей, и пришел человек, ради которого жертвовал почти жизнью, пришел и простым, человеческим, врачующим боль надежды не погасил эту надежду, а снова зажег ее любовью к тому, кого мог случайно, и к тем людям, которым служить начал во имя правды, опять-таки из-за спасенного человека, за которым мысли, как за звездой Вифлеемской.

Из пивной прямо к Феничке Петровский зашел, зашел

разгадать загадку путаную и, как всегда, услышал вопрос Фенин:

— Говорите, Никодим Александрович,— голодны? чай пить будете?

— В пивной был, пива выпил опять с Калябиным.

— Есть хотите? Посылка из дома.

И без разговоров наложила ему пастерушек любимых своих — на меду прослоенных — и тепловатого чаю налила, а сама подобрала ноги и поуютней на кушетку уселась, накинув на плечи платок вязаный, и смотрела, как, сперва будто нехотя, а потом с удовольствием, уплетал Петровский, расспрашивая о курсах.

— Ничего я не знаю, Никодим Александрович, всегда ведь я вам говорю — не спрашивайте меня — приехала я сюда не за тем, чтобы в каких-нибудь ваших партиях участвовать, а жить, только вот и жить я не умею, а с дядей бы Кирюшей — весело б было... Сама все боюсь еще, не умею и в театре-то одной сидеть,— вы хотите ходить со мною, некогда все, все дела. А учусь точно в гимназии училась, репетитора б взяла, если не было б смешно. Мне и на курсах скучно...

— Стыдно, Феня,— кровь пролилась, а ей все равно. Людей в Маньчжурии ни за что убивают, а ей все равно. Рабочему человеку дышать нечем, а ей все равно...

Допил чай и пересел на кушетку, согнулся немного и, думая, как подойти ближе к ней, чтоб хоть немного узнать человека, монотонным голосом говорил совсем о другом.

— Научите меня, Никодим Александрович,— хоть, может тогда и ваше любить научусь. Ехала я пожить, повеселиться и этого не умею.

— Надо почувствовать жизнь, тогда и полюбить ее, а научить жить невозможно, не почувствовав ее близко.

И точно его глубоко задело это желание жить, точно он почувствовал, что действительно человек не умеет понять жизни, почувствовать ее и себя в ней частицею вечного движения, повернулся к Феничке, взял ее руки, под платком спрятанные, к себе притянул, сжимая в своих широких и грубых, так что она тоже к нему наклонилась и взглянула тревожно в глаза, все еще задумчивые и серьезные.

— Феня, ну как я вас научу жить?.. Как?.. Скажите?.. Полюбите кого-нибудь,— может быть, любовь научит и жизнь любить... Да так полюбите, чтоб себя позабыть...

Без слов человек чувствует, что кроется иногда за такими

словами, и Феничка почувствовала, что еще крепче руки ее сжимает и, может быть, уже не замечая сам того, и наклоняется и больше еще старается ее придвинуть к себе. Посмотрела на него и почувствовала, как в глазах у него пробегают искры, увидала, как, не моргая, пытливо всматривается и только веки слегка вздрагивают и, не думая о его словах, боролась с собою, решалась и, быть может, и не решилась бы, если бы он еще ближе не наклонился к ней и не потянул руки к себе настойчиво,— одно только это движение и решило — пассивною стала Феничка, и только росло напряженное ожидание,— а дальше что, дальше?.. И, не отвечая на его вопрос, глубже дышать стала — сердце как все равно останавливалось, чтоб забиться толчками частыми, волнуя тело жутким.

После того вечера, когда Афонька ее проводил и ничком лежа ждала, что подойдет к ней Петровский и возьмет всю... в сую, осталась на душе тяжесть, томительная

недосказанность чего-то самого главного в жизни и опять проснулось жуткое чувство к Афоньке, бессознательный страх давящего — тоска смутная и безразличность к любви Никодима, если бы она была в нем,— пассивность податливая и не было для ней жутким, как в тот вечер, ожидание поцелуя, ласки, а волновал он ее по-женскому, и пассивность была отдающаяся, ждущая телесной близости и не жуткая, когда человек отдается весь, а острая от толчков, падающих в сердце ждущем.

— Меня полюбите, Феня...

И поцеловал ее, теперь уже весь наклонившись к ней и выпустив руки, обняв; без слов отвечала, откинувшись на спинку кушетки и ноги высвободила, полулежала вся и сама обняла за шею — отдавалась ему ждущая, когда возьмет ее и заставит задрожать ее всю с глазами закрытыми, чтоб не видеть ни его, ни себя, а только лишь целовать, пока не забьется утомленное сердце медленней, тише, успокоенней...

Целуя ее, не почувствовал, что отдается ему сама, а оттого и не почувствовал, что мысль у него была ясная и сверлило в ней желание разгадать загадку — начал спрашивать:

— Любишь?..

— Ты разве не чувствуешь?..

Порывисто прижал к себе крепко и сразу оторвал губы, будто очнувшись от обморока.

— Феня, почему ты на вокзале в Москве испугалась. Калябина, ты мне тогда ничего не сказала, скажи?..

Все еще ждущая, отдающаяся, обняла его и шепотом:

— Спаси меня от него, спаси... не знаю сама, отчего боюсь...

Точно ждала спасения оттого, что отдастся ему и, став близкою, освободится от давящего страха перед Афонькою и еще сильнее обняла и сама искать губы его стала.

— Он уедет скоро...

— Куда?..

— Командирован партией.

— Совсем?

— На три дня...

И еще нежней, еще ласковей прижималась к нему.

— Нельзя ли сделать, чтоб совсем, надолго?..

— Не знаю...

— Сделай, для меня сделай...

— Подожди, Феня... Случилось у тебя что-нибудь с ним? Отчего ты его ряженым монахом испугалась?.. Он ведь и на самом деле был монахом и в партии ему дана кличка Монах! Зачем ты хочешь, чтоб он совсем уехал?..

Может быть, одно только слово «подожди» или то, что о монахе заговорил Петровский — в одно мгновение остыла Феничка и все еще покоренная любовью не отодвинулась от него, хотя опустила руки, и вспомнила сейчас же Николку, даже подумала, что, может быть, и знает или слышал или еще что, но только не наверное, а подозревает Афоньку в чем-то и хочет войти в прошлое и одновременно, вспомнив скребущую боль в теле ножами острыми, отодвинулась от него.

— Подожди, неудобно мне...

И уже холодная, в себя ушедшая, хотя и обнимал ее, нехотя позволяла целовать, а потом, не ответив ни на один вопрос, встала и, поправляя волосы, сказала спокойно:

— Без него мне спокойнее будет. Если можешь, исполни мою просьбу.

И посмотрела на часы:

— А как поздно уже... одиннадцать. Опять будет недовольна хозяйка.

Прощаясь в передней, спросил Петровский:

— Придешь ко мне, когда Калябин уедет?

— Если надолго — приду.

А потом вернулась в комнату и рассмеялась, точно чувствуя, зачем позвал к себе, а засыпая — не обида уже,

как в первый вечер, а досада была в душе на Петровского, что и теперь не понял, не захотел любить такую, как есть, не почувствовал, что проснулась в ней женщина отдававшаяся.

Вернулся Петровский, и тоже в постели, раздумывая об Афоньке и все еще ощущая ее губы на своих и крепко сжимавшие шею руки, пожалел, что так вышло, что не взял ее, потому что теперь казалось, что если бы она сегодня была его, то рассказала бы про Афоньку все, и решил, что устроит командировку Калябину надолго и возьмет ее, когда к нему придет, и узнает, все узнает.

И опять в субботу все в той же пивной с Калябиным встретился и наскоро деловым тоном:

— Отвезете литературу и шрифты, передадите на канатную Дракина Степану Грушину, мастеру. За прогул будет вам заплачено. Получайте деньги, расписывайтесь, а завтра придете на Зеленину за материалом. Кроме того, ввиду особого доверия, по следующим адресам сходите и возьмите письма, а кроме того постарайтесь где-нибудь там устроиться на заводе, чтобы таким образом мы имели постоянную связь из центра. К осени необходимо все подготовить. Понимаете, Калябин?..

— Как не понять, Никодим Александрович,— все понятно, только зачем же мне в том городе-то оставаться? — я из него, можно сказать, бежал и опять туда ж?..

— Ничего не поделаешь, Калябин. Я вам говорю, ввиду особого доверия партия вам поручает более ответственную работу, как наиболее исполнительному и верному члену ее. А иначе,— сами знаете, что может быть.

— Ладно, Никодим Александрович, поеду,— только выходит, что усылаете вы меня отсюда, вот что,— зачем только?..

В глаза не смотрели друг друга,— чувствовали, что хотя и связаны одною работой, а врали.

— Ну, прощайте, Калябин,— желаю успеха. Провожать будет вас Сапожник.

— С провожатым-то зачем?.. Ай не верите, что уеду?

— Таково постановление комитета. Ну, прощайте.

Уезжал Афонька и чувствовал, что отправляет его Петровский подальше от Фенички, может быть, и не из-за ревности, а чтоб спокойнее без него было, не попадался бы на глаза, когда не нужно. И опять вспомнил вопрос Марьи Карповны — «спас ты ее?» — подумал, что не только один раз и во второй пришлось от смерти избавить. Не мог позабыть прикасавшихся рук к плечу рассеченному, и еще сильнее горела в душе ненависть к Петровскому. Решил ни за что не оставаться в городе, откуда ушел за звездой Вифлеемской, а только исполнить поручение.

После отъезда Афонькиного, на другой день Феничка получила письмо от Петровского, звал ее к себе вечером и в конце P. S. было приписано, что Калябин, может быть, совсем в Петербурге не будет, — просьба ее исполнена.

Знала, зачем зовет, и пошла, а в душе было чувство, что ни за что не отдастся ему в этот вечер, может быть после, когда само придет, и чувство это было неясное, шла и не знала, что может случиться, потому что все-таки любила его, но во всем теле ощущение было ясное и спокойное, даже самая жуткая ласка не могла бы разбудить звериного.

И позвонила спокойно, уверенно, сам отворить вышел — ожидал ее.

— Ну, вот, я пришла к тебе.

Петровский тоже уверенно подошел к ней, оттого и уверенно, что решился переступить границы, где весь человек распахивает, обнажая душу и близким, до покорности принимает каждое слово с верою. Уверенно к ней подошел, хотя ожидание близости волновало его. Целый вечер, как друзья, говорили, вспоминали город родной, подруг и приятелей, и все-таки напряженность была, недоговоренность и даже неискренность от напряженности искусственной. В десять часов Феничка собираться стала, и в этот момент подошел к ней Петровский, обнял и не выпускал до последней минуты, пока не почувствовал, что бесполезно оставлять ее.

— Не уходи, Феня.

— Почему?..

— Останься у меня сегодня, я хочу быть с тобою, — останься.

— Зачем, Никодим?..

— Разве ты не понимаешь?.. Хочу, чтоб моя была...

— Я понимаю, знаю, я останусь, но только знай — о себе я тебе ничего не скажу, не спрашивай, — у меня нет

прошлого, только настоящее, только сегодняшний день, только любовь к тебе, — хочешь — останусь и такая как есть, такую как видишь, какую знаешь, какую сможешь понять и любить — твоя буду, а прошлого нет у меня, а буду вся твоя, до конца, и если будущего захочешь, — вместе его создадим, без прошлого.

Говорилá ему, ластилась, точно в эту минуту, действительно, остаться решила, может быть и осталась бы, если бы не были у обоих головы ясные, если бы не пытали ее душу вопросами.

— Феничка, понимаешь ты, понимаешь, милая, когда человека знаешь всего — всю его жизнь, ни одной минуты в нем и после сомневаться не будешь. Я не зверь, чтоб ревновать тебя к прошлому, если оно у тебя было, но, понимаешь, остается обида в душе, может быть, на всю жизнь останется оттого, что в такой час не будешь до конца человека знать и чувствовать.

— Разве тебе мало, что я люблю тебя и не спрашиваю о твоём прошлом? — ты для меня настоящий дороже, чем прошлый, потому что я сама пришла; то, что позвал меня — это ничего не значит, я ведь знала, зачем иду к тебе. Хочешь такую? — твоя буду...

Прильнула к нему, точно хотела сказать, чтоб не отталкивал, потому что потом поздно будет, потом, может, никогда не придет, хотя и любить будет. Замолчали оба — ждали друг от друга, кто уступит, кто сдастся — неподвижно просидели с минуту и чувствовали, что никто уступить не хочет, поднялась Феничка и сказала спокойно:

— Я не останусь, Никодим, у тебя сегодня. Если потом когда-нибудь придет само — твоя буду, а теперь нет. Проводи меня. Одна идти боюсь, — поздно.

Всю дорогу молчали, только у ворот Никодим спросил:

— Поцеловать тебя можно?

— Сам знаешь, что люблю, так зачем спрашиваешь?..

— И приходит к тебе можно?

— Конечно. Какой ты глупый!

И, не дожидаясь, поцеловала его сама первая.

Обида какая-то, какое-то чувство горечи осталось у Фенички от этого вечера, от третьего, и неясно в мысли носилось, что не отдастся ему, ни за что, — не знала даже почему, а только чувствовала, что и не чужой, близкий и в то же время не родной, по-любимому. В мыслях себе говорила, что может потом, когда-нибудь, но не теперь.

И, засыпая, не зная сама почему, шептала:

— Какой глупый, какой глупый...

За Афоньюкою вслед по всем городам полетели гонцы и с багажом, и без багажа, и в избы курные, и на заводы дымные, и на фронт в поезда, и подкидывали, и вручали литературу и вместе с иконами, что вагонами отправлялись христоролюбивому воинству в назидание с акафистами и душеспасительными книжечками, катилась волна непокорная. И выползли в трактиры, в пивные, в поезда пассажирские и на улицы в пальто гороховом и в крапинку, в котелках и в картузах просто люди охотливые до всего, что шепотом говорится, по секрету под честное слово приятелю дорогому, и в одиночках, и в общих камерах стали от параш задыхаться смертники и заключенные, и Владимирская запыхала снова.

Приехал Калябин — прямоком на Пеньи, разыскал кого нужно в слободке и остался пожить недельку, и на завод заглянул к Дракину и такой вышел тучей — инженера самого встретил и пришлось раскланяться. Позвал в дом Калябина.

Захотелось Афоньке Антонину Кирилловну навестить, — может, и в самом деле такой случай выпадет, чтоб с глазу на глаз Феничку повидать в Питере.

Как полагается, накормили обедом его, еще раз расспросили, где он встретил ее, да как было, не болит ли плечо, а то и на лечение бы помогли, а про Марью Карповну, про Касьяна ни полсловечка, будто не было ничего. Уходить стал — Антонина Кирилловна зайти просила, когда уезжать будет — посылочку взять с домашностью дочери. Инженер, со своей стороны, тоже благодарить хотел сотенными, Афонька только подумал, что поглядим-де, что осенью скажешь, сколько за труд заплатишь — не взял денег. Прокружил Калябин неделю в городе по делам от партии, собрал от кого нужно было письма в Питер, и захотелось ему еще на Феничку поглядеть, самолично у ней побывать в комнате, с глазу на глаз, и зашел за посылкою со всяким снадобьем. Захотелось ему поскорее в Вифлеем, на звезду глянуть, и поехал с плацкартной ускоренным; всю дорогу пролежал на верхней полке, на посылку поглядывал. Перед Питером, на Любани, к проводнику в каморку самовар из буфета втащили и кофейник с грелкою, на Любани и человек без билета в котелке подле окна уселся. Разбудил Афоньку.

кондуктор, — видит чай и себе взял стаканчик, слез вниз — сверкнул на него котелок глазами, улыбнулся чему-то и, ни к кому не обращаясь, скорее даже ко всем сразу, начал ругать порядки казенные:

— Представьте себе, на службу спешу, опоздать — места лишиться, а тут и есть, а не дают плацкарты, пришлось сунуть, ну и без билета еду, а за границей?.. Порядки!.. Разве это одно, — да на каждом шагу: газету я себе выписываю, начальство спрашивает — почему политикой занимаешься; — да как же, господа, не заниматься, когда на фронте черт знает что! Из-за чего мы войну ведем с японцами, ну, скажите мне, из-за чего?..

И опять на Афоньку взглянул и улыбнулся, обратился теперь уж к нему:

— Ведь правда, товарищ?

— Правильно...

Одним только словом и воспользовался котелок прилизанный и уцепился за него, сейчас же к Афоньке подсел и, будто своему человеку, обрадовался, и не так уже громко, а только будто ему одному и даже иной раз шепотком на ухо:

— Я вам, товарищ, расскажу один случай, можно сказать и случай-то совсем пустячный, брат у меня и не родной, двоюродный, добровольцем пошел — теперь на фронте, собрался я ему послать посылочку, пару чулок да белье теплое... — и на ухо: — казенное шлют, застревает в дороге и на Александровском за полцены сколько хотите... — и опять негромко: — вот я ему собрался послать посылочку, чуть со службы не вылетел — ей-богу...

— Почему?..

Подморгнул и даже посмотрел, не заметили ли соседи, что подморгнул рабочему, и начал говорить шепотом, будто и вправду доверился:

— Положил я ему будто газеток, и хоть бы много — всего с десятков, — знаете, что из Женева приходят, ну, конечно, знаете, — так за это... спасибо начальник у нас добрый и тоже не брезгует газетками, а то пропадать бы...

Помолчав, будто вспомнил что, и опять шепотом:

— А у вас, товарищ, при себе нет новенькой?..

Афонька исподлобья смотрел, недоверчиво, — слушая болтовню сумрачно, а как начал он шепотом — интересно стало — шпик или нет, а как сказал:

— Разве все отвезли и себе не оставили почитать?.. Недельки две назад уезжали, правда, — с поручением, еще

вас провожал Сапожник. Он всегда провожает. Да вы, товарищ, не бойтесь — свой.

Развесил уши Афонька по неосторожности и сболтнул:

— Ничего не оставил, все отвез.

— Теперь значит, отчет давать?..

До самого Питера разговаривал и, не доезжая нескольких верст, из вагона исчез.

Только вышел, а вслед и сказал кто-то:

— Это шпик был, о чем вы с ним говорили?..

— Так, кой о чем.

— Смотрите... Он всегда от Любани садится, его все знают.

Спыхватился Афонька да поздно. С вокзала пошел, — а следом котелок до квартиры проводил Калябина и у дворника пошел расспрашивать: кто, на каком заводе работает, а в это самое время Афонька из дома вышел — и к Феничке; не уследил котелок, не успел. Афонька и не думал про него, только в сердце скребла досада, и всю дорогу прбдумал про Феничку, про то, как один на один встретится, на житье-бытье взглянет, только из головы не шло — опять ушлют, и ушлет Петровский, уверен был, что не без него и этот раз.

Позвонил — сама вышла, откачнулась даже, как увидела.

— Что вам, Калябин?

— Посылочку вам привез, Фекла Тимофеевна, — от маменьки.

— Вернулись?..

— Вернулся, Фекла Тимофеевна.

От растерянности и к себе впустила в комнату. Вошел, пальто снял, картуз повесил и сел на кушетку, на ту самую, где Петровскому отдавалась вечером. Сел и, как тяжесть давила голову, решил в первый раз говорить начистую все, что думает, — не знал только, начать как. Может, после и случая такого не выйдет, чтоб один на один сказать, что годами скоплено.

— Как же так?..

— Так вот и вышло, что приехал назад. Не ждали меня?

— Не ждала.

— Думали, что надолго послан, — так ведь вам говорили товарищ Петровский?

И все еще растерянная, не думая, отвечала правду:

— Да, так.

Эта откровенность врасплах еще больше озлобила Афоньку на Петровского, и говорил медленно:

— Спровадить меня хотелось, зачем только никакой такой причины не было? Уж не вы ли просили его или он сам это придумал?

Взглянул на нее — побледнела, спохватилась и, вспоминая, что невпопад сказала, сидела молча, и оттого ли, что стало ее жалко, или, может, оттого, что придет в себя и не даст высказать — вздохнул быстро и начал, с каждым словом забывая, что и Петровский есть, и Николка был, а может оттого и говорил так, что один был, а другой с нею:

— Еще с монастыря помню вас, вот как. С того самого раза, как на бревнах сидели, — помните, хотел ваши руки поймать. Помните?.. Позабыли, может?..

И опять не собрала мысли — взглянула испуганно и даже руками всплеснула как-то беспомощно от страха.

— Брехал тогда, что нос перебил — за медом лазил на сосну... Знаете кто перебил?... Николай. Бутылкою. Жребий тянули на вас, достались мне, а он бутылкою. Стал собираться он к вам, — жениться, и я не вытерпел... Еще с той поры, там на бревнах сидела, — насквозь вы меня пронзили, а тут подвернись Галкина. И не она, я ее спутал к себе, — позвала, из-за вас жил с нею, чтоб про вас хоть словцо знать. А тут это дело с векселем. Да чтоб на нищету допустить?.. Старика обвел вот как вокруг пальчика, и с Марьей Карповной из-за вас жил, Феничка...

Занемела от ужаса Феничка, сердце не слышала своего, не отрываясь смотрела на Афоньку и ждала, что дальше скажет, что случится, — не думала, что просто говорить только будет, выскажется.

— И в Питер поехал за вами, как за своею звездой путеводною, — ведь вы для меня, Феничка, звезда Вифлеемская: куда вы, туда я, а Вифлеем мой, земля обетованная, град царственный — хоть деревня, хоть городишко последний, хоть столица сама — лишь бы вы там были! Я сперва и в партию-то из-за вас попал — вижу, вы с Никодимом Александровичем как свои, и разыскал я его, целый месяц по пивным да трактирам ходил, весь Васильевский обошел и на Петербургскую перебрался — нашел-таки, потом уж я увидал, что за народ они борются, и пошел с ними, а сперва из-за вас, чтоб к товарищу Петровскому быть поближе, а через него и вас видеть. Вы думаете — я Николка, обманывать стану, — в монастыре, может, и обманом бы в лес увел, а теперь не то — через

огни-воды прошел — сам знаю, не быть милу, коли нет любви в вас ко мне, а только куда вы, туда и я,— такая судьба мне подле вас быть, Феничка. Лица на вас нет, а чего? Разве я за глотку душить пришел?.. Только всего — сказать,— не вытерпел, а тут случай такой — посылочка. Как маменька-то сказала, что посылочку дает отвезти, так и собрался. Товарищу Петровскому не говорите про это. А что судьба — сам знаю, хоть вы что, тут — судьба, и вексель тот — тоже судьба, и девятого — уж тут совсем судьба. Урод я для вас рыжий — вот что, как на разбойника смотрите, а ну, как Николка, я не в лесу, а вот в этой самой комнате — и не пикнешь... Так, что ли, Феничка?.. Вам и сказать нечего?.. Ужли нечего?.. А я вот сказал — пришел в Вифлеем свой и поклонился, как волхв, звезде своей Вифлеемской. Да я буду помнить до смерти поцелуй ваш, Феничка!

Много говорить собирался ей, а начал — пропали слова, из головы вылетели; хотел складно, а вышло вразброд, как сами слова цеплялись; кончил и уставился в нос, ждал — может, скажет что, и сидели молча. Так и не дождался Афонька от Фенички ни словечка, встал...

— Так и сказать вам нечего?

Все еще сидела не двигаясь, может, думала, а может, ждала — что будет. И не было ничего: поднялся, молча картуз одел, пальто враспашку и в дверях только:

— Все равно пойду за вами, куда вы, туда я — одна у нас судьба — попомните. А товарищу Петровскому, коли видеть будете раньше меня, скажите, что повидать его срочно надобно.

Домой возвращался — подле ворот котелок встретился: дожидался видно.

— А я к вам, Афанасий Тимофеевич, насчет газетки,— уж так почитать хочется, что и на службу не пошел через это,— нет ли дома у вас?

— Пойдемте, поищу.

На черную лестницу провел и кулачище поднес к самому носу, так что и маленькие глазки заслонил ему.

— Ты, сволочь, смотри, попадешься мне — видишь, так помни...

За шиворот — кубарем котелок и хозяин его турманом.

А в пивной вечером спокойный сидел, будто и не было ничего, и у Фенички не был, никуда и не ездил, и котелка не встречал.

Распаленный Петровский вошел.

— Почему так скоро?.. Здравствуйте.

— Никаких дел не было, Никодим Александрович, все, что говорили, сделал, а места себе не нашел, и не то чтобы не нашел, а не искал его, — почему спросите, — а потому и не искал, что причины на то имею особые.

— Привезли письма?

— Все сделано, я же сказал вам.

И вздрогнул, когда случайно взглянул в сторону: даже Петровский заметил. На шпика указал, рассказал про него Петровскому:

— Дождал он подле квартиры меня — попросил почитать газетки, я и завел его потемней на черную и пустил кубарем.

— Не беда, ничего не сделает, а следит — пусть. Явку переменим. Оставайтесь тут пиво пить, я пойду — поглядим, когда следить будет.

Каждое слово рывком говорил Петровский, оттого и говорил так, что пришел вечером к Феничке, а она чуть не со слезами к нему, измученная:

— У меня был он, он был, рыжий...

— Какой рыжий, Калябин?..

— Посылку привез, приехал.

Про разговор ни полслова, а только положила ему руки на грудь и ослабевшим голосом, от напряженности пережитой:

— Опять он тут, приехал... Спрятаться от него куда-нибудь. Сама не знаю чего, боюсь его, преследует он меня. Домой уехать готова, — боюсь, что и он за мною.

Сказать ничего не сказала, а только намеками непонятными перед Афонькою страх свой высказала, и Петровский ничего не понял, — только опять почувствовал, что не ладное у ней с Афонькою. А когда сказала ему, что непременно сегодня хотел его видеть в той же пивной по делу важному, еще больше взбесился Петровский на Калябина, подумав, что поручение не выполнил, да еще свидание требует, и решил сегодня же расквитаться с ним, да котелок его спутал, все мысли перебил, перепутал.

Из пивной вышел и пошел след заметать — крутил переулками, через проходные нырять и чтоб удостовериться — зашел опять в пивную, присидел с час подле окна, на

тротуар поглядывая, на другую сторону и успокоился, и с другого конца вернулся к Феничке.

Спросила за дверь тревожно:

— Кто там?

— Отвори, Феня, — я.

— Боюсь я, все жду, что придет опять... он может.

— И я знаю, что может. На шпика налетел дорожного, не знаю, что делать с ним будем. Услать куда-нибудь надо.

— Не поедет он.

— Почему? Говорил что?

— Не знаю почему, а так кажется, что никуда не поедет он.

Целый вечер фразами перебрасывались нервными, а под конец у обоих напряжение ослабло нервное и замолчали.

— Иди ко мне, Никодим. Сядь сюда.

Подозвала к себе на кушетку и как мать приласкала и сама затихла ласково. По волосам его молча гладила и на поцелуи отвечала тихими. Потом спросила:

— Ты ел сегодня что-нибудь?

Спросила, и почувствовал тошноту, даже слюна брызнула. Последний месяц ни уроков, ни корректурных листов не было, и в институт не ездил — на паровичок не было и кое-как — иной день одним чаем питался: отдался работе, напрягал силы к осени. И к Феничке забегал редко, — от этого и теперь, после Афоньки, опять стал близким, и если потом не спросил бы ее о прошлом, может, и решилась бы судьба ее. В этот раз вечер близким был ей, единственным, и заботливая была, как к близкому.

Ответил ей Никодим:

— Ничего не ел.

— Подожди, подожди, я сейчас... Это ничего, что он посылку привез... Правда... и я тоже съем домашнего. Разбей ее, посмотрим, что тут.

До этого никогда не расспрашивала, как живет, чем питается, а почувствовала близким его и захотелось расспросить — о близком всегда забота житейская пробуждается.

— Из дому тебе посылают что-нибудь?

— Некому посылать... один я.

— Чем же живешь ты, уроками?..

— Ничего не скажу. Видишь — жив.

И резкости не обиделась, — подошла к нему, когда есть кончил, и сказала ласково:

— Не обижай меня, скажи.

— А ты говоришь мне о себе?.. Так почему я говорить должен?

— Разве я тебя о том спрашиваю, о чем ты меня?..

— Это все равно, Феня.

— Неправда, не все равно... сам знаешь... Ну, скажи, ты скажи... А когда придет само — я и о том скажу: нужно, чтоб само пришло. Сейчас я могу и говорить правду,— один раз было так, что могла б сказать, и еще раз было, другой, и в тот бы, может, под конец сказала — не почувствовал этого сам, а было.

— Скажи, когда, скажи...

— Не помню уж, а только было. Видишь — я говорю правду, а ты не хочешь.

Рассказал ей правду голодную, как иной раз за пять копеек в день питался да покрепче поясом живот стягивал, чтоб не тянула тошнота голодная. Рассказал — глазами сверкнула радостно, точно нашла что или придумала. Вышел в переднюю табачку из высыпавших папирос, собрать в пальто в кармане,— в один миг отодвинула ящик в столе письменном и из того пакета, что дядюшка подарил на забавы питерские, несколько бумажек в карман боковой в пиджак сунула и как провинившаяся на кушетку села и лукаво поглядывала на него, когда крутил папироску из крошек сорных...

На другой день утром прибежал к ней, догадался, что она сунула.

— Возьми обратно, не могу этого ни за что...

— Любишь?

— Люблю, а денег твоих не возьму, как хочешь...

— И я не возьму, рви их, ну, рви...

Как девочка, подбежала к нему, выхватила и не разорвала, а за ворот засунула с поцелуями.

Только это ребячество Фенино и взять заставило, а потом когда либо в пальто совала, либо в тужурку, говорил ей, волнуясь от неловкости:

— Зачем ты, Феня?.. Опять?..

Это и сблизило их, сроднило, и не спрашивали ни о чем друг друга, и о деньгах не говорили ни слова, только Петровский первое время стеснялся Фенички. И Феничка волновалась за него каждый день, по ночам думала и сама забегала на минутку, когда не приходил подряд дней пять,— возвращалась от него ночами белыми, на тени людей оглядывалась боязливо — не идет ли, не следит ли тот, рыжий... И на курсы не шла, а бежала, и вместо той

жизни, о которой мечтала, в Петербург ехавши, не жила, а в клетке билась между любовью и страхом. Надеялась, что чем дальше, тем ближе станут и, может, вернется опять такая минута, когда раскроется душа, и всю жизнь отдаст неразлучному. А Петровский, чем дальше, тем горячее говорил о революции, о войне, о партии, и себя позабыл, и чувство загасло к Феничке. На лето одна уезжала Феничка — Никодим оставался работать в Питере и проститься к ней не зашел — некогда. С обидою уезжала к матери и, отправив на Николаевской посыльного с багажом, все-таки забежала к нему — дома не было, вошла в комнату и сунула, приоткрыв корзину, пакет дядюшкин с оставшимися деньгами, и на пакете написала карандашом наскоро — «какой ты глупый, какой глупый», и, может быть, оттого только, что слова эти врезались ясно, от того вечера, когда хотела ему отдаться, ни о чем не думая, и по-новому ей показались милыми — улыбнулась, и радостно стало от надежды вернувшейся. И в вагоне, с посыльным за багаж расплачиваясь, сказала вслух, — «какой ты глупый, какой глупый» — тот только глаза вытаращил на барышню. Сообразила, что сморозила чепуху, и рассмеялась радостно, точно в этих словах счастье скрылось.

VI.

До самой осени гулял котелок за Афонькою, до самой осени и поручений от Петровского не было Калябину. И только осенью, когда холода начались с бурями и бурные вести с полей Маньчжурских всколыхнули людское океан-море, снова явка по субботам началась у Афоньки с Петровским. Не на Малой Спасской в пивной, а в трактире «Свидание друзей» на Выборгской. Загудели гудки на заводах тревожные: в мастерских сперва молотом у станков, а потом громче да громче под завыванье ремней загудели голо́са, огрубевшие ропотом. В университетских коридорах полицейские с утра до темна и на улицах патрули конные променад делали. И за каждым почти не только сознательным, но и здравомыслящим слезка была господ в штатском, и каждый день на докладах или и в партиях, и в жандармском люди нервничали: начинать рано, на улицы выходить или в одиночки запрятать. И про Афоньку от котелка известно стало, что-де явки у него опять начались с главарем каким-то

в студенческом, и порешили его припугнуть как следует: налетели архангелы в рейтузах синих и повели в участок и не допрос чинили, а по-благородному поручили поговорить котелку с ним.

— Так что видите, господин хороший,— у вас как там?.. Товарищ?.. ну, так видите, если хотите на свободе гулять, отечеству и престолу оставаться верным, пожалуйста на службу к нам, а в противном случае не хотите ли в централ отправиться, так-то-с... Это вам не с лестницы верных сынов пускать турманом. Подумайте денька два да и пожалуйста с ответом к нам, а теперь пока на свободе погулять можете — поразмыслить, так сказать.

Озверел, оцетинился Калябин, еще сильнее забурлило нутро прокопченное и почувствовал, что не вырваться ему из лап цепких, заметался по Питеру и на Садовую прямо в адресный стол добывать Петровского.

Квартиру нашел — нет дома, уселся на стул проломанный и до вечера просидел не двигаясь, пока хозяин не вошел в одиннадцать. В потемках сидел — испугал Петровского.

— Кто тут?

— Я, Никодим Александрович.

— Что вам нужно, зачем?..

И рассказал ему до словечка.

— Как же быть?..

— Подумаем.

— Три дня сроку дано,— когда ж думать?

— У меня ночевать будете, а я завтра скажу, что делать.

Наутро проснулись.

— Сидите тут, никуда не ходите, чтоб меня не выследили...

Перебирал книжки, брошюрки перелистывал, газеты читал — до вечера время тянулось: умереть можно раза два, и в сумерках постучал кто-то и не дожидаясь вошел, каблуками постукивал.

— Почему ты в темноте сидишь, Никодим?..

Взглянул — Феничка.

— Обознались, Фекла Тимофеевна,— это я, Калябин,— дожидаюсь сию хозяина. Не ждали встретить тут, а пришлось,— такая судьба наша.

— Будет дома?

— И ночевали вместе, и теперь жду вот — вернется...

— Скажите, что была... Прощайте.

— И не останетесь?..

Вошла не выдаясь и уходила — не подала руки.

В первый раз у Афоньки мелькнуло, что хорошо бы избавиться от Петровского, да как только, и вспомнился котелок и предложение, и как червь заточило предательство,— не дело предать, во имя которого сам дошел до ненависти к предержавшим властям, а человека, путь ему пересекающего к звезде Вифлеемской. Заточил червь искушения и в нутро заполз маленький, надоедливый...

Петровский пришел.

— Ну, что?

— Соглашайтесь.

— Как соглашаться?

— Партия поручение вам дает, Калябин,— будете узнавать и на явках, укажем где и с кем, передавать, кому грозит заключение, за кем следят и кто следит, и относительно обысков и арестов доносить будете. Выдавать никого не смейте, пока партия не укажет. Поняли?..

— Так, значит, в соглядатаи? Провокатором?

— Если все приведет к одному — желанному, то почему эта работа, более нужная для нас и ответственная — провокаторство?

— Прощайте, Петровский. Пойду явлюсь. Видно, такая судьба.

— Видно, судьба...

— Судьба, значит...

По лестнице спускался и думал, что значит судьба,— сама Феничка, сама звезда Вифлеемская указать приходила ему путь новый, и он сам послал, на кого указывала судьба с пути восхождения звезды столкнуть в одиночную камеру в централ. И пошел с тою же ненавистью к пролившим у Зимнего кровь неповинную. А в душе сам себе клялся правде служить и только червь точил предать Петровского.

Раньше дня назначенного пришел в жандармское и писцов, и вахмистров усатых, и господ в котелках расспрашивал:

— Повидать надо тут господина мне — в котелке он ходит, только у него усики черненькие растопыренные да глазки маленькие.

— Кого?..

— Не знаю фамилии, а только у него волосы приглажены на рядок.

В какую-то комнату приоткрыли дверь...

С аксельбантами, напوماженный, носки в сапогах узкие, ляжки — чуть рейтузы не лопнут, и с подусниками надушенными.

— Ваше благородие, Калябин пришел... согласен.

— Чтоб себя оправдать перед законом и самодержцем, должны указать кого знаете, — не сразу, конечно, а все-таки одного сейчас же. Хлюшин, с кем у него явки были?

— С каким-то студентом.

— Так вот студента этого. Должны через своих разузнать, когда его с поличным взять можно... Понимаете?.. Ну, когда какое-нибудь доказательство будет — вещественное — литература, шрифт.

Выходил из правления — глазами по сторонам шмыгал, не видал ли кто из людей, — казалось, что все знают, зачем приходил — приходил предать, от кого верить научился по-новому, учителя своего назвать. И домой шел, думая, что Иудю стал евангельским, и на сожителя своего не взглянул — лег на постель, обернулся к стенке и не встал до утра, — спал-не спал, лежал молча, и утром не на завод, а в пивную выходил — котелка не было. Одному только и радовался, что никто больше следить не будет. До обеда полдюжины выпил, обедать в трактир с водочкой, — все равно мол, один конец, не воротить теперь, назвал его и почувствовал, что потускнел вифлеемский путь, — испугался даже, а ну как не добьется он своего, только ненависть вызовет, если узнает предателя, и тут же подумал — да кто скажет ей, и успокоился. Пошел в трактир в такой, чтоб пообедать посытней вкусного; читал вывески размалеванные снедью всякой и с половыми с салфеткою и не решался в какой зайти и сам не знал, как против правления очутился, точно тянуло его еще раз посмотреть на дверь грязную, захлестанную, и рядом другую заметил — скромную, только и была над ней надпись — кухмистерская, зашел туда и котелок встретил. Сам от себя точно бежал, и чтоб одному не быть — подсел к нему.

— И вы к нам обедать?.. Тут дешево и в кредит верят.

— Ничего, Афанасий Тимофеевич, бывает, если б не я — не служить бы нам вместе, а для приятного знакомства, так сказать, примирения — поставьте-ка графинчик царский с закусончиком.

Знал, что придется сдружиться с кем-нибудь, чтоб подноготную узнавать к явкам, и прикинулся святой наивностью. Один раздавили, другой поставил и в сумерки приятелем был Хлюшина.

— У меня сегодня, Афанасий Тимофеевич, вечер свободный, я ведь с Любани с утренним через день,— завтра в городе за одним пассажиром гулять вчерашним, вроде вот как за вами тогда я.

На ушко ему шепотом:

— К девочкам хотите? Две сестры, тут, вольные, от себя работают и котов нет — спокойно, одна от нас ходит — студенческая, безбилетные, а насчет здоровья спокойны будьте. У нас ведь одно только и развлечение — девочки; спросите наших — у каждого есть,— либо из вольных, либо из работниц давалки честные, те тоже с нами работают — не хватает на шпилечки, на булавочки и подрабатывают...

Больше года Афонька постил, а тут, не то чтобы не выдержал, а любопытно на сотрудниц поглядеть было, к делу подойти ближе, знал — через баб легче всего разузнать можно про дела Хлюшина и его приятелей, не даром похвалился ему, что верней жены, хоть и марьяжный вечером.

Утром его провожала поздней Хлюшина, пускать не хотела, тот день звала его вечером, не даром у купчих он славился, и тут угодил,— как с цепи сорвался — без удержу, целую ночь заснуть ей не дал.

— Приходи, миленький, приходи сегодня.

— Я б и сейчас у тебя остался, спать хочу.

— Иди, иди, выспись, и я тоже посплю с тобой, а вечером чайку попьем с наливочкой, со сладенькой, чтоб и потом было сладенько...

Как пропойца прокрутил у сестер три дня, оттого и прокрутил, что знал — недостижима Феничка, как ни как — барышня, только в мыслях — все равно добыюсь, судьба такая — только когда?.. Так чего ж в миру-то хранить целомудрие, кому оно нужно? — за грош его никто не купит, а тут — кишки вывернет с требухой, а через сестру либо у подруг разузнает, когда что нужно будет товарищам.

Три дня прокрутил, на четвертый прощались — плакала...

— Эх, каб не марьяжить мне сегодня,— с голоду подышать страшно,— я б не пустила... Завтра жрать нечего.

Остановился Афонька у двери, взглянул ей в глаза почерневшие...

— Верна будешь?..

— Да за тебя любая ухватиться, голяком ходить будет — до копеечки выложит, не ушел бы только.

— Сегодня приду. Жди. Не помрешь с голоду.

И достал из пакета дракинского, что про черный день сберегал одну катеньку,— та только глаза выпучила, не от ней, а ей принес миленький...

И слесарю в глаза посмотреть боялся, сожителю своему — ночевать не ходил домой, у сестер жил и марьяжить своей не велел. А чтоб Хлюшин не подумал что — сказал, что медовый месяц справляет. Кормил-поил сестер и спрашивал, а по субботам в пивной, и на квартире Петровского как только узнавал что,— рассказывал, в глаза ему не взглянув ни разу, и приходил, когда дома не было — поглядеть — нет ли чего подходящего ротмистру: под кровать заглядывал, по углам шарил — везде пусто.

Как говорил Петровскому — в точности, скажет — и следов не найдут вахмистры с котелками, еще больше доверять стали в партии, а на докладах ротмистру об одном твердил: «Нет, ничего не держит дома, не простой студент — из главных».

От Петровского уходил — на Малую Спасскую сворачивал в пивную и просиживал у окна за кружкой, вглядываясь в прохожих — не увидит ли ее, хоть один раз, хоть глазком на нее глянуть,— глаза начнет резать — подымался и ночевать к сестрам, по дороге бутылочку захватит сладенькой.

Месяц к концу пришел — в правление вызвали.

— Ну, Калябин, как студент Петровский?.. Пора уж.

— Ваше высокородие ничего нет, верно знаю.

— Если нет,— должно быть! Подложить должны.

Понес к сестрам два тючка Афонька и положил денька два полежать в сохранности, а сам к Петровскому. Пришел в сумерки... Как удавленный дожидался в последний раз товарища. Блуждал глазами по комнате, папиросами дымил, и, закуривая следующую, невзначай на столе Фенину увидел карточку,— только что появилась, и потянулся взглянуть на нее,— со всех сторон оглядывая, и прочитал надпись нежную,— «близкому и родному»,

и сразу решил: судьба значит... принесу завтра... под кровать положу... судьба.

Петровский вошел — поставить не успел карточку...

— Что вы тут, товарищ Калябин?

— На фотографию посмотреть захотелось... не узнал, землячка ведь.

— Какое вы имеете право рыться тут?.. Привычки новые?

Сверкнул глазами, насупился и захотелось напослед, на прощание порадовать Петровского:

— Раньше вас Феклу Тимофеевну знаем... Как еще в монастыре гостила летом...

Взглянул Никодим на Афоньку, понял, что задели слова насчет привычек новых, и сразу почувствовал, что не даром про монастырь заговорил, — тайну раскроет Фенину, не даром боится монаха рыжего, и помог ему расспросами:

— В монастыре?.. Когда?..

— Что ж вы, — написала близкому, должно ближе некуда, а ничего не знаете.

— Все знаю, все.

— А про Николая вам рассказывала, — монах такой был у ней, послушник кудрявистый, загляденье одно — на картине писаный. Нет?..

— Не знаю.

— А говорите — все знаете?

— Любопытно послушать...

— Я знаю и, если пожелаете, расскажу товарищу. Вы думали — боится меня, ведь знаю, что боится, меня боится... У меня-то с ней ничего не было, я больше с бабами по лесу кружился, бывали девчонки, как не бывать, да только по дурости сами лезли, а мне что — одно удовольствие печаточку сколупнуть сургучную, — не зевать же было, когда сама дается в руки. А Фекла Тимофеевна — особ статья. Вдвоем мы за ней, за красотой несказанной.

— Так это не вы?

— Николка Предтечин, послушник... Любила его, да как еще.

Все равно как по темени колотил Петровского — рассказывал, тот только спрашивал сдавленно.

— Леса-то у нас темные, озеро цветное с купавками, земляничка, ягода сочная, все равно, что девушка несмышленная.

— Не дурак был Николка, выбрал ягодку и сорвал, подлюга, спелую. Мох-то у нас — перина, дух в лесу пьяный, — захмелела поцелуями.

- Довольно, Калябин.
— Так не я был, Никодим Александрович, — обозначился.
А тот и жениться хотел — да выгнали, не выгорело.
— Довольно, говорят вам.
— А насчет общих дел говорить будете?
— Завтра придите.
— Приду, Никодим Александрович, завтра-то обязательно.

По комнате ходил — мучился, понял, отчего не хотела вспомнить о прошлом, и обида и горечь грудь заполнили, оттого что говорила ему — любит первого, а сама любила, не его, не первого, а монаха, какого-то Николку, говорит только, что его первого, оттого и шептала ему с поцелуями — «вот какая есть — вся твоя», и прошлого нет, настоящее только. Волосы на голове ерошил, карточку со стола несколько раз подносил к окну — разглядывал, точно на лице прочесть хотел, больше чем тайну разгаданную, и, перечитывая — «близкому и родному», думал, что еще ближе был, первый — самый близкий. Как с цепи сорвался, побежал к Феничке.

На кушетке сидела с книжкой, в платок куталась, а мысли бежали стаями о любимом: давно не ласкалась к нему и он не целовал Феничку — приходил сумрачный, — целые дни из института в кварталы рабочие и до вечера, а вечером забежит на минутку, накормит его, расспросит, и убежит Никодим в свою комнатку темную. И не женой его быть хотелось, а любимой, ласковой; жить по любви, не думая и не спрашивая, что завтра будет, — и мучило, что не осталась тогда у него — говорить не хотела про Николку, со дна муть поднимать темную, и ждала, когда сам подойдет, возьмет и не спросит. И сейчас вот сидела, мечтала о нем, как женщина — телом хотела чувствовать, руками голубить нежными...

По лестнице Никодим всходил и решил, если не скажет сама всей правды — кончено, сегодня кончено, выскажет ей обиду свою ревнивую и кончено, и хотелось, чтоб сказала — оживила любовь уснувшую, горевшую только ревностью и досадою.

Позвонил коротко. Открыла и опять с ногами взобралась на кушетку.

Спокойно подошел и спокойно сел и за руки ее взял и, не целуя, все так же спокойно и сурово заглянул в глаза:

— Феничка, я пришел решить сегодня, нельзя дальше так жить,— или мы, правда, должны быть близкими и родными, или мы по разным путям пойдем. Не могу я так,— понимаешь, измучился!

Вот когда сердце замрет и голос тихий, упавший, задушевный, покорный, ласковый.

— И я измучилась, Никодим... измучилась, милый.

На минуту и любовь вспыхнула ласкою, рванул к себе за руки, обнял крепко, так что и хорошо и больно было, и до боли, всего один раз, поцеловал в губы.

— Скажи мне, всю правду скажи. Любила кого-нибудь?..

— Никого не любила, одного тебя...

Искренно сказала правду, и в самом деле кроме Никодима никого никогда не любила.

— Не верю. Скажи правду, сама скажи.

Отодвинулся, оттолкнулся, только руки не выпускал еще, а сжимал настойчиво.

— Правду говорю, милый, правду.

— Неправда, лжешь!.. А Николка послушник?

Руки вырвала, с кушетки вскочила, подбежала к столу и, точно падая, ухватилась за стул, опешив, слушала.

— Не любила его, нет? Неправда, любила,— не первого.

Крикнуть хотела, что никогда, никогда, никогда не любила его и не могла, и не было.

— В лесу отдалась... Не любя не отдашься,— любила, и жениться хотел не тебе — не позволили. Ну, говори, правда? Говори, Феня.

И когда руки похолодели у Фени, став влажными, и сердце, как камень, холодное падало тяжело и ровно, гордость проснулась женская.

— Мне не верил, что только тебя люблю, одного тебя, как спрашивать стал,— у него расспросил, да?.. И считаешь, что это достойно любимого? Разве я тебя спрашивала хоть когда-нибудь, кого ты любил, с кем жил? Если ты о равенстве говоришь, так и я и в этом имела полное право, а я тебя никогда, ни о чем, ни о ком не спросила. Говорила — такая, как есть, вся тут, и ты был нужен мне такой, как есть... Подожди, теперь я скажу. Все равно ведь кончено, сам сказал, что кончено,— так последний раз тебе выскажу. Я верила тому, что ты говорил мне, и мне довольно было того, что ты говорил сегодня, а вчерашнего не нужно мне было, оно умерло. И кого расспросить пошел!.. Теперь и я знаю, что кончено. Молчи... Оставь

в моей душе хоть то, что может остаться чистым, не касайся меня — уходи...

Оторвалась от стула и, пройдя к дверям, приоткрыла ее и до тех пор, пока не ушел, говорила:

— Уходи, уходи, уходи...

Захлопнула дверь — уткнулась в шубку, подле двери висевшую, и буззвучными слезами проплакала, пока не подкосились от усталости ноги.

В комнатушку вернулся свою — пусто стало в ней и противно, думать ни о чем не хотел, не раздеваясь на постель лег и до утра позднего тяжелым сном проспал, а проснулся — тряхнул головой и подумал, что некогда теперь о любви думать — работать нужно, всему отдаться партии, кто хочет другим счастья — не должен своего иметь, и на карточку взглянул безразлично, уходя из комнаты...

А перед вечером с двумя тюками Афонька пришел, под кровать сунул, оглядел еще раз комнату и карточку со стола взял, в карман сунул и пошел в пивную сказать котелку, что готово — могут брать с поличным, а когда карточку прятал — подумал, что судьба значит...

До вечера котелок промотался. Вернулся Петровский — котелок на извозчике в правление доложить ротмистру... Ночью взбудили, спокойно под кровать залезли, вынули, посмотрели при нем...

— Литература и шрифт... Понимаете?

Понял и молча вышел за ротмистром.

VII.

Ходили по улицам толпы сияющие с плакатами и знаменами, на всех перекрестках манифест читали, на каждом заводе ревели гудки, в коридорах студенческих непрерывные митинги дотемна звенели ладошами, и Афонька забыл, что с котелками по одной лесенке, в одну дверь ходит — гомонил на заводе больше всех. Гомонил и чувствовал, что оторванный от всех теперь. Позабыл и дорогу в правление, и о нем позабыли, в филеры не приняли — приметен очень — мальчишки указывать будут пальцами. С своего завода на соседние бегал о жизни послушать новой и к сестрам навевывался редко, — заскучал даже.

К Феничке телеграмма пришла от дядюшки и перевод

трехсотенный, — домой велено приезжать немедленно. С того дня, как с Петровским покончила — вся заледенела, будто и не любила его никогда, повеселела даже, — стала жить спокойнее. На телеграмму ответила: «Приеду» и не приехала — бегала, как овца за стадом, по лекциям будущих депутатов думских, и в театре бывать стала. Подруженьки появились случайные. К рождеству собралась домой. Посыльному десятку — и билет плацкартный. Ночь проспала, наутро проснулась — стоит поезд в лесу за три станции до Твери, и ни с места. Вагон не качается — спать спокойно, и все пассажиры до девяти проспали. Проснется какой, посмотрит в окно, разузнает, что путь занесен, а что и как и насколько — не все ли равно, если тепло и спать можно? — и лежит, дремлет. Только голод заставил на нижние полки слезть. Известно, какая еда дорожная: сардинки, колбаса, консервы рыбные, ножовая с хлебом, и не сыт, и не голоден, а червячка заморил, только вот после этого пить запросил червячок — беда пришла: кто от Питера запас с вечера и не допил, сидит в ус не дует, хлебнул из носка, чтоб не попросил кто, и поглядывает, как соседи во рту язык пережевывают.

И Феничка закусила, а запить нечем, пососала конфеток, еще сильнее к воде потянуло, и обратилась к соседу своему — студенту:

— Коллега, нет ли воды у вас?..

С этого и разговор начался.

Воды не нашлось, предложил снежку принести в стакан. И все из вагона потянулись за снегом... Кто со стаканом, кто с чайником, кто с кофейником.

Потом беспокоиться начали, долго ли стоять придется, — по десять раз в час проводника спрашивали, всем отвечал одно и то же:

— Не меньше полсуток, занос большой и обратно на станцию не принимают, — забито.

Занялись разговорами — проводить время.

Земляком оказался сосед Фенин. О всем говорили... О войне, о политике, о свободе и, как всегда, под конец литературу прихватили новую — половой вопрос, и на любовь перешли. На любовь перешли — играть начали и словами и нервами, а когда вместо газовых рожков огарочки принесли на вечер вставить — солидная публика, еще раз пожевав сухомятки и снежком запив, улеглась дремать, а молодежь, из Питера домой разлетевшаяся на праздники, побалагурила и начала шептаться парами.

После того как Феничка разошлась с Петровским, не начинавшееся кончила и стала бегать с подружками новоявленными по лекциям, по театрам — кокетничала и с горняками, и с путейцами, и с гражданскими, — с кем придется, от скуки забавляться стала. И теперь с гражданским ехала, так сказать, аристократом из студенчества, и захотелось пощекотать нервишки, и когда почти в темноте придвинулся к ней, обнял за талию — не капризничала, не вертелась — примолкла только и, думая не о любимом, а о своей любви к нему, о ласке не пережитой вместе одним горением, приникла к незнакомому, к чужому, шептавшему «хочу быть дерзким, хочу быть смелым». Все равно, кто бы ни был сейчас для Фенички и дерзким и смелым, после любви растоптанной — отдохнуть захотелось, все равно было, что будет делать с нею студент в темноте среди людей посапывавших, лишь бы в теле волна закружила голову и хоть на минуту бы убаюкала.

Шептались ласково, и слова ему повторяла ласковые, что берегла Петровскому, и чувствовала волнующую близость, взасос целуясь; и только когда умолял границу перейти запретную:

- Спят все, не бойтесь, Феничка...
- Уйдите, с ума вы сошли?..
- Не бойтесь темно...

Из рук вырвалась и потом не давала прикоснуться к себе, не отталкивая, а только дразня дерзость.

И, поняв, что все равно ничего не выйдет — спать улегся, и Феничка первый раз без мыслей легла, без желаний, только чувствовала, как тело ноет сладостно... а наутро ждала, чтоб поезд поскорее тронулся, чтоб мужики, расчищавшие, на веревках бы его, что ль, потащили, лишь бы двигаться. И только к вечеру заскрипели колеса, и не только Феничка, но и все легко вздохнули.

На третий день, подъезжая к городу, с земляком простилась и, глазами сверкая, сказала весело:

- Увидимся на балу. Будете?..
- Обязательно, Феничка, непременно, милая...

На студенческом вечере ждала, что подойдет, ухаживать будет, и собиралась даже к себе позвать, — но всегда так бывает — любовь вагонная забывается, как только чело-

век с багажом усядется поудобней на извозчика домой ехать...

Продавала цветы за столом с коллегами и курсистками и даже была хлопотливою, и с каждым инженером, адвокатом, доктором кокетничала, а когда подошел дядюшка Кирилл Кириллыч,— заставила выложить за цветы катеньку.

Купил дядюшка и ей же приколот ландыши.

— Хочешь, я тебя познакомлю с одним гимназистом?

— С гимназистом?.. Дядя Кирюша... Вероятно, с четырехклассником?

— Пойдем покажу.

И, проводя между колонн зала дворянского, говорил, улыбаясь каждому:

— Ты не смейся, Феничка... Интересный человек будет. Нам бы побольше таких в России.

— А в какой он партии состоит, дядя?

— Ни в какой, Феничка. Думаю, что и никогда состоять не будет.

— Тогда знакомьте.

— Борис Василич, это моя племянница, Феничка,— так и зовите Феничкой.

И тут же после вальса с поручиком, мечтавшим о гвардии, у подруг разузнала за цветочным столом, что Борис Смолянинов больше всех успехом пользуется у восьмиклассниц и у курсисток первокурсниц: все увлекаются, только он никем. Товарищи смеялись ему:

— Чистоту блюдешь, Боренька?..

— Чистоту, господа...

— И в слободке никогда не был?..

— И никогда не буду.

— И ни одной не поцеловал гимназистки?

— Ни одной.

Как анекдот разговор этот передавали девицы — и с недоверием, и с любопытством. Оттого и хотелось каждой, чтоб ее поцеловал первую; расставят сети кокетства игриво — разорвет их спокойствием и уйдет в другие расставленные.

И у Фенички любопытство загорелось, и не просто девичье, а инстинктом — женское, пошла искать его в залу. По всему собранию обошла — на хорах сидел один.

— Почему вы удрали, Борис Василич?

Будто знакомы давно — говорит просто, и мягкий голос

грудной певучестью волновал душу, в самые потайные уголки проникал ласково:

— Вы ушли танцевать, Феня, а я о себе не хотел напоминать больше... Меня зовите полуименем: буду стариком, тогда поневоле к отчеству привыкать нужно будет.

— Как?..

— А вы сами придумайте, — как захочется, так и зовите. Никогда вам не казалось, что людям дают имена не подходящие к их внешности и к их душевному складу?..

Вот посмотрите: направо сидит студент, Аркадий Гвоздиков, здоровенный, сильный и — Аркадий, Аркашка, да еще Гвоздиков, гвоздик маленький, а я бы ему дал имя — Петр Молотов. Почему? — крепкий, как камень, сила и твердость, — Петр — камень, и молотом его не разбить, он сам может — Молотов и не только по внешности, — взгляните в лицо — энергия чувствуется, спокойствие — характер узнать по лицу можно. И каждому человеку так можно изменить имя.

— Меня зовут Фекла Тимофеевна, Фекла, — как вы мне переимените имя?

— Вам?.. Елена, и звал бы вас не Леля, не Лена, не Леночка, а Лена.

— А почему вам Феня не нравится?

— Фекла — торговки так зовут, баб деревенских; Феня, Феничка — прислуг молодых, монашенки-клирошанки, а вы — стройная и не высокая, — вся в меру; волосы золотые, зачесаны наверх густо, и вот эти, не знаю назвать как, около ушей от висков, как снопы с тяжелым зерном, — колосы — рожь спелая, — вы не смейтесь, что поэтично, — говорю, что кажется. Если б я художник был — лето бы рисовал с вас благодатное: на снопах в белой рубашке, в паневе праздничной, волосы положил бы двумя косами вокруг головы венком. Понимаете — лето — Лена, широко и просторно, как в новях золотое раздолье.

Для первой встречи необычный был разговор и до конца вечера не прерывался — увлек Феничку простотой душевной, — чувствовала: что думает, то и говорит человек, и мысли красочно-яркие, необычные. Не про любовь, не про половой вопрос, не о политике, что было главной темой споров студенческих, а пришел будто человек из другого мира, где спокойная мысль была радугой семицветною. И Феничка позабыла, что кокетничать собиралась, увлекать Смолянинова, смеялась искренне, когда говорил:

— Посмотрите вниз, как потешно люди семяют, переваливаясь, — вот там толстый студент идет — идет — каждую секунду упасть может. Если на себя посмотреть могли, никого на хоры бы не пустили... А я никогда не строил бы нарядных зал с хорами...

И смешного ничего в словах не было, а вниз посмотрела на студента толстого и рассмеялась, сначала весело, и не как в вагоне, когда поиграть захотела нервами, чтоб отдохнуть, позабыться, а вот тут, в первый раз услышав человеческие слова простые, не было скрыто за ними ни желанья, ни ревности, ни будущего, ни прошлого, ни игры в любовь без игры, — простые слова от мысли ясной — самую собой была, оттого и душой отдыхала.

Марш заиграли — вниз сошли.

— До свиданья, Феня...

— Я распорядительница, и вы моим гостем будете, — поужинаем вместе со всеми, — хорошо? Согласны?

Без всяких предисловий остался. Сошли вниз — старшекурсники Дракина уговаривают:

— Кирилл Кириллыч, оставайтесь с нами, вы питерский, наш — с нами ужинать...

Желторотые тоже галдят галчата:

— Оставайтесь, оставайтесь, не пустим...

И курсистки пищат, в петличку просовывая гвоздику красную:

— Идемте, идемте ужинать, с Феничкой вместе.

Феничка подошла.

— Дядя Кирюша, оставайтесь и вы, моим гостем будете.

— Только разрешите мне, господа, курить трубку, я целый вечер постился папиросами.

Доедали из буфета своего остатки непроданные и пивка притащили корзиночку, а Кирилл Кириллычу дали шампанское, предложили непроданное, недопитое.

— Разрешите, господа, из буфета мне заказать виски...

Кивнул головой лакею, и когда подавал тот, — из-за стола встал, отошел в сторону.

— Ужин из четырех блюд с закусками приготовьте.

— Поздно-с уже... два с половиной...

— Для меня не должно быть поздно, так и повару скажите, — сосчитайте, сколько особ тут.

— Слушаю-с.

И когда стали петь «Гаудеамус» — поднялся Кирилл Кириллыч, прервал песню:

— Ну, молодые товарищи, Феничка приглашает вас поужинать, — там и я с вами запою нашу песню.

Хозяйкою села за стол Феничка, — рядом дядюшка, а с другой стороны Смолянинов Борис — студент будущий. И не пиво, а царское и заморское пили с песнями, под конец — революционные, опьяневшими голосами, про Петровского кто-то вспомнил и до Фенички донеслось:

— Петровский Никодим арестован, нашли и литературу, и шрифт — сошлют, наверное.

Как-то далекое что-то вспомнилось, обидное, — и, чтоб не вспоминать, не думать — вполголоса Смолянинову:

— Борис, с вами чокнуться хочет Лена...

И когда двухсветные посерели окна — не прощаясь, встал дядюшка, Феничку взял под руку и — обращаясь к Смолянинову:

— Борис Васильевич, поедете с нами?.. пора... проводите...

В вестибюль доносились выкрикивания и вразброд — «Вышли мы все из народа»... Порою с пристяжной бубенцы звенели — на собственных понесли на Пеньи.

Подкатили...

— Семен, отвезешь домой барчука Смолянинова.

— Дядя Кирюша, я хочу проводить Бориса...

— Замерзнешь, Феничка.

— Ничего, не замерзну, дядя...

— Как хочешь... я подожду.

Опять через весь город на Дворянскую и не с дядюшкой, а вдвоем, с Борисом.

Певучий слушала голос, фантазировавший о реальном, и, не зная почему, спросила:

— Расскажите мне, Борис, что-нибудь о Вифлеемской звезде... что знаете.

— Три волхва поклонились ей — телом, душой и разумом, — каждый по-разному; оттого и нашли они рожденного, умершего и воскресшего, — звезда померкла. Только тот, кто ищет всем существом нераздельно: телом, душой и разумом — для того никогда не померкнет звезда Вифлеемская, будет она всю жизнь вести ищущего бессмертного... всю жизнь...

— А человек может быть звездой Вифлеемской?

— Так ведь мы в человеке звезду свою ищем...

— И я, значит, звезда Вифлеемская?..

— Для кого-нибудь... да, Лена.

Задумалась, показалось ей, что и у ней должна быть своя

звезда, и захотелось, чтоб этой звездой ясною был Смолянинов Борис.

И неожиданно повернулась к нему, протянула руки:

— А если б я поцеловала вас?..

— Я этого не позволю вам.

И возвращалась домой одна, почти засветло, смотрела по сторонам, не хотела ни о чем думать, а в голове неслось — Калябин — телом поклоняется, и передернулась, Никодим — разумом, и позабыла, а этот — душой, — кому только? О, если бы для этого и телом, и разумом, и душою — звездой быть Вифлеемской?..

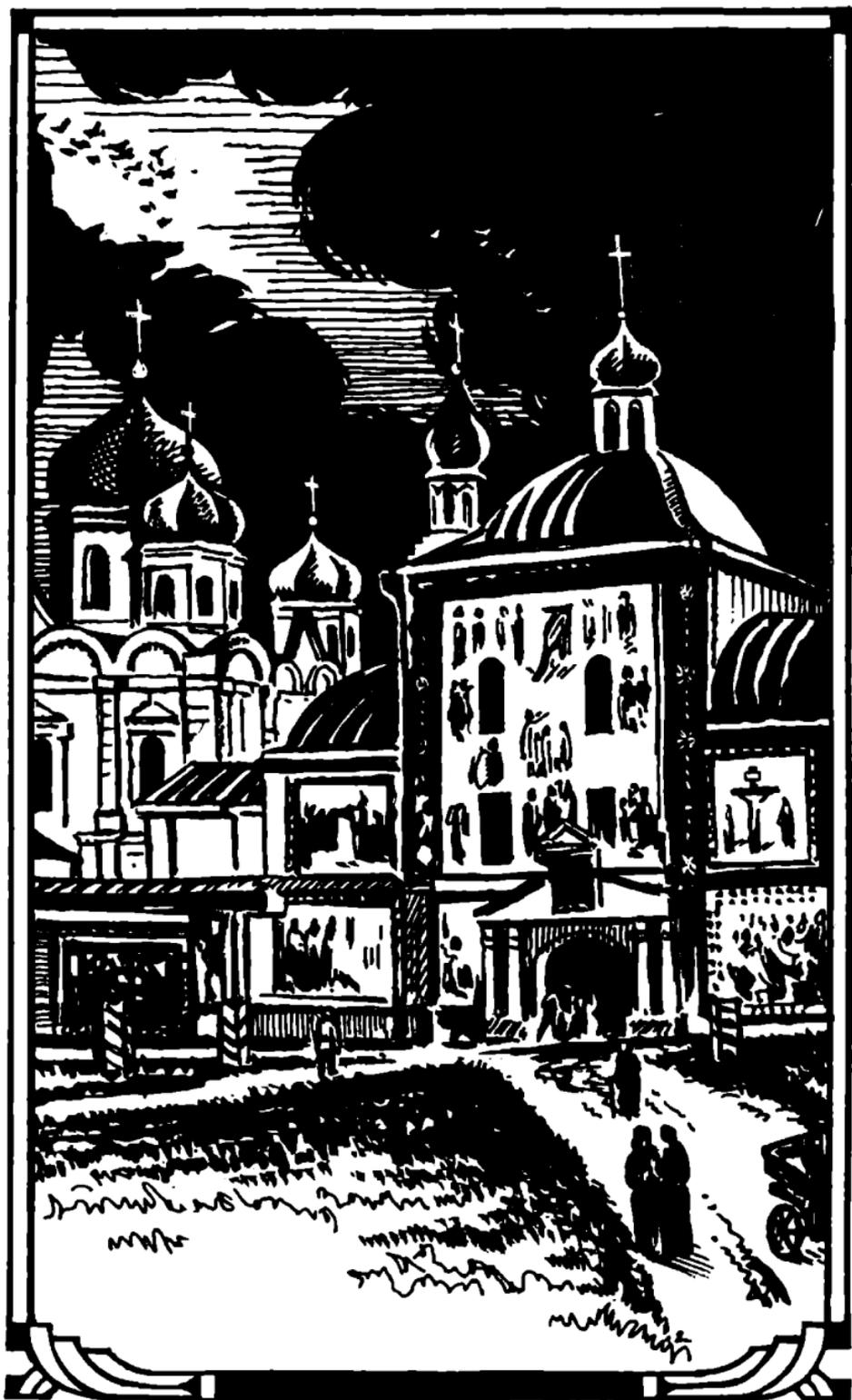
И.Ф.КАЛЛИНИКОВ

МОЩЬ

2

ТОМ





ПОВЕСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОТРОЧА НЕПОРОЧНЫЙ

I.



обеду проснулся, ре-

шил никуда не ходить больше, не пленять никого рассказами фантастическими, для девиц — забава, а у него — пережитое. Каждое слово рождалось образом, как тайною дорожил каждым и не мог себя сдерживать, когда был с кем-нибудь. Одиночество, как ноша, оставалось у дороги лежать, уходя с человеком в его глубину, и встречал глаза девичьи. Никого не любил и каждой соловьиное пел, — искренне, потому что сразу любить хотелось не одну, а всех. Один раз и про это рассказал девушке синеглазой — Линочке.

С детства ходил с матерью к Ольге Григорьевне, с детства и Лину знал девочкой. Возмужалость пришла — оставался дома. Казалось, что с девочкой, — в памяти осталась такую, — взрослому юноше делать нечего.

Мать к старинной подруге одна ходила. В институте влюбленными были друг в друга, а пришла любовь, жизнь волнующая — дали слово друг другу в один день замуж выйти. В один день венчались, да только вдовой осталась Гурнова с трехлетней Линочкой, а Смолянинова, Анна Евграфьевна, мужа радовала сыном Боренькой, и подруги своей не забыла — Оленьки.

В восьмой перешла Линочка — рождение захотела справить зимой раннею и захотелось Бориса у себя видеть; от подруг слышала про него и самой захотелось и пококетничать и забраться в сердце, и одним взглядом растопить лед звонкий.

Глаза синие, а кругом — иней пепельный, зима, а зимой — горят звезды теплые и каждому, кто взглянет на них, тепло становится, не хочется от тепла уйти, от Линочки.

Весь вечер две матери присидели вместе, слушали смех молодой гостей Лины.

Зима началась ранняя и балконная дверь до декабря, до рождения не была вставлена, а печи топились у Гурновых с вечера — не докоснуться утром.

На рождение пришел, Лина весь вечер его от себя не пускала, подруги шутили:

— Не влюбись смотри, Лина.

И когда после ужина в гостиной, натопленной, повели любовь парами, загляделся Борис в глаза синие и рассказал про них Линочке:

— Иней, как волосы у вас, тоже иней и сегодня — густой, пепельный и сквозь узор кружевной — глаза синие. Бесконечный сад девичий. Хорошо в нем идти влюбленному, все в инее, и завитки мягкие волнами. Раскрыть широко, широко руки и почувствовать, как ладони щекочат локоны и русые, и каштановые, и золотые, и черные с теплом земли мягкой, и пепельные, как ваши, Лина, и сквозь волосы эти — глаза ясные и серые, и черные и вдали, в конце этого сада волос девичьих — голубые — как у вас, Лина. И кажется, что все глаза в одном взгляде, в голубом сливаются, в далеком, и волосы от одной на всех падают пепельными, а после разлетевшись становятся разными, и хочется к одной подойти, чтобы всех почувствовать, чтоб все взгляды в одном слились — голубом, ясном, только зимой такие сны снятся, когда иней пепельный и звезды морозные, как глаза горят синие.

Как сказку слушала, и когда широко развернул руки — наклонилась к нему невольно, чтоб ладоней коснулись волосы, и он, своею фантазией увлеченный, провел по волосам рукою и, опомнившись, показал на дверь:

— Иней сегодня там, в конце аллеи, далеко, далеко — глаза синие, как ваши, Лина.

Может быть, оттого, что захотелось фантазию превратить в жизнь и в одном своем взгляде слить множество и взглянуть ими Борису в душу, чтоб увлечь ее — дикарку непокорную, не из тщеславия — покорить непокорную, а из-за того, что глаза ему отдала синие, когда говорил ей — распахнула дверь балконную и в шелковом платье белом, в тифельках — по снегу, в конец аллеи бежала заиненной и осыпала на себя ветки белые, звала и смеялась:

— Далеко, далеко будут глаза синие, идите взглянуть на них... позову, когда загорятся. Слышите, стойте там, я крикну.

Все еще собственными увлеченный словами и взглядом глаз голубых, послушно остановился, и только когда белую фигуру от веток заиненных отличить не мог, испугался, что простудится, и побежал вслед.

Идти не хотела, на белом снегу белая, как снег хрупкая.

— Ну, посмотрите, Боря, горят или нет, как звезды?..

— Загорятся, когда любовь придет, без любви не зажгутся звездами...

— Зажглись, посмотрите, Боря, зажглись...

И, тяжело переступая по глубокому снегу, дрожа, прижималась к руке его и заглядывала в лицо ему.

— Простудитесь, Лина...

Уходить не хотелось — ждала, что и в нем зажжется свет горний, и не дождалась, как всегда, были глаза спокойными.

На балкон мать выбежала.

— Лина, Лина, Борис, — сумасшедшие, разве можно?..

— Сказку он мне рассказал зимнюю, я и побежала в сад ее посмотреть, в саду она.

Смолянинова сказала сыну:

— Вечно у тебя, Борис, фантазии, не можешь ни на минуту без них жить...

Пришел к обеду в столовую после бала студенческого...

— Борис, у Лины воспаление легких, ты виноват, твои фантазии.

— Я не виноват, что они мои фантазии слушают, я не кавалер, чтоб занимать барышень специальными разговорами, а что придет в голову, то и говорю.

За сладким от Фенички принесли записку:

— Это еще что?..

— На вечеринку зовут, к Дракину. Никуда не пойду.

С пристяжной, пара бубенцами звать прилетела, вернулась без гостя к Феничке.

— Дядя Кирюша, сама привезу поеду.

— Неудобно... что ты, Феня?

Услыхал бубенцы — отмахнулся досадливо, и когда из передней услышал смех задорный и понял, что мать ведет к нему в комнату, лег на тяжелый диван турецкий и стал серым, сумрачным.

— Не хотели добром — увезу силою.

— Я не поеду, Феничка, не могу...

— Лена приехала, лето ваше.

— Теперь зима, зимой холодно, сделайте лето — поеду... Я шучу, Феня, просто никуда не хочу ехать... простите.

Чуть не в слезах, обиженная — в переднюю, и опять бубенцы звякнули — понеслись дико.

— Свинья ты, Борис, как не стыдно, обидеть девушку!

— Я не виноват, мама.

А в девичьей комнате в бреду лежала.

— Иней густой... пепельный... пришла... зажглись звездами... смотри, Боря... голубые... горят...

Целую ночь повторяла, кутаясь в одеяло, шепотом, а к утру тело сгорело, по кровати металась; как сквозь сон слышала слезы матери и доктора спокойный голос:

— Пока ничего не известно... посмотрим, что завтра будет.

Неделю в бреду лежала, — диагноз — крупозное...

По телефону звала подругу Ольга Григорьевна.

— Иду, Оля... иду.

И дни и ночи посменно дежурили, имя сына своего слышала, и когда приходила отдохнуть домой, укоризненно говорила Борису:

— Стыдно, Боря, тобой бредит, — все твои фантазии наделали.

Зачастили доктора разные на консилиумы.

— Что с нею, что, скажите?..

— Осложнение... небольшое... в легких...

Не матери, а подруге сказали в январе, Анне Евграфовне Смоляниновой:

- Подготовьте мать, может быть скоротечная.
- Неужели спасти нельзя?..
- Безнадежно... Чудом только, если бывают еще чудеса.
- Когда же?..
- Умрет? Неопределенно, от четырех до семи месяцев...
Наверняка к осени.

В слезах вернулась домой и опять сказала Борису:

- У Лины скоротечная... Ты виноват, Борис, ты...
- И в первый раз с отчаяньем вырвалось у него:
- Неправда, мама, неправда...
 - Только чудом спасти можно, понимаешь... чудом...
- С этого дня фантазировать перестал — задумался.

Кризис прошел, поправляться стала — посеребрянные дни морозные опять усыпали ветки жемчужным бисером белым, загляделась в окно в сумерки синие и вспомнилась сказка опять про глаза, захотелось увидеть, как горят они звездами в волосах пепельных — в форточку загляделась на звезды ясные и думала, думала про Бориса и опять слегла к вечеру, охватило студеным ветром — и скоротечная.

Зажглись глаза синие звездами, заиграл на щеках румянец жаркий — сгорала кровь в кашле звенящем, не хватало воздуху — дыхание прерывалось и, как в дереве шашель, хрипела в груди червоточина.

Ярче звезд они разгорелись оттого, что зажглись от любви первой. И в ту еще ночь, когда в тепле дрогла прозябшая, на душе легко стало — любовь проснулась. Бредила им, тайну выдала в бреду сгоравшая.

И приговоренная мечтою жила о милом — запечалилась, загрустила.

Спросила мать:

- Линочка, что ты, девочка, такая грустная?..
- Не знаю, мама, сама, отчего тоскливо.
- Доктора говорят — здорова будешь.
- Мама, я ничего не боюсь...
- Ну, скажи отчего, детка?.. Любишь кого?.. Да?..
- Люблю...
- Кого? Скажи мне.
- Бориса люблю, Смолянинова.
- Ты им бредила, голубчик... бредила.

А когда Анна Евграфовна подругу пришла подготовить к смертному, начала с Бориса:

— Борис виноват мой. Его фантазии с ума сводят девушек. Скверный мальчишка.

— А ты знаешь, Аничка, она любит его, Бориса, — бредит им в жару.

— И я слышала, Оленька. Заставлю его лечить Линочку. Пусть вылечит, исцелит, — ты знаешь любовь, Оля, она чудеса творит, может и тут нужно чудо; мне сказал один доктор после консилиума, если бывают еще чудеса, так чудо вылечит, а любовь — чудо, первая любовь — чудо.

— А что у ней, что, скажи?.. Почему только чудо вылечит? Чахотка у ней, да, — я сама чувствую, только самой себе не могу признаться в этом — она моя жизнь, последнее, что осталось в жизни.

— Чудо спасти может, Оленька, чудо... А я знаю, что любовь — чудо, силы дает счастье первое.

— А он ее любит, твой Борис ее любит? Да?

— Должен ее полюбить, если погубил — пусть чудо творит, спасает...

В тот же вечер к себе позвала Бориса.

— Еще раз тебе скажу, ты виноват, Борис... Фантазии твои погубили девушку.

Молча сидел — мать слушал и у самого от боли, от горечи виски сжимало.

— Что же я могу, мама, сделать? Разве я хотел этого?

— Знаю, что не нарочно — не хотел, — тем тяжелей, тем хуже.

— Ну, скажи, скажи, что сделать?

— Сотвори чудо.

— Как? Скажи? Какое?

— Если твои фантазии с ума сводить могут, так значит и чудо сотворить можешь. Я этому верю, верю, Борис.

— Если б я это мог сделать?..

— Можешь. Полюби ее...

— Полюбить?..

— Да...

— Без любви полюбить?..

— Она тебя любит, понимаешь ты, тебя... Тобой бредила... и маме сказала, Оленьке, что любит. Не любишь, обмани, скажи, что любишь ее, поцелуй ее, приласкай — любовь чудеса творит, человека воскресить может... Воскреси ты ее, воскреси любовью. Сотвори чудо. Искупи вину.

— Вину свою искуплю, мама, но без любви не будет чуда, — я никого не люблю, и ее тоже.

— Только свои фантазии?..

— И их теперь не люблю.

— Все равно, скажи ей, что любишь, собственная любовь ее сотворит чудо, а если умрет — счастливою умирать будет и смерть будет от любви светлою.

Целую ночь не спал — думал, не верил, что без любви о любви сказать можно. Никого никогда не любил, только свои фантазии. Они его радовали, когда оживал человек от них, за ними шел слепо и влюблялся в него и любил, а он — уходил без любви счастливый, что может заморозить человека словом. Никогда не писал, а сочинения классные были лучшими, и учитель восхищался ими, — привычка была у словесника — лучшие сочинения всему классу вслух читать в назидание. Принесет тетрадки, аккуратно сложенные, а сверху — в особую папку две-три отложены.

— И на этот раз, господа, Смолянинова — лучшее. Вот послушайте, как писать нужно.

И к парте, прочитав, подносил и от переполнившегося чувства за вихор драл больно.

— Лентяй эдакий, талантливый...

Домашние писал гимназисткам — с головой выдавал девиц.

— Сознайтесь, не сами писали?.. Кто писал? — Смолянинов? Да?.. Увлечлись юношей или он вами?

До корня волос краснели, плакать хотелось от досады, и все-таки гордились, что написал Смолянинов. Не каждой писал, — только тем, кому изливал фантазии.

Под утро решил:

— Что делать, — пусть эта игра в любовь будет моей последней фантазией.

II.

В первый раз навестить пришел, один на один вдвоем оставили, поверили матери, что сотворит чудо, и боялись входить в ее комнату, чтоб не нарушить творимого чуда в сердцах звучных.

В первый раз стало грустно ему, Борису, сидел против нее и видел, как глаза ему говорят, шепчут ласково, и сам загляделся в них, и без любви проникали в душу лучистые.

Любовь девичья — тишина пугливая, предчувствует тайну греха смутного и бежит от него к ласке, голубиной

нежности, зовет он незнанным, неизведанным и пугает поцелуем радостным.

Приласкаться хотелось Линочке, иного не знала, не чувствовала, а поцелуй ждала, замирая вся.

Смотрела в глаза и опять сказку слушала. Сама просила:

— Расскажите мне что-нибудь... Я до сих пор помню ту, первую.

— Жизнь моя — сон непрерывный: и живу — сны вижу и сплю — живу ими. Не знаю отчего — сейчас один вспомнился: ладья узкая, дно острое — весел нет, крылья белые, взмахивают широко — волны пенят. По озеру, — шевельнуться страшно, покачнись — на дно, в глубину, в водоросли, как в сети запутаешься и неба не видеть синего. Машут крылья — дышать трудно, захватывает. Озеро уже и лес сдвигается, берега растут и ниже все, ниже — ушел лес в вышину, утесы сдвигаются и в подземелье — мрак, а чувствую свет и, может, все вижу, а различаю каждый кристалл, и кажется, что они, камни, излучают свет. И не ладья машет крыльями, а у меня они выросли, от ладьи приросли, и я взмахиваю и, не шевелясь ни одним мускулом, лечу в глубину. Зелено-черная муть, студенистая, неподвижно блестит, как смола; в глубину глянуть — прозрачная, и тянутся из нее водоросли и чем дальше, тем больше, и зацветают цветами белыми и цветы — тоже светятся, и свет не от скал кристалльных, от этих цветов белых, а скалы черные, и только далеко, далеко, как в ущелье — огонек, и будто я лечу на огонек этот — доплыву, значит жить буду, счастье найду свое, а шелохнусь в ладье — погибну и знаю, что крылья мои распластятся на этом студне черном и тоже светиться будут, только меня не будет. И чем ближе к огню, тем он не ярче, а гуще и тоже становится белым, потом пепельным и синее, звездой загорается, а потом голубой, голубой, как глаза чьи-то... В глаза заглянуть — лечу, теперь уж знаю, что не огонек, а глаза горят голубые...

Чьи, Боря?..

И, наклонившись к ней близко, смотрел в глаза и чувствовал, как лучатся они в душе и зажигают душу.

— Не знаю еще, не знаю... Может быть, ваши...

Вернулся домой — приснился сон рассказанный и во сне уже чувствовал, чьи глаза голубые светятся, и потянуло посмотреть на них.

Каждый день ходить начал к Лине, не знал еще, что любит, но не мог оставаться дня без нее. И когда не

приходил почему-нибудь, и в комнате Лине пусто было, и у Гурновых в доме без него пустота была, и Ольга Григорьевна чувствовала эту пустоту давящую. Заходила к Лине в комнату, смотрела на нее печальными глазами, от слез сдерживалась и спрашивала:

— Отчего, Линочка, не пришел сегодня Боря?

— Не знаю, мама...

— Хочешь, я пошлю за ним?

— Пошли, мамочка.

И ему стало одному пусто — слонялся по комнатам, заглядывал в шкаф книжный, перебирал, перелистывал книги и ложился на диван свой и ждал, когда мать позовет чай пить. А когда прибежала за ним горничная от Гурновых и говорила: «Барышня вас придти просила... скучно им...», бежал, не застегивая шинели, и ждал, когда увидит голубые глаза в пепле белом.

С детства жила в темноте Лина, за каждым шагом следила мать и оберегала от слов грубых, от книг недозволенных, молиться учила и верить; и верила и молилась, монашенкой жила в комнате и только, когда встретила Бориса девушкой — загорелись глаза синие, зажглась душа, и непорочная жила любовью чистою.

— Я ваш сон записала, Боря, в дневник...

И кашлем, улыбка прерванная, глаза печалила...

— Только у меня ничего интересного в дневнике нет...

Точно хотела сказать, что чиста душа непорочная, не познавшая даже поцелуя первого.

Ростепель землю набухшую зачернила и влажные ветки тяжело качаться начали — начались выпускные экзамены.

Просили начальницу за восьмой свидетельство выдать Линочке, перед смертью порадовать, что окончила и может начинать жизнь новую.

И когда из лесов деревенские девки в корзинках принесли в город ландыш белый, зашел Борис студенческую фуражку в магазине одеть и по просьбе Гурновой — в гимназию за свидетельством Лины, и на углу Дворянской полную корзинку купил ландышей.

Через сад по аллее липовой к окну подошел ее и по одному букетику бросал из корзины ландыши, а когда глаза синие выглянули — на подоконник выложил остальные.

— Боря, уже студент?..

— А вы, Лина, курсистка...

Вбежал в ее комнату со свидетельством за восьмой...

— Посылайте на курсы, вместе поедем...

И в сумерках перед вечером у окна сидели и слушали, как шумит город и засыпают яблони цветами белыми.

— Посмотрите, Лина, как тогда зимою — опять иней пепельный...

— А звезды там горят голубые?

Волнующим шепотом из губ в губы:

— Горят, Лина, от любви зажглись звездами.

И поймав его руки в ладони прозрачные...

— Чьи, Боря, чьи?

И от неотрывного поцелуя первого зашласть кашлем, захлебываясь, и, отдышавшись, ослабевшая, голову ему на грудь положила.

— А у тебя, Боря, там не хрипит...

— Где, Лина?..

— В груди... А у меня — звенит, как струна лопнувшая. Знаешь, когда во время игры струна лопнет на скрипке, заскрипит по струнам звучащим и в скрипке заскрипит гулко. У меня так же... Послушай... Хочешь послушать?

На колени стал, обнял и долго слушал, как дыханье звенит хрипами и сердце от любви падает в глубину. По волосам его тихо гладила и к сердцу ладонями прижимала голову.

— Ничего, Боря, это пройдет у меня.

— А как у тебя сердце бьется?..

И голову целовала ласково:

— Хорошо мне с тобой, Боря. Так хорошо! Я самая счастливая девушка на земле... Правда?..

И в первый день любви ясной, когда зажглась она, переплетаясь лучами двух дыханий, двух взглядов и смерти, сказала с надеждой испуганной:

— Я хочу быть счастливая, я не умру. Ведь я не умру, Боря? Правда?

— Не умрешь, Линочка, нет, милая, нет. Теперь не умрешь...

— Я сама знаю, что не умру — мне лучше... Я уже в сад выходила. Пойдем сейчас, — теперь тоже иней, теперь ты увидишь, как горят мои глаза голубыми звездами.

И долгие поцелуи прерывая кашлем долгим, сторала от любви и от румянца чахоточного.

Для него была тоже первую, никогда, никакой не целовал ни женщины, ни девушки, и не мать, не отец хранили его от соблазна смертного, а собственные фантазии спасали — от девушек уходил влюбленных и не

знал, что плакали потом нецелованные губами сказочными. И к Лине, когда наклонился, спокоен был, хотел жизни вдохнуть радостью, сотворить чудо, а почувствовал на своих губах жаркие — оцепенел ласкою, и не он, а Лина над ним сотворила чудо — волна захлестнула душу и белые крылья выросли и стремительно понеслась ладья по рекам крови бурной. А когда слушал, как в груди звенит струна порванная — всю почувствовал и от любви уже захотел, чтоб жила, к жизни вернулась, воскресла от счастья, от любви первой. Домой возвращался — кружилась голова от счастья и не верил, что умереть может, чудо свершить хотелось.

Ждали отец с матерью студентом, поздравляли с вином за ужином.

Матери показался странным Боря, не от вина широко раскрылись глаза блестящие.

Проводила его до комнаты.

— Какой ты сегодня странный, Боря? Случилось с тобой что-нибудь?

— Да, мама...

— Скажи, милый, что?.. Ты у Линочки был?.. Да?..

— Мама, люблю ее. И ей сказал...

Отчаянье прозвучало, безнадежно из сердца вырвалось:

— Боренька, милый...

Только тут поняла, что на страдание обрекла сына, приговоренную полюбить заставила. Каждый день дома не было. Только ночевать Борис приходил поздно вечером и чтоб не думать ни о чем — спать ложился. И у Гурновых привыкли к нему, родным был и для матери, и для Лины. Ожила Лина от счастья первого, будто силы прибавилось, и мать поверила в чудо любви первой — издали любовалась счастьем дочери.

Гудела пчела медвяная, кружилась у лип расцветающих...

Мечтала с Борисом в аллее липовой:

— Ведь ты не уйдешь от меня, Боря? Не уйдешь, милый?

— Никогда, Линочка...

— И всю жизнь будем вместе? Правда?

— Всю жизнь, Лина... Поправишься, — к осени поедем в Петербург вместе.

— Вместе поедем, Боря, вместе.

— И комнаты рядом будут... Вместе будем.

Целуя ее, шепотом:

— А весною... Моей будешь... Женою...

— Твоей, Боря, — ничьей больше.

Липы цвели — тяжелой кашляла, глуше... пустота звучала в груди и только билось от любви сильной сердце и кровь сгорала — сгорала девушка.

Мать свою спрашивал:

— Мама, будет Лина жива?

— Не знаю, голубчик... не знаю...

— Я тоже умру, не выдержу.

Две матери плакали и на чудо надеялись.

Каждый день прибежал утром. Один раз через сад подбежал к окну — в капотике белом, волосы по плечам волнисто, и руки закинута к затылку... На коленях стоит, глаза закрыты — не шелохнется, замерла, молится и только до синя бледные губы шевелятся в шепоте.

Простоял у окна не двигаясь — поднялась, открыла глаза, поглубже вздохнуть хотела и зашлась кашлем.

В подушку кашляла, чтоб не слыхала мать, и, отдышавшись, встала, опять руки вскинула и к окну подошла, а на глазах синих голубые наплыли слезы...

Куда-то далеко, в бесконечность смотрела и шепотом:

— Милый мой... Боря... Боря!..

— Что, Линочка?..

Испуганно от головы протянула руки вперед...

— Как ты меня испугал, милый...

Руки поймал в окне, целовал долго...

— О чем ты молилась, Лина? О чем? Скажи?

— Чтоб бог меня сохранил тебе... Не хочу умирать...

Раньше, может быть, все равно было, никому не нужна была и мне никто не был нужен... а теперь — не хочу, Боря. С тобою хочу быть, милый...

И чтоб через дом не шел, не прерывал в душе большой радости — позвала:

— Через окно иди, Боря; иди ко мне.

Опять спрашивала умоляюще:

— Ведь я не умру, Боря? Нет?.. Я каждое утро молюсь так и вечером, — о своей жизни для тебя, милый. А ты молишься?

— Нет.

— Ты не веришь в него?.. Нет?..

— Не верю.

— Хочешь, я тебя научу верить, научу молиться?..

— Этому нельзя научить, Лина... Как я буду молиться, если не верю, ни во что не верю?..

— А как хорошо, когда помолишься... И жить легче...

И умирать будет легче. Когда я умирать буду, — но только я не умру, ты не думай, — благодарить буду его, что он и мне послал на земле счастье. Счастливая умирать буду и ты будешь рядом, возьмешь мои руки, чтоб до последней минуты я могла тебя чувствовать, и будешь в глаза мне смотреть, а я буду молиться ему о тебе, чтоб ты на земле был счастлив, и благодарить его за любовь посланную.

На коленях стоял подле ней, положив ей в колени голову. Полушепотом говорила, чтоб не раскашляться, дышала тяжело, медленно, точно воздуху не могла набрать и по волосам его гладила прозрачным, без кровинки пальцами, отклоняла голову, в глаза смотрела и опять гладила.

— А только я не умру, я это знаю, Боря... Это я только так думаю, как умирать буду.

Не умел плакать, слез не было, а грудь давило камнем тоски тяжелой.

— Молиться я тебя научу, милый...

— Нельзя этому научить...

— Научу, Боря... научу молиться... Научишься молиться и верить будешь. Ты скажи только, хочешь научиться этому?.. Я знаю — как научить... Слышишь, хочешь?..

— Научи, если можешь. Мне иногда самому кажется, что если б я молиться умел, верить... жить было бы и легче, и проще. Но этому научить нельзя, Лина.

— Я научу тебя, милый...

И весь день ходила задумчивой, погруженной в себя мыслями, дышала медленней и почти не кашляла.

Просила читать до обеда Тургенева и не слушала, а только напряженно о чем-то думала.

За обедом сказала матери:

— Мапочка, поедем в деревню, в наши Рябинки...

— Нельзя, Линочка...

— Мне так хочется еще раз побывать в нашей церкви, помолиться там... Поедем, мамочка, и Боря поедет с нами.

— Нельзя, Линочка, — мужики имения жгут, у Белопольских сожгли усадьбу. В городе остались многие...

— На один день только...

В сумерки попросила поиграть на рояле маму и вместе с Борисом слушала Грига.

А потом подошла к ней, обняла...

— Мапочка, разреши мне самой поиграть... Я немножечко... мне теперь лучше... я не утомлюсь...

Не могла отказать единственной.

— Ты иди, мама... Я Боре играть буду.

Покорная желанию каждому, с вечно теперь от слез глазами горячими, ушла в соседнюю комнату и плакала, слушая, — плакала от того, что не могла исполнить ее желания в деревенской помолиться церкви, в тишине, в сумерках, когда десяток старух поклоны бухают, шепча молитвы, и две-три свечи перед иконостасом горят, а попик хозяйственный торопливо говорит возгласы и поет за дьячка и выбегает читать на клирос, потому — дьячок сено спешит до дождя убрать, и служить-то пришлось из-за барыни, — молиться пришла с барышней, — глядь, в благодарность лишний пуд муки перепадет в новину.

Осеннюю песню Чайковского не окончила...

— Не могу больше, Боря... сил нету.

Повернулась к нему, протянула руки, и, целуя их, отвел ее в кресло.

— Мне тоже сыграть тебе хочется...

И пока ужинать не позвала Ольга Григорьевна, в темноте, на память, изливал безнадежность, тоску, любовь.

После ужина всегда Борис уходил домой, — а в этот день его остановила Лина:

— Пойдем, Боря, ко мне на минуточку.

Ольга Григорьевна сказала тревожно:

— Поздно, Линочка... ты утомилась сегодня... музыка утомляет...

— На одну минуточку, мамочка... Позволь мне?..

Позволь...

В комнату к себе привела... Постель приготовлена к ночи белая, и от зеленюватой лампадки зажженной, от цепочки, на полу крест брошен; в комнате полумрак тишины светлой.

Положила ему руки на плечи и тихо, ласково:

— Давай вместе помолимся, милый...

Взяла его за руки...

— Я научу тебя, Боря...

Покорно пошел за нею.

— Стань на колени со мной рядом...

Опустил ее, поддерживая.

— Теперь обними меня, — вот так... Глаза закрой, закрой обязательно...

Голову на плечо к нему положила.

— И повторяй за мной, — что я буду говорить, то и ты говори тоже.

И чувствовал, как тяжело с трудом дышит и как тяжело, глухо сердце падает.

И тихо, почти шепотом, слово за словом повторяя медленно и чувствуя ее близко, как никогда близко, замер, хотел ее в себе чувствовать и голос ее будто в нем звучал и не молитва, а любовь стала молитвой — под конец не знал — молится или нет, только понял внутренне как-то, что молится — ощутил в себе молитву чистоты девичьей и хотелось, чтоб без конца молилась с ним.

— Повторяй, Боря...

На мгновенье только задумалась...

— Господи! Мы вдвоем тут, одни... Ты знаешь, как я люблю его... И он меня любит, милый... Оставь нам на земле счастье это... Ты можешь... мы в твоей воле и твоя воля — жизнь наша... Мне так хочется жить... В этой комнате жить вместе... Оставь меня для Бориса... Посмотри... Он тут со мной... молится... Ты знаешь его... Простишь... он грешный... Мне так хорошо с ним... Он мой... милый... Ты добрый... Ты видишь, как я люблю его... Одного его... Оставь это счастье нам... Господи, он мой будет любимый... мой будет... мой...

Губы искали других, близких, и молитву прервали и дыхание, и до самой глубины потаенной в поцелуе проникла любовь молитвенная и молитвой стала.

Сил не хватило, дышать стало нечем, откачнувшись к нему на руки и кашель глухой, хрипящий наполнил комнату, чувствовал, как в груди у ней хлещет и рвется все, дыхания перевести не могла и кровью харкнула...

Упали на руки ему горячие сгустки темные и, задыхаясь, роняла с губ капли теплые.

На постель ее положил...

Бросился бежать к матери...

Заслышала — с лампой навстречу выбежала.

— Что там случилось?... Что?

— Идите скорей... Идите...

Вбежала — и на простыне, на подушке кровь сгустками...

Без шапки, по улицам спящим, к доктору.

Не догадался даже извозчика взять дремавшего.

Прохожие оглядывались на него удивленные.

Знал только, что поздно, за полночь, — не заметил, как после ужина пробежало время...

С постели стащил... Торопил, умолял:

— Скорее, доктор... скорее... Умирает... Умирает...

— Кто умирает?..

— Гурнова Лина, Гурнова...

И спокойным от профессии голосом, говорил медленно:

— Что хоть случилось?.. Скажите толком...

— Кровь хлынула, горлом...

— Теперь вижу, у вас на руках даже осталась...

Только теперь увидал и опомнился, в себя пришел...

— Доктор, ради бога, скорее...

— Иду, иду... Не могу же я в ночном белье бежать...

— Скажите, умрет она? Умрет...

— Сегодня — нет... Сосуд порвался... Это всегда бывает... Вы медик?..

— Нет, доктор... Я только принят...

— Ага... Но умереть должна. Теперь, вероятно, скоро...

— А спасти ее нельзя, доктор?..

— Мы бессильны...

— А чудо — может быть?..

— Чудес, молодой человек, не бывает.

— Чудом?.. Понимаете, доктор, чудом?..

И когда в передней одевал шляпу, в жилетный карман пятерку пряча, сказал Борису:

— Вы жених этой девушки?.. Да?..

— Да... доктор.

— Вам я скажу. К августу — все будет кончено.

— А чудом спасти можно?..

— К сожалению, чудес нет...

— Есть, доктор...

Ничего не говоря, только серьезно посмотрел на Бориса, закуривая папиросу.

Вернулся Борис еще раз взглянуть на нее, проститься... глотала маленькими кусочками лед и — когда вошел — взглянула на него печально. Уходить хотел, матери сказала шепотом:

— Мамочка, пусть Боря посидит со мною... Разговаривать я не буду... позволь, мама...

И теперь не могла отказать дочери и тоже сидела до утра в слезах.

Рассветало, сквозь штору свет пробивался ранний... горела лампа на столе непотушенная...

Взяла его руку в свои — холодными, без кровинки бледными, исхудавшими, держала крепко и дремала, закрыв глаза, счастливая, успокоенная.

Не шелохнулся — до утра просидел молча и повторял мысленно: господи, оставь это счастье нам...

III.

Через несколько дней встала и кровь точно очистила болезнь тяжкую, сухим кашлем кашляла без мокроты и каждый день повторяла Борису:

— Вот посмотри, Боря, теперь я поправлюсь скоро, мне стало лучше и не болит ничего. Я знаю отчего это... Сказать тебе?..

— Скажи, милая... отчего?

— А помнишь, как молились мы... Я верю, что бог молитву услышал нашу. Я и теперь молюсь, каждый день и за тебя и за себя. Хочу, чтобы он простил тебе. Ты не веришь ему, а он все-таки услышал твою молитву. Теперь ты веришь ему? Молишься?

— Не знаю, Лина, может и верю... вчера я молился.

— Боря?.. Ты молился?.. Ему?..

— Да, молился, Лина... Если он всемогущ — сотворит чудо. Если человек не может сотворить чуда — Он может. Наука бессильна, я — тоже, а если существует Он — и чудо есть. Он сотворит его. Я хочу чуда.

— Хочешь вместе молиться будем, каждый день, вечером...

— Тебя это, Лина, волновать будет.

— Теперь нет... я знаю... Это в первый раз так было и, вероятно, должно было случиться так, чтоб Он услышал нас, это знамение чуда было, эта кровь — знамение.

И каждый вечер, перед тем, как уходить Борису, молились вместе. На колени становиться трудно было, сидя, обнявшись, при лампаде в тишине ласковой, влюбленные в свое счастье первое.

Отдыхала душа Бориса, когда повторял простые слова души чистой и с молитвой вошла глубоко вера.

Домой возвращался любовью своей счастливый и, смотря на небо, повторял те слова, что только что говорил с Линою.

А дома — становился на колени перед окном, чтоб звезды видны были, и шептал о любви, о счастье своем и просил сохранить для него Лину и тревожное неверие боролось с верою.

— Если ты существуешь?.. Слышишь меня... Я хочу, чтобы ты существовал... Ты должен ее оставить мне. Счастье один раз бывает... Я хочу до конца быть счастливым и только с нею... Сотвори чудо. Разве ты не творил чудес, когда на земле был?.. Разве ты не помнишь

дочери вдовы Наинской?.. Ты воскресил ее мертвую, — Лина жива еще, — оставь ее мне живою...

Один раз спросила Лина:

— А у тебя, Борис, тоже горит лампадка, когда ты молишься?

— Нет...

— А как же ты, кому молишься?

— Открою окно, перед окном на колени стану и молюсь...

В бесконечности Он. Там, где эти звезды горят... Везде... повсюду...

— Образка нет у тебя Спасителя?..

— Нет, Лина.

— Сделай себе, купи, — с лампадкой так хорошо, тихо...

И образок купил и зажег такую же лампадку зеленоватую перед ним вечером и в первый день боялся, что мать или отец войдут, стыдно станет, а потом привык и просил мать масла ему покупать.

Дни были жаркие, вечера душные и молитвы безгрешные с Линою поцелуями наполнялись горячими.

Иногда днем совсем не кашляла, а ночью душили приступы долгие, откашляться не могла — рвалось в груди с хрипами, а под утро меняла мать простыни и рубашку мокрую, и, ослабевшая с трудом сидела днем в кресле.

— Детка, не целуйся с Борею... Ты видишь, как плохо тебе ночью бывает, всегда после того, как уйдет он — кашель у тебя начинается.

— Не буду, мамочка...

И все-таки целовала его, обнимала, отпускать не хотела, точно хваталась за его здоровье и силу и в себя хотела вдохнуть с поцелуями.

Ольга Григорьевна просила его:

— Боренька, не целуйте, голубчик, Лину, это так волнует ее, что она по ночам от кашля заходится, каждую минуту кажется, что опять случится, как тот раз было...

— Не буду, Ольга Григорьевна...

— Целовать, Боря, можно... Я не хочу лишать ее этого счастья... Только не надо долго...

Запечалился, загрустил и, придя домой, молился и при лампаде, не требовательной, а покорной молитва стала его. Молитва верить его научила. И всегда повторял: господи, оставь это счастье нам... Ты можешь...

И еще раз случилось — целую ночь не спала Лина, целую ночь кашляла — мокрота отходила с пленками

кровавыми и опять приглашали доктора, — а наутро — не поднялась с постели.

— Скажите, доктор, скажите, хоть какая-нибудь надежда есть?..

— Должен сказать вам, Ольга Григорьевна, правду, — никакой нет.

— Умрет она?.. Да?.. Скоро?..

— От легких уже ничего не осталось... По-моему... через две недели все будет кончено.

Наутро пришел Борис и до вечера простоял на коленях у постели ее, только руки ей целовал, пальцы, ногти белые.

— Плохо мне было сегодня ночью, Боря... Неужели я умру скоро?.. Ведь мне последние дни лучше было...

— Нет, Линочка, нет... ты не умрешь... я не хочу этого... Я молюсь ему... Верю...

Села в подушки и в чепчике белом еще прозрачней стала.

— Как мне волосы надоели, Боря... Я остригусь... Можно?..

— Что ты, Лина, зачем?..

— Они вырастут, еще лучше будут. Поеду на курсы и сразу буду на курсистку похожа стриженую. А волосы я тебе подарю, милый. Помнишь, ты говорил, что они как иней белые?.. Хочешь, подарю тебе?..

Мать позвала, и сказала, что остричься хочет.

— Боря мне разрешил, мамочка... Я остригусь... А волосы ему подарю...

А когда парикмахер ушел...

— А ты меня не разлюбишь такую, Боря?..

— Что ты, голубчик, что ты?..

— Так поцелуй меня... крепко, крепко, чтоб я почувствовала, что ты любишь меня и такую.

Еле касаясь губами, прикоснулся к губам холодным один раз и опять на колени стал около.

Посмотрела на него запечаленными глазами...

— Ты сегодня ни разу не поцеловал меня, раньше всегда приходил и помнишь, как целовал крепко... А сегодня не хочешь...

— Вредно тебе, Линочка... Поправишься... тогда...

— Тогда... Тогда... Это мама тебе не велела целовать меня? Она? Да?

Обедали вместе и в сумерках опять молилась.

— Боря, исполни одну мою просьбу, милый. Пообещай, что исполнишь?..

— Говори, все исполню...

— Я сколько раз просила маму поехать в Рябинки наши хоть на один день помолиться в церкви нашей... Не пришлось... Тут у нас в городе тоже есть одна церковь, Успенская, — на деревенскую нашу похожа... Не знаю, почему мы были в ней с мамой... Давно, давно когда-то... Сама я не могу пойти... Сходи ты, Боря, помолись там и я буду с тобой молиться; и просфору вынь, а на записочке напиши: о здравии жениха и невесты — рабов: Бориса и Елены. Напишешь так? Да?.. Ведь, правда, я невеста твоя?.. Да?..

— Да, Лина, да... Я в церкви не помню когда был, а завтра пойду и помолюсь за тебя... К ранней пойду, а к чаю просфору тебе принесу.

Чуть стемнело — Ольга Григорьевна принесла лампу...

— Линочка, ляг, милая... Посмотри, какая ты утомленная...

— Только ты, мама, разреши Боре поцеловать меня, тогда лягу... Пусть он при тебе меня поцелует, как невесту. Ведь он мой жених, мама... Правда, Боря? Можно при тебе, мамочка?.. Один разочек...

Руками за голову его обвила изо всей силы и не хотела пустить, шептала, лукаво и радостно улыбаясь матери:

— Еще, Боря, еще хочу... мама позволила...

А потом, повеселевшая, сказала матери:

— Я, мамочка, только один разик... Я теперь при тебе его целовать буду. При тебе — можно. Какая я, мама, счастливая...

В передней Ольга Григорьевна шептала Борису:

— Ночью сегодня пришлось доктора звать, было так плохо... Сказал, что только две недели проживет Линочка...

И заплакала...

— Бедные вы мои, детки... Ей так хочется жить... В первый раз она сегодня сказала, что твоя невеста...

И отчаянье и надежда боролись в душе Бориса, и чем сильнее отчаянье охватывало, тем горячее молился, не замечал, как по часу простаивал перед иконою.

Утром встал, когда слабыми голосами будничные колокола звонили к ранней, записку написал, как просила, и, когда писал — невесту, почувствовал, что и правда теперь невеста, поцеловал при матери; раньше и не думалось, что она невестой ему может быть, любил и не думал об этом, а теперь, когда сказала ему сама, что невеста, еще стала ближе.

Всю обедню молился, знал, что и она, невеста его, молится, и чтоб никто не видал — в дальний угол забился за плащаницу, поставленную в пределе до надобности.

Вечером от Лины домой вернулся, спросила мать:

— Куда ты, Боря, сегодня так рано ходил?..

— К ранней обедне...

— Ты в церкви был?..

— Лина просила...

А потом с тяжелой тревогой сказал матери:

— Вчера ей опять плохо было... Доктор сказал, что всего только проживет две недели...

И, обманывая, самого себя:

— Она говорит — ей лучше... Я все-таки верю в чудо... Я не могу сотворить чуда... я грешный... я человек... А Он может... Я верю этому. В последнюю минуту его сотворит.

— Я рада, что ты молишься за нее... Ее не будет — веру тебе свою оставит в бога... Ты неверующий был, ничего не хотел признавать... А бог тебе послал испытание — любовь дал, счастье, а когда ты вернулся к нему, пришел — он берет у тебя твою Линочку. За неверие твое тебя наказывает... Испытание посылает...

— Ведь она, мама, невеста моя...

— Невестую и к себе берет, чтоб только там соединить вас... высшее дать блаженство... И тут его воля...

Последние дни иногда оставался ночевать у Гурновых, в гостиной спал на диване, — Ольга Григорьевна, как жениху, ему разрешила. Просыпался, прислушивался, слышал, как не может остановиться от кашля и когда затихала — молился в душе, все еще веря, что в последнюю минуту сотворит чудо господь и, вспоминая слова своей матери, думал, что, может быть, правда за неверие его бог карает, испытание ему посылает земное, чтоб на небе дать блаженство высшее.

И перед смертью за день, когда, как всегда, молились шепотом вместе, сказала ему примиренно Лина:

— Завтра я умру, Боря...

— Не умрешь, Линочка, нет... Ты ведь моя невеста...

— Я чувствую, что умру... умру, милый, завтра. Ты не бойся... Я и там о тебе буду думать. И там невестой тебя ожидать буду. А когда ты придешь туда — встречу тебя и поведу к богу, скажу ему: — он верит теперь в тебя, господи, прости ему, позволь ему быть здесь со мною...

Задумалась не о земном счастье, а о небесном, а потом, еле слышно, сказала шепотом:

— Сядь ко мне на постель, милый... Вот так... Ты теперь веришь в него?

— Верю.

И опять подумала...

— Обними меня, Боря... Поцелуй еще один раз без мамы... в последний раз поцелуй живую... Не бойся... Сегодня со мной ничего не случится, я это знаю. Поцелуй крепко, крепко...

Обняла, и бессильные руки ему показались тяжелыми и только чувствовал, как напрягаются слабые пальцы прижать голову и сам боялся обнять ее крепко.

Не отпускала губы от своих холодных...

— Еще, милый, еще, еще... В последний раз... Без мамы...

Чувствовал, как дышать тяжело ей, и слышал, как звенит гулко в груди струна лопнувшая.

А потом счастливая, сияя голубыми глазами, радостно:

— Хочешь, Боря, я к тебе приходиться буду?... Ты веришь в загробную жизнь?

— Не знаю, Лина... Никогда не думал об этом...

— А хотел бы ты, чтоб я к тебе пришла?..

— Хотел бы, милая...

— Я приду к тебе... Обязательно... Ты меня жди, Боря... я приду и поцелую тебя, чтоб ты знал, что я и там люблю тебя и жду... Будешь ждать меня?.. Да?

— Буду, всю жизнь буду...

— А теперь, Боря, поцелуй меня еще раз, в самый последний... Завтра уж не будешь меня целовать... завтра я умру, милый... Знаешь, я не боюсь умереть, мне не страшно, жалко только тебя оставлять одного... Я умирать буду счастливая от твоей любви... Я ведь твоя невеста и там буду ею... вечно... а это самое большое счастье невестой быть вечно. Я сама знаю, что я самая счастливая девушка и мне не смерти страшно, а своего счастья, милый. Ну, а теперь поцелуй меня, Боря, еще один раз поцелуй — последний и иди домой. Подожди... Я хочу тебя перекрестить, милый, и ты меня перекрести — хорошо? А потом, еще раз поцелуй меня живую, в последний раз...

Перекрестили друг друга... Сдерживая слезы, нахлынувшие комком к горлу, и не думая, что больно сделает, ни о чем не думая, точно вырвать хотел ее из могилы, обнял крепко и целовал в губы не отрываясь и опять чувствовал, как силятся ее пальцы прижать голову, и, когда сил больше не стало у ней, откинулась на подушки, шепнув ему:

— Я приду к тебе, Боря... Жди...

И когда не хотел из комнаты уходить, точно чувствовал, что в последний раз живую видит, в последний раз поцеловал невесту, — махнула рукой ему, улыбнулась радостно и сказала:

— Иди, милый, — иди, я приду...

Передалось и ему чувство приближавшейся смерти, домой шел как во сне и чуда не ждал, — поверил, что послано ему испытание не только за неверие, а наказал его бог еще и за то, что первое слово любви пришел сказать не любя любимшей, хотел сотворить чудо последней своей фантазией.

Ночью просыпался несколько раз тревожно и ждал чего-то и, засыпая, повторял: «Иди, милый, иди, я приду», — и видел глаза ее синие.

А когда к ранней звонить начали, проснулся от резкого звонка в передней, в голове пронеслось — умерла, выбежал отворить — от Гурновых горничная...

— Умерла?.. Да?..

— Нет еще... просит вас поскорей придти...

Ночью опять зашла кашлем и целый час передохнуть не могла, мокротой задыхалась с кровавыми пленками и, только когда рассветать стало, успокоилась, попросила посадить в подушки и сказала матери:

— Мамочка, пошли за Борею... Я умираю...

— Что ты, детка, что ты?..

— Пошли, мама...

И когда издали зазвонили к ранней, сказала...

— Как в Рябинках у нас звонят... Правда?..

Слушала и ждала Бориса...

— Отвори окно, мамочка... Я послушаю.

И на звонок в передней:

— А вот и Боря пришел.

Ольга Григорьевна Бориса встретила:

— Не могу я, Боренька... Сил нет больше... Иди к ней... Я тут буду... Не могу... Не выдержу...

Подошел, хотел сказать что-то, — остановила его и чуть слышно сказала шепотом:

— Не говори... сядь...

Указала глазами подле себя на постели...

— Умираю, Боря...

И, боясь пошевелинуться, нарушить ровное замирание затихавшего сердца, опять — одними губами:

— Дай руки...

И стала смотреть не моргая, останавливающимися глазами куда-то поверх головы его, в пространство; чувствовал в своих тяжело лежавшие руки, холодные и сухие, и тоже боялся нарушить тишину смертную и видел, как стеклятели глаза синие, и только в последнюю минуту, в последнее мгновенье показалось ему, что по всему лицу улыбка пробежала счастливая; может быть, в последнее мгновенье промелькнуло сознание, — показалось, что даже шевельнулись губы и даже послышалось:

— Милый...

Может быть, и еще что хотели шепнуть бескровные губы, и не успели — покачулась голова, падая на плечо.

IV.

Без слез проводил на кладбище, дождался пока не сравняли с землей могилу и вернулся домой, на поминки не пошел с матерью. И целые дни не выходил из комнаты, по вечерам только просиживал у могилы на кладбище — ожидал, что придет к нему, поцелует, и вся жизнь в ожидание превратилась, мучительно напряженное. По ночам также молился и ждал, а когда в фате с венком миртовым, как в гробу лежала, появится невеста его, прозрачная в чистоте девичьей, неосязаемая в непорочности и положит руки ему на сердце, чтоб не знало оно времени, наклонится к подушке целовать жениха, чтоб душу вынуть его и показать ей обиталище неземное, где несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

В молитвах просил бога простить ему неверие и разрешить придти его невесте. По имени ее не называл, а всегда говорил одно только слово — невеста...

Мысли мелькали — уйти от мира, в тишину обители и там ожидать и ее и своей смерти и только случайный разговор с отцом толкнул на иной путь.

Следили за каждым шагом родители, и когда вечером приходил с кладбища, пили чай вместе. Боялись прикоснуться к больной ране — не спрашивали, не тревожили; отец молча сидел с газетою, а мать бичевала себя, глотая слезы за то, что сама толкнула единственного на страдание, зная, наверное, что любовь не могла сотворить чуда, воскресить обреченную.

Как бы случайно отец бросил:

— Так, значит, скоро в Питер ехать?..

В первый раз вспомнил, что и уведомление получил из института и деньги посланы и что, действительно, надо решить, что делать — отшельником быть или в миру одиночество хранить до смерти.

Ни к кому не обращаясь, продолжал отец:

— Самое хорошее время в жизни, никогда не забуду первый год своего студенчества. Новый мир мне открылся, когда слушал первые лекции... Всего захватывало... Казалось, что и сам бы взошел на кафедру. Сотни глаз тебя пожирают, каждое слово ловят, как истину.

Решая про себя, что делать, сказал отцу:

— Я бы тоже теперь хотел быть ученым, профессором...

Мать и отец ухватились сразу:

— Я бы, Боренька, рада была видеть тебя ученым...

Подсказала ему:

— Ученые — как затворники, не от мира сего.

Отец продолжил:

— Один раз мне пришлось, не помню почему, на дому у профессора сдавать предмет, — кажется, болен был... Громко говорить боялся, боялся нарушить тишину кабинета, на каждый листок на столе письменном с благоговением смотрел. Как сейчас помню, — одно окно, стол письменный, черный диван кожаный и стен не было — сплошь книги и только на столе недопитый стакан крепкого чаю, исписанные листки и фотография какой-то девушки. Понимаешь, Борис, уходить не хотелось...

Нарисовал будущий кабинет Бориса, а когда он ушел к себе в комнату, Анна Евграфовна сказала мужу:

— Как ты, Вася, хорошо сумел подойти к нему...

— Подумает и решит ехать...

— Правда, Вася, если даже другой девушки никогда не встретит, то все-таки не в монастыре будет, а у него должно быть была эта мысль...

И опять ждал Лину, что придет, путь жизненный укажет ему, и думал о словах отца, и в первый раз уснул, не просыпаясь до утра, а за чаем сказал:

— Я тоже, папа, хочу быть ученым...

Последние дни проводил на кладбище. Углубленный в себя не замечал никого и когда по застенной дорожке шел днем от могилы к воротам, окликнула его девушка — даже вздрогнул:

— Здравствуйте, Боря...

С гражданским студентом шла, с тем, что еще в вагоне на Рождество ехала.

— Я не узнал вас, Феня... простите...

— Я слышала, Боря, знаю... Знаю, как тяжело вам... Что делать?..

И студент поклонился, молча пожав сочувственно руку.

Не знал, что сказать, что сделать, как виноватый смотрел на Феню.

— Я только повидаться с вами хотела, Боря...

Потом сзади до него донеслось:

— Ты не можешь себе представить, какой он оригинальный... Никогда еще не встречала такого...

Повернули на глухую дорожку в зарослях скамейки искать, чтобы дотемна целоваться среди тишины кладбищенской.

С того вечера не могла забыть Смолянинова и до сих пор еще обидно было, что даже вместе ней на вечеринку не поехал к ним. И про звезду Вифлеемскую с поклонявшимися волхвами не могла забыть. Раза два зимой встретила, озабоченный прошел, не застал.

Приехала на Рождество омой и осталась дома до осени — дядюшка не пустил, Кирилл Кириллыч, в смутное время в столице жить.

— Если б у тебя благоразумие было, а то один раз под нагайку попала — не пущу, пережди эту зиму, а там куда хочешь.

А дома на вечеринке, пронесаясь через весь город в пустых санях с бубенцами дикими, от досады нервничала капризно.

За ужином и себе и студентам наливала крепкого, а после в своей комнате сказала приятельнице — Журавлевой Вале, в последние дни по Питеру вместе бегали и сдружились:

— Целоваться мне, Валька, хочется... Ты думаешь оттого, что выпила — ни капельки... с досады... Сама за ним ездила... Упрямый какой-то...

— Конем не объедешь... Я тебе по секрету скажу... Про него говорят, ни одной не целовал девушки...

— Пойди хоть тебя обниму, Валька...

Захмелевшая целовала подругу в завитки ниже уха щекотно и шептала:

— А ты целовалась, Валька, с кем-нибудь?..

— Надоело уж...

— А больше у тебя ни с кем ничего не было?..

— В седьмом классе еще с кадетом было, а с тех пор одни поцелуи только.

— Так мы с тобой тезки, значит...

— А у тебя с кем было?..

— Было... секрет... А вот сейчас опять целоваться хочу... Понимаешь как? С Смоляниновым...

Не пустили в Питер подруженек — стали вместе вечера коротать зимние.

Придут с Московской с гулянья — гадать сядут...

— Гадать не о ком... Слякоть тут, Валька. Гимназисты с реалистами осточертели уж... Им бы целоваться только...

— А ты слышала?.. Ивина мне говорила... Кружок тут есть... Там и гимназистки, и реалисты, и гимназисты, и гусары бывают... По вечерам собираются.

И рассказала подружке, что на Нижних улицах, за казармами, почти в слободе, квартира у акушерки нанята для собраний тайных и нанимал «маленький» гусар Игревич, и обстановка у них особая: широкие скамейки вокруг стола, а на стол подают любовный напиток в широких мисках и напиток этот варят у самой акушерки, при ее участии, господа гусары: для посвященных — круговой, застольный с коньяком, с ликерами, для вступающих — с травами, с корешками пьяными и подают новенькой в бокале серебряном. А перед тем как носить любовный напиток на стол — огонь тушат и зажигают синий — жженку палят гимназисты с гусарами, всю ночь огонек блуждает по столу огнем путеводным. Из мисок же черпают ложками, как причастие, пока на скамейке не спарятся, — очнутся, отодвинутся и опять, пока не заснут в объятиях до утра. А места не хватает — на полу вповалку кого только пьяные губы в темноте отыщут. Бывает так, что и в один вечер не с одним, а с разными, кто кого схватит, уснет и не знают, с кем даже были собственно. А если забеременеет какая — акушерка от всего избавит. Гимназисты даже пятиклассниц приводить ухитрялись, девочек, и всегда они почему-то гусарами посвящаются в члены общества. Любовь общая и касса общая: с каждого взноса ежемесячный по целковому, а что стоит напиток с акушеркою — гусарам ведомо. Гимназисты даже сходку устраивали, товарищей в глаза обличали, а все впустую. Весь город знает и сделать ничего не могут. Один раз послал родительский комитет надзирателя из гимназии, а к нему навстречу Игревич вышел:

— Вам, — говорит, — что угодно?

— Тут, — говорят, — учащая молодежь присутствует.

— Ничего подобного, тут господа офицеры с дамами, — можете не беспокоиться.

Тому и сказать нечего — от ворот поворот, не солоно хлебавши. Жандармскому донос, что тайное общество у акушерки на Нижних, — сам ротмистр пошел с жандармами и опять навстречу гусар «маленький».

— Чем, господин ротмистр, служить могу?

— У вас, корнет, говорят, тайное политическое общество тут, — имею поручение лично удостовериться.

Гусар его под руку и интимно:

— Ничего подобного: просто наши гусары с девочками тут забавляются от скуки.

— А все-таки я удостовериться должен лично.

— Очень приятно, рады вам будем, как гостю, — только, пожалуйста, господин ротмистр, прикажите своим людям уйти в правление.

И ротмистр до утра загостился, действительным членом приняли и пообещали невинную пятиклассницу для него найти специально.

Так и сделать ничего не могли ни родители, ни блюстители, пока гусарам не надоело транжирить деньги, а как сами гимназисты остались одни — разбежались от них к весне возлюбленные, на сухую с казенкою не понравилось, да и акушерка заявила, что без гусаров в квартире своей собираться не позволит больше и помощи никакой не будет оказывать.

По секрету и рассказала Журавлева Феничке.

— А ты и не знала?..

— Ей богу, Валечка, не знала...

И разгорелись у Фенички глаза любопытные.

Подружку свою провожала опять с поцелуями пьяными, за ушком целовала с шепотком:

— Валечка, целоваться хочется.

— Мне тоже...

Целую ночь промечтала о грехе смертном, обнимая подушку вместо Бориса Смолянинова. О нем вспомнила, когда про тайное общество думала. С ним себя в объятиях представляла грешных от напитка любовного.

На другой день опять Журавлева прибежала гулять за Феничкой.

Дорогою таинственно:

— Хочешь познакомиться с одним гимназистом?.. Ивина мне сказала, что он тоже там...

До семи на Московской про любовь свободную говорили, спорили.

У гимназиста и философия особая по этому поводу была:

Почему человек должен вечно одну любить? — душа свободна, ей одного человека мало, а свободная любовь познает многих...

А под конец и договорился:

— Разве человек не такой же зверь, только разумный, — но звериное в нем до сих пор живет, иначе ему не хотелось бы размножаться. А если человек животное, да еще разумное, то почему он должен с одной только жить? — это всем законам природы противоречит.

На другой вечер и приятеля с собой привел, и пошли по темным улицам на скамеечку целоваться, а потом, как тайну, поверили про общество и с собой привели на Нижние, — гордились, что не с гимназистками пришли, а с курсистками. Игревич с приятелем посвящали в таинство и в трезвом виде еще домой проводили поздно вечером, а возвращаясь обратно — на Нижней встретились и захохотали:

— Нарвались мы с тобой... я думал — девочки...

— А я б женился на Гракиной, ей-богу... Самая богатая невеста в городе.

Сам Игревич посоветовал ей не ходить в общество, чтоб дядюшка не узнал, Кирилл Кириллыч, а закрутил с ней любовь на частной квартирке, а когда ее начало тошнить — предложение сделал и просил познакомить с дядюшкой. В театре с ним познакомился. А Феничка в тот же вечер и спросила дядю Кирюшу:

— Дядя Кирюша, Игревич мне предложение делал...

— Что?.. Когда ж он успел это?..

— И с вами из-за меня познакомился.

— Ну, так скажи ему, что твои деньги не для того, чтобы прокутить с любовницами...

Не плакала, не волновалась, а попросила у дядюшки денег и сходила к той самой акушерке на Нижние, что помощь оказывала членам общества. Та успокоила Феничку и денег не хотела брать, а дома за труды — не отказалась. Всего с утра и прожила у ней до вечера, а вернулась домой — головные боли появились для виду и в голову никому не пришло, что за болезнь такая, втихомолочку отлежалась.

Журавлева пришла проведать...

А ну их к черту, я тоже сбежала! — разврат один

Весною опять потянуло Феничку смутное. Из любопытства зимою пошла на Нижние и целоваться-то хотелось очень — пустота после Питера потянула к греху смертному и пустота-то образовалась после того, как с Петровским кончила: еще в вагоне целовалась враскоряку от того, что в душе было пусто и хотелось про все забыть, лишь бы хоть на минуту голова пошла кругом. И с Игревичем просто кончила — знала, что никакой любви нет к нему, и сразу, как сказал дядюшка, рассказал про корнета — ножом отрезало. Письма писал ей о любви беспредельной на батистовой бумаге надушенной, к небывалому счастью звал, манил благородным обществом — ничего не помогло, ни строчки ему не ответила, заперлась дома.

А весна подошла — опять захотелось окунуться в омут от пустоты смертной.

Вернулись студенты — на бульвар пошла с Журавлевой слушать музыку и опять того самого студента встретила, что в вагоне ее целовал. Может, от скуки и подошел к ней. Пошел провожать вечером и вспомнил свои права вагонные и поцеловал опять Феничку. А потом точно поняли, что им нужно друг от друга весною, и про любовь говорили с неделю и целовались на лавочках по темным улицам, а потом — пошли вместо бульвара вечером в рощу за город и вернулись утомленные к полуночи...

И тошноты не боялась, помнила совет еще той акушерки с Нижних: хину принимать перед месячными в теплой ванне.

Целое лето гуляла с ним: в роще бывала и на лодке каталась, и на кладбище соловьев слушала — надоедать даже стало, — прискучило.

И опять Смолянинова встретила.

От Журавлевой и про него узнала. Вся молодежь восторженно говорила о его любви к Гурновой. И захотелось опять с ним встретиться. Забыть не могла того вечера на балу студенческом, когда рассказал ей про звезду Вифлеемскую, и захотелось Феничке, чтоб поклонился ей как волхв евангельский. Со студентом своим гражданским рассеянной стала и только тянула гулять на кладбище и, проходя мимо могилы Лениной, видела, как сидит склонившись на руки. А потом и на свидания перестала ходить к студенту, — так и роман летний кончился — без слез, без упреков, а поняли, что прошла весна — успокоиться пришло время к осени, пора пришла улетать в столицы на зиму.

Осень пришла, и тоска после омута проснулась в душе Фениной. Захотелось хоть чем-нибудь пустоту заполнить и наполнила ее мечтой фантастической о Смолянинове.

На вокзале уезжала, будто в шутку сказала дядюшке:

— Дядя Кирюша, — в этом году я жениха себе найду в Питере.

— На свадьбе буду гулять...

Решила во что бы то ни стало за Смолянинова выйти замуж, очиститься его чистотой и начать жизнь новую, чтоб хоть кто-нибудь наполнил ее счастьем утраченным.

V.

У каждого человека своя фантазия и у каждого — своя жизнь и жизнь как фантазия, кто волеет в нее свою волю, кто сумеет марионетки переставить вовремя красочней, у того жизнь наполнена, и чем больше найдет душа персонажей для своей фантазии, тем больше она будет страдать и мучиться, и любить, и сумасшедствовать в недостижимой фантазии: каждый миг родит иную радость, каждый взгляд по-иному преломляет в себе видимое и родит новое чувство, и никогда человек не сможет завершить своей фантазии и сказать — теперь кончено, дальше ничего нет, только смерть обрывает фантазию человека — жизнь. И если, оставаясь наедине с собой, человек мучится и страдает, и любит, и сумасшедствует и каждый порыв рожден душою, то и падение в омут и восхождение к совершенству нужны для человека — без них не полна фантазия — и человек не целен.

А тот, кто творит свою жизнь-фантазию, отдаваясь ей до конца, не заглядывая ни назад, ни вперед, и стремительно несется дальше, переживая каждый миг всей полнотой существа тленного, тот сменяет тоску — радостью, любовь — падением, фанатизм — кощунством, ненависть — страстью, счастье — отчаяньем, и полна его жизнь, ярка фантазия.

Жизнь — ни прошлое, ни будущее, а сегодняшний день, им наполнена душа ясная, и чем полнее живет человек сегодняшним, тем душа полнее и жизнь — фантазия.

От Петровского — в занос снежный, от Игrevича с Нижних улиц — к студенту института гражданских инженеров за город в рошу и от Николки-инока — к невинности Смолянинова; и каждый раз фантазия.

и с головой в нее — только жить, — пусть и мучиться, и любить, и в омут падать, и радость сменять отчаянием, и крик, разрывающий тело выкидыш — поцелуями, и тоску слезную — звериной радостью, но только сегодня — ни будущего, ни прошлого, прошлое — для сегодня, а сегодня — для будущего.

Очиститься невинностью, чистотой телесной, чтоб сгорело в душе смрадное.

В рыцарских замках, болезнь с востока, невинностью девушки очищалась кровью — фантазия.

Очищение души смрадной с невинным юношей — жизнь.

И жизнь и фантазия — невинностью очищение.

Женщину творят в девушке ночи брачные, и женщина в юноше — волю сильную жизни.

Невинность — в фантазии, а жизнь — в невинности.

Вагон, гремющий на стрелках, и стрелочники и проводники вагонные — жизнь, а в вагонах — фантазия: на один час, на один день и встреча и расставание, и любовь и ненависть.

И опять встреча — друг против друга в плацкартном Феничка со Смоляниновым.

Влюблявший фантазиями девушек, и женщина, творящая жизнь фантазией.

Замкнулся в себе печалью, мукой, ожиданием и передал инстинкту женскому ожидание, муку, печаль свою.

Чувствовала — прикоснуться нельзя к незажитому, самой заболеть — тогда только войти в душу можно.

Не о любви, не о невесте, не о душе мятущейся, а о простом, о будничном.

Повидались и сели по своим углам молча.

Сходила за кипятком на станции, натирушки достала, коржики, домашность всякую.

— Боря, хотите чаю?..

И погруженный в себя, увидав машинально стакан налитый, к себе придвинул.

— Спасибо, Феня.

За Москвой, вечером — вместе ужинали.

— Вы где, Боря, жить думаете?.. — Если против моей комнаты не занято будет... хорошая, светлая... Хотите, Боря?..

— Хорошо. Мне все равно... Я согласен.

До самого Питера молча.

На одном извозчике на Малую Спасскую, и тоже молча.

— Значит, соседи будем?

С утра на лекции, а до позднего вечера за книгами.

Прогулка — покупать книги, мечтал о кабинете, где кроме книг, стола и дивана черного — ничего не будет. Книгу приносил домой, как возлюбленную, разрезал бережно и с отметками на полях на этажерку клал.

Следила за ним, ждала в коридоре встретиться вечером будто случайно — аккуратно приходил в шесть.

Безразлично выдаясь, уходил в комнату и запирался на ключ работать.

И по-прежнему молился и ждал невестою в фате Лину, а когда занимался — отдыхал, взглядывая на ее карточку.

Через день Журавлева бегала к Феничке и всегда из студентов с кем-нибудь.

— Не влюбилась еще в затворника? •

До установленного хозяйкой часа — до десяти — ко-лобродили, чай пили, кокетничали.

По вечерам в субботы — гостей принимала: Журавлеву и Ивину со студентами. И опять о пустяках спорили, пили чай — с печеньем, конфетками и с закускою, потом пели песни и расходились в двенадцатом.

А Борис по субботам — в Казанский ко всенощной и чтоб гаму не слышать — возвращался домой пешком, медленно, приходил в двенадцатом.

На улицах — ни родных, ни знакомых, ни близких, все — чужие, если и взглянет кто — через секунду забудет тут же, — спокойно: и ото всенощной любил возвращаться и ходить по магазинам за книгами.

По праздникам утром — к Нерукотворному.

Мучило иногда только: хорошо ли сделал, что поехал учиться и не ушел в обитель тихую, и только за книгами забывал про это.

Жизнь — фантазия, творит с человеком неожиданное.

С гололедками началась зима ранняя, наводнением дуло с моря, захлестывая лицо ледяной крупюю.

От Казанской в летнем шел через Марсово — до костей прохватывало, нарочно и пошел путем дальним, чтоб не слышать у Фенички гаму субботнего, и в двенадцатом подломилась нога у самого дома — вышиб правую руку и навихнул ногу. До крыльца дополз и ни с места — на порожках сел. Феничкины гости наткнулись и внесли наверх.

Доктора привезли...

— В больницу надо... Нога пустяки, а руку — в лубок придется.

— Не хочу, доктор, в больницу. Разрешите тут.

— Если имеете средства — и тут можно, придется только нанять кого-нибудь вам в помощь...

— Я ему помогу, он — земляк мой...

Остальные повторили хором:

— Мы, доктор, поможем.

— Тогда, конечно, и дома остаться можно.

И сама жизнь дала Феничкиной фантазии раздолье.

Заботливо в постель уложила и до утра не ушла — просидела около. Ждала, что очнется утром, а наутро огнем-полымем загорелось тело, заметался в постели — сдерживала, чтоб руку не сбил с лубка, и чувствовала, что близкий лежит, ближе никогда и никого не было. Днем Журавлева пришла, сменила Феню.

Хотела в шутку сказать:

— Повезло тебе, Феня...

— Замолчи, Валька... Стыдно. Ты думаешь, что я и в самом деле такая?..

— Влюбишься... Влюблена ведь?

— Если б знала, что не тоска у него, а чудачество — влюбилась бы и голову б закружить сумела... До сих пор ее любит и мертвую, как живую... Такого, Валька, полюбить можно, а влюбиться?.. Нет, полюбить, и так, чтоб навсегда. Про все и про всех позабыла бы, жизнь начала б по-новому.

Две подружки — души смутные... Одна днем, другая — от сна и до сна просиживали.

И захотелось Феничке любви ясной, ночами подле него сидела.

Одну только ночь бредил: здоровую руку перед собой протягивал и, глаза открыв широко, невесту звал:

— Ты придешь?.. Вот она... Тут?.. Со мною... Поцелуй... один раз только. Как тогда... в последний раз... крепко, крепко...

Чужие поцелуи взяла радостно, от полымя в горячие губы целовала долго. Ответил ей в забвеньи поцелуями. Как самая нежная целовала кроткостью и задремала с думами, на его груди склонившись, чтоб не мог пошевелиться, но дрема была чуткая — каждый вздох чувствовала, как сердце толчками кровь гонит — слушала и думала, что не ее целовал, а близкую и умершую, знала, что обманула душу чистую, и обманывала, чтоб чужим поцелуем к душе приблизиться. И все-таки была счастлива, что ее, ее первую поцеловал, забывшись. О той, что умерла — не думала, будто никогда и на земле она не

жила, а была только мечтой его бестелесною. От того и бестелесною, что не могла целовать его от томления тела смутного, когда и душа скована одним желанием тела, а как причастница жизни вечной — непорочное сердце раскрывала, отдавая душу чистую. Думала, что никто не отдал ему еще в поцелуе всего существа своего нераздельно, и он никого еще не почувствовал желанием греха смертного. От того и считала, что ее первую поцеловал — первая целовала его, прошедшая пути смрадного, и счастливая была чистотой жениха безбрачного. И не мутная кровь всколыхнула поцелуй ее, а глубина души, сходявшая в омут падения и взлетевшая к чистоте, к очищению невинностью.

Дремала и просыпалась поминутно, всматривалась, в каждом движении хотела уловить желание и когда шевелил сухими губами, поила ложечкой, бережной ласкою поднимая голову.

И опять забывался и бредил и руку протягивал, и опять долго и тихо целовала в губы и видела, как появляется на лице улыбка блаженная.

Потом всю жизнь помнила поцелуи эти, один раз в жизни целовала безгрешной ласкою.

От бессоницы глаза ушли в глубину — загорелись огнем ярким.

В сознание пришел — глаза встретил серые...

— Почему вы здесь?..

— Не смейте двигаться, Боря...

Вспомнил, как поскользнулся, упал, руку вывихнул, и как принесли, и доктора вспомнил, и слова Фенины, что поможет ему, и принял с покорностью.

— Ничего, Боря, — вы не стесняйтесь меня, сейчас я вам — сестра ваша, от сестры бы приняли помощь... От сестры милосердия тоже?.. Да?..

Один, в себе замкнутый — ни товарищей, ни друзей. С застенчивой благодарностью протянул руку левую:

— Спасибо вам...

Сестрой ему стала, не видела тела, белье сменяя, не чувствовала волнения тревожного, когда помогала подняться, обеими руками обхватывая, и только тепло согревалась душа близостью непорочного.

Журавлевой сказала, что одна справится, не хотела, чтоб даже самый друг близкий прикасался к ней словами праздными, и ревниво оберегала на мгновение жизнь затихшую. Ни о чем не спрашивала, к наблевшему в нем

не касалась и только хотела, чтоб сам заглянул в душу. И в первые вечера сидела молча, даже не взглядывала на него, и все время вспоминала поцелуи, в бреду взятые — со дна, с глубины души выпали ей они; может, только в самой глубине и жило еще ясное, — придавила его Николкина жадность беспутная, на Васильевском зародыш его залила кровью черною и загасил его обидою пытки ревнивой Никодим Петровский; и смешалось все это и с поцелуями, и с гусарским причастием Игrevича, и с хиною, после студенческих ласк, в вагонах выпитых, а когда прикоснулась к цельному — ясное пронизало все пережитое и зажгло своим светом в душе любовь пожирающую. Счастьем с Николкой бредила — змучена; душу хотела отдать Никодиму в рабство — в пропасть брошена; хотела себя заласкать телом пьяным — жизнь не дала; от чужих поцелуев очищение приняла — и сгорело прошлое, навсегда сгорело; и почувствовала, что покается непорочному обнаженная душа человеческая, дойдя до безумия...лишь бы спасти последнее и единственное — жизнь свою.

Принесла книгу новую.

— Я книгу принесла, читать вам буду. Василия Фивейского. Хотите, Боря?

И начала...

Вырвалось у него:

— Бог только чудеса творит, а за неверие — карает нас. И тут покарал бог.

— Василия Фивейского?..

— Да, его, Феня...

Лоб сжал рукой здоровою и тень горечи по лицу пробежала.

— Помогите подняться мне...

Почувствовала, что к чему-то прикоснулась мучительному, больному, уловила инстинктом в голосе и к надрезу горячему прильнула, чтоб всю муку обнажить разом.

Приподняла и задержала руки.

— Боря, голубчик, милый...

Сказала душа Фенина, заглянула в душу.

— И меня покарал бог...

— За что?.. Боря?..

Любовь потаенно осталась в сердце, а душа распахнулась от горечи на один миг, почувствовав голос из глубины горящей, и опять замкнулась.

— Я разумом поверил в чудо, не веря, требовал от

господа его, а когда он призвал мою душу к себе, — понял, что я только его творение в его воле карающей, смертный. Вот и теперь он меня покарал.

— За что, Боря, за что?..

— Профессором хочу быть... ученым... А он покарал — лежу вот.

— А что было сделать нужно?.. Что?..

— В монастырь уйти.

И закрылась душа, сказал спокойно:

— Это все не то, Феня; не то, чего хочется, чего человеку нужно... Хорошая вещь, сильная. Купите мне ее.

— Зачем же в монастырь идти?.. Зачем?.. Там...

Вспомнила пустынь, и не только Николка, а вся жизнь ее содрогнула.

Задумались... Молчали...

И ответом на все:

— Я сегодня один обойдусь... Идите спать, Феня. Спасибо вам... Измучил я вас за эти дни.

— Хорошо. Я пойду, Боря. Спите.

Заснуть не могли, продумали о брэнном житии и обители тихой.

Вспомнила Феничка и Николку, и лизоблюдство монашеское, и поглаживание сладострастное мантиейными купчих богомольных, и еще острее стало прошлое; забывала, когда жила настоящим днем, а когда сказал, что уйдет в монастырь, в обитель тихую, где за стенами белыми содом мужеложества и бесовское радение во имя отца Онана со братией, — закричать хотелось, чтоб Борис услышал, как в лесу иноки растлевают девушек во спасение души православной и во славу обители старца и схимонаха Симеона пустытника Белобережского.

А Борис молился до глубокой полуночи и как сон вспоминал бред ночной, — показалось, что она приходила, невеста вечная, только не мог ее видеть, а чувствовал, что приходила, в сознании где-то глубоко было, что непорочная была незримою, и не понимал, отчего, когда губы сжимал плотнее, точно поцелуи на них дремали жаркие, чувствовал их, не знал чьи, казалось, что она его целовала, незримая, может, и увидал бы, если б в сознании был полном, и не только обманное ощущение на губах ощущал, а чувствовал бы прикосновение лепестков алых и в глаза заглянул ей синие и сказала бы ему, что, может, за тем и приходила, чтоб сказать, указать путь новый. И решил,

что была, как ангел, послана отвратить его от пути ложного и направить на путь истинный — затвориться звала в обитель тихую.

Как испытание принял помощь Фенину: даже мелькнуло, что искушение ему послано, она же, она испытать его душу хочет. И замкнулся в себе еще глубже, только внешне общительней стал, не чуждался, когда помогала белье сменить, кормила его заботливо и вечерами просиживала с книжкой.

Каждый вечер хотела ему рассказать про монастырь мужской и не могла, чувствовала, что не хватит сил до конца всю правду сказать о себе.

Привыкла читать ему, и он слушал и рад был, что говорить не придется.

И один раз — не выдержала, — читала и про него думала:

— Я об вас, Боря, все дни думаю... Не могу позабыть ваши слова в монастырь уйти. Зачем, Боря?... За чем? Ну, вот слушайте... Я девушкой была там, совсем еще девчонкой... Если б вы этих монахов видели?... Теперь для меня стало все понятно — опытом поняла... Вы думаете, у меня жизнь маленькая?... Я двадцать лет прожила всего, а я ведь старуха... Это не слова, Боря... Перед вами мне рисоваться нечего... Если я вам чужая, то вы-то мне близки стали... Помните, говорили мне о звезде Вифлеемской?... Я никогда не забуду этого. Можно... я поклонюсь вам?..

Вскочила с кресла, подбежала к постели, схватила за руку, на колени стала.

— Я знаю, что я чужая вам, и то знаю, что никогда ее не разлюбите, ее, Лину.

На карточку показала Гурновой.

— И все-таки я поклонилась...

Стукнулась лбом о кровать железную...

— Поклонилась волхву мудрому... Не побивайте камнями душу грешную... Я ничего от вас не хочу. Только все расскажу вам. Вы чисты... Мы ведь почти ровесники, а я знаю, что вы непорочны. Может, только вам и скажу... Измучилась я... а с вами мне хорошо, тихо... отдыхает душа...

Смотрел на нее испуганно и чувствовал, что оттолкнуть нельзя человеческое, и руку не отдернул здоровую.

— Вот так... Я вот так расскажу вам...

Положила на его здоровую руку лицо, чтоб не видеть Бориса, а чувствовать его близко, проникая в сердце, чтоб

легче душу ему передать через тело, чтоб через тело вошла она.

— Увел меня... Боря... Он... монах... в лес... А в лесу сколько дней мучил тело... Шатало всю, а шла — о любви говорил... он... монах... Николаем зовут... А другой... большой... рыжий тоже меня хотел. Приятели были... Рыжий и с ним познакомил. Понимаете, Боря? В келье, перед иконами, в монастыре, в обители... рыжему нос перебил бутылкою. Меня уступить не хотел рыжему. И в город вдвоем бежали за мною... И все они, все такие... В монастыре на даче мы жили... Ходили чай пить к нам... Хватали за руки... за плечи... не меня, а другую женщину... в лес водили, а потом в соборе поклоны бухали, о чудесах рассказывали мужикам, а к нам?.. мучить нас приходили. Правда, все правда... И вы, чистый — хотите к ним!.. Хуже притона. Вы непорочный, Боря, и с ними жить, чтоб измучили вас, душу измучили!.. Разве вы не будете мучиться?.. Они всех мучают, пока не согрешит человек с ними грехом постыдным. И вы?.. Боря... А потом о себе... До конца решила — всю жизнь последнюю... облегчить душу:

— Не любила бы вас, не сказала бы... Знаю, что никогда не полюбите... а все-таки говорю... Вам говорю, чисто-му... Только такому сказать можно, чтоб и у самой душа очистилась. Никогда никому не говорила первая, что люблю, и вы чище девушки... потому и говорю все... Душа у меня замучена, сперва другие ее, а потом сама, — деваться ей было некуда... Утопить хотела... Я ведь не девушка, Боря... После Николая, монаха того, стала женщиной, он сделал... Боль приняла... Тут в Питере... дядя водил... очистилась... И потом еще раз полюбила... Хорошо полюбила, искренне... верила ему. Хотела его только быть, а он знать хотел... Правду. Всю правду. Прошное.

— Феня, вы знаете, что не могу никого любить, а говорите мне, а любили и не могли сказать?..

— От того и не могла, что и меня он любил. Потом бы сказала... все сказала... Я хотела, чтоб такую любил как есть, а не какой ему меня хотелось видеть и знать... чтоб такую узнал, какая к нему пришла... Когда позвал — пришла: знала, зачем зовет, и пришла отдаться, потом бы сама сказала, все, до конца, всю правду, а он хотел сперва знать, а потом любить... Любил бы — не спрашивал. Должно быть думал, что любит, а душа была мертвою... Потом... потом разошлись мы. Хотел правду знать

и узнал через рыжего... он тут... в Питере... меня ищет... монахом был... Потом, Боря, деваться было некуда... одного любила и он любил... говорил так... иногда только чувствовала, что любит, когда ему тяжело было... и осталась нищая и пошла просить милостыню и не душа, а тело голодное пошло междворничать... Целовалась, тело свое отдавала, чтоб, как пьяница, позабыть, что душа есть... И вас встретила... С огарками горела, неделю горела, а потом стало все равно с кем... А встретила опять вас на кладбище... Про волхвов вспомнила. Я не хочу, чтоб душа погасла... погасла во мне звезда Вифлеемская... Сама судьба привела к вам, Боря... А теперь я — чистая. Вам, непорочному открыла душу и чистотой вашей чиста стала — оттого и открыла, что знаю, что не любите, а вот такую... чистую теперь... Ведь женщины тоже бывают чистые... Чистую любить можно... Только чистота и ребенка носить может... Правда, Боря?.. Я теперь тоже могу... Я чистая.

Чувствовал, как рука горела от глаз, заплывавших слезами, и как скатывались они между пальцев, и, закинув голову на подушке, слушал с глазами закрытыми, и от слов, обнажающих душу, грудь давило, дышал медленно, тяжело, а когда поцеловала его руку, сказав, что очистилась его непорочностью, еще плотнее глаза закрыл и острее разлилась горечь по всему телу и не жалость в душе измученной шевельнула к лицу ее, к волосам руку, а боль от ее слов — боль утолить толкнула душа — по волосам проводил рукою, от корней тепло чувствовал и вспоминал такие же мягкие — перед смертью ему отдала, помертвели они, а эти — такие же мягкие и длинные — не заметил, как цепляясь за шпильки пальцами, развалил прическу и гладил широкую волну по плечам вздрагивающим.

И еще ярче загорелась любовью душа Фенина — пронизало ее тишиной жаждущей, пошевелинуться боялась, чтоб не прервалась нежданная ласка любимого и если бы только подумал о ней, как о близкой — до последней бы кровинки служению отдалась ему, непорочному, своей жизни б не было, а его в каждом желании инстинктом уловленная и не рабой, не любовницей, не любимой бы стала, а благоговевшею перед своим счастьем.

Отнял руку — и вздрогнула, к нему рванулась:

— В древности камнями побивали падшую... Не подняли руки с камнем, не оттолкнули меня. Вы для меня, Боря, еще

ближе стали... вот тут... душой... Близкого хочу поцеловать... я... сама... один раз только... хочу быть причастницей души вашей...

Сказать ничего не дала ему, взяла его лицо в свои ладони и как в ту ночь, когда бредил мертвою, поцеловала в губы.

Отшатнулся, дернулся как-то весь...

— Нельзя... Она только...

На карточку указал рукою.

— Она придет... Никто не смеет... На моих губах ее поцелуи живы... А теперь?.. Умерли.

— Неправда, Боря... Неправда... Еще сильнее оживут после этого...

И где-то в мозгу пронеслось и ощущением передалось на губы те краденые, когда звал мертвою и отвечал ей, целуя эту, живую, и почувствовал, что и она также его целовала, когда приходила к больному, бредящему, и губ не хотел раскрыть, чтоб утратить похожий на те, линии.

Только теперь вспомнила, о чем говорить начала перед тем, как душу выплакать.

— Боря, монастырь — смерть, а живой человек никогда не умрет...

Не ответил ей, и почувствовала, что больше нельзя говорить, чтоб не разрушить чего-то сблизившего их на всю жизнь. Пусть даже никогда не встретятся, а близость останется и оба ее вспоминать будут.

— Простите меня...

Наскоро закрутила волосы, провела ладонью по ним, чтоб тоже не задеть лежавшей на них руки, и, утомленная пережитым, сказала глухо, положив почти у самой шеи сцепленные ладони рук:

— Больше никто не узнает, что тут было и что будет.

И в первый раз за всю жизнь, засыпая, почувствовала, что дышать стало легко, что девичье все — там, ушло, отжито — осталась женщина, овладевшая своей жизнью и разумом в страстях и страданиях, и только. Быть может, один, недостижимый, близкий, своею непорочною чистотой, доведет до безумия и потому только, что первому ему и последнему обнажила душу.

Как испытание принял Борис ее исповедь, как неизбежное по воле всевышнего, и мучил его только поцелуй Фенин, не остывавший близостью другого такого же, — и еще раз захотел, чтоб во сне хоть пришла к нему и опять поцеловала — сонного, если не настал еще час к нему явиться умершею.

Каждый день приходила Феня, вечерами просиживала, и входя чувствовала, что бессознательно для него стала близкою — обо всем говорил просто, спорил даже и после того вечера ни разу не вспоминал о монастыре и в мыслях даже улетучилось, замерло желание быть монахом. Начал ходить по комнате, на повязке без лубка носил руку. Возвращались силы и желание быть ученым, профессором. Общительный стал, не чуждался Журавлевой, подруги Фениной, и снова начавших бывать у Фени студентов. На Рождество не мог ехать домой, собирался на Маслену. Дома рассказал матери, как вносили его в комнату, как потом ухаживала за ним Феня, просиживала ночи, одевая его, укладывая.

Мать только спросила:

— Какая Феня?..

— Помнишь, мама, на вечеринку за мной приезжала?.. Я еще тогда не поехал к ней...

И в ответ на свои мысли, что, может быть, она и к жизни вернет его, добавила:

— Интересная девушка... Теперь помню. А ты ее отблагодарил хоть чем-нибудь?

— Нет, мама, ничем.

Вспомнил ее, сказал тихо:

— Она хорошая...

И тень по лицу скользнула, сдвинула брови горечью.

— Что, Боря, с тобой, что?..

Из души вырвалось:

— Она меня тоже любит... Мама... Сама сказала.

— Это пройдет, Боря... пройдет.

Любовь ли Фенина или тоска о мертвой, но только что-нибудь должно жизнь изменить, потому так и сказала мать Борису, хотя в душе у ней явилась надежда, что мучается любовью этой, то значит где-то заронена искра.

— А поблагодарить ее надо чем-нибудь.

Ложась спать думала, что, может быть, и женится, если девушка эта любит ее Бориса, и захочет его любви и чтоб поддержать в ней эту любовь к сыну, искупить свою вину перед ним за умершею, решила сама ей послать подарок особенный.

Прощаясь с ним на вокзале, подала ему коробочку, зашитую в батист:

— Передай от меня, Боря, этой девушке в благодарность за тебя, только я прошу тебя, не смотри... хорошо?

Безразлично обещал матери:

— Хорошо, мама... не буду.

На Малую Спасскую возвратился — выбежала навстречу Феничка. Вместе с ним вошла в его комнату.

— А мне, Боря, без вас пусто было...

Достал из кармана коробочку...

— Мама вам прислала на память... Не знаю что... Просила меня не смотреть.

И стал корзинки развязывать.

К столу подошла посмотреть и в простой коробочке от лекарства, в вате, круглый золотой медальон с рубином на цепочке тонкой, — открыла и поняла, почему мать смотреть ему не велела — с одной стороны его карточка: в студенческом, а с другой — на маленькой бумажке написано: спасибо вам за него, милая девушка, «за него» подчеркнуто и стрелка чернилами проведена к карточке.

Посмотрела — не видит ли — и поцеловала и карточку и записку, и одела медальон, спрятав его на груди с крестами.

— Боря, будете писать маме, напишите только — будет так, как она хочет.

— А что она вам прислала, Феня?..

— Смотрите сюда.

Вместе с крестами вытянула.

— Точно знала, что я вас люблю, — посмотрите какой рубин большой.

— Я ей сказал, что любите.

— Сказали?.. Ей?..

— Этот рубин ей мать подарила, когда она стала невестой моего отца. Зачем же прятать его?..

— Чтоб теплей там ему было.

Когда засыпала, как ласку любимого чувствовала на груди медальон тяжелый и решила до тех пор, пока не будет Борис мужем ей, до тех пор никому не показывать медальон с рубином, чтоб никто не знал ее тайны, прикоснуться не смел к нему даже взглядом. Неслись в голове сумасшедшие мысли, радостные до безумства и безумные до радости, поняла, что благословила ее мать сама, невесте сына своего прислала рубин подаренный и ей — невесте.

VI.

Ночи не спала, думала, как заставить его полюбить, пробудить сердце, всего содрогнуться от любви ее, и не хотела, чтоб ту позабыл, первую, пусть останется даже навсегда к ней любовь нежная, и думала, что почувствует жизнь, проснется в нем тело и душой привяжется и станут друг для друга родными и близкими. Хотела себя всю отдать поклонению, чтоб наполнил один и грехом и любовью чистою. Когда думала, не было страшно, что родить от него придется, потому что душа стала чистою и благословила ее мать его — сама отдала сына единственного.

Когда приходили студенты в гости — к нему рвалась, одна оставалась — садилась в его комнате молча.

Слушала, как шелестит листьями, смотрела на него и думала, как разбудить сердце спящее, какою водой оживить его.

Подруженька и совет дала, Журавлева Валька.

— Ну, Фенечка, влюблена?.. Чего ж молчишь, сама вижу. А ты его окрути.

— Как?..

— А вот как: устрой вечеринку, позови к себе, немножко вином напои, а я тебе у Ивиной разживусь чего-нибудь такого, чтоб не ушел от тебя, она знает — медичка, потом и жени на себе.

— Самой?

— Если не любит, так все равно женится. У них в институте строго, как что — либо женись, либо без права поступления уходи куда хочешь... Посмотри — женится, я с Ивиной будем свидетельницами. Он ведь профессором быть мечтает... Женится...

— Не хочу я этого... Гадко...

— Твое дело. А я б его на себе женила. На днях одного горняка так-то женили. А теперь счастливы. Желторотых-то и окручивать, старый студент — птица бывалая, не поймает его.

— Ни за что...

Целый месяц мучилась Фенечка. До отчаянья доходила. Вспомнит, что мать ей разрешила Бориса, и опять как безумная мечется. Близкий был ей и перед ним была чистая — до наготы обнажила душу, и хотелось, чтоб сама

пришла любовь к нему, и знала, что ждет, другую ждет, мертвую.

Один раз спросила его:

— Боря, что бы вы сделали, если бы я не ушла от вас?

— Как?

— Осталась бы у вас в комнате?..

— Мы друзья, Феня... Близкие. Разве вы не оставались здесь, когда я лежал больной?.. Что ж такого?

— Ну, а если бы совсем осталась теперь? Что бы вы сделали? Ведь вы же знаете, Боря, что я люблю вас...

— Я тоже люблю вас... Я привык к вам. Если бы вас теперь долго не было, мне было бы скучно. Правда.

— Но я ведь женщина, Боря, — вы знаете, что мне мало такой любви... Вы мне весь нужен, всего хочу.

— И вы, Феня, знаете, что я ее люблю, умершую, и так, как вы хотите, никого не полюблю больше.

— Неправда, полюбите...

Вспомнила его слова, что и ему было без нее скучно, привык к ней, и думала, — а что, если, правда, одурманить его?.. Не женить, нет, не хотела этого... А женой ему стать, взять его, как берут девушек, и не силою, нет, а вот как студентов женят, вечеринку устроить — и все равно, что потом, а только вином его напоить. Казалось, что если узнает женщину, ласку женскую, то и останется, или с собой кончит или останется, только не думала, что с собой кончит, потому что сам говорил, что привык, без нее бы скучал один; может, и возненавидит... первые дни только, а вспомнит поцелуи горькие пересохших от страсти ее губ горячих, вспомнит телом близость жуткую и вернет ее, простит сперва, другом станет, а потом затоскует тело без ласки, греха смертного, и примирится и привыкнет к ней, а привыкнет — близкою станет по-родному, сама жизнь научит любить близкого.

Все дни неотвязно мысли в голове горели, до безумия ее доводили — не могла все еще решиться, а потом, когда разожглось тело огнем пепелящим от мыслей о близости его непорочной, и обезумела:

Журавлева опять напомнила:

— Так мы с Ивиной решили помочь тебе...

Выкрикнула горячо, возмущенная:

— Не смейте, я не хочу!.. Пусть сам!..

— Ну, это наше дело...

По-прежнему Борис безразлично относился к Феничке,

когда она вечерами у него просиживала молча, чувствовал только, что живой человек, с которым слово сказать можно попросту; и, также кончая заниматься, подолгу молился и засыпал, тоже молился и ему, и ей, быть может ему потому, что хотел ее видеть; ждал, иногда по ночам просыпался и не мог заснуть до утра, ожидая ее умершую. Иногда только мучило, что и другая любит его, ничего не требует, чего-то ждет молчаливо и спокойно, на него смотрит — и ждет. В комнату не пускать — за болезнь привык, как привыкают к любимым вещам — без них кажется не хватает чего-то в жизни, и Феничка была как вещь, но удобная тем, что одиночество разогнать ему помогает. А когда тревожный почувствовал голос — говорила, что останется у него — и самому стало тревожно, не думал, что останется, чтоб отдаться ему в темноте ночной, потому что знала, что не любит он, не думал, что без любви захочет его, и мысли-то эти носились смутными, не реальными, а где-то рождались в нем от тревоги и умирали сейчас же, не волнуя его. И все-таки бессознательно было тревожно. Нервничал. Нервность свою объяснял себе тем, что спешил сдавать один предмет за другим; и в семинариях выступал с рефератами, поразил профессию глубиной, эрудицией, внимание на себя обратил; думал, что переутомился за год, да болезнь еще подорвала силы. А начались белые ночи — еще больше стал нервничать: в призраки людей на тротуаре вглядывался, вздрагивал — все казалось, что она идет к нему, мертвая; вскакивал, подбегал к двери, слушал — не идет ли по лестнице шагами легкими, и, не дождавшись, ложился и опять в белесую муть окна вглядывался.

За два дня до пятнадцатого, когда уже лежал в постели и ждал и молился — вошла в белом, две косы без прически заколоты на темени и перевязаны белой ленточкой, — как венок сплела эти ленточки...

Приподнялся, вскрикнул...

— Ты пришла, ты?..

— Я, Боря...

— Иди, поцелуй, милая...

— Ты меня ждал?..

— Ждал, ждал...

И когда подошла близко — узнал, крикнул гневно:

— Зачем вы ночью пришли ко мне?.. Испугать хотелось?.. Знали, что ее жду, ту?..

Феничка знала, что не узнал ее, за невесту принял, и когда стал спрашивать, тем голосом, что любимым говорят, волнуясь от грядущего счастья, и ответила, подумав, что дойдет до галлюцинации и будет ее сию вот минуту, и поторопилась подойти — узнал, очнулся.

— Я свою тетрадь позабыла... Дневник мой.

— Зачем, Феня, так, зачем?..

Будто не поняла...

— Оставила его вам; Боря, на столе у вас, думала, что прочесть захочется...

— Я не хочу, чтобы вы ночью входили ко мне...

— Не буду, Боря, не буду больше...

Ушла, дверь закрыла, — разрыдался от нервности в подушку судорожно.

Слышала, как один раз всхлипнул, и остановилась, слушала. Горько было, что не любит ее, и еще острой захотелось близости.

Раскинулась на постели плашмя, вытянув под подушкой руки, и вздрагивала от томления безысходного, шептала:

— Милый, послезавтра, нет, уже завтра, завтра, моим будет... Не отдам тебя мертвой. Живая любить должна непорочного. Мертвецам до живых нет дела... Не хочу, чтоб ты умер, не дам умереть... Очнешься завтра... Воскреснешь... Вся растворюсь в твоём теле, чтоб почувствовал жизнь, меня познал. Знаю, что не уйдешь... Возьмешь мертвую, а с живой останешься... Навсегда... И ее позабудешь, ее, ее... Ты ее ждешь, а приду я к тебе и живая и мертвая, и твоим воскресением сама воскресну.

И другая мысль в голове неслась и первую погасила стремительно:

— До конца приму очищение от невинного, от непорочного его чистотой зачну... и забьется он во мне, от возлюбленного — любимый мой, единственный...

И всем телом хотела его, непорочного, и от него, чтоб до конца очиститься чистотой невинного, и чтоб само это случилось, нечаянно, а после — все равно, что будет, куда и к кому приведет жизнь, но останется с душой ясной, просветленной высшим разумом и естества человеческого и после — никто и ничто не осквернит ни души, ни тела, кому бы ни отдала его голодная, жаждущая удовлетворения, чтоб сохранить чистоту свою, чтоб не мучило оно безысходным: чье б оно потом не согревало утоляемое — чистым останется, на всю жизнь чистотой непорочною.

Как перед венцом невеста, вошла к нему вечером.

— Боря, простите мне, милый, что я вчера к вам пришла... Простите мне!..

— Я, Феня, не сержусь...

— Так слушайте, Боря. Завтра день моего рождения. Вы придете ко мне, да? Я хочу, чтоб вы пришли ко мне. Без вас мне будет пусто. Мы друзья, близкие... Я хочу, чтоб в этот день у меня был друг, со мною был... Будете, Боря?..

— Я приду. Вы тогда позовите меня.

И с утра, весь день Феничка была сосредоточенная, углубленная в себя, и только горели глаза и блуждали как безумные, точно что-то жуткое перед собой видела, не знала что только.

После обеда пошла к чаю купить сладостей...

Без нее прибежала Журавлева Валька и по-хозяйски стала смотреть, что у той приготовлено к вечеру, заметила бутылку вина, того, что Борис пил во время болезни, догадалась, для кого подруга его приготовила, и торопливо стала снимать колпачок, чтоб не испортить, откупорила, всыпала порошок и с трудом пробку вдавила, и снова одела колпачок, думая, что если Феничка и узнает потом — не будет сердиться.

Вслух подумала:

— Ломается девка!.. Не смей, не хочу, а сама ждет небось, что поможем...

Потом Журавлева достала поесть себе, уселась на диван с ногами и сказала вслух довольная:

— Всегда у ней найдешь чего-нибудь вкусного.

Кто ни приходил к Феничке, всегда уходил сытый, и все знали, где лежит съедобное; никогда не закрывала дверь своей комнаты, не застанут ее — ждут, голодны — достанут, что под руку попадет, и угощаются без хозяйки.

Вернулась Феничка...

— Ты что тут делаешь?..

— Проголодалась, закусить капельку.

— Давай лучше закуски готовить на стол. Помоги мне.

К семи, по-торжественному собираться стали.

К семи и Борис возвратился, принес цветов, в коридоре его Феня встретила.

— Что это?

— Цветы.

Не захотела показывать ни Журавлевой, ни Ивиной.

— Боря, можно, я поставлю их у вас в комнате?

— Почему?

— Не хочу, чтоб видели, чтоб знали, что от вас они. Для меня особенное, они должны быть такими же чистыми, как вы, а когда уйдут все, я их к себе принесу.

— Как хотите, мне все равно.

Не знал сам, почему выбрал Феничке те же цветы, что в гроб положил невесте — нарциссы с тюльпанами белыми.

На столе у него поставила подле ее карточки в широкой миске.

— Как хорошо им тут?.. Правда, Боря?.. Ну, пойдете теперь ко мне.

Посадила с собой рядом.

После чая достали подружки вино с закусками.

Земляки обрадовались.

— Да у вас, Феничка, по-настоящему... Вино даже.

— А горняк, горняки все пропойцы...

— А я даже хотел вместе с конфетками и ликерчику принести какого-нибудь, думал, что барышня, значит на сухую, по правде сказать не хватило денег. Ликер ведь, господа, можно дарить, правда?..

Засмеялись над ним курсистки.

— Продают же конфеты с ликером. Я и хотел: конфеты отдельно. Что ж тут смешного?

Металлург, политехник — одной профессии с горняком — собутыльники...

— Садитесь-ка поближе, коллега, а то мне одному теперь скучно будет.

Начали бутылки рассматривать.

Феничка от них взяла одну.

— Эту бутылку я не дам.

— Почему? Запретная?

— Это для Смолянинова, для Бориса. Он другого не пьет, а это ему доктор даже прописывал.

— Лечебное... отдай, Вася. Мы с тобой, брат, лечиться другим будем. Я себе, Вася, вот этого, его же и монахи приемлют, — не наши, брат, не российские, а заграничные, наши казенку гонят. Ты погляди на нее только, Вася, — низенькая да пузатенькая, только лысины не хватает, а то совсем на святого отца похожа.

Налила Феничка Борису лечебного. Другую налить хотела...

— Феня, не буду больше...

— Нельзя, коллега, нельзя никак — захромаете... Это

ж лекарственное. Здоровье дороже всего, обязательно лечиться надо.

С шутками, с прибаутками, с тостами под разным соусом заставляли Бориса пить.

На все шутки отвечая спокойно, говорил мало, пил — сначала язык вязало, а потом и сам не замечал — понравилось и пил, когда наливали. Незаметно и голова пошла кругом, и тело ныло непонятным желанием, и приятно было, что рядом сидит не чужая, а друг близкий.

Под конец даже песню пел студенческую со всеми.

И в десять заторопились Журавлева с Ивиной, домой собираться стали, компанию горняку нарушили. А за ними и другие поднялись гуртом.

Стали из комнаты уходить, шепнула Борису Феничка:

— Боря, милый, вы обещали мне после всех остаться, посидеть вдвоем... Не уходите к себе... Я сейчас... Провожу только.

В передней одевались, галдели.

Подруженьки — с поцелуями попрощались, студенты — за руку.

Вернулась в комнату, сгребла со стола все в кучу, достала из комода коробку с конфетами.

— Это только для вас, Боря... мои любимые... И вино это, тоже мое любимое, как апельсин — душистое.

Молчал... Блуждал глазами широко открытыми... о чем-то думал.

Села к нему на диван, рядом, близко.

Машинально конфеты брал и так же машинально, не отказываясь, пил вино.

— А помните, Боря, как сидели мы на хорах, в дворянском?.. Помните?.. И теперь с тяжелым зерном снопы лежат у висков... Помните — волосы... рожь спелая... И вся — благодатное лето — Лена...

Вспомнила тот вечер, когда познакомилась с ним, и еще ближе придвинулась, прилегла к плечу. Не шевельнулся — только тело плыло куда-то, и глаза стали ярче. Пить перестал. Не был пьян, а то опьянение, что от вина еще оставалось лечебного, в страшную и приятную тошноту перешло. Мысли бежали отчетливо, но так быстро, что ни одну уловить не мог.

— Боря... ведь я вас люблю, милый...

И замолчала: противно было смотреть на бутылки, на рюмки, на закуску оставшуюся, на объедки и не знала что

делать. Знала, что только сегодня это должно быть, и не хотела здесь, в своей комнате.

Вспомнила, как ездила к себе на вечеринку звать и как противно звякали бубенцы, когда возвращалась обратно, и чувствовала, что время проходит, тревожно поглядывала на него и ухватилась за одну мысль, — вспомнила, как говорил про ее волосы — вокруг головы двумя косами венком положены — и одним движением развернула прическу, волосами коснулась его щеки...

Взяла его руку...

— Попробуйте, Боря, один раз вы гладили их, помните?..

Тяжело и упрямо отдернул руку.

Быстро заплела в две косы, обвила ими голову и вместо ленточки белой стеблями цветков на темени закрепила, и мелкие листки торчали, как венки.

— Смотрите, Боря...

Вздрогнул и отодвинулся.

Хотел подняться — ослабели ноги.

— Я пойду, Феня... Помогите мне...

Все оборвалось в ней, мелькнуло, что все потеряно.

Помогала идти также, как в первые дни, когда ходить стал по комнате после вывиха.

Привела, посадила в кресло.

И упавшим голосом спросила его:

— Хотите, я вам помогу?

Утомленно ответил ей:

— Помогите, Феня.

Раскрыла постель, помогла раздеться с тем же чувством, как и больного укладывала.

Лег, и разлилась истома тошнотная и еще сильней заняло тело, глаза широко раскрыл блуждающие.

Пошла к столу потушить лампу, вспомнила про цветы, взглянула и вся рванулась с отчаянием — в пропасть кинулась.

И в темноте, хватаясь за стол, все сбрасывала с себя.

Босиком, в рубашке одной, держа за плечики пальцами, чтоб в один миг и ее сбросить, подошла к Борису.

Сил не хватило сказать громко, прерывистым шепотом:

— Боря...

Взглянул, посмотрел дико.

И опять, как в тот раз:

— Это ты? Ты? Лина?..

— Я, Боря...

— Ты пришла?..

Ничего не ответила, откинула с плеч руку и к нему бросилась.

Без слов, молча, замерла с ним, всем телом ответил ей, и у обоих сердце зашлось, дышать стало нечем.

Потом только шептал:

— Моя теперь?.. Да?.. Пришла, да?.. Пришла?.. Моя?..

И в белесую ночь сплетались, как призраки, пока не обессилели...

А когда у Бориса в голове стало ясно и он сквозь сон почувствовал, что не один, а кто-то другой с ним рядом, открыл глаза и в один миг отдернулся.

Утомленные упали руки, немного пошевелинулась, подушку схватив пальцами, и не проснулась.

Вскочил с постели и от ужаса не знал что делать.

Взглянул на окно, на карточку, на цветы и остановился на иконе и все это в один миг, точно беснующая мысль какая-то искала на что опереться.

Сжался весь...

— Покарал меня, господи... Иду, иду...

И захваченный одной мыслью, подавившей его до глубины всего, наскоро одевался, хватал что попало, в корзинке рылся, скатал в простыню часть белья, высыпал из корзинки все на пол, положил скатанное, открыл все ящики в столе письменном, рылся, разбрасывая все по полу и по столу, схватил карточку и, точно обознавшись, подбежал к иконе, снял ее, положил в корзинку, закрыл и ушел из комнаты, опустив глаза.

В восемь прибежали подруженьки, молодых будить, вбежали в Фенину комнату, на столе — ералаш, постель не тронута.

— Валька, где ж они?

— У Бориса... там... пойдём.

Вошли — разбросано все, подле стола под бумагами платье и белье Фенино, а на постели — ничем не прикрытая, сжавшись в комок — Феня, и только на подушке с груди сполз золотой медальон с рубином и крестик с иконкою.

— Тут драма, — уйдём, Валька.

И на цыпочках ушли молча.

Проснулась, не нашла любимого и, взглянув, поняла, что кончено, навсегда ушел, вспомнила про монастырь и решила, что он не покончит с собою, будет каяться.

Села на постель, подняла с полу рубашку и, не одевая, просто прикрылась ею и, тяжело переводя глазами с одной вещи на другую, думала: будет у ней единственный или нет? И, когда телом вспоминала ночь жуткую, блаженно улыбаясь, шептала:

— Будет... будет... будет...

VII.

И через весь город, пешком, с корзинкою, почти бегом, точно кто по пятам за ним гнался; у разведенного моста дождался. Солнце такое же белесое, как Петербургские ночи весной раннею, из-за Невы выкатывалось.

На Николаевском у закрытой кассы простоял, и когда завозились кассирша — очнулся и тут только вспомнил, что уезжает, а куда — не знал — в монастырь, а куда — все равно. И вспомнилось, как называла Фенечка, — в Белые Берега, в пустынь, в лес темный.

И что про монастырь говорила — тоже вспомнил и подумал, что где искушения больше, где соблазн, там и быть ему, иначе не покаяться, не достигнуть обители торней, чтоб к ней придти.

— Вам куда?

На несколько станций дальше билет взял и обрадовался, что не узнает ни отец с матерью, ни она — Фенечка.

И только в вагоне ослабел. Все тело разбитое ныло и холодная дрожь пробегала от спины к ногам и рукам, и душно было, каждый мускул еще жил жутким ощущением жаркой близости. Минутами тошнота вставала, и пересохшие губы слиплись, и во рту было горько от перегоревшего вина и полыхнувшей на один миг страсти, когда без его желанья, без его воли выпило тело тайну естества женского.

Входили и выходили из вагона и в вагон, на каждом полустанке останавливался поезд, забирал почту и без конца тянулся по стреле стальной до Москвы. И не сон, не дремота, а забытье укачивало Бориса. Так же быстро и неуловимо неслись мысли, ни одной схватить не мог, и только в сознании было ясно, что кончено — молиться, каяться, а неощутимо где-то вставало — после этого не придет, никогда не придет ко мне; не исполнил предначертанного богом и потерял ее на земле — свою невесту.

От нервного напряжения ничего не ел; в Москве на Брянский вокзал шел пешком и, покачиваясь в вагоне

накуренном, всю ночь ожидал второй пересадки — последней.

В сознании только было, что теперь близко к пристани тихой.

По лесу с гулом подошел пассажирский к платформе, высыпал богомольцев, даже монах со звоночком с кружкою не успел пробежать подле всех вагонов.

И когда уехали линейки, нагруженные богомольцами, подошел к монаху.

— Скажите мне, как в монастырь пройти?

— Ступайте за богомольцами, догоните...

Солнце встало весеннее, и в лесу от сосны пахло ладаном.

Взяли ноги в песке, кружилась голова от того, что не ел ничего второй день, и, тяжело ступая, цепляясь за корневища, еле донес до гостиницы корзинку.

Тянулись от ранней бабы, в платочках мешаночки, в открытые окна гостиницы выглядывали горожане, и за колонной на деревянной скамье с барышнями дачными сидел послушник кудреватый.

Не зная, куда идти, как спросить, подошел Борис к послушнику.

— А тут в коридор направо, к гостинику...

Корзинку оставил в номере, сошел вниз и от волнения нерешительно пошел к святым воротам.

Рассматривал на белых стенах у ворот святых живописание братии — господни страсти и в воротах воскрешение Лазаря, и закружилась голова, добрал по стенке в монастырь и опустился на скамейке, у окна.

Выскочил долговязый привратник — Васенька.

Догадался, что не в себе человек...

— Что с вами такое, что?..

— Голова кружится...

— Водички испить надо, испить водички... Это бес, это он мучит; утолите жажду водичкой, облегчение будет.

В деревянном корчике принес желтоватой воды студенной...

— Сокрушает бес немощ брэнную...

— Да сокрушает...

— Во дни, яко тать, по следам крадется, а в нощи плоть мучает, мучит наваждениями сатанинскими... Постом и молитвою, послушанием господу изгоню беса.

— Изгоню послушанием, изгоню его постом и молитвою...

— Разумные слова слышу от мирянина, от души юной господня мудрость. Порадейте о господе — изыде бес полунощи.

— Молиться буду... буду, батюшка.

— Да вы сами-то откуда изволите прибыть в обитель нашу?.. Сами-то кто будете?..

— Студент.

— От сициализма в обитель спастись пришли?.. Видели мы их, видели, яко бесы налетели в нощи, надругаться хотели над пристанищем скорбей человеческих. А все он, все он... вот те и Николушка?.. Разве помыслил когда, что он сохранит братию, обитель от поругания нечестивых. Игуменом выбрали соборне...

— Я к нему хотел... Где его видеть можно?..

— По хозяйству печется, о братии... до всего сам... Не думали, что заступника и радетеля, по воле господней, обретем в Николушке... Скудоумный был послушник, бес его мучил во образе отроковицы блудной, говорил когда еще: Феничку — веничком, Феничку веничком изгони...

Вздрогнул Борис, передернулся, широко открыл глаза на монаха.

— Какую Феничку?..

— Дракину, Бакину, Гракину. Со змеей жалящей обвилась, с ядом брызжущим... Не послушался... Принял от нее мучение... бог покарал пса блудного...

— Бог покарал, бог... Пса блудного. Воли его не исполнил...

— Через нее муку принял мученическую...

— Через нее, через Гракину...

— Гракина, Гракина, Гракина... она змея жалящая... До подвала его довела... И меня, меня... Она утопить хотела.

— Кто, Гракина?

— Она, она, Гракина... Сохрани, господи, на путях своих грешного... успокоил душу у врат святых и Николушку покарал господь и призвал к себе, возлюбив, яко жену блудную, в немощи брэнной соделал подвижника достойного обители блаженного старца и пустытника Симеона, основателя Белобережской пустыни. Перст господень и воля его, всевышнего почил на Николушке — игумен теперь, к нему ступайте, смиренномудрый инок обители нашей — брат достойный... К нему, к нему идите. На порожках у кельи его посидите... вон там за семью столпами, подобием семисвечнику в господней скинии.

Убежал Васенька в келью радостный, что указал путь праведный грешнику и в келии бормотал еще:

— На всех путях указуешь ми, господи, твоей десницею... Слава в вышних богу и на земли мир, слава в вышних богу и на земли мир...

Все еще не решался пойти к игумену, по монастырю бродил, от усталости и голода пошатываясь, на задний двор забрел на пекарню, за трапезную, и потянуло щами горячими, хлебом свежим. Ухватился за перила и упал на порожках, что на кухню вели в трапезную.

Ввалились глаза черные, почернели глазницы и плавали перед глазами круги красные.

Монашек сбегал в погреб с лестницы, впоспехах чуть не наступил на него.

— Чего тут сидите?

Только дышал тяжело, не мог ответить.

— Никак плохо ему?..

И побежал на кухню сказать братии:

— Отцы, там на порогах в епалетах какой-то... приключилось с ним что-то...

Выбежали, собрались в кружок, на руки подняли, принесли в кухню. Холодной воды из корца дали выпить — открыл глаза, прошептал заикаясь:

— Дайте кусок хлеба... Не ел два дня.

Сзади шептались:

— Костюмчик, поглядеть, новенький, из господ видно, а не ел два дня... Постится, может...

Квасу ему принесли в корце и кусок хлеба, солью посыпанный.

— А вы его с кваском... Вкусней будет.

В первый раз в жизни с благодарностью хлеб принял. Силы вернулись — пошел игумена дожидать на порожках у семи колонн двухэтажной кельи каменной.

Феничку вспомнил, потому и вспомнил, что и ее тут помнили, Васенька помнил и, должно быть, игумен ее знал хорошо. Вспомнились слова Фенины, что он, монах, Николаем зовут, увел ее в лес, в лесу сколько дней мучил, и не поверил теперь ее искренности, после ночи жуткой, когда сама к нему пришла и взяла его, непорочного. Думал, что не он, а Феничка закружила голову, соблазнила своей красотой инока. И с иным уже чувством ожидал игумена Николая.

Выбежал послушник белобрысый к нему, заметил из

покоев игуменских, что неподвижно сидит какой-то человек молодой с пуговицами ясными, и выбежал.

— Дождитесь кого-нибудь или так сидите, так сидеть возле игуменских покоев не полагается.

— Игумена ожидаю, отца Николая.

— У нас игумен отец Гервасий.

— Отец Гервасий? А как же мне у ворот один монах сказал, что Николай?

— Какой монах?

— Вон там... из той двери вышел, что направо у ворот...

— Васенька?.. Да?.. Так он больной у нас, немощный... Блажененький... Разве он знает что?.. Он все притчами говорит про искушения.

— А я знаю, что он правду сказал.

— Ошибаетесь... У нас игумен отец Гервасий. Я послушник игуменский, — уж мне ли не знать?

Спутались у Бориса мысли, — послушник игуменский говорит, что Гервасий, а Васенька про Феничку рассказывал и Феничка про того же говорила монаха, и оба Николаем его называли.

— Все-таки, если видеть хотите — либо в покои пожалуйте, либо сойдите с порожков — нельзя тут сидеть — мне ведь придется за непослушание бить поклоны...

В покои не пошел, спросил белобрысового послушника.

— Когда он будет дома?

— К повестке ударят на трапезу, потрапезует с братией — вернется домой. Вы бы в трапезной подождали, там вам его укажет каждый.

И на трапезную не пошел, в трапезной на порожках сел с богомольцами.

— Чево ж вы, господин, на трапезную не идете?..

— Не хочу.

— Это нашего брата туда не пускают, а господам не то што поглядеть, как братия кушает, а и за стол сажают и пища у них — куда лучше, нашему брату абы живот напихать, приносят наши же мужики в странноприимную... а то б на гостиницу шли, там тоже дают, чего за трапезой, а не застанет — ничаво потом не дадут, такой порядок. А сами-то вы чей будете?.. По службе палеты носите, либо так, сами по себе?..

— Нехай его, Машка, сидит, — чего лезешь? Сидит человек и пушай сидит, чего тебе от него нужно?

— Спросить нельзя што ли ча?..

Не хотелось говорить, волновался перед встречей с игуменом, поднялся и пошел к старому храму и навстречу ему старичок сухенький, борода у него белая длинная, сухенький старичок, росту среднего, глаза тихие и не строгие, тишина в них ясная.

Решил подойти к нему.

— Скажите, батюшка, как зовут игумена?

— Гервасием... а вам на что?..

— Как же мне, у ворот вон там живет монах один, — сказал, что Николаем.

— Это Васенька вам сказал?.. Да?.. Он его до сих пор зовет Николаем.

— Почему?

— Не знаете еще?..

— Он говорил мне что-то про Феничку... А потом...

— Поговорка у него такая: Феничку — веничком, Феничку — веничком... А только, правда, звали его Николаем, когда послушание нес, принял постриг — стал Гервасием... А вы что к нему? Дождидаете?..

— Можно, я вам скажу?..

— Мне все можно... старый я — все видел, о всем слышал. Мне можно...

— Господу себя посвятить хочу. Монахом быть.

— Эх-хе-хе-хе-хе... Знаете, что я вам скажу?.. Молоды вы... Совсем юноша... И облик-то ваш — непорочного... Как в писании есть — отроча непорочный, и вы тоже... Зачем вы хотите к нам? Не жили, а в монастырь?.. Плохо, когда отсюда потянет в мир... Тогда плохо... Побудет, поживет и уйдет опять. И вы тоже уйдете. Монахом быть — великий подвиг.

Задумался, пошевелил над рясофором рукою, точно остановить хотел Бориса, и улыбка разлилась добрая, и глаза засветились ласково.

— Скажите мне правду... Как на духу перед господом... Почему вы к нам пришли?..

— Невеста умерла...

— Невеста умерла?.. Девушка?.. Непорочная?.. И душу перед ней непорочную сохранить хотите? Не для господа, а для ней?.. Для ней и телом хотите непорочным, отроче, остаться?..

В душу смотрел; от того и видел, что жизнь прошел, а потом пришел к господу и жизнь стала незваною. Живым в небытии пребывай к старости, а жизнь понял и человека — старцем стал, в небытии своем принял душу каждого

и опыт пути жизненного раскрыл сердца человечески.

— Уходите в мир, обрящете жизнь новую, а если приведе и вас десница господня сюда, тогда и оставайтесь тут, тогда и господь вас примет в свою обитель.

— Я не уйду отсюда.

— Разве я гоню?.. Хлеба всем на земле хватит, и тут тоже. Ступайте к нему, к игумену, братия потрапезовала — расходится...

Шагал широко, рукой отмахивал хозяйственно, когда шел из трапезной, рясофор раздувало ветром. Ни на кого не смотря пошел в покои.

Подошел Смолянинов к семи столбам каменным, на порожки взошел и заглянул в окно.

Опять белобрысый выбежал.

— К отцу игумену?.. Пришел, только сию минуту пришел, сейчас доложу, — а как сказать про вас?

— Скажите — студент Смолянинов.

Через минуту выбежал и повел в приемную.

В скуфейке, в подряснике, с четками на широких руках, с тем же взглядом жадным, выпрашивающим и с поредевшими в кольцах кудрями спросил нараспев бархатно:

— Ко мне изволите?..

Вспомнил Борис, как еще учили в гимназии под благословение подходить, руки складывать, и подошел к нему.

— Благословите, отец Николай...

Не запомнилось имя Гервасий и назвал тем, что от Фенички слышал и напомним Васенька.

— Почему Николай?..

Даже вздрогнул немного и четками передернул нервно.

— Простите мне... отец... Гервасий...

— Кто вам сказал, что Николай?

Почувствовал Борис, что за живое задел и правду говорить боялся и лгать не хотел.

— У святых ворот мне сказал...

— Васенька?.. Да?..

Зло спрашивал и бархат исчез в голосе.

Не знал сам почему, добавил тихо:

— И Феничка...

— Я не знаю никакой Фенички...

— Гракина...

И, наступая на него, злым шепотом:

— Посланцем вас прислала?.. Вспомнила?.. Ну, скорей говорите, что ей от меня нужно?

— В монастырь примите...

— Кого?..

— Отец игумен, меня, меня примите...

Ничего не соображая, глаза вытаращил на Бориса, потерялся даже...

— Вы ко мне не от ней?..

На колени упал перед игуменом.

— От ней, от ней... сюда убежал от ней...

— Как?.. Бежал?.. От ней?.. Ко мне?..

И тоже ничего уже не соображая: от волнения, оттого, что каждый о своем думал и про свое говорил — не выдержал Борис: голода, утомления, всего пережитого, быть может, всего только одно мгновение, когда проснулся, увидел ее подле себя голую и все понял, говорил с выкриком, истерично, переходящим в слезы:

— Напоила вином... пришла к пьяному... со мною была... Бог покарал... меня... за нее... за мертвую...

Слушал Николка и в голове мелькнуло, что сперва выгоняла, а теперь от самой бегут, и захотелось знать про нее и любопытство разобрало про этого узнать, про кающегося, и довольный, что теперь от нее бегут, тем же баритоном бархатным сказал ласково, надеясь, когда нужно, спросить подробно не у студента, потому может студент и не скажет, а у послушника, тогда заставит его говорить до мелочи, как игумен.

- Что же вам нужно?..

Господу послужить примите...

Довольный, что на коленях стоит перед ним, ласково:

— Имя как?

— Борис...

— Фамилия?

— Смолянинов.

— Живите в гостинице... Пока, как гость будете в пустыни...

— Примите меня, примите...

— Видите, принимаю вас... Молитесь владычице... Молитва и пост... А потом — послушание, ибо послушание паче поста и молитвы. Послушание вам отец гостинщик установит — в гостинице будете мирянам нести его... Да благословит вас господь на подвиг трудный.

И с удовольствием широким крестом благословил Бориса.

ПОВЕСТЬ ПЯТАЯ

ОБИТЕЛЬ ТИХАЯ

I.



адежных трепачей проводить послал инженер Дракин, таких надежных, что с глаз не спускали Николку.

К Белобережной платформе подъезжать стали, забеспокоился Николка, всю дорогу хорохорился, а Мылинку проехали, запахло монастырскими щами да плесенью подвального храма скитского — присмирел, как волк травленный на мужиков смотрел.

— Вот и приехали, теперь уж я и один дойду.

— Нет, отец, проводить велено.

А Нестерка веселый мужик, в семье у него ребят шестерка, а придет — каждому скажет присказку и тут тоже:

— А письмецо-то позабыл, отец?! В нем-то и собака зарыта поповская, то бишь — монашенская...

— Я его сам отдам отцу игумену.

— Шалишь, отец... Ты его по дороге с потрохами слопаешь — оскоромишься, тогда нам ответ давать богу. Погодка-то правда не ахти какая, променаж не завидный, да и компания не важнецкая, а идти надо. Я ж тебе сказывал: анжинер-то у нас — сурьезный!..

— Сотню отдам... новенькая...

А Игнат себе давай:

— Ай и вправду пустить его?..

— Пустите... Вот она.

— Только по такому делу на двоих сотню маловато нам.

— Дал бы, да нету — последняя.

— Коли последняя — береги, на маслице пригодится...

— Я еще поищу...

— Все равно не хватит, отец, — пойдем лучше. Сказывай, куда идти?

Не по дороге, Николка пошел, а по тропиночке, хотел напрямик, чтоб не встретить кого.

Покосился Игнат на Нестерку, моргнул на Николку...

— Дороги-то у вас ай нету?

— Тут ближе.

— Ты лучше по дальней, верней будет, а то еще заведешь куда — в болоте утопишь. С тебя станет.

Уперлись трепачи — и ни с места.

И пришлось сворачивать на проторенную. Шел — по сторонам не оглядывался, не оборачивался назад — за полчаса долетел до построек дачных.

Дачники не успели съехать еще, в оконушко поглядывали мамыши с дочками.

— Ишь ты, у вас какие тут бабочки... Ты тож тут разлакомился на нашу барышню?! Должно, жила летом?

Как на грех крутился подле дач Васенька, бесов заклинал полуденных перед окнами.

Увидал Николку...

— Николушка, да ты вернулся?!.. Отцом дьяконом не захотел быть?!. Что ж ты это так?!

— Ведем его.

— Ведете?.. Немощный он, братцы, немощный, одолел его бес полуденный... Куда ж ему одному-то?

Понесся в монастырь оповестить братию, что-де отец дьякон вертается, и не один, с провожатыми.

Подле гостиницы Мишку встретил... подбежал... шепотком:

— Что я тебе скажу-то, Мишенька, — Николка вертается, ведут его мужики какие-то... Чудеса господни. Пойди погляди... сейчас придут.

Высыпала братия на крылечки у келий посмотреть на отца дьякона.

Через святые ворота прошел — заготовала братия:

— Не вытянул отец дьякон?.. Не хватило духу?!

— Пузырь у него лопнул...

Подходить стали к покойм игуменским...

Игумен на крыльце стоит, — Савва.

Маленький старичок, кругленький, глазки бегают, выпрашивают, бровки седенькие сдвинул и глазки стали буравчиками.

— На поругание диаволу святую обитель захотел отдать, на посмешище?! Ты погляди, погляди, что содеял?!

Ручками размахнул в стороны.

— Иди ко мне, иди... сатана во образе иноческом... Иди...

В покои засеменял старенький, и мужики за ним с Николаем.

— А вам что надобно?..

— Велено к вам, преподобный отец, предоставить вот этого. Инженер приказал наш... Дракин... И письмецо от него передать лично.

— От благодетеля нашего... раба Дракина?!

— От него... самого...

Достал Игнат из-за пазухи конверт со штампом — канатное и трепальное заведение инженера Дракина — и вручил игумену.

Благоговейно старенький прочитал штамп жирный.

Ручки костлявые задрожали, когда сверлил глазками почтовый лист.

Писано: «Ваше преподобие! Препровождаю к вам с надежными людьми вашего инока, послушника Николая, опорочившего мою племянницу и явившегося ко мне в качестве ее жениха. Не желая делать какие-нибудь нарекания на обитель, препровождаю его к вам лично. Зная, как вам было бы неприятно, если бы я его вручил епископу, отправляю к вам и надеюсь, что вы взыщите с него по заслугам. Мог бы просить епископа отправить его на покаяние в Соловки, чтобы навсегда освободить свою племянницу от опасности снова быть оскорбленной этим иноком, но, опять-таки, не желаю делать вам неприятного и надеюсь, что вы сможете внушить ему надлежащим образом уважение и к девушкам, и к иноческому чину, чем и обезопасите не только мою племянницу, но и других. Примите от раба вашего на украшение обители посильную лепту. Инженер К. Дракин.»

Вложено... Петруша новенький.

Слюной забрызгал Савва немощный:

— Я тебя... в Соловки... в Соловки... на всю жизнь... в подвале сгниешь, пока не покаешься вседержителю...

Всю жизнь тебе каяться!.. Слышишь ты, скудоумный?.. Слышишь?! Благодетели наши радеют за нас, а ты?! Спасает от позора благодетель наш и братию, и обитель, и меня недостойного, а он что?..

В ногах ползал Николка, упираясь в пол ладонями и, чтоб сохранить про черный день сотенную, в кулак зажал ее, и когда Савва обратился к трепачам — под подкладку ее засунул в скуфейку и другую ладонью в пол уперся, придерживая скуфейку пальцами.

— Не ели небось, бедные?! К отцу эконому ступайте, на трапезу... Монашек вас проводит мой...

Про Афоньку вспомнил, про келейника своего...

— Ах, ах, ах!..

И визгливо позвал келейника нового, белобрысого Костю:

— Отцу эконому скажи, чтоб получше накормил, слышишь... С дороги они... получше... К гостинику потом проводи, не в людскую чтоб... пусть номерок даст почище... в новую...

— Ответ, что ли, какой будет хозяину?..

— Повремените до завтра... всенепременнейше ответ завтра будет...

Ушли трепачи надежные к отцу эконому трапезовать ущицей наварною...

Пригнулся даже к Николке Савва:

— Афанасия моего куда дел? Куда? Говори! Слышишь? Его тож привезут?.. А?!

Злым огоньком сверкнул на игумена.

— В полюбовники пошел к купчихе... Устроится. Тот не пропадет теперь... У него талант... тут-то...

И рукой показал, где талант обретается у Афоньки игуменского.

Рассвирепел Савва:

— Смеешь ты, пес блудливый?! В скиту сгною! В подвал упрячу!.. О, господи, за что наказуешь мя, раба твоего?!

Разжигало Николку зло и за позор принятый перед братией, на всю жизнь посмешищем быть с кличкою, а напомнил про Афоньку ему игумен Савва — озверел.

Еще ниже пригнулся Савва и костлявыми руками по щекам Николкиным — досиня, до подтеков старые пальцы сухие врезывались, пока не вернулся белобрысый келейник.

— Отца Ипатия позови скитского.

Высокий, сухой, жилистый, костистый, с отвисшими

подтеками под глазами, кривой, сумрачный, с выбитым зубом, горбоносый, борода седая поросла плесенью зелено-желтою — вошел в клобуке, сдернул его на плечо, бухнул игумену лбом об пол — Ипатий.

— Возьмешь этого на исправление — будет в твоей пребывать воле. Епитимья — из скита ни шагу, в ризнице нижнего храма каменного молиться будет, ключ при себе держи, — от полунощницы до вечерни пусть молится, после трапезы воду и хлеб относить будешь, лампад возжигай ему перед вседержителем, ночью у тебя на досках в холодной.

Николке свистящим шепотом:

— Сорокодневная...

Тут только и жутко стало.

А вспомнил про Ипатово непотребство — взвыл дико.

— Он!..

— Строгий молитвенник. Молчи, пес! Иди.

И сокрушенно вздохнув, пошел Савва писать благодетелю.

Опять под выкрики через весь монастырь шел Николка в скит за Ипатием, только и была отрада — на груди вместе ладонки полтора ста целковых зашито пятерками и тройками — двугривеннички выросли, да в скуфейке сотенная засунута.

Одно оконушко с землею вровень — и свету в ризнице, за переплетом железным на четверть стекло почерневшее; а с потолка падают звучно на каменный пол капли, то в одном, то в другом прозвенит месте.

— Молись, кайся!..

Лампадку зажег, ключами звякнул.

— Молись...

Не слышно было, как и засовом загремел снаружи.

Сколько лет Ипат после каждой обедни: ранней, средней и поздней песнопения возносил владычице за молебствиями, басом тянул гнусаво в нос, чтоб в дырявый рот не присвистывать — пресвятая богородице, спаси нас...

Втроем пели молебное: басом Ипатий, иеродиакон Памвла — тенорком сифилитным и тоже в нос, да вторил Евдокий — бочка, как огонь рыжий, и морда, опухшая от казенки, тоже красная, а сам — в три сосны не обхватить брюхо, не помнит сколько лет как и ног не видал под собою.

Пели втроем и дружбу водили трое.

И у каждого своя немощь, каждого искушает бес по-

своему: соблазняет Ипата зад Евдокия, и обед отдавал ему свой с трапезы, лишь бы вечером — укротить беса; а Евдокий по завету Онана праотца — до изнеможения в одиночестве.

Памвла — в обители промышлял у богомолков, что из деревень к троеручице приносят гроши медные. С молоду наскочил в лесу на такую, что из села сходом выгнали, — пошла по монастырям кормиться-странствовать и понесла немощ страдную... С тех пор и нос провалился у Памвлы-постника и фальцет гнусавый стал вместо тенора.

Тоже вечером прибежал к приятелям позабавиться, историйку рассказать скоромную. И каждый вечер зимой да осенью про божественное, про жизнь иноческую.

Шепотком про Ипата с Евдокием говорила братия, и Николка слышал, потому и возопил гласом велием, когда игумен в полную волю на исправление послал к нему.

А перед этим случай вышел такой — поссорился Ипат с Евдокием, тот ни каши ему, ни щей, а Евдокий и решил проморить старика — не заходил вечером. Ипат и решил испытать Николку.

После вечерни привел его, тот от сырости за пять дней кахи да кахи:

— Жизнь загубить вздумали.

— Я б тебе облегчение сделал, каб ты помог моей немочи. Так-то, подумай...

И до ранней его не будил, дал выспаться.

По осени и без того солнце встает поздно, а от болот туманных — совсем темно. Никто и не заметил, как повел Николая Ипатий не перед полуношницей, а перед ранней и ватник ему свой дал зимний.

Вечером чуть темнеть стало — Николку из храма вывел.

— Пойди погрейся, чайку выпей.

Чайку попили, Ипатий свое — задабривает:

— Каша там у меня осталась, поди доешь, повара дали лишнего.

Николка с разгона спросил, не думавши:

— Будешь на Полпинку пускать к бабам?

Вечера-ночи темные, скит на отлете, в лесу-бору темном, все тропинки исхожены — не заблудишься.

— Буду. Уговор только: попадешься — твоя вина.

— Ставь для почину казенную.

— Откуда я тебе теперь возьму?!

— Воона!.. Погляди за троеручицей — найдется, может. Икона-то чудотворная.

А в святом углу в два ряда иконы, а за одной — потайной шкафчик вделан, как дверцы ее отвори — монополия.

Покряхтел Ипатий, нечего делать — плоть немощна, дух слаб — и достал из-за троеручицы казенную.

Выпили, закусили... Ипатий только для виду, а Николка выдул дочиста, хоть выжми.

В кладовушку Ипат его не послал — оставил в келии, огонь загасил и прилег прочесть наставление иноку, аки подобает в послушании пребывать в обители...

Беса укротил, смирил немощную плоть, на молитву встал к полуночи, а Николка ворочался долго и, засыпая, мечтал о Полпенке вождеденно, солдаток вспоминал безмужних, куда и раньше хаживал с Мишкой да с Афонькою.

Возле скита, в избе на отлете к монастырскому лесу, — одна живет, а прибегут иноки утешаться вечером, на деревню добежит подружку кликнуть. И огурчика, и селедочки, и колбаски, и водчонки — всего чего хочешь принесет из кладовки и любовью потешит иноков — продврявит к весне карманы монашеские.

Вспомнил Николка про баб — ладонку на груди пощупал и в кармане скуфейку попробовал — и попросил Ипата как-нибудь Мишку к нему прислать.

Поменялся Ипатий с Николкою: оставил его на своей постели, а сам после молитвы полунощной в кладовку на доски. И наутро его не будил, а спросят — решил сказать, что занедужил в сырости. Пищу ему приносил свою с трапезы, упрасивал поваров дать побольше, — принесет и себя не обидит, и Николка сыт.

Игумен спросил Ипатия:

— Кается Николай?..

— Чего-то раскашлялся... должно простыл от сырости... сколько дней не вставал. В келию его замыкаю, там молится.

— Жалостливый ты старец, отец Ипатий... В твоей воле — тебе отвечать господу.

Мишка прибежал вечером...

— Тебе что, друг милый?

— Приходи завтра, пойдем на Полпенку...

— Ладно. Только я тут одного попики прихвачу еще... Компанейский человек. На исправление в обитель прислан.

— Так и Васеньку прихвати — потешимся.

И в первый раз загоготал — старинку вспомнил.

II.

И в монастыре сыскались попу приятели — иноки... Сперва за елеем на Полпенку посылал Мишку, а как Никола предложил к бабам — шепнул Мишка Федору:

— Пойдем, бать, к солдаткам?..

— А можно?..

— Во-на!..

Васеньку прихватили и через заднюю калитку из скита зашагали через болото по кочкам к солдаткиной избе на отлете под монастырским лесом.

Постучали, вошли...

— Принимай гостей, Ксюха, — подчуй вином да ласкою.

— Разве ж одна я управлюсь с вами?.. Пождите тут малость, добегу еще кого кликну.

Двух привела гулящих: Малашку да Машку.

Возопил Васенька:

— О, господи, искушение... взыгрался духом веселия беспаскудный...

— Не бойся, Васенька... не укусят тебя, ты погляди только.

Лампа сипит фитилем нагарным, прикапчивает... Дым табачный, — двадцать штук — пятачок — «Роза»; бабы перхают от водки, на коленках повизгивают, Васенька руками отмахивается и лампадик за лампадиком опрокидывает.

Поп Федор вошел — сел на лавку угрюмый, а глотнул — прожег нутро смертное, взыграл жеребцом стоялым, закрутилась баба под ним кубариком.

Васенька глаза вылупил и со страху из горлушка полбутылки вылакал — не дыхнул и повалился на лавку бесчувственно.

— Камо бежу от сатанинского действия?.. Камо бежу? Камо?!

И засопел сонный.

Умаялся попик с Машкою пьяною, сунул хозяйке что полагается и улизнул от братии.

Расходилась душа Николкина:

— Пей, бабы, утешай братию, платить буду.

Запрокинул Малашку.

— Лей Мишка ей из горлушка, ядовитей будет.

И по очереди: один держал — другой накачивал казенною, слышно как в глотке булькало; глаза баба выкатила — зашлось сердце.

У Николки мелькнуло, заржал довольный:

— Эй, бабы, раздевай Ваську. Раздевайся, Малашка, ложись рядом, позабавь блаженного.

А потом:

— Давай, Мишка, Ваську свяжем с бабою, поглядим, что будет делать, когда проснется.

Связали блаженного с бабою; с Машкою захрапел Мишка пьяный, а Николка повалил Ксюшку на бок ее, на лавку, грудь выпала, выкатилась из-под рубахи, болтается пол-аршинная над полом, покачивается. Николке смешно — подбросит ее на ладони — треплется.

Баба вопит:

— Что хошь со мною делай, ее не трожь... Слышь ты!

— Она у тебя, как в соборном колоколе язык — длинная и мочка-то — хоть веревочку к ней привязывай.

— Не трожь, а то в харю дам.

И подрались.

Прочухался Васька, глаза открыл — завизжал дико, Малашку напугал пьяную.

Мишка встал, отвязал блаженного, бросился тот нагишом из хаты.

Пока продрал Мишка глаза — след простыл Васеньки.

Николка ему:

— Бежи, догоняй... Утопится.

Ксюшка вопит благим матом:

— Надругался надо мной злодей этот... Помогите мне.

Накинулись втроем на Николку пьяные, по-чем попадя кулаками бить, на пол скатили — таскают за волосы, а потом:

— Плати за всех.

— Бить меня?! Ничего не дам.

За дверь вытолкали.

— Что ж теперь делать, бабочки?..

— К игумену к самому пойдем жаловаться, — надругатели! Рассвѣнет и пойдем, — глядеть, что ли?

Васенька до озера добежал — остановился вкопанный, шумела вода у постав, бурливая по-осеннему.

По следам его нагоняет Мишка, кричит по лесу:

— Васька, постой... Слышишь ты... Ва-сень-ка!..

Очнулся, услышал голос, увидел черную рясу — подумал, что сам сатана гонится, машет крыльями, и бултыхнулся в озеро.

Мишка за ним — вытащил и к мельнику монастырскому, отцу Павлу.

— Голый-то чего он?..

— Водили к бабам его, на Полпенку, чтоб не термолофею, хотели излечить его, а он топиться вздумал.

Окунулся в студенную — сорвало Ваську. Отоспался до утра...

В чужом подряснике под колокольной забился в сено.

Николка покряхтывал, шел, почесывался, а сам думал, что все-то у них, у баб деревенских, костистос, — расшибешься на ней, не то, что у Фенички, — теплота мягкая.

Перемахнул через ограду скитскую — к Ипатию.

К ранней ударили — завыли две бабы у покоев игуменских: Малашка да Ксюшка.

Савва к ранней — навстречу бабы.

Повалились в ноги.

— Что вам?

— Обесчестили нас, надругались иноки!

— Солдатки мы, защитить некому...

От самих перегаром разит за версту.

— Тем и живем, что забавляем монахов водчонкой да песнями...

— За двугривенный ночевать пускаем...

Руками всплеснул Савва:

— Наказал меня, господи, недостойного... Говори ты сперва... Ну, говори! Как зовут?..

— Маланья, отец игумен... Малашка.

— Что было?..

— Да он-то, Николка твой, с Мишкою — ручниками связали меня с Васенькой, голую, и его в чем мать родила, положили вместе, надругались надо мной, вдовою, вот и сапожонки его, и портки нижние с рубахою, и шапочка, и ряса... все тебе принесла, батюшка. Защити ты меня, сирую.

— Да как же это так они, как же?.. Иноки?! Господи Иисусе Христе... окаянные...

Разложила перед ним на порожках, сама на коленях подле завывала с причетом и слезы-то пьяненькие, и голосок-то срывается икоткою:

— Пьяные были... Пьяные... Меня, батюшка ты мой родимый, силком поили, пить не хотела — держали за руки — да как еще — из горлушка полбутылки влили... Разве ж можно над женщиной-то, над вдовой потешаться так?! Я к ним по-доброму, ба-атюшка, по-хорошему, а они

раздели меня... разве справлюсь я с ними?.. Связали с голым... Спаси, защити... Твоя воля...

Заметался Савва старенький, кричит своему белобрысому:

— Привести их сюда... сейчас привести всех... Михаила сюда... Васеньку... Из скита Николая... Да бегом ты... а то я... Прости меня, господи... Настави на путь истинный... Ну, а ты, с тобой, что сделали?..

— Николка, он же... Николка этот... Сама скажу правду, скрывать не стану... Тем и живу, что водчонкой торгую, твоим продаю монахам... И сама с ними непутевою стала, кормлюсь этим... Все б ничего... таковская... сама говорю — таковская, с голоду и за гривенник ночевать оставляю... Как только захочется им... угождаю... всячески... И Николке твоему угодить хотела, а он... ето... титьки-то мои из-под рубахи выдернул и давай их качать в стороны... Качал бы как, а то ладонью подшвыривал, а сам, он-то... Николка... Николка... они у тебя... говорит... как в монастыре у нас в колоколе язык длинные... ето он-то, Николка... и соски-то у них... хоть веревочку к ним привяжи... Тем и живу я, а он что — еще надругался и денег не заплатили, ушли... Я хозяйка всему... я... Малашка подруга моя... Да как безобразничали-то... и меня силком, вот те хрест истинный, силком поили, из горлышка вливали в глотку... как еще не задохнулась... Бог сохранил... Он, отец небесный... Найди ты на них управу...

Не дослушал Савва, замахал ручками:

— Больше слушать не буду! Не буду, не буду... С богом идите... с богом...

Убежал в покои...

— Что ж, Малашка, так и не заплатят нам?.. Выпили-то сколько, проклятые... Две четвертухи... Как же так?..

Из окон братия...

— Ну, попадитесь теперь в лесу только... придите за ягодами... мы вам дадим, паскуды... Приди только ягоды продавать к гостинице...

Обе Полпенки в лесу на песках, на болотах — своей земли — пол-аршинчика, а жили в довольствии... Мужики лес монастырский сводили, завоет, загудит по ночам ветер осенью — лошаденку в дроги и поехал, пила скрипит, топор стучает — братия почивает праведно, повалит сосну — двум не в обхват — поровней выберет, да каждую

ночь ездит, и скрипит лес монастырский по пескам на дорогах.

Бабы тож промышляли: летом — ягодою, зимой — монахами, чтоб сподручнее мужикам было лес сводить — полюбовно: либо сами ходили полы мыть в келии, либо к себе пускали, когда мужики на промысле, а солдатки — на всякий манер угождали на гривенник — кормились тем.

А летом в лесу — попадетсЯ какая иноку — не отказывается, потому земляника в цене у дачников — целые дни варенье варят из ней — душистое.

Девкам беда только — встретят одну — кончено, либо силком, а либо домой придет избитая — девки гуртом в лес ходили.

Вбежал Савва в приемную — забегал по половичку, закружился старенький, клобучок съехал на сторону, четки звякают.

Васенька прибежал первый... зуб на зуб не попадает — глаза мутные, в жару трясется, на колени пал.

— Бес разум помутил... не по своей воле... бес повел... бесчадный... Связали меня... положили с ним... Отец Савва... Савва праведный... бежал от него — за мной гнался... Во образе блудницы обнаженной был, а потом замахал крыльями... черными... в озеро от него... в озеро бросился... и он за мною... вытащил... соблазнил бес полунощный...

Бегаёт Савва — машет руками на Васеньку:

— Не ты, не ты!.. Знаю... не ты... Они... они...

Николка вошел, Васенька на него:

Он меня, он... Летом она приходила к нему... Сам видел... Показывал мне... Беса... Феничкой звали... Феничкой... Говорил ему — Феничку — веничком... веничком изгони... веничком...

Подбежал к Николке игумен — из двери ползком Мишка.

Николка себе в ноги бухнул, и заползали по половичкам за Саввою — за ноги хватают, молятся.

Васенька увидал Мишку.

— Савва праведный, Савва!.. Изгони беса... Бес ползает... не иннок, Михаил смиренный, бес ползает. Да расточатся врази его и да бегут от лица его... Праведный... Бес ползает... Он... Он гнался... за мной... по лесу... из воды вынес... тянул за волосы... вот тут... клок вырвал... потом понес меня с крыльями черными... Не

Мишка тут — бес ползает. И тебя, Савва, соблазнит... изгони беса...

Белобрысому закричал Савва, тыкая пальцами в Васеньку:

— Уведи его... уведи... Ему бог простит... невинен... Они... они...

Руки воззвел горе...

— Укажи! Наставь! Научи!

И четками Михаила по темени...

— На покаяние... на год... запрю... Замуравлю заживо, пока всевышний мне не укажет сам, что делать... Немошного, праведника, провидца с непотребной женой связывал... Ты?! Посмел?! Вон... Вон... До скита ползком... ползком... в ризницу... молись... Кайся...

И когда тот стукнул о порог носками, подбежал к Николаю Савва...

— А ты? Ты?.. Епитимью нарушил... покаяние?.. Обитель поносил святую... Пристанище иноков опозорил... Телеса блудные, тебе провозвестник господней славы?!

Решился Николка на последнее...

Стукнулся лбом в сапоги Савве и со слезами отчаяния:

— Отче, Савва... Учитель... Авва... Бес меня ввергнул... совратил к блуду... Ипатий... Он до конца совратил... Он... Он...

— Ипатий молитвенник... молчи, пес!

— Яко с женой в ночи прелюбодействовал со мною... В келии у себя держал... От молитвы отвратил... от покаяния... На блудные мысли направил... О грехе его... Евдокий будет перед господом давать свидетельство... Живого грозил свести в могилу за послушание... Он... Он...

Успел Николка забежать к Авдотьюшке, а тому — готов услужить Ипатию по-приятельски.

Привели Евдокия — свидетельствовал Савве истину.

Вместо Николки — Ипатия в ризницу, а Мишку — из монастыря выгнал Савва.

Николке сказал:

— Господь покровитель твой... А за Васеньку в боковушке моей будешь каяться. Ступай, блудный.

Облобызал Николка стопы Саввы смиренномудрого — воссиял радостью.

А Васеньку вратарю Авраамию, старцу кроткому, приютить велено, исправить на путь истины.

III.

Изо дня в день в боковушке Николка молится... Савва взойдет — свечечка зажжена перед спасителем — на коленях стоит, молится. От пищи отказывался — уговаривал Савва:

— Послушание паче поста и молитвы... Вертает тебе всевышний разум... Молишься, в послушании перед господом пребываешь... Нельзя от пищи отказываться, грех великий... Затворники только просфору освященную перед жертвенником вкушают с водою, а ты еще молод. Бойся гордости — грех великий. Не возгордись перед отцом небесным своим покаянием — возгордишься — вселится бес.

Лето пришло — никуда из покоев игуменских, братия по лесу с дачниками, с богомольцами — Николка молится — в душу влез Савве молитвою, сыном родным величать его стал игумен, советоваться начал в делах монастырских.

— Костя мой белобрысенький — смиренный монашек, незлобивый и ума-то у него с крупицу макову, а тебе господь разум послал — дар божий и облик твой — смиренный, иноческий, боголепный. Преподобных Бориса и Глеба с тебя писать иконописцу какому...

И братия позабыла про Николку: на глаза не попадался и забыла.

А у Николки своя мысль: в миру не пришлось жить в довольствии, захотелось в покоях игуменских стать хозяином, сам еще не знал, как, а только понравилось ему у Саввы. И к делам, распорядкам хозяйственным стал приглядываться. И молчок — про себя думал. Не осталось приятелей: Афонька в городе, Мишка — изгнан, а Васеньку затворил Авраамий в келии и — чтоб бес не мучил блаженного — связывал: руки на ночь веревкою и на полу, на досках подле себя клал, а днем его не спускал с глаз — на лавочку посидеть выйдет подле келии у ворот и его с собой, за ворота постоять — и его с собой. Все время мерещилась Васеньке баба голая — Малашка пьяная. Увидит богомолку, либо дачницу красивую — к Авраамию.

— Вратарь!.. Не пускай беса в обитель нашу... Изгони господним именем... Вратарь... изгони!

— Кого, Васенька?.. Где ты увидел беса?.. Что ты?..

— Идет, отец Авраамий, идет... погляди... вот она, вот она...

— Это к обедне идут... Молиться богу... Женщины...

— Бес во образе женщины, бес проскочил... Догони, вратарь... Изгони беса.

Думал, думал Николка — придумал...

Савва собирается к полунощнице, а он к нему...

— Что ты, Николай... Что ты?..

— Отче Савва!.. Сон меня посетил дивный... Всю ночь не отходил от меня старец в схиме, подавал мне кадильницу воскуренную и не взял я ее — убоился, что принять не достоин от праведника, сияние окружало лицо старческое. Говорил мне — возьми, инок, тебе вручаю... Возьми... Да не погаснет фимиам благовонный перед господом, доколе не совершишь пути послушания. Всю ночь, отче Савва, снился мне схимник праведный...

— Десница господня указывает тебе путь истинный!.. В сновидении тебе проявил милость... Рясофор прими... Рясофор тебе Симеон, пустынный наш, повелел принять... Вот что сон твой значит божественный...

— Недостойн я, отче Савва... Согрешил пред господом...

— Смирись, Николай, смирись... Гордость тебя обуяла... Сам господь тебе указывает, а ты руку его отстраняешь, — возгордился ты... И во сне должен был принять от старца кадильницу — знаменующую чин ангельский — рясофор иноческий...

Со смирением припал Николка к стопам игумена...

— Благослови, отче праведный, воспринять чин монашеский...

— Пойди, помолись старцу нашему, основателю Белобережной пустыни, на месте его упокоения... Прими от него кадильницу...

За обеднею призвал Савва в алтарь Вассариона, духовника братии.

— Исповедуй Николая послушника, рясофор благослови принять.

И распустил Николка по монастырю индюшиный хвост в перьях-складочках — сотенную из скуфейки не пожалел вынуть — чтоб шумело побольше. Четки себе в сорок камушков отхватил граненые.

Идет — глаз не подымет — смирение.

Только Памвла один — не выдержал...

— Больно петушишься, Николай... то бишь отец Гервасий!.. Молод еще...

Побежал бы сказать приятелям — да померли... Ипатий

не выдержал в ризнице — бездыханного нашли как-то, а Евдокий-Авдотьюшка — водянкой в больнице кончился.

В келью не захотел Гервасий, упросил Савву остаться у него в покоях и послушника не взял себе кудреватого.

Зима подошла, и до обители слух долетел — прислали книжечки, что жидовский кагал извести задумал царя-батюшку, а что с жидами-де заодно господу интеллигенция и студенты работают — на жидовские деньги.

Была скука — стало весело, нашлось над чем почесать языки братии.

То бывало в назидание под двухглавым орлом с Михаилом Архангелом либо с Георгием Победоносцем привозили газетки братии, а то ничего — ни товарные по лесу не гудят, ни почтовые, одни волки завывают вокруг пустыни да монахи к обедням отзванивают...

Тишина мирная...

Только к вечерне отблагостили, загудело по лесу — катит на парах машина.

Прислушалась братия...

— Слава всевышнему... Пошла машина!

Волки поджали хвосты — в лес теку.

А из лесу, с платформы в обитель — в пиджачках, в кепочках с пересмешкою озорной, безбожною, с Паровозной Радицы богомольцы жалуют — забастовщики.

Бастует завод — праздники...

Развели пары паровозу новому... Вагоны свои составили — и на богомолье в обитель тихую. Монастырская линейка, как бесноватая, подкатила порожняком к гостинице.

Лошади взмылены, и монах припотел со страху...

— Отец гостиник — своим поездом... с Радицы... тысячи... идут сюда... тьма тем...

И на конский двор — махом.

Лошадей бросил... к игумену.

Белобрысый Костя открыл.

— Что ты?

Не передохнет... захлебывается.

— К игумену... поскорей... беда...

— В соборе...

В алтарь прибежал... не отдышится, пот катит градом, а у самого с перепугу лицо бледное, глаза на выкате.

— Что ты?..

— Приехали... тьма тем... идут... с девками... дебоширят по лесу...

— Да кто, кто?!

— С Радицы... забастовщики...

И по всему собору ветерком разнеслось... идут... с Радицы... тьма тем... забастовщики...

Один по одному — в келии.

Певчим махнули по келиям расходиться.

Недельный монах вечерню кончил в читку.

Выбежал Савва старенький из собора, стал на порожах, покрикивает — голос дрожит, срывается, ручками размахивает:

— Святые ворота закрыть... На замок... Скорее...

Заковылял Авраамий — руки трясутся — ключи звякают...

Вышел закрывать, глянул к лесу — присел с испугу.

— Васенька, пойдй помоги!.. Идут... Пришли!..

Зашептали старцы:

— Пришли... пришли...

Игумен в покои скорей, по дороге шепотом:

— Задние ворота закрыть, — что на Снежить... Сказать скитникам... К Акакию добежать на пустыньку — обидят старца... Мантийных зови на совет!..

Старцы пришли, воссели на совет в приемной.

— Владычицу поднять, с песнопением вокруг монастыря обнести заступницу.

— Нельзя, святотатствовать начнут... На поругание — пресвятую богородицу, обитель, иноков.

— Это жиды, они послали, проклятые... Запереться в обители, осаду принять... Яко от нашествия иноплемennых...

— Революеры у них... стрелять будут...

— С бомбами...

— Обитель сотрясут бомбами...

А Николка стоит смиренно позади всех, опустил глаза, слушает.

Ни к чему не приходят старцы.

Пал Гервасий в ноги игумену Савве...

— Разрешн перед старцами сказать недостойному рабу твоему Гервасию. Благослови, отче Савва, на подвиг крестный... Спасти обитель.

Умилились старцы, благословил игумен его...

Одел поскорей старый подрясничек, скуфейку старую и на конюшню бегом.

Выехал полегонечку, через мост перебрался, водовозку в кусты, сам верхом через Большую Полпенку полетел по лесу.

Рабочие в номера. Молодые с женами, а ребята — невест прихватили, девиц знакомых...

Ну, отцы, не ждали гостей?

— Растрясем мы вас, толстопузых!

— Ишь, брюхо-то понаели?!

Один шутник подошел к гостинику:

— У вас братия что, самодержавием занимается?..

— Не с жидами же забастовки устраивать?!

— А то б забастовали!.. А?..

— За самодержавие стоим! В писании сказано — властям предержавшим да повинуйся, несть бо власти аще от бога. Божий помазанник — самодержавец наш.

— Чем же вы его мажете? А?!

Хохочут рабочие, а гостиник и вправду подумал, что говорят о политике.

— Вазелинчиком мажете или от чудотворной маслецом?..

— Миром помазан...

— Так, значит, за самодержавие стоите?.. Правильно, отцы, правильно!..

В келье говорит коридорным обиженно:

— Осторожнее с ними... О политике ничего чтоб! Меня на смех подняли за то, что, как истинному иноку подобает, верен остался отечеству и престолу — самодержицу нашему.

Забегали коридорные послушники — кому самовар, кому квасу, кому хлеба, кому что, а как высыпали по сговору из номеров литейщики да прокатные...

— Делегацию пошлем к игумену, пускай кормит ужином... Не обеднеет братия.

К монастырю подошли — заперто, забарабанили в святыя ворота.

Братия по углам забились, попрятались.

Авраамий трясется у ворот, спрашивает:

— Что вам, полунощники, нужно от братии?..

— К игумену, от рабочих, выборные...

— Почивает игумен. Не нарушайте покой благочестия... не кошунствуйте!

— Не уйдем, пока не откроешь. Поди разбуди игумена... По делу, скажи, по важному. Не тронем мы дармоедов ваших.

Добежал до покоев игуменских... Молится Савва со старцами.

Акафист поют троеручице, ожидая спасения, обещанного Николкой.

— Выборные какие-то... просятся... Святые ворота грозят разнести...

Старцы к игумену...

— Прими, отче Савва, крест страстотерпца... Выйди к ним... Мы за тебя вознесем молитву.

Побрел старенький.

А вслед:

— Пресвятая богородица, спаси нас...

Открыл Авраамий ворота святые...

— Что вам от братии нужно в час вечерний?..

— Прикажи, отец, ужин сготовить... Товарищи есть хотят!

И послал Савва с трапезы, что на братию было сготовлено, и старцам сказал, что один день обитель пост на себя наложит во имя прославления вседержителя.

А Николка по лесу через Большую Полпенку в город прямо стремглав. Без седла, за гриву держался, ерзал по спине жеребца из стороны в сторону, раза два об сосны саданулся боком, руки содрал, потерял скуфейку.

Без передышки проехал двадцать верст.

У первого постового спросил:

— Где тут офицер живет?..

— Какой офицер, что ты?!

— Какой-нибудь, все равно, офицер нужен!.. Социалисты пришли обитель грабить... офицер нужен.

Указал ему на жандармское.

Волновался Николка, думал, что каждую минуту ворваться могут и не спасет он обители от поругания, не примет славу имени своему, чтоб каждый инок благодеяние его помнил, да чтоб Савва, игумен, епископу написал об нем, Иеремию.

На другой конец города от жандармского ему пришлось идти за подписью к исправнику, а от исправника — самому, — потому поздно уж, вечером, а по важному случаю и вечером бумажки ему подписывали, — к другому — сотнику и тоже в конце города — почти что до позднего вечера промотался и жеребца за собой водил неоседланного.

На квартиру принес к казачьему сотнику — у того

компания — в картишки режутся, и водчонка, и девочки.

— Ты что, отец?..

Рассказал ему с начала все, по порядку, бумажки ему показал...

— Эх, сволочи, банк помешали мне заметить...

Вестового свистнул, приказал седлать сто коней.

На рысях по два, по лесу, — спереди Николка с ротмистром, а сзади ингуши с казаками — команда сборная. Замирает у Николки сердце — вовремя или нет?!

За полночь спешили у новой гостиницы.

Причмокивают ингуши, кинжалы поглаживают...

— Резить будем...

Спешили у гостиницы главной, — пар от коней — взмылены.

Сотник к Николке:

— В чем дело, отец?! Куда идти?!

— К игумену Савве, к отцу игумену.

Через святые ворота, под облегченный вздох Авраамия — к игумену.

Старцы и псалом не успели допеть Давидов.

— Спасители наши, да хранит вас владычица!

Благословляет Савва крестом широким, на глазах — слезы радостные.

— Благословите, отец игумен, согревающей воинам...

— Чайку прикажу, горяченького.

Суетится старенький, от одного старца к другому бегаёт...

— Отец Феогност, чайку, слышь, чайку вскипятить спасителям, да чтоб поесть что — чтоб изготовить ушицы, слышь — ушицы, либо соляночки, что поскорей... В такую-то непогодь, мороз-то какой...

Сотник стоит, усы покручивает, в подусники ухмыляется...

— А что у вас, отец игумен, погорячей чего не найдется воинам?..

— Сейчас, благодетель наш — сейчас братия вскипятит чайку...

— А водочки так-то царской не найдется у братии?

Потупили взгляд старцы, вздохнув сокрушенно...

— У вас ведь по уставу и братии вино и елей не возбраняется в двенадцатые, так может есть в запасе...

Уразумел Савва праведный, к Николке шепотом:

— Пойди с отцом экономом, поищи в подвале.

Вынесли послушники пять ведер, разогрели кровь
воинам...

Дозорные подле гостиницы — караул ночной...

— Никого не пропускать!..

— Слушаюсь...

— На заре разбудить...

— Слушаюсь...

— Утром всыпем прохвостам этим...

— Так точно-с...

На конюшенный двор — ячменя коням высыпали, отошли — отогрелись — жеребцы поигрывают — за челку кобыл покусывают — соблазн братии.

Ингуши с казаками по келиям — все запасы монашеские выпили...

А чуть утром прояснилось — зазвонили к ранней, и казаки к лошадям — так приказано.

Шепталась в старом соборе братия про ингушей сумрачных.

— Яко у архангелов очи — ярые, гнев господень...

— Подобно архистратигу у врат райских...

— Послал господь милость — содеял чудо...

— Гервасий... он ведь... Николай... говори про него не знать что... вот тебе обитель спас, братию от надругания нечестивых избавил...

Только Памвла щипал перья усов, в душе злобствуя:

— Почету ему захотелось, рясофор одел — в иеромонахи лезет, погляди еще — игуменом будет.

— А чем не игумен — обитель спас... Не Савве чета...

— Савва помрет — выберем...

И запала у братии мысль — Николку поставить игуменом.

Савва к ранней шел, и Николка клобук вспялил...

— Отдохни, отдохни — измаялся ты... завтра помолишься...

— Возблагодарить владычицу надо... она надоумила меня, скудоумного...

Светать стало — коней оседлали и по три у ворот выстроились и потянулись гуском к гостинице.

Приказал ротмистр разбудить богомольцев к обедне ранней...

Загремели прикладами у дверей номерных...

— Эй, выходи!.. Дрыхнуть тут...

Загудел страх темный по номерам вспуганным. Наскоро сапоги, калоши, пиджаки, пальтишки рваные и сумрачно

вышли в коридор, — у девиц юбки набок, тесемки торчат — болтаются. Тепло еще сонное от греха смертного не сошло с глаз темных — глянула ночь в глазницы — окружила кольцом глаза женские...

Спросонья, как овцы, сбились в коридоре кучею, к рабочим жались испуганно. И у тех — вихрами волосы, картузы, кепки на лоб сдвинуты. Молчат — из-под бровей зло черное.

— Товарищи! Длинногривые предали...

И молча толпой из гостиницы на мороз вышли...

К лесу подошли медленно...

С гиком цепью рассыпались ингуши с казаками, в воздух палят — сучки по верхам затрещали сосен, шишки посыпались — разбудили белок...

Дрогнули люди — врассыпную по лесу, по колена в снег; падали, поднимались, снова падали, за валежник цепляясь; тянули за собой девиц, женщин...

Нагнали — с нагайками посвистом, и завопил, завизжал лес сонный.

На ходу из седла выбрасывались, за юбки хватали, за косы и тут же на снег валили, пьяные и пьянели от визгу бабьего.

Гнали рабочих по лесу, до крови рассекая спины, головы — следы кровавые на снегу белом сгустками, гнали по снегу и возвращались к женщинам, к девушкам — до темна, до вечерней трапезы.

Вернулись к братии промочить глотки...

Из-за сосен к невестам подошли, к женам, понесли на руках по двое, по трое к платформе. Только лес охал протяжным стоном...

Гудел, завывая по лесу, паровоз — крестилась братия в страхе, потому по всему лесу отзывался вой волчиный — разбередил голодное нутро звериное, потянулись гуськом к обители алый снег вылизывать.

А Савва игумен епископу послание писал слезное о праведном иноке Гервасии, спасшем обитель тихую, в иеромонахи рукоположить молил смиренно.

Попили кваску воины, похмелились — и по двое через Полпенку через лес потянулись к городу с песнею.

Десять конных остались с людьми на монастырской гостинице охранять братию...

Николка опять стал выползать из келии, по монастырю ходил смиренно и хозяйственно поглядывал на братию.

Сколько прошло — в город вызвали к епископу.

Рукоположил епископ инока в иерейский сан, — серебряным крестом поблескивал.

Вернулся в монастырь — к Савве прямо.

Облобызали плечо друг другу, в пояс поклонились истово...

— Сподобил тебя господь сан принять ангельский, разум тебе послал всевышний, направил на путь праведный. Келию себе выбери...

— Авва, учитель... чем прогневал тебя, пошто гонишь от себя инока, дозвожь у тебя быть в келии.

Оставил Савва Гервасия в покоях игуменских, и стал Николка помогать игумену советом мудрым. Привык Савва, шагу ступить без него не хотел, — как скажет Николка, по его исполнено.

Во все книги заглянул — доходы подсчитал братии и опять в душе загорелась жадность.

Мох по весне в лесу вздыбился, туман повалил с болот, и мужик вылез полпенский промышлять монастырским лесом — что ни ночь — звенят пилы, топоры ухают — трещит сосна, валится.

Прибежал монах с мельницы, другой с хутора монастырского к игумену.

— Отче Савва, красоту пустыни губят мужики полпенские — лес валят, — ходили мы — топорами грозят, лютые.

— Подле самого озера — не в обхват выбирают, — что делать? Научи — тебя наставил господь в премудрости.

Замигал Савва глазками — без Николки не знает решить что. Призвал его, совета просить стал.

— Собери, отче, старцев... соборне решить надобно... Братия хозяин лесу — господь укажет.

Старцы собрались — кто что...

— Послушников послать караулить...

— С топорами они... братии в писании недозволено оружие в руки брать... не попустит владычица кровь пролить иноку...

А Николка опять подле двери стоит, опустил глаза смиренно, изредка только на старцев поглядывает с усмешечкой, и усмешечка-то не видна, чуть губы подергиваются.

Судили-рядили и старцы к Николке совет спрашивать.

Со смирением поклонился братии...

— По моему разумению, послать за небольшую мзду

кавказских людей, что при гостинице живут, охраняют братию. На хутор трех, да на мельницу столько же — ни один не покажется, не то что с Полпенки и с Мылинки-то дальше деревни своей не выйдет — на три версты объезжать обитель станут.

Выручил и тут Гервасий братию.

Так и решили — на хутор послать и на мельницу.

Старцы от игумена расходились — вспоминали совет Гервасия.

— Истинно говорит Савва — наставил на путь истины господь Гервасия... мудрый инок...

Белки по лесу разыгрались в соснах, и великий пост ни по чем — гоняются с веерами пушистыми за самками, и купчихи уж говеть приехали, а в обители печаль — занемог Савва, игумен праведный, — неотлучно при нем Гервасий, только ночью отдохнуть ляжет, посадит вместо себя белобрысого послушника бессловесного, спать не велит тому — слушал бы дыхание старца игумена.

Сидел, сидел белобрысый и задремал ночью, очнулся, открыл глаза, — спит будто Савва, а дыхания не слышно... обомлел, испугался, скорей к Гервасию.

Схоронили Савву праведного — зашумела, зашептала по келиям братия — кого выбирать в игумены; все грехи соседей своих припоминали иноки — было, не было — говорят было — недостоин быть избранным, и указать не на кого — все грехом стяжания обуреваемы.

Памвла только ехидничает:

— Николку выберите, Гервасия... обитель спас, совет подал мудрый — кому же другому?

И опять вспомнили старцы, иеромонахи, мантийные про инока мудрого, про Николку. Из своих выбирать — каждому хочется в покоях пожить игуменских, повластвовать, — соревнуют один перед другим, а Николка будто и свой и чужой — потому молод.

Целые дни не находил себе Николка места, думал, что коли теперь не выберут — на всю жизнь в монастыре простым монахом коротать век, а выберут — жизнь новая, не в миру, так в монастыре будет первым, про старость скопит медными.

Отслужили молебен троеручице, соборне к гробнице схимонаха — основателя пустыни благословиться сходили и пошли выборные в трапезную.

Засиял Николка, когда сказали — Гервасия, Гервасию быть игуменом.

Хозяином ходит в покоях игуменских — игуменом.
Гнет Николке бессловесно белобрысый послушник спину.

IV.

Развернулся в лесу вырезной папоротник, отошла земля — вздохнула побегами молодыми, кукушкиным льном бархатным — разбрелась по лесу братия, — дух благостный в лесу, молитвенный... Затарахтели линейки с дачниками, с богомольцами — смех да улыбка разливатые молодых барынек, жен гулящих звенит по верхам сосен: от мельницы, со стороны Большой Полпенки, потянулись и дальние и ближние в сарафанах, в паневах подтыканных деревенские к троеручице; зазвенели семитки, пятаки медные в монастырских кружках — на украшение, на построение, на прославление дальней пустыни Белобережской.

Странники, странницы, что испокон веков из монастыря в монастырь по колчам, по пескам, по суглинку бредут — заковыляли по монастырям, прихрамывая да пришептывая, по завету сорока калик со каликою, что к Иерусалиму хаживали по обету сызмальства: в пути ко святому граду в блуд не входить, а кто согрешит — тянуть язык со теменем, копать очи ясные косицами, закапывать в землю Адамову по грудь белую.

Идут по дорогам к обители — невзгоду мужицкую несут выплакать троеручице, грехи замолить смертные: Ева согрешила, Адама прельстила, закон преступила, богу согрешила на святой земле, под запретным деревом, душу погрузила во тьму кромешную и род человеческий отогнала от рая святого.

Сподобит господь повидать старца Акакия... взглянет на тебя — правду скажет.

— На пустыньке Симеоновской живет — душевный старец... каждый год хожу с того дня, как с невесткой меня рассудил...

Сядут странники в лесу на пенек, пожуют хлеба, а потом расплескают душу перед незнакомыми, лишь бы ее человек выслушал, облегчил тяготу.

Такая уж на Руси повадка — на миру каяться, душу до дна вывернуть, облегчить тяготу и все равно где — только б на людях, иной раз обиженный человек и в трактире выплечет, потому не всегда хватит силы открыться трезвым, а простой народ, горемычные бабы — на людях,

на путях странствия, когда душа к земле ближе в тишине примиряющей — всю выскажет, облегчит путь жизненный. Только обиженный человек и может душу раскрыть каждому; только у нас и есть это смирение обиды невыплаканной, и пока не станет душа ясною, до тех пор и кается человек и обиду смывает слезой покаянною.

И монашенка, что вместе со странниками позади шла, и она б покаялась, да силы еще нет, может, оттого и нет, что скуфья на ней черная и одежда смирения — топит в себе всю боль, до конца дней своих нести молчаливо тяготы.

Поднялась, вздохнула только, голову опустила и пошла позади всех сторонкою.

По городам, по деревням, по монастырям Ариша ходит, и всю жизнь ей ходить, пока не покается, не смирит плоть грешную, — второй год, как мать игуменьи из монастыря выслала и выгнала б может, да позора боялась, боялась обитель ославить девичью, чистоту перед людьми обнажить гнойную, пожалела ее душу девичью, неповинную, согрешившую земной любовью.

В монастыре согрешила девушка, а монастырь городской — в городе, на краю самом, у железнодорожного полотна, — одной частью над Окою повис подле моста железнодорожного. И гудят целый день над откосом поезда с грохотом, вылетают из глубины двух откосов змеями через мост и дальше по крутой насыпи в поля уползают хлебные. А выйти из задних ворот монастырских — мост перекинут через реку к кладбищу монастырскому. Точно сад оно при обители — запущено, ни дорожек нет, ни тропинок и только бугорки-холмики, покрытые незабудками. По весне в кустах соловьи с вечера и до полуночи, и не кладбище, не место успокоения, а сад радостный.

Ходят в него вечером влюбленные — тишину обители смущать поцелуями в лад соловьиный, и черные тени крадутся по ночам в кустарники — монашенки молодые, послушницы.

Такая тут жизнь вольная, за стеной монастырской целомудрие, а вышел в калитку заднюю, перешел через мост — кладбище, и соловьи свистят трелями и в сердце эти трели звенят, будоражат кровь радостью.

Ариша девчонкой взята в монастырь семилетнею. Мать померла, брат без вести — приютила ее мать Валерия, а с пятнадцати и скуфейку одела ей — спрятала золото рыжее под черный бархат, на клиросе певчей поставила.

А в монастыре был такой порядок — не знали певчие работы черной, в досуг — рукоделие. Мать Валерия регентом, смиренная, по купцам привычная, отпоют заупокойную, проводят на кладбище и пригласят ее помянуть покойника. Отправит домой Аришу, сама накажет ей — «простыни метить кончай, придут сегодня заказчики»...

Пришло время, когда кладбищенский соловей кровь у Ариши взволновал трелями — покою себе не могла найти, сама над пальцами гнется, а у самой тоска непонятная...

Мать Валерия скажет только:

— Терпи, Аришенька, терпи, милая... Тяжело девушке помирать заживо.

И терпела Ариша, пока жива была мать Валерия, смиренная монашка была, тихая, море житейское перешла бурное, а когда умер муж — от тоски однолюбия в монастырь ушла.

— Из монастыря никуда не уйдешь, Ариша, служанкою не возьмут, не любят в миру нас, а так... долго ли сойти с пути истинного, а кто сойдет с него, хуже муки геенской девушке по рукам пойти, и болезни-то ждуть — гнойные — заживо человек погибнет. А монашенку полюбить?! Полюбит, не надолго только. Спаси, господь, тебя от такой напасти... Ты красивая девушка, у тебя волос золотой вьется локоном и золотой у тебя голосок... Не знаешь ты ничего... плохо это... Береги себя, девушка!..

Берегла себя до семнадцати, пока мать Валерия была жива, а не стало Валерии — с той стороны, что к городу, обрыв семинарский как лес темный, и бродят по нем поповичи, соблазняют послушниц, через обрыв на гору, кругом монастыря мимо калитки задней и на кладбище — караулить послушниц, романы крутить по весне с соловьиными трелями. Искупают поповичи молодых послушниц, и старые вспоминают молодость, как слышат песню мирскую радостную. Целые вечера из семинарского парка, изо рва песни слышатся — дружные песни, голоса молодые, сильные. А то затоскует попович какой по епархиалочке, по невесте своей, по поповне будущей и такой запоет романс — возьмет хоть кого за душу, не то что послушницу, и голос-то сочный, бархатный, и слова-то нежные: «Не искушай меня без нужды...»

И вторит ему другой следом... — «без нужды...»

Такая грусть пролетит у келий, такую тоску нагонит

о несбыточном, невозможном, о таком сладостном... целую ночь ворочаются на постелях послушницы.

Арише тоже дышать нечем от таких песен, и окно-то открыто, чтоб прохлада веяла, а не спится ей, оттого и не спится, что слышна из оврага семинарского песня, а с кладбища доносится соловьиный звон.

На место Валерии пришла поглядеть келию вдова купеческая, молодая вдова Галкина, и не Марья Карповна, а Евдокия Семеновна, и не Галкина, а Денисова.

Посмотрела келию, спрашивает игуменью:

— А сколько вам за нее?..

Потом на Аришу глянула и как вспомнила что, сама не знала на кого та похожа, а что-то близкое показалось ей и добавила:

— Только оставьте мне в помощь и монашку эту.

Как не оставить было Аришу послушницей, когда, не торгуясь, за келию заплатила вдова купеческая и в монастырь вклад внесла, чтоб жить в спокойствии, о завтрашнем дне не думать.

Все жилы у ней вымотали после смерти Касьяна Парменыча, может и все б ничего, а как помер после родов ребеночек от Афанасия Калябина — не в себе стала. И ребеночек-то оттого помер, что через Афоньку к нему ненависть почувствовала.

Сидит над люлькою его, причитывает:

— Чтоб тебя черт побрал, подох бы что ль, а то связал по рукам, по ногам... Корми, нянчись. А вырастешь, про отца спросишь — кто такой был, — Касьян Парменыч; как же Касьян Парменыч!.. А все она, подлюга, через нее и меня бросил; обвела его, обкрутила и спровадила, а потом надо мною же издеваться стала...

Вспомнит она, как душила Марью Карповну, и затрясется вся, оттого и сама не в себе целые дни ходила и на ребенка злобствовала. До сих пор не забудет, как глаза на лоб вылезли, язык толстый у хозяйки выкатился, и еще сильнее причитать станет:

— Как добрая в монастырь услала, а сама — спровадила, ни ей чтоб, ни мне не достался Афонька рыжий. Жизнь мою погубила, всю жизнь окаянную... Я-то ждала, я-то верила ему, как собачонка по ночам бегала, а ему одно — позабавиться, а ребеночек-то вот — забава, что ль. Освободил бы, что ль, меня, помер бы, хоть бы жизнь повидала вольную, — а то на двадцать втором году связал на всю

жизнь, — нянчись с тобой теперь, — все соки пьет из меня дьяволенок, придушила бы...

На пятом месяце помер, освободил Дуньку.

Василий на нее стал поглядывать, по хозяйству советовать, из половых — в сидельцы его. Сперва он воззрился на чернявую, молодуху вдову, а потом решил, что не пара ему, потому и не пара, что как-то подслушал ее причитания, когда выручку из трактира наверх принес. Сколько минут простоял под дверью, а Дуньку совесть мучила и Марья Карповна мерещилась ей, задушенная, бормотала о ней, про то, как сережки с гранатками показывала...

— Они это, они... самоцветные камушки, не они б и ничего б не было... Руки дрогнули у меня, кровь к сердцу хлынула и не выдержала... да кто б выдержал?.. каждый бы ее придушил, гадину... и греха нет в этом... чего только она теперь лезет, что мерещится? Ужли и по смерти-то забыть не может?.. Спасала ее, спасала, в баню к нему бегала за нее, чтоб потом надругались, вдвоем надругались — услала его, спрятала... А что взяла? — По твоему вышло, что ли? Уж если мне не достался, так и тебе не пришлось больше...

Слушал, слушал Василий подле двери и вернулся в трактир обратно, — в карман выручку и пошел домой. Всю дорогу думал:

— Не добром досталось, не добром пойдет, а мне они вот как нужны, деньги-то; заведение открыть свое можно.

Сперва Дуньку хотел обкрутить, хозяином стать, а как подслушал нечаянно и решил прикарманивать и денежки, и торговлю галкинскую. Народ целый день в трактире, и пьют и едят по-старому, а придет сдавать выручку:

— Авдотья Семеновна, дела плоховаты стали...

Посмотрит на него только...

— Народ дебоширится, — свобода, говорит, объявлена, теперь, говорит, и мы тож вольные, попьют, поедят, а платить — заставь-ка их, убьют еще, задушат!..

Нарочно и словцо вставит, что и его задушат.

И не думала Дунька о выручке, стала о себе беспокоиться, как бы и ее не придушили ночью. Караульщика наняла, странницу в дом пустила, а все не спится, и еда не идет в рот, все время думает, что и караульщик, кто ж его знает какой, может он-то и задушит ее, ограбит ночью...

А помер ребеночек, еще тяжелей стало, и вольная будто, делай что хочешь теперь, а как молоко кинулось в голову,

чуть с ума не сошла, еле отходил ее доктор и еще подозрительней стала. По ночам замыкалась в комнате, диван приставляла к двери и богомолку на нем заставляла спать, чтоб не ее первую, а богомолку тронули...

Василий все свое точит и точит:

— Народ стал — не приведи господи... Ни царя у них нет теперь, ни бога. В убыток работаем.

И опять выполз Лосев, Иван Матвеевич, частный поверенный. Чутьем пронюхал и пожаловал.

Целый год просидел на Мещанской в домике, поправил его на дракинские заповедные — оброс хозяйственно и не строчил уже в базарном трактире мужикам кляузы, а и в суд стал захаживать, манерам выучился, сюртук надел и стал по всякому делу скандальному у мировых защищать сброд всякий. А главное что — портфель завел. Куда бы ни шел — и его с собой.

— Некогда-с мне, голубчик, разговаривать с вами, толком вы говорите мне... Время-то — денежки-с...

— Да я заплачу, Иван Матвеевич, — а понимаете — такая воньща, из квартиры нельзя выйти, — целый год уже не чистят, я и в полицию, а там — теперь, говорят, ничего не можем — теперь свобода, — уж я заплачу вам...

— Но ведь вы оскорбили его, понимаете, действием оскорбили-с... А надо всегда по закону поступать, юридически, вот тогда бы и не пришлось по судам ходить... Понимаете вы, нарушили право личности...

— Да я ж ему только раз по морде съездил...

— Вот за этот-то самый разок и не ему, а вам отвечать придется, потому что теперь у нас гражданские свободы — неприкосновенность личности...

Говорит, говорит просителю, до обалдения заговорит беднягу, а под конц:

— Попробуем в первой инстанции... у мирового, а если не в нашу пользу, тогда придется в съезд мировых, только ведь это, извольте заметить, денежки-с стоит...

И последнего мещанин не жалеет, лишь бы амбицию выдержать...

Тянет Лосев, выматывает по рубликам, по трешкам.

А как нацепил значок Михаила Архангела, еще больше заважничал, большою персоною себя почувствовал и не кляузами заниматься стал, а политикой — верноподданных собирал в сотни черные, а потом и газетку задумал издавать для спасения родины, во имя спасения отечества

от врагов внутренних и про каждого небылицы писал, и отдельчик такой завел, — «Правда ли?».

И газетка на бумаге оберточной, а язвительная, покою она не давала гражданам, как что заприметит Иван Матвеевич или от клиентов своих услышит, и ну строчить в отшельник — «Правда ли?» — От клиентов и сплетни собирал, выспрашивал.

Глядь и прописано, — а правда ли соборный протопоп в воскресенье в театр ходил на галерку в поддевке купеческой?.. А протопопу и на улицу показаться срам, да и епископ призывает и тоже спрашивает, — правда ли так было? Может, и не было, а напечатано, — было не было — винись перед епископом, раз в политической газете прописано.

— Как же это ты, раб лукавый, дошел до этого?.. Тоже, должно быть, захотел свободы?! Я тебе дам свободы, в монастыре-то ты увидишь ее, как пошлю каяться, — бесовское действо ему захотелось зреть... Ты б о душе подумал... А то...

И отчитает его как полагается.

И приходится протопопу идти на поклон к Ивану Матвеевичу — в партию вступать людей истинно русских, ревнителей церкви и отечества, и подобающий взнос делает Лосеву на распространение идей правильных.

Тем и промышлял Лосев, — дела-то делами, и они копеечку ему приносили, — вроде как по зернышку, по трешнице да по рублику, а как пропишет кого — сразу куш.

Особенно купцов донимал. Напишет: «А правда ли, что наш почтенный купец Подкалдыкин газетки почитывает революционные, да в партии состоит противугосударственной?..»

Может, и не было ничего подобного, и, наверное, даже не было, а пропишет Лосев — на другой день пристав заглянет в лавку и наставительно:

— Вы бы, Сидор Карпыч, осторожнее как, а то про вас в газете написано. Оно, конечно, даны свободы, а только уважаемому гражданину против царя и отечества не к лицу выступать. Вы подумайте... О своей судьбе подумайте, у вас-то ведь детки... Я вам по дружбе...

— Да как же это, да что же делать теперь?..

— Докажите верность свою престолу самодержца нашего.

— Всею душою я... Как только, как?..

— У нас на то особый союз учрежден под покровительством обожаемого монарха нашего...

И пойдет купец Подкалдыкин на поклон к Ивану Матвеевичу и за совет отблагодарит пристава, и не только пристава, а за приставом и помощник придет, и хожалый заявится, и участковый заглянет, и постовой бочком пролезет, — и каждому Подкалдыкин толику малую вручит с благоговением почтительно, а Ивану Матвеевичу на процветание партии внесет и на членский без сдачи за два года вперед; а в лавку вернется и приказчикам всем прикажет, чтоб и они вступили в союз истинно русских людей и у каждого чтоб значок на груди был, а кто не исполнит хозяйского повеления — тому путь вольный, — иди куда хочешь на все четыре стороны, праздную жидовскую революцию — будь свободен.

Только старой привычки не оставил Лосев — по чайным, по трактирам хаживал, и тут народ собирал веру, царя и отечество защищать от врагов внутренних.

По этому делу и в галкинский заглянул в пятницу.

С важностью вошел, — сперва в дверь портфель просунул, а потом и сам пожаловал, значок на показ выставил.

Глянул на народ со строгостью и подсел к прасолам лошадиникам поговорить насчет политики. Пальчиком этак половому кивнул, а когда тот подбежал, прежде чем заказать пива, открыл портфель, покопался как деловой, поважничал и спросил с растяжкой пива пару.

И потянуло его за пивом от отечества к капиталам галкинским.

Невзначай будто и к Василию подошел, к стойке и не по-прежнему искательно в глаза заглядывал, а по-новому — щурился чуточку и огонек в глазах пробегал недобрый, — знаю мол вас, насквозь вижу, и не говорил уж захлебываться, а с расстановочкой, только и осталась привычка иной раз прибавлять «с», только теперь иной раз и многозначительно.

Подошел и начал:

— Давненько я к вам не зааживал, у вас теперь по-новому...

— Новые времена наступили, Иван Матвеевич, — так и мы по-новому и хозяйка-то у нас теперь новая... А вы меня не признали, может?!

— Слышал я ваши дела., да-с... слышал, — дела-с!.. А вас-то я помню, Василием звать, только не знаю по

бабушке как, раньше Василий просто, а теперь положение можно сказать почти как хозяйское...

— Никанорыч по отчеству.

— У меня и раньше у вас тут делишки бывали, и уголок-то памятный, да-с... против стойки вашей.

И потом глазами повел на стойку и полушепотом:

— А я бы вам по-приятельски совет дал.

Помнил Василий Лосева и делишки его знал, так и мелькнула мысль про Дуньку, про Евдокию Семеновну Денисову, что-де, если она хозяйина окрутила, то и ее, и не окрутить, а околпачить можно, и тоже на столик показал глазами и прибавил вежливо:

— Хотел я вас, Иван Матвеевич, по старой памяти угостить — да только решимости у меня не хватает, теперь вы, можно сказать, стали человеком известным у нас в городе, вот и не решаюсь я... а то бы и поговорили бы, старинку вспомнили, оно хоть и не сказать чтоб старинка была, а сколько делов тут без вас было, что и на старинку смахивает.

Оставил Лосев прасолам свое пиво, а сам с Василием за тот же столик, где и с Калябиным, с Афонькою, по вечерам сиживал.

За водочкой и разговор наладился, всегда так у деловых людей хорошие разговоры бывают за рюмочкой, откровенность нисходит за казенкою.

— Я вам что хочу сказать, Иван Матвеевич, с хозяйкою нашей неладное что-то, вспоминает она Марью Карповну и так-то страшно, что и не пойму никак, вроде как находит на нее что... про покойницу вспоминает, — я по секрету вам, — выходит будто, что не Касьян Парменыч свою хозяйку прикончил... такие слова говорит — страшно даже...

— Это дельце-с, да еще какое-с., Василий Никанорыч... Да-с-с-с... дельце-с... Улик никаких-с, а дельце-с... Умопомрачение так сказать-с...

— А еще что... дело-то наше с такою хозяйкою в посрамлении, — изволите помнить, как народ-то кишел в заведении и не от свобод этих дела плохи, а хозяйской руки нет, догляду-с...с...с...

— Так вы ж, Василий Никанорыч, теперь управляете делами всеми, так от вас и в зависимости дела торговые...

— Так-то так, а только мне что, если б мое было и старание б было к делу, а то такое заведение... Украшение торговых мест, и в пустую все, все впустую.

— Вам бы и быть хозяином...

Договорились таки до точки, — покрутились еще словами друг около друга, нащупали недосказанное потайное и напрямки пошли.

— Страшное это дело, Иван Матвеевич... Жениться на ней — сами видите, сами извольте понимать, а еще как?! И не придумаешь... Посоветовали б...

— А вы юридически-с... юридически-с... все можно-с... обставьте по закону все, юридически-с... Ну, хотя бы, заваливший векселек, что ли, на Касьяна Парменыча, так сказать, представили... ведь должны же быть, и у вас обязательно такой должен быть, при таком деле всегда у служащих векселя бывають к хозяину... Нам заваливший бы какой, и с него начать можно, она-то, вы говорите, вроде как не в своем, вот ей и подать такой векселек... Она ведь, — по секрету и я вам скажу, — неграмотная, а тут и попугать можно, а потом юридически-с... взыщите на векселек... Да-с... Заваливший какой-нибудь...

И не Василий его нашел, а на другой день Лосев его принес, откуда добыл — не интересно Василию, а как увидал, так сразу и попал в лапы Ивана Матвеевича.

Из трактира шел Лосев, а в голове крутилось:

— И про Денисову пискнуть можно, что-де правда ли она по ночам бредит задушенной купчихой Галкиной?..

На другой день пришел к Василию, — про вексель прямо:

— Только что я вам скажу, Василий Никанорович, купил я его у одного человечка, так что и вам уж придется...

— Да я, хотите, я напрямки, — не знаю я как юридически-то это, по-ученому, а я бы — пополам все, все дело пополам бы, по совести.

И начали они по совести, пополам дельце делать, галкинские капиталы высасывать, Василий и заступником перед Дунькой прикинулся, и если б не случай, пришлось бы с капиталами да чуть не по миру идти ей. В самом деле на нее нашло помрачение. Богомолка и выручила. Слушала, слушала под дверь, как Дунька по ночам бормочет, и не выдержала, посоветовала:

— Матушка моя, Евдокия Семеновна, глядеть-то на вас становится страшно, не пьете вы, не едите, голубушка, и болезнь-то на вас накинута... а все это кровь, она человеку не дает спокойствия, ублажить бы ее, — и спали бы, и кушали б, и в себя пришли. Дура я несмышленная, а сказала бы... В баньке вас как-то видела и сразу его у меня в голове как просветление, — от этого самого

и неладное, по тельцу-то у вас чирийки, а ведь это кровь цветет, вроде как лошади по весне секутся, выхода нет ей, вот он она и бросилась в голову и мысли-то все вам поспутала, а вы бы меня, дуру, послушали, сколько я земель-то прошла, сколько делов-то видела, сколько людей встретила... И таких видела, нашего брата, женщин, несчастных вдовиц, что в молодости да в цвету здоровья своего без супруга мучаются... Утихомирить ее надо, кровь-то женскую, найти себе супруга законного... Сладости телесной вкусить с возлюбленным...

— Замолчи ты, молчи!.. Всех бы задушила б их, сама б, всех бы, им только издеваться над нами. Дворник спит, караулит нас, а я бы и его бы прикончила б, потому они измываются только...

С тех пор и возненавидела Дунька мужчин, как Афонька бросил ее и ребеночка от него — до озлобления ненавидела, пока не помер, а как сказала странница, что только мужчина ей верede излечить может по ночам телесной сладостью, так еще сильнее ожгло ее ненавистью к мужскому полу. Оттого и ожгло, что телом-то ждала она, хотела сладости этой, а боялась опять с ребеночком мучиться, вынашивать его, чтоб под конец опять ее бросил возлюбленный и опять ненавидеть плод свой и живого, грудь тянущего самой в ненависти к создавшему приканчивать и от безумия метаться в ревности к задушенной Марье Карповне, потому она думала, что непременно и другого какая-нибудь от нее уведет и опять ей придется кончать с нею.

А богомолка из жалости к благодетельнице шепотком уж ей слезливым доканчивала:

— Уж если, матушка моя, боитесь вы понести плод во чреве от ложа брачного, так и средства на то есть теперь разные, а если уж и к супружеству у вас нет охоты особой, так я вам все-таки посоветую... и все чирийки отойдут, до одного, матушка, и кровь-то уляжется и от головы отойдет, — облегчение познаете...

И шепотком, шепотком о сладостях исцеляющих и без ложа супружеского...

Поверила Дунька, захотелось избавиться от бреда ночного, чтоб не снилась, не казалась удушенная, усмирить кровь чадную и оттянула ее от головы, всю мысль сосредоточила на желании страстном избавиться от Марии Карповны и от вередов гноящихся, поверила богомолке, что поможет ей средство это.

Может, и не совет богомолки, а то, что мысли свои сосредоточила Дунька на единственном, на желании избавиться и перенесла их в тело, в ощущения до ненасытности и спасло ее от кошмаров и бреда. Как-то, может всего на время, а пришла в себя и о судьбе своей задумалась, когда стал Лосев с Василием докучать ее делами денежными. Точно совесть какая-то в ней бродила смутно, а чаще да чаще она стала про монастырь думать, — захотелось ей от самой себя, от людей хоть на время скрыться, и не то чтобы скрыться, а пожить спокойно, чтоб ни мысли, ни люди ее не мытарили. А надоумил ее чиновник банковский, когда она капиталы начала брать галкинские, на уплату долгов Касьяна Парменыча по векселям лосевским.

— Я бы вам что сказал, — мне, конечно, все равно, а только продайте вы все, бросьте дела свои, торговлю всякую, расплатитесь по этим векселям, долгам старым, да и поживите, а то ведь и не останется ничего вам на жизнь вашу — обворуют вас.

Пришла она из Коммерческого, позвала Василия и объявила ему, что желает продать дело все, а тот с радости, что не тянуть больше, а сразу хозяином быть можно и не делиться с Лосевым, и объявил хозяйке:

— Я бы купил, Евдокия Семеновна, продайте по старой памяти Касьяна Парменыча, ведь мальчишкой я у него еще работать начал и дело-то как свое, родное, прирос я к нему, и к нему и к месту, каждый столик обегал сотни раз, каждую доску на полу знаю, а тут кому продадите зря, а я бы платил по совести, не сразу, а потихонечку до копейки бы.

И без Лосева запродажную сделал и задаток дал — отшил поверенного — без дележки к своим рукам прибрал и торговлю красную, и трактир базарный.

А Дунька-то, Евдокия Семеновна, и пошла себе торговать келийку в девичий городской монастырь Введенский.

V.

В спокойствии зажила Денисова: келийка чистая, послушница расторопная Ариша рыженькая, клирошанка-певунья, и забот никаких.

Попала в монастырь Ариша — обжилась, привыкла, все порядки узнала. Тихая да смиренная, а подымет глаза,

поведет ласково и запрыгают в них чертеняточки золотые и убегут, спрячутся в золотые волосы.

Как подневольная в монастыре и в келии, как в тюрьме сидит, озирается, из чужих рук смотрит — дадут или нет или будут попрекать куском хлеба. Тянет на волю, а знает, что в миру еще хуже, мать Валерия строгая была, добрая, рассказывала ей, когда тосковала она по воле, что в миру не соблазны страшны девушке, не замужество, а улица по ночам темная, либо на мещанских домики с фонарями красными, откуда не выходит человек живым, а сгниет от болезней мерзостных.

Про мир думать страшно, а тянет в него Аришу, и подруге своей, Вареньке дисканту, говорила про это, та только усмехнулась.

— Дура ты! Сколько в монастыре живешь, а ничего не знаешь... Это н а м воли нет, послушницам, потому что нашим-то даровые работницы да кухарки нужны, что б они без нас-то делали?.. Ты посмотри на них — святость жирная. Что говорить — есть строгие, не дай бог какие, а отчего строгие — злость у них на людей, что жизнь-то их не удалась в миру, вот и злость отсюда. Овдовела — сперва тоска у ней, любовь к умершему, а потом как напала тоска на нее и кончено. Сама не знает отчего тоска эта, думает, что по покойнике скучает своем, от любви исходит, а в самом-то деле — тянет ее к любимому не любовь ангельская, а согрешить ей хочется. Вспомнит про мужа-то, про любовь да про ласки, про то как покойник любил ее, — силы нет победить себя, потому еще молода, ну и начнет себя изнурять постом да молитвою; начнет высыхать заживо и злость у ней появляется и мужчин-то клянет и свою жизнь загубленную и других ест поедом, — на побегушках у ней, хуже горничной, та хоть волю имеет, а ты что?! Оттого и злится, что молодости твоей завидует, красоте девичьей. Вот и изводит тебя. Эти-то еще что — полбеда, полгоря, а вот жирные... для тех ты не человек пока послушница и держат они нас, чтоб работать на них кому было. Сами-то целые дни по купцам ходят, по благодетелям — пьют, едят, тараторят, сплетничают, невест сватают, — не свахи, а сватают... А ты мечись целый день, работай, а вечер придет — садись за пяльцы, — работы тебе принесла — невесте приданое. И держат они нас батрачками, пока не примешь ты посвящения, а приняла, сразу в приятельницы. Приняла посвящение — кончено. Дальше стен этих никуда не уйдешь — кончено.

А не уйдешь, значит своя, вой по-волчьи... А с приятельницей и попить и поесть у купцов пойдет, перезнакомит тебя с благодетелями и про женихов с невестами говорить начнет, а вернется домой, ляжет спать, — не спится ей и зовет приятельницу, пойдти говорит, что-то холодно мне, вдвоем согреемся; и греются целую ночь, аж синяки под глазами утром... А ты думала что?..

Чаще да чаще слышала Ариша от приятельницы разговоры эти, а потом та и скажи ей:

— Ты думаешь, это у них племянницы живут малолетние, сироты, — как же!.. Дети ихние.., а у них — племянницы...

И потянуло Аришу правду узнать монастырскую, оттого и потянуло, что и у самой по ночам сердце билось по-чуждому, замирало как-то, особенно когда из семинарского рва доносилось пение. И на кладбище стала ходить по весне соловьев слушать...

Еще мать Валерия жива была, когда у Ариши в первый раз сердце екнуло, не забилося, а только екнуло легонечко, оттого екнуло, что пришел как-то к ним в келию с мамашей молодой студентик.

— Вот и я к вам, матушка Валерия, пришел с мамою. Никогда еще не бывал в девичьем монастыре, а согласились учить меня вышивать шерстями, теперь не отказывайтесь.

— Не откажусь, Владимир Николаевич, — учить буду...

Мать матушке Валерии и гостинчиков городских принесла, подсластить старушку, побаловать.

— Я и пальцы вам натянула... Рукодельник вы, не хуже девушки...

Ариша вошла...

— А ну-ка, Аришенька, разведи самоварчик нам, да приходи вот молодого человека вышивать учить шерстями.

Арише смешно и глянуть-то любопытно на пришедшего.

За чайком и просидели до вечера, Ариша-то и шерсть ему подбирала, и рисунок на канву свела, а взглянула на него, когда он неумело нитку продергивал, — помочь хотела, наклонилась к нему и взглядом встретилась; и екнуло сердце, и руки отчего-то ослабли и у него — тоже дрогнуло от глаз девичьих. Не цвели еще любовью глаза девичьи, а взглянули — и брызнула из-под ресниц ему в сердце ласка ясная.

Потом и не взглянула Ариша на него за весь вечер ни разу, боялась, а он все время старался заглянуть сбоку.

И начал ходить он к Валерии вышивать шерстями, узор

плести в сердце девичьем. Не в келию приходил, а в монастырский собор к вечерне, подле клироса становился, Аришею любовался. Вечерня кончится, не сразу пойдет к Валерии в келью, а сперва подле храма надписи почитает на могилах купчих почетных, благодетельниц, а потом и в келию.

Валерия по старости не могла учить его долго — глаза слепли, — Аришу сажала. И чаще да чаще встречались глаза, и сердце замирало, екало. Так и лето прошло не заметно, а к осени — в Питер ему уезжать, и узор не кончен.

Мать Валерия посоветовала:

— А ты кончи ему, Ариша, сама кончи... Хороший он, скромный, как девица красная, вся семья такая спокойная, а барышня у них Зиночка — хохотунья, веселая, — пойдем как-нибудь...

И не удалось пойти к Белопольским Арише — заболела Валерия. Целую зиму промучилась, а к весне — отдала душу господу.

Всю зиму сидела Ариша над пяльцами, не узор вышивала, а сердце вкладывала в шерстянку каждую, душу свою отдавала любимому. Сама и не знала еще что любит, а только все время про него думала, вспоминала, как близко сидели вместе и вместе с ним вышивали один узор нежный.

Валерия померла — у Ариши хозяйка новая, Евдокия Семеновна Денисова. Спрятала она узор неоконченный, мечтала ему подарить, когда опять придет.

А хозяйка-то поселилась новая и прямо к игуменье, просила себе пострижения и вклад в монастырь сделала особый — одела мантию.

Молодая хозяйка, чернявая, строгость на себя напустила иноческую. Ни минуты Арише покою не было, одна и осталась отрада — петь на клиросе. Как птица на клиросе заливалась послушница и оборачивалась на то место, где Владимир обычно любил становиться. Пела — про него думала, его вспоминала.

Барвара, подруженька, и то сказала:

— Чтой-то ты, Ариша, чудная какая стала...

Ждала, что придет весной и опять к вечерне придет на нее взглянуть...

Не забыл, пришел, подле клироса стал опять, а после вечерни около храма прогуливался, дожидал, когда разбредутся монашки по келиям. А у ней колотилось сердце, не екало уж, а колотилось, не знала что делать ей,

как сказать ему, что умерла мать Валерия и узор спрятан — нельзя вышивать более шерстями разноцветными. Дожидалась, пока все не выйдут из храма, ноты складывала не торопясь, а потом выбежала и к могилкам прямо. Подбежала к нему.

— Владимир Николаевич, теперь уж нельзя нам вышивать больше...

— Почему, Ариша, нельзя?!

— Матушка Валерия умерла... Теперь я у другой на послушании, теперь нельзя.

И сама не заметила, как клубок подступил к горлу, и прозрачную пленкою слез глаза покрылись и от этого еще стали лучистее... Всего может, одну минуту стояли молча, а сразу почувствовали, что тоска схватила душу.

— А я все-таки, Ариша, буду приходить к вечерне.

И как отзвук у ней сорвалось:

— Приходите...

Сказала ему, испугалась, опустила голову и, уходя уже, до свидания сказала ему.

Стал он ходить к вечерне, подле клироса становился, на нее глядел, ловил взгляды ее и ласковые и печальные. Приметила эти взгляды подруга Варенька и, когда уходила последнею Ариша, подошла она к ней да попросту:

— Любит, что ли, тебя?

— Кто?

— Да этот студент, что постоянно ходит.

— Не знаю...

— А ты его любишь?! Я вижу ведь, что любишь. Ну, скажи, любишь?..

— Не знаю...

— Неправда, Ариша, — любишь его, по глазам вижу, и он тебя тоже, и у него по глазам видно.

— Не знаю...

— Я б на твоём месте любила его. Хорошенький он какой, молоденький. Что тебе беречь-то себя, для кого беречь, замуж, что ли, в монастыре собираешься?!

— Не знаю.

— Что ты все не знаю, да не знаю, а ты узнай... Сколько в монастыре живешь, а точно слепая. Если в мир не уйдешь отсюда, а куда нам и идти-то отсюда, куда мы годны, кому нужны, одно только и знаем — спаси господи, спаси господи. У нас у всех тут одна судьба — помирать заживо. А тебе ведь жить хочется. Я раньше тоже была не

смышленная, а любовь всему выучила, и тебя научит.

— Не знаю...

— Узнаешь, когда научит. Меня научила вот... И я тебя научу. Походит он, походит, а увидит, что ты только поглядываешь на него, наскучит ему и не придет больше. Мало у него городских барышень?.. Красивеньких... Может, и ты хороша, да только нельзя тебе красоты своей показать ему — под скуфеей волосы, а там, у барышень-то — я видела — и ленточки-то к месту, и медальончик на груди лежит золотой, и завиточки, локончики и не свои может, а шипчиками сделанные, а у тебя свои, золотые, а спрятаны, приглажены. А я тебя научу... Хочешь?..

— Не знаю...

— Так слушай. Все равно ведь в монастыре помирать и когда — тоже все равно, беречь себя не к чему... Ведь вот не померла же, жива осталась, зато любила, уж так семинариста одного любила!.. На кладбище и встречались мы. Моя-то уляжется с петухами, а я вот через заднюю калитку и — на кладбище. Ты думаешь не знают наши, что бегаем?.. А сами-то хороши... Все мы грешные, ни одной нет праведной, а если и есть — большая значит, все равно что помешанная... Шепни ему... Как зовут?..

— Владимир...

— Шепни ты ему, чтоб пришел вечером на кладбище. Не бойся его, люби... Ничего не будет, а если что, я знаю как, помогу тебе. Не умрешь от этого. Видишь, не умерла ведь, а зато как любила-то. Пока молода и еще буду любить, если встретится. Так слышишь, не будь дурой, упустишь — другого не дождешься, может быть, всю жизнь. Эх ты, глупая! Я б давно уж...

Целую ночь не спала Ариша, думала. И на жестком тюфяке жарко было. То волосы грудь защекочат — замрет сердце, оттого и замрет, что о любимом думает, то руки закинет за голову и пробежит по всему телу волною дрожь жуткая.

Думала, как сказать ему, чтоб пришел на кладбище. Сказать — страшно, еще посмеется над ней. Думала про него, а он перед ней как живой стоял, с закрытыми глазами его глаза видела. Вспомнила, как в прошлом году его вышивать учила и про узор неоконченный вспомнила и сразу у ней промелькнула мысль, что скажет ему, чтоб пришел на кладбище вышивание взять свое.

А из семинарского сада песни неслись мирские про

любовь, про ласку, и ночь-то лунная, полосой свет из окна — в келию. Про узор вспомнила — засыпать стала. С семи лет сиротой в монастыре жила, кроме окрика ничего не слышала — понукали, тыркали, только и отдохнула, когда на клиросе петь стала и к Валерии перешла на послушание. Сколько лет прожила, все порядки узнала, все привычки монахинь узнавала по взгляду, и всосалось в кровь монастырское — ничего не видела кроме клироса да послушания, ко всему привыкла, а главного и не заметила, может и оттого и не заметила, что сердце еще дремало девичье, да и грех монастырский тайком живет, прячется в чистеньких келейках с кисейными занавесками да с еранками, бархатцами, под кровать залезет до ночи, ночью и выползает только и карабкается, копошится среди тел греховных, — от этого и не видела и не чувствовала Ариша, пока у самой не забилось ходуном сердце, да и Валерия матушка — старая была, молитвою жила успокоенная, покаянием о грехах земной жизни. А как сердце у Ариши забилось, застучало в душу, разбудило ее любовью, так и самой захотелось любовью жить. И с подругою согласилась, с Варенькой. Стала студента своего дожидать, чтоб после вечерни улучшить минутку и шепнуть ему, чтоб пришел на кладбище.

За вечерней стояла, чуть не плакала, говорить было страшно, боялась, что увидят монахини, как подойдет к нему, а потом что будет, что про нее говорить станут. И опять от вечерни последнею вышла, увидела его около могилки и будто мимо пошла...

Остановил ее, сам подошел...

— Ариша, а все-таки мне хочется побыть с вами... Как только?!

— Владимир Николаевич, нельзя этого... В монастыре нельзя; это в миру можно, а я монашка. Я только хотела узор передать вам, вернуть вам, может, он нужен, так я принесу вам.

— Я подожду. Хорошо. Принесите.

— Сюда принести нельзя... Обойдите монастырь кругом, калитка там есть, что на кладбище прямо выходит, так я прибегу, принесу вам, на кладбище принесу. Только подождите немного там, а то сейчас никак нельзя, светло еще, увидят...

В келию ушла к Денисовой, ждала, когда та уляжется, и все время думала, а вдруг надоест ждать, уйдет и не увидятся никогда больше. Вышиванье достала — стеной

коврик неконченный, сам и рисунок делал — на коне перед камнем богатырь в раздумье, а у ног коня череп белый — она и сводила ему на канву и нитки сама подбирала, и не кончено-то пустяки всего — концы забрать. Доставала коврик — думала глядя на череп, что витязь-то он, а у ног его череп — ее череп...

Дождалась темноты и крадучись по задам подле стены самой добежала до калиточки, думала, что закрыта, а в калитке ключ торчит, повернула его — побежала на кладбище.

У самого входа ее дождал.

— Ариша!..

Вздрогнула вся испуганно.

— Это вы?! Я принесла коврик вам. Без вас кончила, еще когда матушка Валерия была больна... бывало лежит, а я вышиваю его... Пате, Владимир Николаевич, возьмите, а то мне бежать надо...

Ближе к ней подошел, по-тихому взял за руку — не отодвинулась, а только опустила голову от застенчивости, от стыдливости, покорила судьбе и сама стала покорная...

— Ариша, побудь, не уходи, — пойдем на кладбище...

И, держа ее за руку, повел в полумрак вечерний.

Не кладбище монастырское, а сад радостный, где от печалей земных уснули, упокоились безначальные сны женские.

От любви потерянной в монастырь пришли и в келиях метались от своего тела грешного, от помыслов о любимых — умерших, покинувших, обманувших, совладать не смогли с собою; изнуряли себя постом, молитвою, на жестком тюфяке бились судорожно от рыданий приглушенных о потерянном, истощали себя поклонами бесконечными, а забыть не могли прошлого — и ждали, когда освободятся от тела в земле премудрой, а другие: обессилев борьбой — грешили, прелюбодействовали с первым, кто жадные руки протянет за лаской — все равно кто: мужчина, женщина, лишь бы утолить вопль смертный и снова мучиться и молиться о несбывшемся... освободились от брэнной немощи и выросли незабудки синие, неба кусок обрушился и прикрыл голубым, синим, тенью кустов сиреневых от зноя защитил полуденного...

Далеко от людей, на краю города, где и жилья-то уже никакого нет, тишина кладбищенская и только кое-где сосновые кресты к могилам наклонились ласково...

А там — обернуться только — в золотом тумане загасал город, и в воздухе синеватом колебались призраки куполов церковных, очертаний крыш, домов, и когда последние погасали на горизонте полосы и зажигались звезды, еще слегка туманные — вспыхивали и загорались гирляндами электрические фонари на улицах. И когда совсем темно стало — над городом все-таки плавал голубовато-зеленый туман призрачный — жизнь сказочная.

Обернулись они, остановились, обнявшись, и долго смотрели на город, живущий дыханием земной жизни.

А потом, когда темно стало, поцеловал ее, и казалось ему, что один только раз поцеловал Аришу, а что только поцелуй бесконечно долгий, не безумный, а тягостный, от которого и хочется и нельзя избавиться, пока в одном биении не сольются тела, отяжелевшие от поцелуя долгого.

В этот вечер от тяжести своей не избавились...

— Я завтра сюда приду, вечером, — приходи, Ариша!

— Не приходите, не надо, милый, — зачем вы хотите прийти, зачем?..

— Видишь, как хорошо! Я хочу, чтоб нам хорошо было...

И целый день мучилась, жизнь свою погубить боялась, а сердце звало к радости, тяжелым комком в груди билось и падало толчками, и кровь прилиwała к рукам, к ногам, к голове и путались мысли, и чувствовала, что пойдет, не выдержит, между узеньких улочек палисадничками в тени прокрадется на кладбище, а дальше что будет — не знала, чувствовала только жуткое, но бесконечно радостное.

Выходила из келии, боялась, что половица скрипнет, калитка загремит, и, не оглядываясь, пригнувшись как-то, опустив голову, пробежала в тени и когда ключ повертывала в калитке, боялась дребезжащего звука заржавого. Выбежала за стену — вздохнула, точно с полей, от реки особая свежесть пахнула вечерняя, и дальше побежала на кладбище. В голове только билась одна мысль, — один раз повидать его, только раз, последний, а что будет — все равно.

И у обоих слов не было, а только одна бесконечная ласка радостная, освободившая сердце девичье, успокоившая познанием неведомого, непостижимого. И влажная от росы земля казалась теплою и душистою.

Снял скуфейку с нее, распустил волосы, косы расплел тугие и голову прятал, купаясь в локонах золотых, и только когда к полунощнице ударили повесть — расстались.

Наскоро собрала волосы, под скуфейку подоткнула черную и побежала.

А прибежала домой, в келию, и от любви, и от счастья, и от неизвестного, что впереди будет, от жуткого до ранней проплакала.

Потом каждый вечер бегала, пила неизведанное, до конца отдавалась вся.

К осени только опомнилась, когда в первый раз Аришу тошнить начало и на пищу стало глядеть противно. Все лето с весны бегала к любимому, сперва боялась за будущее, а потом — забылась и до осени не вспомнила. А когда целый день мутило ее, чуть не до рвоты, тут и опомнилась, побежала к подруге, к Вареньке.

— Чуть не рвет меня, сама не знаю, что со мной сделалось, помоги мне.

— Дура ты, ничего не знаешь, пройдет это.

— А что это, Варенька?!

— Беременна, вот что.

Вечером еле дошла до кладбища, захотелось, чтоб любимый ее пожалел ласково. Целый вечер, прижавшись к нему, просидела тихая, робкими словами рассказала путано. Успокаивать начал ее обещаниями искренно:

— Не бойся, Ариша, я люблю тебя. Я маме скажу, она разрешит, я знаю, — женюсь на тебе, будем счастливы... Ты не веришь мне... А я хочу, чтоб мы были счастливы.

Когда говорил, вспомнила слова подруги своей, что никуда нет из монастыря выхода, ни к чему они не годны, а ждет улица их, болезни страшные, и на все его слова ласковые, на все обещания заплакала, а когда успокоилась, сжала сердце в комок горестный, и сказала ему простыми словами горькими:

— Ничего я от тебя не хочу, Володичка, — такая счастливая я была с тобою, а больше этого счастья у меня не будет в жизни. Разве я замуж хотела за тебя, когда прибежала к тебе сама — хотелось мне любви твоей. Монашенка я, потому и монашка, что деваться мне некуда. Ты вот ученый, умный, а я глупая, ничего кроме пения да рукоделия не умею. Куда я гожусь тебе?.. Что ты!.. Меня твоя маменька и горничной не возьмет. Разве я затем к тебе ходила?! И ты не убивайся, не жалея обо мне, — разные у нас дороги с тобой, тебе широкая, а мне монастырская. Я тут останусь. В жизнь свою не забуду тебя, миленький, всю жизнь буду помнить любовь твою ласковую. А это пройдет. Варенька мне говорила, что

пройдет это, она и поможет мне, она добрая. Поцелуй лучше меня... Может, последние дни видимся...

Пришел домой Владимир — задумался и тоже опомнился, и слова понял Аришины, только сердце еще не хотело им верить, да ласки манули ее — расстаться было тяжело с ними. Матери хотел рассказать и не решился, все равно знал, что не позволит жениться ему, и только в мыслях себя успокаивал, что непременно скажет и женится, непременно женится.

Птицы с родимых гнезд собираться стали и Белопольский с ними, только разные у них пути были — перелетным стаям в края теплые, а ему в туманный Питер, все равно как Аришин путь в келию, а ему — в жизнь вольную.

С того дня как выплакала душу ему, и на кладбище не пошла больше.

Мутные вечера осенние с дождем дробным с грязью липкою, нависнут облака неотжатыми тряпками поломойными и темно в монастыре, тускло и не крашенные кельи бревенчатые с палисадниками, с деревьями безлиственными — бесприютные, как и вся жизнь монастырская. И страшные мысли, и отчаянье, и тоска, и грех серенький ползет по келиям.

Целые дни Ариша сидела в келии и петь не ходила — больной сказала, и без перерыву два месяца выворачивало нутро ей тошнота тягучая.

Молчала она, пряталась, а все знали и тоже молчали сумрачно, давно видели глаза зоркие, как на кладбище вечерами бегала, шепотком довольным бездельницы мягкотелые говорили, ехидничая и завидуя:

— Ариша-то, бегаёт... На кладбище... негодница бесстыжая...

— С кем же она?..

— Студент какой-то из города.

— Надо матери Евдокии шепнуть.

И шепнула Денисовой про Аришу одна приятельница.

Мантию приняла Дунька, обжилась в монастыре, успокоилась после дома галкинского, где мерещалась ей по ночам Марья Карповна, и вошла в колею монашескую. И раньше еще любила от приживалки своей послушать сплетни, от странницы, и теперь принялась за старое. Летом и по купцам начала ходить с соседкою, чтоб скучно не было. Один раз, — в субботу было, — возвращались

поздней вечером и по-приятельски завели беседу душевную, соседка начала, Апполинария:

— А ваша-то, ваша... бегают. На кладбище. По ночам бегают...

— Зачем?..

— Со студентом молодым любитя. Не раз матушки из окон видели — бежит, озирается, — впервые ей, вот и озирается.

— Да я ее завтра же выгоню, не потерплю этого.

— За что ж выгонять-то? Пускай ее погуляет... зато потом ваша будет, вот как можно к рукам прибрать — за милую душу, что хочешь потом делай с ней. У меня тож было так-то, с подружкой ее, с Варварою, — дала я это ей нагуляться вволю с семинаристом одним, — гуляет и пусть гуляет, отгуляется — моя будет, — отгулялась она, отбегалась, а как пришлось с брюхом-то в келии отсиживаться, я тут-то и прибрала ее к рукам. Ты, говорю, блудила, как кошка, молчала я, а теперь кайся...

— Заставлю ее, заставлю каяться!..

— Я вам, матушка Евдокия, по секрету скажу, — стала Варвара моя брюхатить в келии, я и говорю ей, — знаю, Варенька, знаю, милая, не с тобой с одной случается, со многими, ласковая ты девушка — не выдержала, согрешила, — я сама тоже грешная, вот как люблю ласковых, и тебе, милая, теперь тоже без ласки тягостно, так ты приходи ко мне ночью — и я тебя приласкаю и ты меня; легче будет, я ведь тоже мучаюсь, а ты вижу, ласковая, приходи ночью. Она ето пришла, сама не знала зачем, а пришла... Заартачилась сперва, что вы, говорит, не могу я... А, так ты, говорю, не можешь, а бегать могла на кладбище, так и помолчи теперь, голубушка, а то я живо отправлю к игуменье, — ты думаешь из монастыря тебя выгонят, — дожидайся, как же — не выгонят, милая, а замуравят тебя живую, да на всю жизнь, теперь ты в моих руках, в моей воле, дала я тебе свою волю — набегалась, получила свое, а теперь слушайся! Только вы не сразу, а потихонечку приучите ее, а то отпугнуть можно...

Закадычными друзьями расстались, облобызались в плечико.

— Храни вас Христос, что посоветовали...

VI.

Мать Евдокия спозаранку ложилась осенью, от вечерни придет — и в постель с шести вечера.

Чай пьет вприхлебочку с блюда, губы мясистые оттопыривает, когда дует, любит, как частыми струйками переливается чай горячий, а сама думает, как ей начать разговор с Аришей и начинать ли, не лучше ли ночью позвать просто и приказать, и на нее поглядывает. Вспоминает Афоньку рыжего, про то, как в кладовушку бегала к нему под лестницу, и невольно взглядывает на Аришу, понять только не может никак, отчего так похожа, только нос вот — у того был проломленный, а у этой тонкий с горбинкою, а брови сросшиеся и волосы рыжие, темнее только, да кожа розовая. Ариша молча сидит, чай пьет и давится: то слезы нахлынут к горлу, то тошнота подступит и сама голова склоняется все ниже да ниже, не дожидается, когда Евдокия спать уйдет. А та сидит, свое думает, ее разглядывает, и кажется ей, что все равно и с ней будет ласково, так и точит ее мысль жадная, что права Апполинария, все равно и с Аришей в монастыре жить можно, хорошо что пошла сюда, а то из-за сидельца Васьки побираться идти, либо на улицу; и Афонька не нужен, только мучил он ее, душу изматывал ревностью, а тут теперь и ревновать будет некому, возьмет она ее в руки и не выпустит, все равно той деваться некуда; а молчать будет, потому и будет, что беременна. И поблескивают глаза жадные у Дуньки на послушницу, даже туманятся, когда медленно поведет с головы до ног..

Не дожидается Ариша, когда день кончится. Нальет чаю на блюдо — стоит, стынет, глядеть ей на него противно.

— Что же ты не пьешь, Ариша?..

— Не хочется.

— Да что же ты в самом деле, что с тобою, — обедать не хочется, чай пить — тоже...

Хотела ответить — а комок подступил к горлу, противная слюна в рот брызнула и потянуло рвать.

— Что-то с тобой, больна чем?

Рот рукою зажала...

— Только у беременных так-то бывает, а ты ведь монашка, девушка, у тебя отчего так-то, уж очень похоже на то, что ты беременная...

Сквозь слезы с трудом ответила:

— Не знаю, сама не знаю...

Сперва хотела уйти в переднюю, а потом и не выдержала, как-то всем телом падающим соскользнула от стула на пол, села и как-то ползком, не поднимая головы, к Дуньке приблизилась. Ничего не помнила, только жгло голову, что все равно говорить надо, каяться, чтобы не выгнала, не сказала никому, грех ее спрятала, помогала ей, так лучше теперь, чтоб потом было легче. Подползла к ней, к ногам ее, вытянула перед собой руки сжатые, положив в них голову, — и склонилась к ногам Дунькиным. И Дунька не выдержала, шелохнулось в ней человеческое, может от того и шелохнулось, что вспомнила она, как в коридоре на сундуке мучилась, когда тоже ее тошнило до рвоты, а ее-то, Афонька, у Марии Карповны ночевал в спальне, — свое старое незажившее, а только паутиной заросшее, прорвалось болью и наклонилась она к Арише, на волосы руки ей положила и все старалась поднять ей голову, и по-бабьему, как в деревне, участливо и со слезами тоже:

— Как же это ты так, девонька, как ты допустила его к себе?.. С сбою-то что сделала?..

— Матушка, я сама, сама хотела любви его, все равно мне тут помирать не живши, так хоть раз да узнать любовь человеческую, как люди-то друг друга любят, счастье хотела узнать, хоть чуточку счастья этого! Да разве я не была счастлива? Как сумасшедшая была какая, полумная, только бы узнать его, счастье это...

— А теперь-то что, теперь как будешь, — ведь мучаешься, на что же тебе счастье-то такое, когда после мучаться?.. Как же так?..

— Может, я без любви-то еще б больше мучилась; до самой бы смерти мучилась, если б счастье-то не узнала. Сама я, сама, матушка... Душа у меня без счастья рвалась. В саду-то семинарском запоют песню, а у меня душа рвется, сил не было — по ночам не спала, не могла уснуть. Так сердце билось и тоска-то такая-то потом целые дни. Оттого и тоска была, что жила без счастья. Само оно пришло ко мне, счастье мое коротенькое, и знала я, что недолгое будет оно, и слов-то его не слушала про женитьбу, а только душу свою облегчить хотела, счастье узнать человеческое, потому потом все равно мучаться, сама знала что мучаться, а может, без счастья-то еще б сильнее мучалась, теперь хоть за что...

— Все они так, люблю говорит, а потом и мучайся. Жизнь говорит, тебе дам, для твоей же жизни и счастья это, потерпи только, а потом и нет его, а ты и мучайся.

Удавить бы его, коли б наперед знать — на мое счастье тебе, радуйся, а потом чтоб не достался никому больше, на ж тебе. А мы-то, глупые, уж такие глупые, от счастья-то этого себя теряем, всю жизнь мучаемся. Как леденцы от тепла таем, когда он с тобой ласковый, целует тебя, слова говорит сладкие, себя позабыть готовы, а потом... мучаемся. А разве ж без них обойтись нельзя?.. Можно... Теперь знаю, что можно. Сперва намучалась, потом и узнала только. И ты так-то, девонька... И без них можно и не мучалась бы...

Приподняла Аришу, голову ее в руки взяла, по плечам гладила и вместе с жалостью к ней и ненавистью к Афоньке, к мужчине, ласкала ее по-особому и чувствовала, что и ее по-особому любить будет, в лицо вглядывалась и казалось близким оно, отчего даже почувствовала, что и тело к ней тянется. Не успокоилась Ариша от ласки этой, а только стала плакать тихо и тихо жаловалась:

— Матушка, не от того плачу я, что мучаться буду, я-то ведь была счастлива, может, счастливей меня и на земле-то никого не было, а страшно-то мне, а ну, как узнают, тогда что, тогда выгонят, деваться-то куда, — некуда. Сама знала, что так будет, да тогда не думалось как-то об этом, уж очень я была счастлива, казалось, что само собой все делается, а теперь — страшно стало. Матушка Евдокия, не гоните меня, теперь вы мне как мать родная, вся я тут пред вами. Мне Варенька помочь обещала... Матушка... Только б не узнал никто... Никуда я не пойду от вас, в уголке целый день сидеть буду...

Успокоила Дунька ее, обещала молчать, грех покрыть, утаить в келье, и только странно как-то сказала, придушенно, шепотком, чтоб ее слушалась, угождала ей, тогда все по-хорошему будет; а сама думала, вспоминая слова Апполинаруи, что теперь от нее никуда не уйдет, она повелевать будет ею, в ее руках девка, что заставит, то и сделает, а то пригрозить будет можно.

И первый раз Дунька заснула довольная, не мучилась, не ворочалась, а решила выждать, пока та успокоится; и от мечтаний своих даже с открытым ртом заснула, и во сне на подушку текли слюни сладкие.

Ариша до рассвета не могла заснуть и не плакала, не было слез больше, только до боли глаза резало, точно повело их чем горячим. И сердце у ней в комок сжалось. Целую ночь перед иконою простояла в одной рубашке и не

думала, что целую жизнь потом за счастье свое мучиться, об одном только — перенести теперь страшное.

Каждую ночь молилась она, с того дня, когда на кладбище не пошла сама, начала молиться и не каяться, а молить защиты, а в душе каждую ночь горело счастье, всем телом чувствовала и благословляла его за любовь свою.

И на Дуньку стала смотреть с радостью, старалась ей угодить во всем, с полслова желание исполняла каждое, а когда тошнота прошла, спокойная стала, сосредоточенная, точно в свою глубину заглядывала, и только по ночам томилась.

Уляжется мать Евдокия с шести вечера — Ариша до утра молится, исхудала, осунулась, только глаза стали гореть ярче, и от опавших щек и от потемневшего лица волосы казались еще пышнее.

Выспится Евдокия с шести вечера до трех ночи и начнет ворочаться. Не спится ей и пойдут мысли разные, и выползет из-под кровати бес гаденький греха смертного и мерещится он ей в темном образе человеческого, на ухо шепчет, сердце жжет. Слышит она, как в передней Ариша шепчет, и не бес ей уже кажется, а послушница к ней подходит ласковая, и только еще какой страх нерешительный сил не дает позвать Аришу.

А когда позвала Аришу, голос придушенный дрогнул и забилося сердце:

— Ариша молишься?..

Отозвалась тихо:

— Молюсь, матушка...

— Жалко мне тебя, пойди сюда.

Подошла тихо.

— Иди ко мне, со мною ляжь,— тебе со мной легче будет...

Покорно легла утомленная и от тепла ее на душе легче стало.

А когда обняла ее Дунька, прижиматься начала и шептать от безысходности, умоляюще, жутко и непонятно Арише стало, насторожилась как-то.

— Я ведь тоже мучаюсь, все равно как и ты,— ведь ты сама не знаешь от чего мучаешься, а я знаю. Все мучения пройдут.

Ноги сжала. Из рук цепких вырвалась, тут же подле кровати дунькиной опустилась на пол и без слез каким-то одним иканием рыдала судорожно, а та от злобы безумной,

лежала плашмя на постели, над Аришей свесилась и шипела над ее головой, хватая за волосы и дергая их пальцами корчившимися:

— Пойдешь или нет?... Слышишь... Иди лучше. Хочешь, чтобы пошла к игумении. Смотри... У, стерва,— иди, что ли!.. Теперь-то ты в моих руках,— не пойдешь — завтра же прикажут за монастырь выгнать. Да еще в полицию отведут... Билет желтый выдадут... А по этому билету тебя ни в один дом не пустят, каждый сапожник за три копейки целую ночь с тобой утешаться будет и ничего ты ему не сделаешь... Слышишь... Сама выбирай. Иди лучше.

Тысячи мыслей в голове бились, душу полосовали пыткой, как ножом резало,— сама выбирай. Выгонят... На улицу... билет желтый... сапожник... — и ни воли, ни сил — отчаяние и безразличие — все равно, все равно... И от слабости руки повисли, глаза закрыла и вся неподвижная стала, и только когда Дунька ее за волосы от злобы держала и шептала: «иди... иди...», как-то подавалась вперед немного, и, чувствуя, что нельзя отодвинуться от боли, поползла к постели все ближе и ближе, а Дунька тянула еще сильнее, отодвигаясь к стенке, и точно втаскивала ее на кровать.

И точно неживая наутро Ариша встала, точно все умерло в ней, безжизненная ходила по келье, тихим одеревеневшим голосом отвечала Дуньке, и только целый день глаза были подернуты пленкою слез застывших, и слез не было, а только лежала эта пленка, от которой глаза резало, и веки становились кровяно-красные...

А когда Дунька с какою-то жадною улыбкою опять позвала ночью, покорно легла и только всю ночь вздрагивала, а от слабости тошнотно голова кружилась и как сквозь сон слышалось:

— Видишь как, видишь... дура ты... дура... — чувствовала на теле своем губы липнувшие.

Целые дни сидела в келье Ариша, неживая была, себя не чувствовала, исхудала, глазницы ввалились, и глаза от слез опухшие были. Варенька проведать прибегала подругу, начала спрашивать. Рассказала ей, что измучилась она, и не от того измучилась, что беременна, а измучила ее мать Евдокия; ничего не поняла Варенька из путанных слов Ариши, только, уходя, сказала, что терпеть надо, потому что каждый человек за свое счастье расплачивается; может быть, нет такого человека на земле,

который бы не заплатил страданием за свое счастье, оттого-то и кажется оно звездой светлую и, вспоминая о нем, живет человек. А в монастыре это счастье еще большей и еще слаще, и переходит оно из воспоминаний в молитву, богом оно становится для души на всю жизнь, о нем человек богу молится и в молитве наполняется душа радостью пережитой, и кажется, что нисходит к человеку сам бог в душу заступником и покровителем. И всякую муку пережить можно, если молитва горит от преисполнившей сердце любви радостной.

— И со мною было так-то, а я молилась ему, любимому-то, и господу называла его словами ласковыми. Только и жила молитвою. Меня тоже моя мучила. Тут-то они и пользуются, чтобы в кабалу тебя взять. А ты терпи, пусть что хочет с тобой делает, все терпи. Я вот мантию скоро приму, тогда моя жизнь настанет, никто тогда измываться надомной не будет. Перетерпишь — душа очистится. Да ему молись, о нем каждую минуту про него думай, и дойдет до него твоя мысль, и он затоскует о твоей любви, и будете друг друга чувствовать, а ей покорись.

Два человека стало в Арише, один убитый, замученный, покорный пассивностью, другой — светлый и радостный любовью к Владимиру. Целые дни молилась о нем и чувствовала, что не плод его во чреве растет, а он живет и всю ее заполняет и с каждым днем ширится в ее душе, в глубине сердца.

Молилась всевышнему, вспоминая каждое слово любимого, каждый взгляд его, каждый вечер ушедший в вечность, и чем больше о нем думала, тем дальше уходило от нее телесное. И снова загорелись глаза радостью и еще ярче казались ввалившиеся от беременности и от ночей страшных в одной кровати с Дунькою. До глубокой ночи молилась, а когда слышала, что зовет мать Евдокия, поднималась покорно и шла, как на муку крестную, от которой еще сильнее любовью душа горела. И ночь разделяя Аришу надвое, — одна отвечала безжизненным голосом Евдокии, покорно, как неживая, касалась руками ее тела, а другая — замкнутая в самой глубине сердца жила образом возлюбленного, и мысль о том, что за его любовь, за свою — мучается и восходит к небесам очищенная в своей любви, и чем острее тело мучалось и вздрагивало от неистовства Евдокии, тем ближе и ближе чувствовала свою душу и Владимира, и огонек зеленова-

тый от лампадки выростал в его лице, вглядывалась в него, — широко раскрывались глаза, стараясь уловить его взгляд, услышать его слово, и хотелось, чтобы еще сильнее ее Дунька мучала и сама старалась мучать ее, вызвав в ней бешенство, от которого заходившееся сердце Аришино отделяло душу ее к этому светлому сиянию лампадки, где все ярче и ярче сияли его глаза, улыбка возлюбленного, и даже казалось, что он говорит ей те же слова о любви своей, что и на кладбище она слышала. Измученная, не чувствовала, как засыпала; и сначала не сон был, а томление, в котором открытые ее глаза еще видели глаза любимого, а потом, когда опускались медленно веки и наступал сон — зеленоватый свет лампадки загорался в мозгу снами. И до утра сны видела: широкие поля и дороги, по которым она шла с Владимиром, и не шла даже, а плыла в воздухе и мимо проходили города с башнями, с зубчатыми стенами, с бесконечными садами, где стояли дворцы с громадными колоннами. И чем неистовей, ненасытнее становилась Дунька, чем она ее больше мучила, тем ярче и ярче было лицо любимого для Ариши в зеленоватом свете лампадки, тем желаннее были сны о Владимире, тем сильнее она старалась вызвать неистовство в Евдокии и ждала даже ночью, стоя на молитве, когда та ее позовет к себе; молилась без слов и ждала зова; и отрывалась душа от тела, и тело было только вместилищем образов и снов аришиных. И когда слышала зов Дунькин, вздрагивала и шла с глазами широко открытыми, как зачарованная, и всю ночь до бессознания мучилась.

Шевельнулся ребенок в ней — никому не сказала, ни Евдокии, ни подруге Вареньке и только под утро измученная, с воспаленным взглядом после ночных мучений, чувствовала с каждым разом давящую боль, тупую и нудную, и инстинктивно начала Дуньку отталкивать, и от боли стал пухнуть образ возлюбленного. И Дунька по ночам стала злобною, кричала на нее в бешенстве, била ее; рвала пальцами, и только когда услышала, как навзрыд Ариша плачет и все сильней и сильней, захлебываясь, до истерики, поняла, что плохо ей, и спросила:

— Чего ты? Что с тобой?..

— Бьется он, тут бьется, больно ему от этого — мне больно.

— Раньше-то чего не сказала,— дура!

Пожалела ее, вспомнила, как сама носила с трудом и ненавидела и его, и Афоньку, и себя за свою слабость бабью; и не стала звать больше к себе Аришу.

А та наутро прощенья пришла просить у Евдокии:

— Матушка, простите меня, не могла я вчера нести послушание,— простите мне...

— Ты б мне раньше сказала, не знала я... Теперь подожди, а то вреда бы не было. Я раньше тоже дура была, не знала этого, а теперь я на них и глядеть не хочу, на мужчин этих — как звери они, одна мука от них. Теперь мучаешься вот... Ему что — ублажился и с глаз долой, а ты мучайся, носи плод его, — каждого б задушила, всех бы их в одну помойку и утопила бы... Разве люди они? — звери! Натешится, наиграется и бросит, а ты мучайся, всю жизнь мучайся! Ты думаешь, что я не мучилась... Как еще мучилась! Разве радость ребенок-то этот, и его возненавидишь от того, что тот тебя бросил, его ненавидишь и плод его... В монастыре только и стало легче. А с тобой про все забывать стала... И ты забудешь, утолишь свою муку житейскую. Только теперь подожди, повредить можно. Потом уж видно будет, когда опростаешься.

И чем к родам ближе, тем меньше телом Ариша мучилась, тем реже Дунька звала ее по ночам. Бился ребенок в ней и сердце билось к любимому, — погружалась в молитву вся, из кельи не выходила никуда. Соседки монахини знали, послушницы, и молчали; сперва поехидничают, а потом и пожалеют по-бабьему. В каждой сердце грехом билось, каждая в миру или за белыми стенами монастырскими мучилась и любовью, и грехом смертным.

VII.

Вечера в монастыре тихие и пустынные, после вечерни монастырь женский точно город вымерший, — подле собора и трапезной большая площадь, в конце площади колодезь каменный с широким горлом бездонным, а кругом кельи с переулочками, одна келья на другую насажены, лепятся друг подле друга, обнесенные частокольчиками, обсаженные деревцами вишневыми, дерном, черемухой и кустарником боярышника, а подле самых окон — грядки клубничные и клумбочки для цветов, и тут же клочками малина, смородина и крыжовник.

Введенский монастырь своекоштный, — каждый о себе заботится, сам себе пропитание добывает, оттого и грех в монастырь заползает, что не одна только немощь плотская в грех человека вводит, а соблазняет ее городской житель. А не пустить его в монастырь нельзя: первое — что доход от него всему монастырю, а второе — зарабатывают от мирян монашки рукодельем и грешат иной раз с мирянами, если еще молоды, а на возрасте или какие на мужчин ненавидствуют из-за своей неудавшейся жизни, так в келье грех прячут.

И больше всего он живет с осени до весны ранней, когда спозаранок засыпает монастырь снами блуждающими от искушения дьявольского. А дьявол-то этот живет в колоде. Закроет привратница после вечерни монастырь замками старинными, обойдет монастырь с деревянным билом, и высунется нечистый из колодца. Оглядится по сторонам, под дверями у келий, а у кого щелочка почему-либо оставлена — нырнет в комнаты, залезет под кровать, нашепчет в подушки о грехе смертном и опять в щелочку. Так по следам привратницы по всем улочкам обежит монастырь девичий, и опять к колодцу. Посидит, поежится на морозе и опять по кельям.

Только лапки по снегу копытцами, вроде как собачьи, оставляют след.

А так тишина в монастыре — улочки узкие от снегу, белые в пелене невинности дерева, в инее, как невесты робкие.

Редко какая монашка к соседке выбежит за узором, за нитками, либо чайку попить — побеседовать, а с семи — сон мирный.

Не спит только Ариша — мучается, одна мучается и молится весенних дней ранних, когда лед набухший затрещит на реке, за оградю монастырской, и тронется, звеня голосами звонкими, и не заглушить ей крика звериного, когда время настанет родить девушке.

Подруга к ней прибежала, высчитала по пальцам, когда срок придет, успокаивала не бояться, помочь обещала, выручить...

С трепетом мартовских дней ждала Ариша — ледохода вешнего.

И когда лед на реке ломало и под водой ухало — стала боль рвать Аришино тело, разрывать его, — сперва

терпела, не понимала, что началось страшное, а когда сил не стало — вскрикивала.

Проснулась Евдокия...

— Ты что?..

— Не знаю... больно... терпеть не могу больше.

— А ты ходи, ходи по келье — легче будет...

Из угла в угол металась, вскрикивала, хваталась за стену и от боли опускалась на пол, и снова вскакивала и ходила.

И Дунька испугалась, растерянно хватала белье, одевалась, путаясь в рукавах.

— Как же быть, что делать?

Через силу Ариша сказала ей:

— Вареньку, Вареньку позовите мне...она... обещала... обещала помочь мне...

На разостланный подстил, на полу, над тазом, цепляясь за выступ печной, корчась от боли рвущей, натужась, взвизгнула по-звериному.

Дунька крикнула не нее:

— Молчи, дрянь... сама знала... а теперь терпи...

Только Варенька молча все делала, — намочила в холодной воде платок чистый, свернула в комок натуго и чтоб не было слышно крика — воткнула в рот ей:

— Терпи, девонька, терпи, милая... зубами сожми, крепче...

И когда боль разрывала, резала — давясь мычала, хваталась за Вареньку, напрягалась, корчилась и от напряжения багровело лицо, наливались глаза кровью, выкатывались, и только под утро сразу стихла и успокоилась. Вместе с Дунькой обмыла ее Варенька и на постель перенесла с пола. При огарке церковном подстилку скатала, на двор выбежала бросить в погреб и, также молча, заткнув тем же платком, что у матери был, рот младенчику, чтоб не кричал, не плакал, не будил монастырь жизнью запретною, завернула его в тряпицу, опять в погреб сбегала, отыскала сама в чуланчике бечевку, навязала отбитый кирпич, обкрутила новорожденного и, не смотря по сторонам, не оглядываясь, побежала по узким улочкам; задами бежала, обогнула все кельи, к колодцу бросилась, и назад, чтоб не слышать, как на дно кирпич булькнет, а булькнул кирпич, разбудил нечистого, тот из колодца вынырнул посмотреть, — никого нет, одни следы человеческие, вздохнул и полез устраивать жильца нового.

И вместо Ариши осталась у Дуньки в келье на несколько дней Варенька. Целые дни просиживала над Аришею, говорить не позволяла, двигаться и как-то отрывисто сказала Арише, когда та про ребеночка спрашивала, не глядя на нее, а в сторону, смахивая слезы с глаз:

— Всего две минуточки пожил...мертвенький... и у меня также.

Только чертик в колодце знал, каким его новый жилец родился, да и тот молчал, оттого, что любил помолчать о своих жильцах новых. И всегда эти жильцы весною к нему приходили или осенью. Раньше один жил, покойно было, а вот уж второй год, как принимал гостей к себе, ехидничал:

— Раньше в реку бросали, спокойней было, а теперь грязь тут разводят с ними; куда было спокойней под прорубь и без кирпичика, сунул его под лед и все. Не умели, как надо, чтоб и тогда им не жалеть кирпичиков, спокойнее б, а то как весна — лед тронется и ребята с девочками вот они, вылезут на свет поглядеть и плывут в город. А в городе-то ловить их начали, всю полицию на ноги поставили. Стали те ломать головы — откуда это каждую весну младенчики вместе со льдом появляются. И выследили. Сам полицмейстер взялся за это дело. С лета начал по вечерам подле монастырского обрыва ходить у реки подкарауливать черниц-праведниц. А что ходил, спрашивается? На свою ж голову... Разве летом бросают их?.. Летом подле ограды у матушек молодых зеленые липы, а в семинарском саду соловьи щелкают, заывают в монастырь семинаристов. Липы густые, старые, суки, ветки крепкие. Лестницу подставят к дереву, взберутся повыше, вташат бельевую корзину на веревках и ждут, когда влюбленные на берегу, в самом низу у реки, за оградю под обрывом появятся и спустят им на веревках бельевую корзинку, а потом вдвоем либо втроем втаскивают на липу ее с возлюбленным, а там и лесенка за оградой и подле ограды сад монастырский и до утра, пока солнышко не подернет светлой полоской небо, любовь славят земную поцелуями, лаской жаркою. Разве ж бросают в эту пору новорожденных? ! Не сообразил полицмейстер. Только и подглядел, как корзина наверх поднимается с мужчинами. Если б не я — монашкам беда б была. А если ты не умен, так я выучу. Захотелось ему самому в гости в монастырский сад... Даже штатское с собою принес

и переоделся на берегу, все б шло как по-писанному, а я ему и попутал мысли — так устроил, что забыл полицмейстер фуражку снять с кокардою. Опустили корзину матушки молодые, он и уселся в нее и, как в люльке раскачиваясь, подниматься стал на липу. И захотелось ему поскорее увидеть — кто, какие матушки — высунул голову раньше времени, блеснул кокардою — испугал матушек. У тех с испугу затряслись руки и веревки выпустили, и полетел господин полицмейстер стремглав на берег, да так шлепнулся, что и не встал больше, так и остался в корзине до утра лежать, пока из пригородной деревни бабы молоко не понесли на базар в город. Увидели начальство с кокардою, сперва хотели вертаться, а потом — бегом в город и в полицию прямо. Рассказали, что подле монастыря начальство какое-то со стены в корзине сброшено. Пришлось поглядеть — конфуз вышел. До города, до первого извозчика так и несли в бельевой корзине. В больницу прямо. Еле отходили... А по городу слух — сам полицмейстер к монашкам лазет, оттого весной и новорожденные от монастыря плывут: Только с тех пор ни полицмейстер туда ни ногой, ни матушки; с перепугу монашки и ребят не стали кидать в реку, а второй вот уж год — ко мне, размещай их тут на житье в колодце...

Сидит чертик, хвостом помахивает и ехидничает.

Все знает, только виду не подает, что видел, как нового жильца к нему Варенька в колодец кинула.

Кинула к нему, а сама бежать к подруге.

Осталась Дунька одна с Аришею, пока Варенька ношу относилась к колодцу, и давай шпынять ее, что беспокойство учинила, а главное, что на весь монастырь срам, что допустила у себя в келье, в деревню ее к родным не отправила. У кого ни родных, ни знакомых в деревне, поневоле приходилось в монастырской келье родить таечком, а у кого близкие в деревне — отпускали заблаговременно родных проведать месяца на три, родит в деревне монашка или послушница и приезжает, как ни в чем не бывало, а годика через три и возьмет свое чадо собственное на воспитание в келью под видом племянницы, — племянников у родных оставляли, потому он в будущем рабочий человек в хозяйстве, а племянницу сплавляли к матери. Племянницу-сироту удобнее было держать матери, — монастырь женский, девочкой и с дет-

ства ее к благочестию приучить можно, а потом — на своих глазах вернее. И живет такая монашка по-тихому, всю свою жизнь отдает дочери, из последних сил выбивается воспитать ее, прокормить, за полночь просидеть над пальцами — приданное гладью купчихам шьет, узор вышивает биссерный. Племянница подрастает, сперва в монастырскую школу ее направит, а попросит игуменью — в епархиальную определяют сироту, чтоб потом не из чужих рук смотреть монашеских, а самой добывать хлеб в селе учительницей, вольной быть, на мученье не обречь ее к монашкам неистовым, не делать из нее рабу, прислужницу. Ходит она в епархиальное, а мать радуется, дожидает ее из училища с книжками. К такой монашке и сельские попки дочерей своих отдавали на квартиру за малую плату, за припасы зимние и своей, веселей с подругою, и жить легче — кормится монашка от своих нахлебниц и свою дочь кормит. Мать игуменья разрешала держать жилищ, но только с условием, чтоб братья к ней не ходили из семинарии, родному и то сестру разрешалось повидать изредка, а чтоб двоюродным и родственникам — ни ногой в монастырь, потому двоюродному приглянется монашка какая или послушница и воспылает он родственными чувствами к сестрице двоюродной, и к родной, все равно, и придется потом ее игуменью отпускать в деревню к родным или увеличивать население у чертика в колодце каменном...

Ариша девчонкой совсем привезена в монастырь была, ни знакомых у ней, ни родных в деревне, — пришлось жить тут же в келии. У кого родные в деревне ни за что не останется родить в келии, ждет себе дочь-племянницу, а кто из города, из мещан — неволя тяжкая, сердце свое отрывает на всю жизнь, себя отдает на мучение той, кто грех ее покрыл, замолчал прегрешенье. И Ариша знала, что покрыла ей грех мать Евдокия, на всю жизнь ее рабой своей сделала.

И даже в первый день после родов напомнила:

— Что я страху-то за тебя приняла сегодня... негодная.. она и благодарности никакой, будто родильный приют тут-то в келии. Вот посмотрю, как будешь покорна мне. Это я тебя пожалела... Спасибо скажи, что мертвенький, с таким легче справиться...

Застала в слезах Варенька свою подругу, успокаивать начала. Глазами блестя, говорила отрывисто:

— Глупая, чего ж плакать-то, надо радоваться, что мертвенький, а что б ты с ним делала?.. Ты подумай, что б делала? У меня тоже... тоже был... мертвенький... унесли его... от меня... пяти минут не пожил.... А ты плачешь... У меня тоже так-то... Бога благодарить надо... Зато вольная... теперь своя воля, бояться нечего.

А чертик нырнул в колодезь новому жильцу опорожнить место с другими рядом, опустился, глядит — все дно взбудоражено, раздосадовал:

— Не могли поменьше кирпича выбрать, бабы анафемские, ишь ведь как в воду шлепнулся, беспорядку-то сколько натворил тут — всех жильцов моих перепортил, раздавил двоих, даже смердеть начало!..

И начало смердеть с того дня, как последний жилец к нечистому прибыл, воду нельзя стало брать из колодца. Сперва думали, что взбудоражила весна ключи подземные, оттого и вода стала портиться, а как стало потеплей пригревать солнце, так еще сильнее потянуло гнилью, тлением. Нечистый и тот не выдержал,— переселился в бадью колодезную и раскачивался в ней по ночам, как полицмейстер в бельевои корзине.

Возопила обитель, что не стало у них воды чистой, ключевой, прозрачной, и пришлось игуменье людей призывать чистить. Полезли, глянули — белей полотна вылезли и — к игуменье:

— Трупики там... детские...

Умолила игуменья обители не срамить, перед мирянами на посмешище не выставляя монашек, не доводить до властей и за работу заплатила, как полагается, не в пример против других...

Двенадцать трупиков со дна достали вечером, когда монастырские ворота на два замка закрыли старинные, а потом и еще выгребли косточки тоненькие, черепа беленькие. И закопали сейчас же ночью на монастырском кладбище.

Все было тихо, а ни с того, ни с сего пролетел слухок по городу, и все шепотом говорили, что никогда еще не было подобного — только господин полицмейстер в душе ехидничал:

— Это не река вам, тут живо...

А мать игуменья повелела старым монахиням нарядить следствие и если какие сотворили блуд и смертоубийство в ангельском чине, в мантии — на покаяние на всю жизнь,

на вечный пост, а если послушницы — из монастыря с позором изгнать в мир блудный.

Призвала мать игуменя Евдокию, спрашивает:

— А у вас все было тихо в келии?..

— Тихо, матушка, что ж может быть у меня? У меня тихо...

— Послушница у тебя благонравная?..

Увеличивать начала Евдокия:

— Покорная была при мне, тихая, а что на стороне — не видела, мать игуменя, не знаю и сказать ничего не могу.

— Да у тебя кто?! Как зовут?

— Ариша... рыженькая...

— Фамилия как?

— Не знаю, вот уж больше двух лет живу — не знаю...

— Как же так?..

— Не знаю... рыженькая... клирошанка она...

— Калябина?..

— Калябина?!.

— Ну да, сирота Калябина... из слободы мещанской...

— Калябина?!.

— Что тут особенно, что Калябина,— такая у ней фамилия...

— Как Калябина?!. Не может быть, чтоб Калябина.

— Раз говорю, так значит Калябина.

И закружилась голова у Дуньки,— тут только поняла, почему тянуло ее к Арише — на Афоньку была похожа, только тут догадалась, что сестра его родная, и злоба проснулась, досада, что от того мучилась и через сестру его срам приняла ее,— тот блудливый и сестрица тоже — одной крови, ненавистью забилося сердце.

Спросила ее еще игуменя:

— От чего она несколько месяцев сидела в келии?.. Больна чем была?..

Понесла Дунька, не думала, что говорила от ненависти, багровела от злобы:

— С брюхом сидела... Брюхатая... Больна, как же... Целую весну таскалась на кладбище, как кошка блудливая... Умолила меня, заплакала,— по слабости к ней снизошла... Все они одинаковые, а эта особенно... а злющая... непокорная... Намучилась я с нею, так намучилась!.. К этой весне и делать ничего не хотела... Как барыня... Ходи за ней, а грязи-то было что... грязи, а греха... Господи, сколько муки-то я приняла с нею, грехато... Самой во всю жизнь не покаяться из-за греха...

С горечью игуменья слушала, опустив голову, ничего не сказала Евдокии, велела только сейчас же прислать к ней Калябину.

А в Дуньке клокотало от злобы все, простить себе не могла, что и грех-то ее покрыла и сама согрешила с ней в непотребстве блудном, а все оттого, что на Афоньку была Ариша похожа, тянуло Дуньку к ней.

От игуменьи к келии бежала, приговаривала:

— Я же тебе покажу, стерва... Соблазнила меня... Вдову. Как же, Калябина?! Я же тебе покажу Калябина!.. Будешь помнить... Калябина! А?! Калябина!

Дверь распахнулась, хлопнула и взвизгнула от злобы. Первое слово вырвалось — Калябина:

— Так ты Калябина?! А?! Калябина! Ах ты, стерва блудливая!..

Из-за пялец испуганная вскочила Ариша и от испуга чуть слышно ответила:

— Калябина, матушка... Калябина Ариша...

— Она еще отвечать мне смеет?! Ах ты, дрянь ты этакая!.. Говори, у тебя есть брат Афанасий, Афонька?.. Брат он тебе? ! Что ж ты молчишь? ! Подослал, может, тебя, подослал ко мне?..

Жизнь мою погубить хотели, вдвоем теперь?! Так, что ли?.. Ну?!

— Был у меня брат... Афоничка... ушел мальчиком богу молиться пешком и не вернулся больше... Маленькая я была...

— Богу молиться ушел?! Куда? Говори куда?! Афоничка, говоришь?! Ах ты, дрянь, потаскуха этакая!.. Афоничка?! Где ж он теперь, твой Афоничка? Говори, где?..

— Не вернулся он больше... Не знаю, где.

— Не знаешь. — Бреешь, стерва! Знаешь, да молчишь только... Говори, где он!?

— Перед богом, не знаю, где...

— Говори. Где он? Ну? Говори, стерва!..

Растерянная стояла Ариша перед Дунькой, ничего не могла понять, не знала, что ответить Евдокии. А она глазами впиалась в нее и приседая, как-то, медленно, шаг за шагом, подошла к ней и — когда не ответила ей ничего послушница — подпрыгнула, дико взвизгнула и сперва ее по щекам ладонями, а потом, не помня себя, по лицу, по голове, по груди кулаками била, приговаривая с выкрика-

ми, что Афонька затем и к ней пришел, чтобы мучить, а когда она ушла от него, так он сестру подослал. Казалось ей теперь так, что нарочно против ее жизни Афонька и тогда и теперь подстраивал — сперва с Марьей Карповной, а когда не стало ее — сестру подослал. И мыслям своим, и словам диким верила. Пригнулась Ариша, потом присела на пол, и руками лицо закрыла, и боялась, чтоб только по лицу не била, по темени, ничего не поняла, и только чувствовала обиду горькую и за себя и за брата, о котором в первый раз услышала от Евдокии.

Слезы сами текли, от боли и от обиды незаслуженной и падали в ладони, закрывавшие лицо, смешивались с каплями крови и от ладони по руке к локтю стекали холодком медленным. И только, когда уже сил не стало у Дуньки, — выкрикнула:

— Ступай к матери игуменье. Сейчас же велено придти. А не пойдешь — через весь монастырь поведут со срамом. Лучше сама ступай. По заслугам получишь.

Тяжело поднялась Ариша с пола и ни о чем не думая, а чувствуя только обиду и боль, медленно передвигая ноги, избитая пошла к двери.

Дунька вскочила, подбежала к ней, за рукав дернула:

— Ты умойся хоть, стерва!..

Ариша опять подумала, что Евдокия еще бить будет ее, и опять инстинктивно присела на пол.

— Умойся, тебе говорю, слышишь?! Совсем одурела!..

И так же тихо и медленно через монастырскую площадь в каменный корпус пошла к игуменье, долго у двери стояла, не решаясь войти, и только, когда зачем-то игуменская послушница вышла и спросила ее, что ей нужно, сказала ей беспомощным голосом:

— Матушка игуменья придти велела...

Вошла и, перекрестившись сперва, как полагается, опустилась на колени, закрыла лицо руками и заплакала.

Не крик над собой услышала, а строгий и тихий голос женщины старой, видевшей мир, и радости, и печали, и горе людское тяжкое, отчего и глаза светились уже прозрачной ясностью и добротой, и голос стал тихим и ласковым. Примиряется человек к старости с жизнью прожитой и даже в детской наивности мудрым становится и может простить человеческие прегрешения, которые не мог человек побороть в себе от молодости своей, от того, что живет он с землею одним дыханием, и когда она

пробуждается от тепла, от солнца и гонит по полям и лесам ручьи бурные, то и человека волнует земное дыхание, и в нем бурлит кровь ручьем ласковым, толчками в сердце бьет и пробуждает земную радость. Только старость, пережившая и радость земную и любовь смертную, с землей сливается и не чувствует больше ее дыхания, от того, что приближается тело к земле, к земному тлению и нераздельно с землей дышит и познает мудрость вечную. И прощает человек непокорной молодости.

Ласковый голос над собой услышала:

— Согрешила ты?..

Руку ей положила на голову и в ответ услышала, что плачет девушка.

Глазами игуменьи показала своей послушнице, чтоб стул подала ей, и на дверь повела глазами, не поворачивая головы.

— И господь покаявшейся простил грешнице, а мы, люди, должны простить, людей нет безгрешных, оттого и должны они снисходить к братьям своим и сестрам. Сирота ты... от чужих тебя привели девочкой, жизни не знала, не видела, — может, призвания в тебе нет нести подвиг, а мир тебя тянет неизведанным. Не нам судить мир, мы — люди; и отречься от него не все могут, не всякому дано это; когда господь на земле был — сказал людям — могий вместити да вместит, а ты не сама к нам пришла, не по своей воле, — может, никогда бы и не смогла вместить отречение от мирской радости и не на тебе грех, а на людях, на всех людях, и нельзя судить греха твоей юности, не ты виновата, а мы, мы не смогли уберечь тебя от соблазна земной любви. Мы тебя не приобщили к нетленной радости благодати господней, а без радости человек не может жить и послана тебе радость, благодать земная. И нет на тебе греха в этом, а грех только в том, великий грех, что плод цветения твоей радости, любви твоей, умертвила ты... А этот грех и люди тебе не простят, и господь тоже, и земля не примет тебя в свое лоно, и она не простит тебе... Ведь любила же ты человека, который дал тебе радость?..

Любила?!

— Любила...

— А ты любовь убила его. И свою радость тоже убила... Зачем же?! Зачем ты задушила его?.. Невинного?.. крохотного ребеночка, да еще утопила его в колодце, камень навязала ему на грудь... он от любви твоей

зародился, от твоего любимого... Ведь по любви же ты зачала его?..

— По любви...

— Так зачем же ты убила любовь свою?.. От земной любви один путь и к небесной, а ты убила ее, и нет тебе пути горнего и земля не примет тебя, изгонит... скитаться тебя заставит по своим путям...

— Не убивала я... он мертвенький был...

— Неправда... это сказали тебе, что мертвенький, а ты оживи его, подвигом своим оживи, чтоб душа в тебе ожила радостью. Знаю, что и тут не сама ты, а все-таки в этом твой грех и за этот грех должна каяться... от любви тебе говорю... Как мать... Больше матери... Ну, подними голову, посмотри мне в глаза...

Успокоенная словами тихими, но горечью непомерной, оттого что только теперь поняла слова Вареньки, когда та обещала помочь ей, во всем помочь, подняла голову и взглянула в лицо игуменьи. Синеватые рубцы от побоев, подтеки красные и опухающее лицо, — от ужаса покрылось морщинками лицо игуменьи старой, глухо спросила ее:

— Кто тебя так?.. Она?

Не ответила Ариша, а только опять склонила голову и заплакала.

И жалостью сострадания к неповинной протянула к девушке руки ласковые, упирившие ее голову к коленям старческим, и почувствовала Ариша на лице своем поцелуи ласковые, материнские. И так, молча, не поднимая головы от колен игуменьи, измученная, досидела до темноты, и в темноте опять услышала тот же голос ласковый:

— Не в моей воле простить тебе грех тяжкий... Должна ты его искупить сама... По неведению, по обману сотворенный грех — все равно тяжесть вечная. Искупить ты его должна... Снова придти к пути небесному земными путями странствования. Послушание на тебя наложу во искупление греха содеянного — пошлю тебя собирать лепту на монастырь по земным путям, и должна ты будешь приносить ее ко мне один раз в год... И не лепту приносить, а свою душу... Очистится душа — в монастырь приму. А если встретишь ты на путях странствования своего земной путь любви истинной — ступай, и на него благославляю тебя, все равно без него не найдешь небесного.

В келью не пустила к Евдокии...

— Пока будешь тут, со мной, а лицо заживет, помолишься в храме и пойдешь по земле каяться...

И каждый день, в сумерки, слушала тихие слова игуменьи о земном и небесном, примиряющем жизнь человеческую, о всех путях души человеческой и не хотелось уходить, не верилось, что такой человек строгим может быть и карающим. В монастыре считали игуменью строгой, боялись ее слов спокойных и прятались по углам греховные. И не карала она, а только сурово в душу заглядывала каждой, понимала слабости человеческие и прощала их только молодости и зрелости, преисполненной земным дыханием, и хотела одного только, чтоб душу ей открывали искренно, и открывшим ее прощала ласково, а затаившим в себе неверие к душе ближнего, каяться заставляла перед всеми инокинями в храме, оттого и считали ее — строгою и суровой и прятались от нее по кельям.

А когда настал день пути странствования для Ариши, пошла с нею вместе к полунощнице игуменья и благословила на подвиг тяжкий.

На заре ранней, когда открывает ворота мирянам к средней обедне привратник, вышла Ариша с котомкой за спиной за монастырские стены в город проснувшийся. Остановливалась несколько раз, оглядывалась, пока за поворотом улицы не исчез монастырь девичий.

VIII.

Через город Ариша шла, боялась, что все на нее смотрят, все и прохожие, и люди из окон глазастых домов каменных; думала, что все знают, отчего из монастыря ее послала игуменья просить на украшение обители, — не от нужды монастырской, а от того, что согрешила она прелюбодеянием. Казалось, что каждый в глаза ей заглядывает, по глазам читает. Прошла поскорей город, слободу (Стрелецкую), где лепятся, покосившись, мещанские домики, и по пустынной дороге между двух стен ржи по неизвестному пути — напрямик. Думала, что каждая дорога от жилья до жилья, а где жилье, там и люди есть. С детства в монастыре жила, никогда не приходилось за городом быть одной, в бесконечном поле полос хлебных. Цветы придорожные радовали, залихватый звон жаворонков.

Искала их в силеве глазами, следила — как они стремглав падают, и думала, что и душа человеческая так же -- то к небу вознесется, славословит жизнь радостно, то падает и роднится с землею, а земля грешная и люди на ней и тоскуют, и грешат, и мучают, и сами мучаются, и от мучений своих очищаются, и снова ввысь возносятся. И когда жаворонок скрывался из глаз в вышине — улыбалась ему и своим мыслям.

С непривычки ноги болеть начали, башмаки жали. Остановилась, у дороги села, сняла обувь и пошла разутая. С непривычки ноги кололо как шилами от мелких комочков земли придорожной, перешла на тропинку подле ржи — прошлогодние стебли сухие впивались в кожу и жгла крапива. Терпеливо шла, думая, что на путях странствования все должна перенести со смирением. И когда ноги привыкли немного, снова следила за жаворонками. Солнце и тепло, и струи воздуха колыхавшегося наполняли все тело ее спокойствием, и первый раз в жизни почувствовала, что земля благодать и радость. За всю свою жизнь монастырскую не слыхала она примиряющих с жизнью слов, а последние дни у игуменьи наполнили душу ее примирением и любовью, открыли в самой в ней источник несказанной тихой радости, от нее любовь и смирение в себе почувствовала.

Вынула хлеб монастырский из котомки в полдень и у придорожной ракиты, расщепленной грозою, отдохнуть села. Ела и перебирала рукой траву, лебеду, ромашку и не заметила, как задремала. Разбудил чей-то голос.

Из города на телеге возвращался мужик, увидел сонную и остановил из любопытства лошадь.

Сначала покашлял нерешительно, а потом окликнул:

— Матушка, а матушка, ты чего уж тут-то?! Ай притомилась... Коли хочешь — садись, подвезу немножко.

Открыла глаза и испугалась незнакомого человека; когда одна в поле шла — кроме радости ничего не чувствовала, а увидела незнакомого — испугалась, вспомнила, как говорила игуменья, что мир возле стоит и надо беречься людей незнакомых на путях странствования; и зла может не захочет сей человек сделать, а сделает, и не он причинит его, а зверь, что в человеке живет. Во грехе человек ходит, во грехе рождается и искушаем дьяволом, человек убегает от зла, а шепчет ему нечистый в левое ухо, сидит на спине и шепчет, и заглушает голос ангела охраняющего и творит человек зло своему ближнему.

Вспомнила слова игуменьи и ответила:

— Спасибо вам. Я пешком пойду.

— Ну, как хошь... А то б села...

И, не дождавшись ответа, дернул вожжами мужик, причмокнул и поехал дальше.

Не хотелось Арише идти дальше, снова задумалась, закрыла глаза и настороженная просидела до сумерек. Боялась в поле одна остаться и, не думая уже ни о чем, старалась дойти до какой-нибудь деревни, за околицу не пошла. С непривычки страшно было ночевать проситься к чужим людям. Во ржи на меже легла, подложив под голову сумку. Не сразу заснула, а прислушивалась, как вместе с нависающей ночью тишина настает странная. Будто не только на людей сон нисходит, но и на всю землю и затихает она до нового дня. И тишина эта странная, прислушивается к ней человек и чувствует, как земля дышит и воздух становится ясный, каждый звук в нем отчетливо слышен, особенно петухи ночью, даже как крыльями хлопают — и это слышно. Перекликнутся и опять тихо.

Проснулась наутро — есть хочется, а хлеб монастырский съеден и корочки не осталось. И тут только вспомнила, что надо ей просить у людей на пропитание, и на обитель.

Сказала игуменья ей:

— Толцые и отверзется вам, просите и дастся вам, и тебе на путях подвига просить придется Христовым именем, и помни — всякое даяние благо и всяк дар совершен, от кого бы он ни исходил. Не смотри, что люди есть будут, а что дадут — и за то возблагодари смиренно. А если жестокосердных встретишь и не дадут тебе ни приюта, ни куска хлеба, возьми на насущный хлеб из мирской лепты — греха не будет.

Несколько копеек было на сдачу, побоялась истратить и не знала, что делать, решится не могла просить хлеба. В деревню вошла — открыла кожаный складень, положила на него монастырские копейки и пошла подле изб.

С непривычки человек и милостыни не попросит, а голод заставит его смирить гордыню свою. Молча шла мимо хат, никто не подал. Привыкли мужики слепцов видеть нищих, погорельцев, на построение храма собирающих, и ждали, что к окну подойдут, собаку раздразнят и где-нибудь да получат даяние. Не от избытка дают мужики, а от жалости, сами несут нужду и чужая им ближе, оттого и дают просящим.

Через всю деревню Ариша прошла молча, никто не подал. За околицу вышла и заплакала от обиды и голода. Назад вернулась. Через силу попросила у мужика встречного: .

— На украшение обители...

Взглянул на нее, заплаканные глаза увидел...

— Аль обидел тебя кто?..

— Нет...

— Отчего ж ты?..

— Есть хочу.

— Пойдем в хату...

В хату привел, посадил за стол, девчонке велел на огород за луком сбегать и положил перед ней кусок хлеба посоленный с луком. Глядел на нее молча, а когда кончила есть — спросил Аришу:

— По первому разу, что ли?..

— В первый раз...

— По сбору послана?

— Да...

И положил на складень две копейки. А провожать из избы вышел...

— Ступай на село, храмовой завтра.

Издали увидела, с пригорка, подле церкви лабазы продавцов приезжих и толпившихся баб на подторжье в пестрых паневах, в кичках, мужиков, ребят, и не знала, идти или нет, и, только вспомнив слова игуменьи, что путь искупления только среди людей должна пройти, смирилась и пошла в церковь. На паперти вместе с нищими стояла во время всенощной и слушала, как они разными голосами нараспев одно и то же повторяли без конца перед входящими в церковь.

— Подайте, Христа ради, убогому...

— Невидящему подайте, братие...

И сама начала, — сперва тихо, а потом громче и слился ее голос с другими, как в многоголосой песне:

— На украшение обители... На украшение обители...

А когда выходить из храма стали, прибавляла:

— Православные христиане...

Пока не опустел храм — стояла.

Последним поик деревенский вышел, по случаю храмового — торжественный. Увидал монашку, подошел спросить из какой обители, а потом:

— Разрешение имеете от епископа и консистории?..

Достала из-за пазухи, показала...

— Ступайте к моей матушке.

Поужинала, переночевала, отстояла обедню на паперти, обошла следом за нищими хаты мужицкие и пошла дальше в путь.

И в хаты заходить начала на ночь, ходила по храмовым праздникам за слепцами следом и не замечала, что смотрят на ее красоту люди по-грешному.

Из деревни в деревню, из села в село и в уездные города, а в большие губернские — боялась, шум пугал, гомон, суета сует; в уездном тишина, мир да спокойствие... Стала в монастыри захаживать и в мужские, и в женские, к угодникам, чудотворцам, святителям прикладывалась, про чудеса слушала, копеечные книжечки в монастырских покупала лавочках.

Как вышла из своего монастыря весною, так и не тянуло обратно, жизнь радовала и счастья людского не видела, а жизнь радовала, счастье людское прячется, таится, чтоб не спугнули его, как птицу певчую, — спугнут его — не воротится. Не видела у людей счастье, а горе — оно напоказ, само о себе говорит; не бахвалится, а бредет по дорогам проселочным с покаянием, со слезой соленою, а от досады — в трактир, в кабаки залезает позабавиться казенкою. И радовало ее, что терпят люди нужду, невзгоду житейскую, оттого и радовало, что если все люди терпят, так и она должна сносить все с кротостью и смирением.

Идет полем — солнцу радуется, скуфейку снимет, играет в завитых волосах солнце жаркое и лицо покрывает загаром розовым. Сама не знала, что еще красивей стала, а люди видели и заглядывались на монашенку молодую. Всю весну, лето целое ни разу не заходила ночевать в избу, а в уездных городах бывала всего от утра до вечера, — ночь подойдет — в поле, в лесу ложилась. Чувствовала, что по-новому начала жить, и про свой монастырь забывать стала — поняла, что во грехе инокини живут, соблазняются грехом смертным; и соблазн из кельи в келью так и лазит, и отогнать его сил нет. Одна она была теперь на земле — вольная красота расцвела в ней силою, после младенца окрепла она, налилась соками трав придорожных, смолой хвойною на лесных прогалинах, сияли глаза от звезд полуночных тишиною ясною, а тело тянулось куда-то вперед и не мучало, а ждало неизвестного, неизведанного. Казалось, что не оно дышит, а земля, и не тело томится, а бурлит из корней жизнь соками, и не она во

сне сладко вздрагивает, а земля содрогается от избытка сил. От людей бежала...

Подошла осень — загнали ее дожди на ночлег в избу.

В избе — земляной дух, мужицкий наварный дух — душно от него молодой монашке, страшно, — заглядываются на нее мужики, парни.

Зашла раз переночевать ко вдовому бобылю, беспутному, сверкнул на нее глазами жадно, а ночью в темноте и пошел шарить, искать ее.

Еле вырвалась. Ночью ушла. Под дождем мокла. Два дня по лесу шла, на третий про монастырь вспомнила, про игуменью. Решилась вернуться и, не думая, из лепты мирской взяла денег и по железной дороге приехала в свой город, в монастырь Введенский.

Рассказала игуменье, что весну и лето ходила покойно, обиды ни от кого не видела, а осенью от жилья человеческого убежала, от насилия.

— Поживи до весны у просфорницы, старая она, тихая, и тебе с ней будет тихо, помогать ей будешь. А весной опять пойдешь, не снимаю я с тебя покаяние — преодолей все пути странствования, искушения человеческие.

До весны жила у просфорницы, тесто месила, пекла просфоры, относила в церковь, в город за мукой ходила. И показалось ей, что один раз она встретила Владимира, взглянула в глаза ему и вздрогнула. С этого дня вспоминать начала его, и проснулась жизнь в ней. Ночей не спала — вспоминала прошлое, все слова его ласковые, поцелуи и обещания. По дорогам лесным ходила, по полевым проселкам — ни о чем не думала, отдыхала душой; сторонилась людей, никогда не вспоминала возлюбленного, а встретила его — и ожил он в сердце ее желанием прошлого. Проснулась в ней сила накопленная и мучала ее невозможно. Молиться не могла. Станет перед иконою, молитву начнет шептать, а мысли бегут к нему, к любимому. Заснет и во сне его видит в греховной ласке. Еле весны дождалась, тепла — к игуменье.

Со слезами к ней:

— Искушает меня образ возлюбленного, душно мне тут, не могу больше, благословите на путь странствия.

— В мир тебя тянет, и не избежишь ты искушения на путях своих. Никуда не уйдешь от людей в миру, от соблазна.

Благословите на подвиг...

— Ступай. Только помни, что говорила тебе, — встретишь ты в миру любовь человеческую, прими радостно во искупление, очистит она тебя от содеянного, а если муку еще раз принять придется — возвратит она тебя ко господу, навсегда возвратит в обитель горнюю.

Не по деревням пошла — по обителям. И в мужские монастыри заходила, и в женские. В Хотьковский пришла — не пустили ее монашки собирать на обитель Введенскую.

— Разрешения у тебя нет от властей в нашей губернии собирать, ступай в свою...

В Хотьковском монастыре — свои порядки: на пустынь собирающих лепту, потому каждая копейка, попавшая в чужой кармап — монастырю убыток. Сами — каждого за подол хватают, за фалды, на каждом углу, на каждом шагу монашенки поставлены деньгу выколачивать из богомольцев, у каждой специальность своя.

Только богомолец войдет в монастырь — со всех сторон поют сладостно:

— Приложите батюшка, ко древу Христову... исцеление подает в немощи... приложите... тут вот частицы от ризы пресвятой богоматери... чудеса творят.

В серебряном ящике диковинки выставлены, волосок преподобного, косточка сорока мучеников, частица мощей столпника, камень с горы Фаворской, — тыкнет пальцем монашка толстая, поцелует богомолец диковинки, а потом:

— На тарелочку положите, что заблагорассудится, на украшение обители...

И тарелку сует под нос старательно:

— Маслица от неугасимых лампад родителей преподобного Сергия Радонежского, купите маслица, исцеляет от всех недугов...

— Икону, на кипарисе писанную, возьмите... из Гефсиманского сада кипарис привезен, где сам господь наш перед страданиями молился...

— Водички испейте от болезней душевных, главу омочите ею — вразумляет и наставляет милость вседержателя.

И всюду тарелочки под нос тыкают, всю душу у богомольца выпотрошат, очистят карманы старательно.

Даже меняльщица для удобства посажена в притворе, и наменяет не копейками, а серебряными гривениками, пятикопеечниками, меньше и на тарелку положить стыдно.

Монашки в монастыре — дородные, послушницы — красавицы, с любой хоть картину пиши — бровь черная, глаз ярый опущен долу, шелками шуршит черными, нараспев говорит, по-московски акая, и все из родов купеческих, тысячницы, миллионщицы — не подступишься: смирение на лице, строгость, только по привычке, — в крови так, — выколачивать из богомольцев денежки.

А чужая придет собирать на свою обитель — изловят, к игуменье приведут, вычитает ей свои правила и прикажет послушнице до ворот проводить обители.

И Аришу за ворота выставили...

— Не ходи по чужим монастырям собирать... Знать будешь, а то доход отбивать вздумала... В свою губернию ступай, там можешь...

Пошла молча.

По дорогам шла — думала, забыть не могла любимого. Мучилась и ждала чего-то... Сны беспокойные снились. Стала бояться одна ходить. Приставала к богомольцам-странникам и позади шла, задумавшись.

К людям привыкла, без людей оставаться боялась, казалось, что из-за дерева в лесу выскочит человек лютый и надругается над ее красотой.

Вместе с богомольцами и спала и ела. Слушала про мирские тяготы...

Выплачется на людях баба, исповедует горе свое, и Арише будто станет легче, а сама сказать, свое горе выплакать на людях, мучения свои перед людьми исповедать — сил нет.

Поднимается, вздохнет молча и опять позади всех пойдет. Слушает жаворонков заливчатых и сердце ее томит ласкою, тянет ее куда-то — сама не знает.

Странники в обитель Белобережскую, к Троеручице, и она с ними.

Лесной монастырь, дальний...

В прошлом году один раз была — понравилось.

С Мылинки такой лес начинается — не пройти человеку в нем, сосна столетняя не в обхват, ровная росла, молчаливая, и корабля такого не выстроишь, чтоб можно было на него установить такую мачту, а в лесу они шумят верхушками темными, как паруса корабельные и не матросы коренастые по реям бегают, а легкие белки, как выюн, лазают с ветки на ветку, с сука на сук, с сосны на сосну — через весь лес им дорога по верхам, — играют на

солнце зверьки пушистые, шишками перебрасываются, прошлогоднюю хвою сбрасывают дождем иглистым. Зашумит лес по-жуткому, перекатные пробегут волны и загрохочет гром между сосен по низу, и затихнет лес, ожидая удара нового, и еще сильнее, и еще страшней — заскрипят сосны старые, будто плач по лесу, будто земля застонет о своих грехах. И опять тишина. А выглянет солнце, зашелестят шепотом радостным хвои темные и будто у моря волна прибрежная — набежит, зашуршит по камешкам разноцветным, по золотому песку ровному, отхлынет на миг и опять раз за разом, как песня баюкающая, и сосновый лес поет эту песню вздохами и будто не лес шумит, а земля дышит глубоко и ровно. Солнце на закате багроветь начнет и лес загорится золотой киноварью, горит чешуя, плавится, и смола каплет огневыми искрами, янтарными, и воздух золотой пахнет ладаном.

Легко идти по такому лесу, дорога — между двух стен золотых извилистых, верхушки друг к другу сходятся и, как тропинка узкая, между ними синее небо — река вечного, а под ногами — серебро, шуршит песок белый — оттого и пустынь зовут Белобережскою.

За белою оградю монастырскою Свень река, берега отлогие белопесчаные, а в реке дно — зеркало, каждая рыбица видна; идет глубоко под водой красноперый окунь, а будто поверху, — кажется даже, что рукою его взять легко, пескари, как чешуя серебряная, как рябь на воде солнечная, горят искрами и прозрачна вода в реке Свень — из-под корней старых сосен вытекают ледяные ключи сочные; и от старого моха, от сухой хвои, от смолы душистой золотая она и на вкус чуть горьковатая, душистая, а пить ее — не оторвешься — целительная. Смотришь в реку и тянет тебя прозрачность коснуться дна.

Дорога к пустыни по лесу, а как только направо свернешь — река Свень и ее повернет по берегу, — легко идти странникам к обители, идут молча, — лес молчит и они тоже, каждый думает в тишине о грехах содеянных, а позади всех монашенка.

Арише в лесу легко дышится, смоляной запах кружит голову, от этого и все тело у ней становится легче, иной раз не чувствует его даже, только слышит, как сердце толчками куда-то в глубину падает, голову кружит и кровь волнует женскую. И легко ей и всю тянет над землей подняться,

полететь к радости. Один раз в прошлом году побывала в обители и во второй захотелось побыть, отдохнуть от людей в лесу, послушать, как колокол серебром звенит поверху и будто не колокол, а золотые сосны звенят покитежски. В таком лесу, кажется ей, душа очищается от греха тяжкого и на людях не зачем ей исповедываться, услышит лес, как сердце у ней бьется, почувствует мысли ее и повлекут они к корням в землю, а примет земля и мысли ее и биение сердца и простит ей, — земля простит.

Странницы, богомольцы в лесу ночуют и Ариша с ними, а с каждым утром ей на душе легче; лежит, лес слушает и сама не знает — лес это дышит или в ней такое глубокое дыхание, от которого на душе легко. В последний раз встала утром и показался ей мир иным, радостным и манящим, точно иными глазами его видит и по-иному и в первый раз. И жить захотелось ей снова, точно и греха у ней не было никакого. С таким чувством и в монастырь пришла. За ранней обедней на паперти встала с нищими собирать на украшение храма, до конца стояла, пока молебствие не окончится Троеручице. Вышли молящиеся, за ними монахи. Один и подошел к ней.

— А вам матушка, разрешил игумен?..

— Нет еще...

— Так вы сходите к нему благословиться, без этого нельзя...

Пошла Ариша к игумену, к отцу Гервасию, к Николке Предтечину.

Белобрысый послушник Костя доложил игумену...

В приемной у двери дожидаться стала. Ковер на полу, стол широкий под бархатной скатертью, к дверям половички постланы белые, старинный диван кожаный, по бокам кресла, на стенах: с одной стороны в черных рамках портреты игуменов, а над диваном — в золотых — епископы, в дальнем углу поставец с иконами и неугасимая лампада Троеручице, в три окна приемная, и окна кисеей затянуты, чтоб не беспокоил посетителей монастырский комар.

Степенно вышел Гервасий, без клобука — волос каштановый, кольцами, красота монах; четки перебирает в руках медленно. Взглянул на нее, пронизал взглядом, с ног до головы осмотрел Аришу. Понравилась ему монашка: молодая, стройная, загар золотой, солнечный, и взгляд радостный. Напомнила чем-то Феничку, у той также золотой загар был летом и волосы золотые, пышные.

Мелькнула у него мысль, что с такою, да в покаях игуменских и жить можно и унижаться ни перед кем не нужно, только бы заставить ее полюбить себя, еще лучше, чем в миру, спокойнее, и Феничку позабыть недолго.

Игуменом стал Николка — степенный, смирение на себя напустил, боялся уронить себя перед братией, перед старцами. Иной раз и тянуло на Полпинку к бабам старину вспомнить и на богомолку поглядывал и на дачниц и на купчих-говельщиц, а вспомнит, что на нем сан игуменский и побоится потерять житье спокойное. А взглянул на Аришу, мелькнула мысль как-нибудь ее в монастыре задержать подольше, а потом оставить скотницей, хозяйство вести молочное.

Хозяйство в монастыре большое: и огород, и луга заливные, и мельница, и скотный двор: один подле самого монастыря, а другой на хуторе; на скотных дворах монашки-скотницы. И решил сразу Николка хозяйку себе завести молодую, красивую, как только увидал Аришу. Давно думал, как ему устроиться, чтоб плоть не мучила, сны бы не снились грешные, да иной раз по утрам простыня не была бы в желтых пятнах кругами радужными.

Благословил ее крестом широким, подставил поцеловать руку, и почувствовал мягкие губы, теплые, вздрогнул даже и еще острее промелькнула мысль, что непременно нужно ее в монастыре оставить.

— По сбору ходите?..

— Благословите, отец игумен, на украшение обители собирать в вашей пустыни...

— Сейчас богомольцев у нас немного, вот через дней десять Троеручица — полно будет, и лепту соберете обильную во славу своей обители... Поживите у нас, отдохните в пустыни.

Говорил баритоном сочным, ласково, и в глаза ей заглядывал, любовался Аришею, а когда она уходит стала, опять благословил и опять вздрогнул от целующих губ теплых, еще они горячее показались ему.

— А где же вы жить будете?..

— В странноприимной, с богомольцами...

— Не подобает инокине пребывать с мирянами. Идите на скотный двор к скотницам, у нас они монашенки, — с ними и будете. Послушник мой проводит вас. Там спокойнее будет... И для обители нашей в свободный от молитвы час и от послушания своего поможете по хозяйству матушкам.

Пошел сам к послушнику белобрысому и приказал ему строго:

— Скажи, что игумен велел приютить матушку, да пусть покойчик отведет отдельный, скажи — сам придет глянуть, да чтоб мать Арефия заботилась и не утруждала ее работою. Сам видишь, что из благородных должно быть...

Отдохнула Ариша в келейке, молока принесли ей, творогу, душистого хлеба, а к вечерней трапезе Арефия прислала ей щей с рыбою, забеленных сметаню.

На заре пастухи выгонят скот после доения и тишина на дворе. Проснулась Ариша, парного молока выпила и пошла к обеду собирать мирскую лепту. Игумен выходил, под благословение подошла — спросил ее, как устроилась, и опять благословил ее. Дорогою шел в покои свои степенно, иноков благословлял подбежавших к нему, а сам думал про монашенку, про Аришу послушницу, и все время чувствовал на руке ее поцелуй тихий и губы теплые, и мечтал даже о том, как она целовать его будет в губы, когда он переведет ее на хутор и комнату ей устроит, и по хозяйству навестить придет.

Целый день думал, а после вечерни и не выдержал, пошел на скотный двор поглядеть, по хозяйству распорядиться перед Троеручицей.

Переблагословил монашек-скотниц и спросил Арефию:

— Ну, как гостья твоя?.. Ты не утруждай ее... Из благородных она...

Хотелось ему, чтобы из благородных была Ариша, иначе и не думалось, красивая она, стройная, нос тонкий, чуть-чуть с горбинкою, брови острые, загар золотой, матовый — таких монашек из простых не бывает. На скотном дворе у него не матушки, а коровы дойные, телеса не в обхват, смотреть тошно; глаза бесцветные, руки жесткие и лицо, на какое ни взгляни, либо от оспы рябое, либо красное. Потому и думал про Аришу, что из благородных она, хотелось ему благородную полюбить, чтоб была из дворянок, лучше Фенички.

Мать Арефия смиренно ответила:

— Я не заставляю ее, сама просилась помочь, говорила, что отец игумен велел.

— А что у тебя к празднику на всех хватит?!

— Как не хватить... Собираем...

— Ты лучше попроси ее расчет вести...

Два дня пробыла Ариша и решила Троеручицы дожидать. Понравилось ей на скотном. Выйдет на заре помогать Арефии — молоко цедить, взглянет к лесу — стеною стоят за хлевами сосны, шумят тихо; солнце начнет выходить — розоватою становится чешуя на стволах, а книзу темнее — будто сияние. Угонят скот со двора, уберут молоко скотницы, пойдут завтракать, а Арише уходить не хочется, стоит, слушает, как пастуший рожок поет по лесу, и чувствует, что так хорошо никогда еще не жилось ей.

IX.

Каждый день стал игумен по хозяйству заглядывать на скотный, один раз и в келью заглянул к Арише.

Благословил ее, когда она своими руками подносила руку его к губам, наклоняясь, — по-иночески — сперва дал поцеловать руку, а потом задержал в своей ее ладони и поцеловал в плечо. Застыдилась Ариша, покраснела, а он ничего не заметил, спросил ее:

— Нравится вам тут, матушка Ариша?..

Ответила тихо, смущенная:

— Хорошо...

— А вы оставайтесь у нас... на скотном... Матушка Арефия стара стала, не справиться ей одной, а вы б помогли ей...

— Послушание я несу...

— Я, как игумен, властью, данной мне от господа, благословляю вас иное послушание нести и матушке игуменье напишу вашей, и она благословит...

С каждым днем все больше и больше привыкала Ариша, а когда прошла Троеручица и уходить нужно было, вспомнила слова Гервасия и жаль стало лес покидать, решила еще несколько дней побыть, а чтоб в тягость не быть монашкам, старалась помогать во всем; и не в скуфейке выходила бархатной, а попросту белым платком накосяк покрывала голову и еще красивей была от того, что волосы золотые виднелись.

Зашел раз Николка перед вечером на скотный и сказал ей:

— Я матушке игуменье написал вашей и ответ от нее имею — благословляет она вас остаться в пустыни...

Не писал Николка игуменье, а чтоб только осталась Ариша, обманул ее, не хотел отпускать и решил постепенно заплести паутинку, опутать ее внимание заботами и уловить такую минутку удобную, когда можно взять ее.

И ответить ей ничего не дал, сказал Арефии:

— Так теперь, мать Арефия, она у тебя будет помощницей, записи тебе вести будет. И келию ей оставишь ту же.

И не то, чтобы покорилась Ариша, а не хотелось самой уходить отсюда и снова по дорогам бродить со странниками, бояться людей живых, прятаться. Отдохнула она в пустыни, пополнила даже немного от молочной пищи, еще больше лицо стало матовым, а губы маковыми.

Каждый день приходил любоваться на нее Николка, в келию заходил, не знал только, как начать.

Ласковым был с Аришею. Когда говорил с нею, в глаза заглядывал, рукою плеча касался. Нравились ему золотые волосы, как кора на сосне — отливают киноварью. От этих взглядов и ей становилось неловко как-то и жутко. И опять она стала по ночам вздрагивать. Вздогнет, проснется и не спится ей, сладко поводит все тело лесной воздух, неподвижная лежит, раскинувшись — радости ждет тело... Задумается, замечтается, о любимом старается вспомнить и не может, расплывается в памяти и вместо него мелькает лицо игумена. Перекрестится от искушения, а побороть не может. Девушкой была — непонятно замирало сердце и вздрагивала, сама не зная отчего, а теперь чувствовала, что и ее тело мучает, налилось оно лесной смолой, земляными соками и дышит, все равно, как лес, как земля цветущая, тянется от земли ввысь куда, чтоб раствориться в радости и не чувствовать его тяжести безысходной.

А Николка все чаще да чаще захаживать стал на скотный, даже мать Арефия и та заметила:

— Раньше редко бывал у нас отец игумен, а теперь чуть не каждый день, — это вы нравиться ему, Ариша.

Застыдилась она, ничего не ответила...

— Тут, матушка, и стыда никакого нет, правда ведь... Я старая баба и то скажу, была бы мужчиной — полюбила бы. Игумен-то у нас теперь молодой, красавец... и стыда никакого тут нет.

Стала прятаться Ариша от игумена, придет он на скотный двор — Ариша в коровник убежит. Походит Николка по двору, заглянет к Арефии, от Арефии в келию

Аришину, опять на двор, походит, походит и не выдержит, спросит Арефию:

— А помощница твоя где?..

— Не знаю... в хлеву должно быть...

— Ты не утруждай ее...

— Сама она...

— А ты дело найди другое, пускай по хозяйству записывает.

— Сами скажите ей.

— Молодая она, береги ее.

И уйдет в лес на мельницу, а с мельницы на хутор. С того дня, как осталась в монастыре Ариша, избу приказал исправить на хуторе, готовил квартиру ей... Идет по лесу — мечтает об житии монашеском, чтоб и в монастыре пожить, как в миру, и думает: «Какой монах я, никогда не собиравшись быть иноком, от нужды пришлось; надо жизнь устраивать, пройдут года, тогда лоздно будет об этом думать...»

Не заметил, как и осень пришла с туманами, с морозящими туманными днями. Тоска в монастыре — дачники поразъехались, богомольцев — ни души, пусто в монастыре, тоскливо. Братия по кельям сидит, в храм по наряду, по очереди ходит, в келии молится, а если не молится — занимаются, что на ум придет, лишь бы скоротать время до весны следующей: на Полпинку послушники к солдаткам бегают, мантийные иноки в картишки перебрасываются, завесив окна, — житие брненное, обитель тихая — коротают осенние дни тягучие. Николка тоже скучает, только и радости перед вечером после трапезы навестить Аришу.

Один раз позвал белобрысого своего:

— Ступай, отнеси на скотный белье постирать мое... Да скажи, чтоб матушка Арефия прислала его поскорей с Аришею.

Арефия белье выстирала, Аришу призвала...

— Отнеси игумену.

А когда уходила Ариша, сказала ей вслед Арефия:

— Счастье тебе... само идет...

Принесла... Сумерки... В покоях игумена полумрак... лампада теплится... Проводил ее белобрысый послушник... подошла к двери и сердце в темноте замерло... жутко стало... сама не знала отчего, а жутко... долго стояла молча, прислушивалась... Часы монотонно где-то на стене тикали... Постучать решила...

Из-за двери баритон сочный, ласковый:

— Войдите...

Молча ему подала белье. Ждала, что скажет. Колотилось сердце. Николка к ней подошел, в лицо заглянул, обнял и вырваться не хотелось, томилась соками смоляными от корней сосновых, выхода им искало тело, а взял за груди — пошатнулась к нему на руки и голова пошла кругом от слабости сладкой...

А после шепотом ей говорил:

— Любить тебя буду, всю жизнь... Все равно, что жена мне будешь... А греха в этом нет... Что ж я сделаю, если полюбил тебя, одолеть не мог плоть брэнную. Сан бы снял, если б дозволили, а сана не снимут — расстригут и в монастырь, в Соловки сошлют, хуже, чем в тюрьме там, а за что? За то, что жить хочется...

Молча лежала, слушала и чувствовала, как кровь успокаивается в ней и сердце тише и тише бьется.

— Не брошу тебя... на хуторе жить будешь, келейку там тебе еще с лета велел устроить, чтоб спокойнее было, никто чтоб не видел... А ты ряску-то сними. Не монашка ты... Послушница не монашка... Послушница и из монастыря может в мир уйти. Сшей себе что-нибудь черное, либо серое, чтоб и не монашка была и на мирянку бы не похожа...

Через конный двор когда шла — от стыда горела, думалось, что все знают, все видели, — конюхи ей, улыбаясь, кланялись, заговорить хотели — молча прошла. Рано легла с вечера, на душе было тревожно и смутно как-то; и когда сон наплывал медленно — слышала, как сердце бьется спокойно умиротворенное, и сквозь сон брели еще мысли, что встретила она на пути странствия своего земной путь любви истинной, по-женскому любовь эту в себе чувствовала, в теле молодом несытом она горела и позвала ее к истокам жизненным, — тело земное и землей вспоенное примирило с мыслями, успокоило душу, утихомирило. Думала, что может правда игуменья разрешила ей, поняла, что нашла она путь земной, по которому и к небесному одна стезя, поняла и благословила ее своим разрешением.

Не мучил ее Николка, не заставлял от стыда сгорать перед братией, за себя боялся, а через неделю на хутор

переселил ее вести хозяйство и двух старых монашек со скотного двора послал в помощь. Оттого и монашек послал, что надежные были — сами они согрешили от немощи брэнной с иноками и ради своей слабости про Аришу — молчок.

Хозяйственно обставил Николка дело. И в монастыре стал жить, как мирянин — благодушествовал. Заботливый был, хлопотливый: и на скотный сам, и на огород, и на кирпичный завод, и на мельницу, а под конец и на хутор попоздней заявится, иной раз запоздает и на ночь останется у возлюбленной, у жены своей, — за жену считал и говорил ей:

— Ты мне жена, вот кто. И стыдиться нечего.

С осени до весны пролетело время. Ариша жить начала по-новому, родить собиралась от Николки-Гервасия, на осень высчитала, ребенка ждала с радостью, прислушивалась, как шевелится, играет в утробе.

Николка ходил успокоенный, и добродушие появилось, красовался собою перед иноками, а по закоулкам Памвля нашептывал:

— Говорил я, и в игумены пролезет, — вокруг пальчика обведет, не увидишь как, — прожженный; все хозяйство забрал в руки, всюду свой нос сует... Это ему теперь не ложки брать за процентики, покрупней шагает... Так-то, братия.

Старики тоже бурчали по вечерам на крылечках у келий...

— Да что говорить, забрал в руки, зато процветает пустынь... Ели мы ши такие?! Огород-то какой развел и братию не утруждает, с богомольцами управляется, говорит им: кормит вас монастырь задаром, так и вы потрудитесь во славу Троеручице, — сено скосить в обители, на кирпичном хоть по паре кирпичей сделайте...

— Деловой он, Гервасий-то...

— Братии при нем вольно... Живем каждый, как вздумается...

Одно только и осталось у Николки — глаз жадный. Денежки копить начал... Хлеб для обители закупает — процент положенный на житье Аришино, счет округлит на тысячу, придет на хутор и принесет ей в подарок сотенную, остальное про черный день спрячет. Об наследнике начал мечтать, для него копил. Нашла Ариша на путях земных путь истинный и тоже стала хозяйственной. Монашкам

своим, помощникам, чтоб заботились, языками зря не трепали про игумена — подарки. И тем хорошо, — живут вольные, отработают день, уберут скот и в лес подышать воздухом, и двухсот шагов не пройдут от хутора — встретят смиренных иноков и за полночь дышат лесным воздухом, никак не надышатся. Вернутся на хутор, услышат, что не одна Ариша...

— Отец игумен пришел...

— Потихе надо...

— Эх, то-то любовь-то делает...

К полуночице ударят в пустыне — от Ариши уйдет, крадучись, чтоб не разбудить монашек.

У святых ворот Васенька его встретит, благословиться подбежит к нему:

— Николушка, благослови меня... Искушает меня бес, помоги, спаси — ты знаешь...

Благословит, отмахнется от него:

— Молчи, Васька. До сих пор тебя бес мучает... Молись лучше.

— Я и так, Николушка, молюсь, за тебя молюсь, о твоих грехах, и тебя бес мучает, мечешься ты от него по лесу, а он тебя по лесу водит... Куда только?!

И бормочет Васенька, пока игумен не скроется от него в темноте.

Только Васька и не давал покою Гервасию. Братия про него шепотком, а блаженный в глаза режет правду.

Изо дня в день потекла жизнь ровная у Николки Предтечина.

Май в разгаре, тепло из болот комара выгнало, — звенят, кружатся...

И сосна еще прошлогодних шишек не успела сбросить, папортник еще не развернул завитков своих — привезла монастырская линейка с полустанка иподиакона архиерейского.

Гостиник спросил:

— Помолиться приехали?..

— От епископа с поручением к отцу игумену.

— От преосвященника...

Отвел ему номерок почище в новой гостинице и сейчас же коридорного послал к Гервасию.

— Беги, да скажи отцу игумену, иподиакон к нему от епископа, не отлучался чтобы из обители. Свежих просфорок ему принеси к чаю. Да живо чтоб!

Послал гостиник отцу иподиакону поскорей самоварчик и понес просфорки теплые, — полюбопытствовать захотелось, по какому делу его прислал епископ.

У двери постучал... Пробормотал скороговоркою:

— Молитвами святых отец наших... помилуй нас.

Вошел в номер.

— Я вам, отец иподиакон, просфорочек принес к чаю... мягенькие...

Тараторил, тараторил, а ничего не узнал, не выпытал. В келии у себя подумал:

— Ишь ты, ведь, продувной какой... Не выпытаешь.

Перед трапезой прибежал белобрысый послушник от Гервасия.

— Отец игумен просили вас пожаловать к трапезе откусать с братией.

По всему монастырю слух прошел, лично, от епископа к Николке послан, — едва тот в трапезную вошел — кинулись монахи его усаживать подле места игуменского.

Степенно Гервасий вошел, облобызал гостя.

— Потрапезуем сперва, отец иподиакон, чем бог послал, а потом сообщите мне весть радостную.

На этот день за игуменский стол и щи были особые поданы и уха жирная. На все столы будничное, а для гостя — особое, чтоб ел да похваливал.

Отцу Паисию, эконому, с утра Гервасий приказал:

— Смотри, чтоб получше, особе приготовить, пожирнее и кашу помасли, чтоб плавала, да не забудь квасу мартовского поставить.

Что вы заботитесь так, отец игумен... был бы иерей, а то иподиакон.

— Не знаешь ты, отец Паисий, что такое иподиакон при епископе. Иерею бы я и не подумал подать, а иподиакону... Я сам исполатчиком был, так мне виднее. Все равно, что адъютанты они при епископе, у генералов — адъютанты положены, а у епископов — иподиаконы. Всегда они подле преосвященного вертятся и всюду свой нос суют, а потом улучат минутку и — на ушко ему. Не угоди ему — такого наговорит, что и не отделаешься потом. Прежде всего иподиакону угоди, да еще ключарю соборному. Тот еще выше, всем ворочает, с архиереем запросто, всем командует и епископа в руках держит. Я эту штуку хорошо знаю — исполатчиком был.

После трапезы под руку взял Гервасий иподиакона, увел в покои. И прежде всего осведомился — удобный ли

номерок отвели, не беспокоили ли насекомые, комары не надоедали ли, а потом уже спросил о здоровье епископа.

— Нездоровится преосвященнейшему...

— Помолимся соборне с братней Троеручице чудотворной об исцелении недуга преосвященнейшего Иоасафа, сегодня же, не откажите, отец иподиакон, с нами вознести молитву владычице.

— Я, отец игумен, сегодня же должен уехать с вашим ответом. Видите ли, преосвященнейшему хотелось бы отдохнуть в вашей пустыни.

— Милость господня на нас снисходит, превеликая радость братии лицезреть епископа... Только пища у нас скудная...

— А я так наелся, отец игумен, и дома не всегда бывает вкусно так...

— Во славу божию послужит вам пища наша... А только для епископа при его немощи нежное кушанье подобает, а у нас неискусные повара. Нельзя ли устроить так, чтобы и повар приехал владычный. Устройте, отец иподиакон, премного вам благодарен буду.

— Только преосвященнейший не один приедет...

— Соборне и ждать будем и отца ключаря, да чтоб с матушкой, семейно, и отца протодиакона — украсить своим голосом служение в пустыни и тоже семейством, и вы, отец иподиакон, с матушкой иподиаконицей, с детками, у нас благодать тут — благорастворение воздухов, лес у нас, сами видите, прекрасный, а со скотного двора будут доставлять вам и молочко, и маслице, и творожок, и сметанку. Вроде как на даче отдыхать будете, а сами — за трапезу к нам пожалуете... Превеликая нам радость будет.

— Преосвященнейший не один прибудет, и его высокопревосходительство градоначальник, его сиятельство князь Рясной, с дочерью собирается посетить пустынь, пожить вместе с епископом.

И это не озадачило Николку, рассыпался перед иподиаконом:

— Такой чести еще ни одна обитель в губернии не удостоивалась... Превеликая нам радость. Только опять затруднение насчет пищи... Устройте, отец иподиакон, выручите меня, нельзя ли будет и повару его сиятельства к нам пожаловать; мирские кушанья не сумеет, пожалуй, повар его преосвященства готовить, так вы постарайтесь, отец иподиакон...

А под конец, когда иподиакон уходить собрался, сбегал в спальню и в конверте принес три сотенных.

— Тут вот, отец иподиакон, на хлопоты вам, а если не хватит, потом скажете мне...

На прощанье расцеловал Николка иподиакона и, провожая в переднюю, тараторил, захлебываясь.

Вечером в тот же день и старцев собрал Гервасий, и объявил им радость великую, и просил совета вразумить его, как принять гостей в пустыни.

Покряхтели монахи, поворчали, что расходы предстоят большие, а нечего делать, против властей предержавших нельзя идти инокам, всякое испытание должно перенести смиренно, а тут не испытание, а радость великая.

С экономом прощаясь, сказал Гервасий:

— Приди-ка, отец Паисий, после трапезы завтра, обдумаем. Гости-то сколько приедет... Обдумать надо. С отцом гостиником приходи. Ему тоже теперь хлопот много.

Перед сном в книгу записывал расход дневной и вместо трехсот иподиаконских — вписал четыреста. Засыпая, не об Арише думал, а мерещилась мирта архимандрита, сверкающая самоцветами.

МОЩЕЙ
ОБРЕТЕНИЕ

I.



ве гостиницы в пусты-
ни Белобережной, одна старая, лет шестьдесят стоит, семьдесят, а другая — новая; и обе двухэтажные, каменные. Новую только окрасили, а старая от дождей с разводами сероватыми, сколько лет не крашена, а между гостиницами ворота сосновые, над воротами Троеручица. Двор большой, посреди двора колодезь — студеная вода, горьковатая от лесных корней, прозрачная, — купцы даже не раз спорили, увидят на дне гривенник или нет, бросали и видели. Кругом двора бараки с навесами, и под навесами летом столы еловые — странноприимные. А в Троеручицу и на дворе под открытым небом богомольцы спали. В странноприимных нары поделаны — без различия, где занял, там и ложись. Зато в гостиницах порядки особые. Гостиник, отец Иона, хорошо знает, куда какого богомольца поместить нужно. Подъедут с платформы линейки с богомольцами, отец Иона навстречу выйдет. Всех богомольцев у старой ссаживали, а потом по гостиницам разводили послушники. Глянет Иона, сразу скажет, куда вести, наметался глаз. Почище кого из губернского — в новую, в верхний этаж, а дачников — на низ, чтоб не морить ног по лестнице. Из купеческого звания без особых достатков на второй этаж в старую, а незнакомых или из

мешан, чиновников мелких — в нижний этаж. Давно порядок такой заведён в обители. Иона всегда говорит послушникам:

— Коемуждо воздай по делам его, у кого дела-то получше да звание на себе носит — прими с почетом, отдохновение дай молитвенное.

И в каждой гостинице свой порядок. В старой дачников не бывает, — одни богомольцы. А если ты богомолец, так и порядок монастырский соблюдать должен. Оповестит звонарь к полунощнице в средний колокол, и побегут по коридорам послушники с колокольчиками, бегут, позванивают и приговаривают подле каждой двери...

— К полунощнице, к полунощнице...

Около каждого номера остановится, одною рукою вызванивает, а другой в дверь постукивает.

— Молитвами святых отец наших... господи... помилуй нас... К полунощнице, — скороговоркою говорит, звенит голос по коридору сонному. Пока не закричит богомолец за дверь, ноги спуская с постели сонной, до тех пор не уйдет послушник. По всем номерам обежит, всех разбудит.

Тут бы поспать только, самый сон крепкий перед третьими петухами, а тут и полунощница. Иной побурчит-побурчит спросонья, успокоит послушника и опять завалится спать до ранней.

С вечера в старой гостинице и не уснешь сразу — монастырский клоп мучает, истощает по щелям за зиму, а весной и накидывается на богомольца сытого. До полночи проворочается богомолец, пока не обессилеет и не повалится на тощий тюфяк замертво, а тут-то воля клопу-великошестнику. Монастырский клоп особенный, он тебе не полезет на человека сразу, а сперва взберется на потолок, примеряется, а потом и плюхнет сверху. Отмахнется рукой богомолец спросонья и опять засопит блаженно, а клопу того только и нужно, таких волдырей насосет, что потом целый день купец почесывается. И клопы с расчетом держались в старой гостинице. Так себе богомолец на монастырских хлебах даровых и неделю, а то еще больше проживет, а с клопами и трех положенных дней не выдержит.

Отец Иона говаривал:

— Если ты богу приехал молиться, так нечего заживаться, отбыл свое и кончено, другому освободи место.

Даром кормили в пустыни, не выпрашивали у богомольцев, — кто сколько в кружку опустит. У самого входа

и кружка под Троеручицей повешена в гостинице, железным болтом в стену вдавлена, а над кружкой надпись сделана — «По усердию»... Больше трех дней и усердия у богомольца не хватит, от клопов монастырских, лишь бы избавиться поскорей, и бросит лепту свою в кружку. Так бы, может, тянул денежки, целую неделю бы их носил по обители, а дойдет клоп, на второй же день их вытрясет в монастырской лавочке: ложек накупит домо-чадцам, родственникам, маслица от Троеручицы, на пузырьках вид обители с полета птичьего, иконок, книжечек, — с запискою придет, по записке выбирает, кому что привезти нужно, да так, чтобы не обидеть, кроме просфор за упокой, за здравие — подарок каждому. На второй день и вытрясет денежки, оставит на билет, на линейку, а остальное в кружку высыплет. А монастырю выгода, не задерживается богомолец подолгу, а все — клоп монастырский. Изю дня в день целое лето богомольцы сменяются в старой гостинице, а в новой — тишина, спокойствие. Не велено игуменом беспокоить господ дачников. Ни к полунощнице, ни к утрени, ни к ранней не будили господских посетителей. В новой гостинице и порядки новые, звонки электрические из каждого номера к номерному послушнику; нажмет дачник кнопочку, прибежит послушник с самоварчиком, с расписными чашками. А чтоб не смущаться капотиками кисейными, оголенными руками женскими — опустит вниз голову и будто не видит ничего, а поднимается над головой рука женская — сверкнет инок глазами, не выдержит — взглянет на волос курчавый под мышками и потянется к тому месту, где под рубашкой кружевной грудь начинается, и опять смиренным голосом спросит дачницу:

— Прикажете за молочком сходить на скотный?..

— Сходите, батюшка, будьте добры.

И побежит с молочником.

А в старой гостинице богомольцу самому приходится на кухню ходить и у отца гостиника самовар заказывать. И не всегда гостиник богомольцу благословит самовар поставить, — прежде всего раньше, чем от ранней не придут — никому не дает, а если ты совсем не был в храме, так и без самоварчика обойдешься, не затем ты и в монастырь приехал, что чай распивать тут... Богу сперва помолись, потрудись господу, а тогда самовар требуй. Кто к полунощнице не ходил, тому еще отец Иона

прошал, а если к ранней не встал, хоть ты что тут — самовар не даст и не только что самовар и обед-то пошлет последнему, поскребушки.

В старой гостинице в коридорах половиков не постлано, окна по годам не мыты, — коридор длинный и в каждом конце окно мутное — полумрак круглый день, а сбоку окна в уголке умывальник железный с медным пестиком, краска на нем облезла, с разводами, и кислотоватым от него пахнет — налипла на нем грязь мыльная, ногтем ковырнуть — густая, липкая и по всему коридору кислотоватым тянет, не разберешь даже чем, монастырскими щами или еще чем пахнет. В полумраке и жизнь начинается в коридоре этом. Сбежит послушник с колокольчиком и потянутся, шлепая на босу ногу, богомольцы сонные и не к умывальнику, а сперва облегчиться в самый конец коридора, в дверь низкую. Дверь поскрипывает, верещит блок веревкою, а на веревке этой кирпич и не как-нибудь, а обернут тряпкою, чтоб не обивал стены. И не белая тряпка, не серая на кирпиче этом, а зеленовато-желтая от плевков людских. Идет богомалец туда и непременно на кирпич сплюнет, чтоб воздуху набрать побольше своего, а то как войдешь — от карболвки и от дегтю задохнуться можно. От этого воздуха и лампочка не горит, а так только помигивает копотью. Вырвется оттуда человек и опять сплюнет, когда дверь открывать станет, а так как плевательницы не полагалось, то и норовит богомалец в уголок сплюнуть, а в уголку кирпич болтается и все это в тряпку впитывает и высыхает она, благоухая по коридору темному.

А в новой гостинице благолепие. Коридор светлый, широкий, с раннего утра окна открыты, на полу половики белые, чтоб послушники монастырскими сапогами не топали, не будили дачников. И кирпич не болтается, пружина на двери сделана; умывальник хоть и общий, зато эмалью покрыт белою и каждый день его протирают вечером и даже для полотенец вешалка прибита с удобствами. Хоть и нет большого дохода монастырю от дачников, зато спокойнее — договориться можно и денежки получить вперед за номерок, а за услуги, за самовары, за хлеб — особое, а потом дачник и молоко, и творог, и масло покупает исправно на скотном дворе и за горячими просфорами в монастырь бегаёт. Отец пекарь специально теплые оставлял для дачников. В самом конце

монастыря, за старым собором, подле трапезной, просфорная и послушник кудреватый за отодвижным окнушком. Прибежит гимназист или барышня за просфорами, заулыбается послушник, побеседует.

— Вам, как всегда, двенадцать?..

— Да, батюшка...

— Не обожгитесь, еще горячие... А вы только встали?.. Поздненько нынче.

— Мы всегда так, батюшка... Так сегодня пойдем по ягоды после трапезы?

— Обязательно.

И ходят к дачницам послушники молодые — чайку попить, городского поесть, вкусного, за девушкой погулять, за дамочкой. И старики мантейные приходили подарить, а то просто и продать ложечку.

— В монастырской лавочке у нас не найдете таких... там попроще и роспись на тех простая, только для благодетелей наших, для знакомых и делаем особые — с златоперицей, с яичком в тросперстии... Расчету нет никакого такие отдавать лавочнику, что ж за них — по пятиалтынному не получишь, а труда-то над ними сколько. Те мы больше для простого народа делаем, дюжинами и сдаем лавочнику, а это особые для благодетелей.

За особенные богомолец и благодарит особенно — по полтиннику. И послушники даже не брезговали благодетелям приносить ложки. Только отец Иона послушников не пускал...

— Жадные... не поделятся, о своей мамоне думают.

А мантейные обязательно сунут Ионе гривенник и не за то, чтобы пустил в номер, а главное — посоветовал богомольцу не в лавочке покупать ложки, а из рук монашеских.

— У нас, знаете, искусные есть иноки, такие ложечки вытачивают — красота чистая. Вы сходите к отцу Памвле, у него особенные.

Зайдет богомолец к Памвле, а тот:

— После вечерни я принесу, получше выберу... В келии нам нельзя продавать, отец игумен узнает, что сребролюбием занимаемся — отберет в лавку, а я лучше сам принесу, хороших.

Послушников не пускал Иона в новую и коридорным приказывал:

— Чтоб мне говорили, кто ходит... игумену доложу.

Коридорный скажет, что исполнит приказ гостиника,

а сам — разнюхает, когда занят Иона или гостей принимает новых или после обеда отдыхать ляжет, и мигнет приятелям. Ионе не выгодно выдавать: прежде всего не позовут выпить, а потом — отомстят, избыют осенью, когда за дровами пошлют в лес.

Так по-особому и жила гостиница.

А за гостиницами еще особые деревянные дачи были, особым благодетелями и отдавались отцом игуменом: купцам да купчихам с семействами на все лето. Там и жизнь по-особому. Иона и не прикасался к дачам, не в его были ведомы; только говорил игумену:

— Искушаются иноки, отец игумен, дачами. Не уследишь за ними. И не мое это дело, а только ходят туда и послушники, и мантийные.

— Нельзя, отец Иона, благодетелей наших лишать общения с иноками. Может, через них благодать на нашу обитель снисходит — даяние... И на мирян оно действует примиряюще...

Целые дни в лесу около этих дач послушники кружатся — поджидают за ягодами.

И Николке гостиник жаловался, а тот вспомнит, как сам с Афонькою прогуливался перед дачами, дожидая Феничку, защежит у него сердце и размякнет благодушно.

— Ничего с ними, отец Иона, не сделается... Ты за гостиницами приглядывай получше... Там благодетели наши, свои, на ветер, чего не нужно, не вынесут про иноков, а тут, что ни день — новые, долго ли ославить пустынь нашу.

Идет из гостиницы, взглянет на дачки, вздохнет глубоко, а вспомнит, что Ариша его на хуторе дожидает — заулыбается.

В святые ворота пойдет — Васенька с Авраамием на солнце греются.

Подбежит блаженный к игумену...

— Трудно тебе, Николушка?.. Трудись, трудись... Бог за труды вразумит тебя, наставит на путь истинный... От беса избавит блудного.

Целые дни Васенька подле Авраамия, никуда его от себя старик не пускает и ничего блаженный теперь не знает о братии, и Николке ему теперь сказать нечего.

Николка только спросил у Авраамия:

— Остепенился блаженный?.. А?..

- На ночь я ему руки связываю...
- Не оставил его бес полуночный?..
- Мучает...

— Уж ты, отец Авраамий, потрудишься над ним...

Так изо дня в день и жила пустынь дальняя, по заведенному и в гостинице шли порядки... А побывал у Гервасия иподиакон Смоленский, Петр Иванович, — все кверху дном пошло.

II.

Собрал Николка старцев совет держать.

И не в уголку стал, как в пятом году, а воссел на диване кожаном.

— Обителю честь великая, старцы. Гостей принимать. Градоначальника и епископа Иоасафа с синклитом...

Советовали старики крестным ходом выйти от монастыря за версту с Троеручицей, а от самой станции расставить послушников по дороге, чтоб, когда станет подходить поезд к станции, — первый бы бежал ко второму, знак подал, второй, как увидит первого, — бежит к третьему и так до последнего, а звонарю смотреть в оба к гостиницам. Как из-за старой гостиницы покажется бегущий послушник — во все колокола, великим звоном преосвященнейшего встретить. А когда побежит послушник по дороге — двинуться с Троеручицею навстречу с молебствием. Вечернюю трапезу приготовить на всю братию и всем быть за трапезой, а гостям пола мужского подле спасителя в трапезной приготовить, где богомольцев причастников сажать положено, а женскому полу в гостинице разнести по номерам с добавкою.

— Творогу с молоком подать.

— А как же нам с богомольцами быть в старой гостинице, да с дачниками в новой, отцы?

— Благодетелей трогать нельзя...

— Отец иподиакон говорил мне, что духовенство, коему сопровождать положено епископа, приедет с семьями и к градоначальнику, камергеру его величества, тоже придут гости с дамами, — как тут-то будем?.. Куда принимать гостей?..

Задумались старики, примолкли.

Только один Авраамий привратник свое бубнит:

— А мне-то как быть?.. Как мне? Беда будет с Васень-

кой... Не удержишь его, он и так в богомолке каждой беса блудного видит, не то что в дачнице, удержу от него нет... Беседует... С каждой норovit побеседовать... Греха б не было с ним... Ославит обитель нашу.

Досифей горбатый сидит рядом — шамкает:

— Отец Авраамий, а ты его на замок жапри. Жапирай на день, а швятые ворота жакроешь — выпушкой подышать вождухом.

— Запрешь его... Окна выбьет. С него и этого хватает. Мне-то придется подле ворот святых находится, а он и начнет буйствовать. Ты, Досифей, подумай только — не какие-нибудь дачники, а знатные господа приедут. А как из окна он выскочит да набросится на какую барышню. С него ничего не возьмешь — блаженный он, а пустыни срам вечный. Подумай только...

— Швяживай его... веревкою... в кладовушку клади темную...

Старцы молчат, думают, Авраамий бубнит Досифею про Васеньку.

Игумен Гервасий насупился, — никто ничего не советует ему путного: про то, что собором встречать епископа, об этом и говорить нечего, так уж положено, а вот по хозяйству никто ни слова.

И не старцев перешептывающихся слушал, а ловил слова привратника монастырского Авраамия.

С Васеньки и начал Николка.

— Благословите, старцы, слово сказать...

Уставились на него молча старцы мантийные.

— С Васеньки я начну, с блаженного... отец вратарь говорит правильно: конфуз выйдет с Васенькой. Начнем с него... Я бы его в скиту поселил на время под надзор старцам и настрого запретил ему из скита выходить... А главное-то не о Васеньке, а денег откуда мы брать будем, расход же обители. Если вы, отцы, не дозволите, так и гостей принимать — срам один... Насчет денег главное. Не давать же им монастырские щи да кашу?.. Отец иподиакон говорил, что епископ болезненный, ему стол особенный нужен, нежные блюда, он и повара своего привезет, и градоначальник тоже с поваром пожалует... Гости-то, отцы, не молиться, а отдыхать приедут, вроде как на дачу, а им, по городскому положению, старцы, и икорочку и мяско нужно... Как же, отцы, быть?..

Задумались старцы, на Досифея горбатого смотрят, он старше всех, ему и отвечать первому, и советовать.

Поковырял Досифей в ухе, шмыгнул носом — зашамкал: — Штарцы, да благошловит настоятеля нашего Троеручица да вражумит его гостей принять в пуштыни, а мы его воле покоримся шо шмирением... Наштоятелю гоштей принимать, а кажначею рашход вешти в точношти и у наштоятеля в пошлушании быть шмиренно.

Обрадовались старцы, на душе отлегли заботы.

И Николка обрадовался, руки ему развязал Досифей своими словами, полным хозяином будет в пустыни.

А Досифей — сухой старик, маленький, глазки остренькие, сухое лицо, испитое, синее, и только глаза, точно щелочки, зло поблескивают.

Опять начал:

— Я еще шкажу, штарцы... Вашеньку-то вот мы уберем в шкиту, а ешть у наш еще жабота... Акакия мы куда денем? Штарца нашего?.. Его б тоже в скит надобно.

Старые счеты у Досифея с Акакием, сколько лет на него таит злобу. Давно еще, когда Савву игуменом выбирали, начала братия заботиться об обители. При Савве и собор строить кончали и гостиницу новую. При Савве и пустыньку Симеонову, основателя пустыни, украшать начали, подле колодца хибарку поставили с слуховым окошком и на пригорке скамеечки врыли, где по монастырским преданиям келия основоположителя пустыни стояла, когда он схиму принял после укрепления обители в вере истинной и удалился в лес темный на великий подвиг отшельника. Подле корней врыли скамеечки и деревянный пол помостили, и столб поставили с описанием трудов Симеона-схимонаха, пустытника Белобережского, и оградкою деревянною обнесли холм песчаный, чтоб не обсыпали его богомольцы, песок не растаскивали бы, корней сосен столетних не подкапывали бы. При Савве братия заботилась об обители. И Досифей с Акакием помогали братии. И каждому из них хотелось на пустыньке поселиться. А с тех пор, как не благословил настоятель Савва Досифею жить на пустыньке, с тех пор и затаил зло он против Акакия.

— К нему, Досифей, народ ходит, в сердцах человеческих он читать может, дар господень у него провидца, ему и жить на пустыньке, а ты, Досифей, немощный, поживи в скиту.

— Ко мне, отец Савва, тоже народ приходит, врачую я людские немощи...

— Душу врачевать, Досифей, нужно, а ее в тишине человек открыть может, тишина ее врачует, а врач господень только раскрыться поможет ей, облегчить словом истины... Акакия благославил я...

С тех пор и стал жить Акакий на пустыньке. Один жил в хибарке, только зимой месяца на два в самые сильные морозы переходил в скит, в келию. А чуть пригревать начнет солнце — на пустыньку уходил Акакий и до глубокой осени, до первых морозов, поживал в лесу. И стали к нему ходить богомольцы, странники, искаленные в житии мирском. С утра раннего подымался Акакий творить молитву. Пройдет на бугор пустытника Симеона, сядет на лавочку и слушает тишину лесную — молится. И слов у него нет — без слов молится, вспомнит про жизнь мирскую — загорятся глаза старческие; медленно дышит, тихо впивает смолу лесную, слушает, как птицы свистят утренние. И птицы ему кажутся райскими — беззаботно иволги перевизгиваются, другие посвистывают, а то завизжит сизоворонка, сорвется с сука и блеснет семицветною радугой крыльев. Слушает душа старческая и радуется каждому звуку, каждому прыжку белок по верхам сосен. Уставится старец в одну точку вверх, занемет весь — неживой будто, только глаза сияют радостью. И до тех пор, пока не ударят к ранней, и пока солнце не позолотит коры сосен и не порозовеет песок белый. Услышит Акакий колокол, подыметя и начнет день заботами.

Снизу он сосны обложил досочками, чтобы не обрывали кору странники, и лозою посвязал их, кое-где и гвоздочки вбил, и корни песком позасыпал. И каждый день Акакий осматривал сосны старые, корни цепкие, и заботливо досочки поправлял и с реки Снежети песок приносил подсыпать подле корней старых.

Про чудеса монахи простому люду рассказывали:

— Старец наш чудеса творит, Симеон пустытник, основоположитель пустыни. Исцеление подает недугующим.

Приходили бабы на пустыньку, мужики старые и пролупывали кору сосновую, завязывали в концы головных платков песок белый. Дожидали по целым часам старца Акакия. Работает старец на пустыньке — подойти боятся, думают, что помешают ему, прогневают и не подойдет он, ничего им не скажет, не утешит им душу простым словом.

И каждый день утром Акакий засыпал корни сосновые, жалея дерево, и говорил про себя шепотом:

— Вера человеку поможет, не песок, а вера, а что он песок-то берет, пускай берет, я принесу, еще принесу, когда из-под корней выберут, лишь бы брали песок этот, верили б, вера горами двигает.

И словам его народ верил. Простые у него слова, житейские, про мужицкую жизнь слова, тихие.

У мужиков одно горе: нужда, от нужды болезни, родителям непокорство. Придет баба, выплачет душу, услышит слова тихие о душе, — они и входят в душу, в глубину самую и уходят от него облегченные, будто и жизнь с этого дня легче станет. А как опять защемит душа — соберет баба гроши свои, что от хозяйства ей приходится и пойдет облегчить душу к старцу и жить без него не может, каждое дело идет обсудить, посоветоваться. Девку выдавать против родительской воли, отделять сына... Ругается с мужиком, ругается, а потом и скажет, что пойдет совета просить у старца. И за сколько верст летит слово о старце Акакии, каждой встречной о нем расскажет, а та — другой, и знают о нем в деревнях мужицких.

Мужику скажет, а тот:

— К Акакию пойду, посоветуюсь...

— Ступай, что скажет, тому и быть видно.

И мужик верит старцу, может, и никогда и не был у него сам, а если знают в народе про пустытника — мужик ему верит, и что баба от него передаст — исполнит точно. Состарится и сам идет в пустынь какую-нибудь повидать старца.

Мужицкая жизнь трудная, — куда от нее уйдешь, от горя-то! Без земли-то нам тяжело жить, батюшка...

— Не ропщи на господ... Жизнь-то, ведь она твоя... У тебя мало, а у других, может, и ничего нет, а живут, не ропщут... И ты терпи... Никуда она не уйдет от тебя, земля эта, твоя будет, ляжешь в нее — твоя земля, «от земли взят, в землю отыдеси, а в ней несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная»... Думаешь ты о ней, а все равно твоя тебя ждет...

И каждому у старца найдется слово тихое.

К душе подойти тихо надо душою, свою раскрыть перед каждым, чтоб и другая была понятнее, а понять человеческое горе всегда легко, прежде чем говорить начнет — зорко осмотрит всего человека, по костюму его узнает, из каких он, по лицу прочтет и достатки, и бедность,

и страдание. Верней врача определит, отчего душа у человека мучается. У старца душа всегда чуткая, каждый нерв напряжен пытливостью, только чуткий человек старцем может сделаться. Чуткая душа с молодости к человеку тянется, каждым поступком своим болит и у других ищет успокоения. И Акакий смолоду к людям шел, — обманывался, разочаровывался, может, и не верил в людей; а тянулась душа к тишине, к отдыху и раскрывал каждому глубину болезненно, и свою боль узнавал другую душу, и с каждым разом чаще и чаще понимал чужую. Потом и о своей не рассказывал, а только тихими словами, любовью насыщенными, пускал в свою душу чужую, каждую. В одном слове, в одном намеке угадывал и радость, и горе. Простыми словами к душе подходил.

— Живется тебе тяжело...

— Уж так тяжело, батюшка, и слов-то нет. Без кормильца мы...

— Давно помер?..

— Прибрал его господь...

И сразу старец поймет, что перед ним бездольный человек, бобыль-горемыка, вдова с сиротами, — ободрит каждого, посоветует... Рассказывает ему баба, почувствовав где-то глубоко тихий голос старческий, с ласкою он войдет в душу и отчитается она в излиянии. И не чувствует человек, что его же словами говорит старец, подумает и скажет самое обычное слово, от которого сразу легко становится, оттого что старец принял чужую душу, чужие слова и нашел в них самое тяжелое. И снова оживает человек, сбросив с души своей тяжесть. А уйдет он от старца и думает, что это не сам он рассказал старому, а старец проник провидящим взглядом в душу, облегчил ее, и несет в него другим.

И Акакий ее вселял измученным, облегчая жизнь, и не обвинял человека за грешное, что против совести, а примирял его и с людьми, и с проступками, прощая все. Только, быть может, примирение и прощение облегчало душу, давало ей жизнь новую.

Не во всяком монастыре и старцы были. Только некоторые и славились ими, и со всех концов России ходили по этим монастырям люди измученные облегчить душу. Так из году в год и жили старцы, находя себе учеников и их научали по приметам внешним внешнюю жизнь угадывать, а по ней учили познавать внутреннюю. Только Акакий, еще пока один жил, без послушника, без ученика, не хотел никого

звать на муку крестную. Оттого и крестную, что монахи ему не давали отдохнуть после напряжения, мелочами его изводили и каждый день одними и теми же. Больше всего Досифей ему не давал покоя и не сам, а подсылая послушников и монахов-приятелей изводить старца. Выжить его хотел с пустыньки.

Приучил старец аиста, каждое утро прилетал с озера. Убили его монахи — заплакал старец, больше этой обиды не видал он в этой жизни. Целое лето ходил старец Акакий на озеро, приучал аиста, стал и аист его признавать. Сядет он на берегу подле мельницы, слетит к нему с крыши птица за хлебом, а старец манит ее по лесной дорожке. Шаг за шагом, и приучил его за собой ходить и на пустыньку его раз привел, а на второй — прилетел сам с озера, запомнил жильё Акакия.

Досифей по всему монастырю ехидничал:

— Ишь ты, ведь, народ потешает, птицу жа шобой водит, точно и вправду пуштынник древний... На шмех людям, глядите, мол, что я жа такой человек швятой, при жизни жа мной не только что человек, а и птица ходит...

И может не сам Досифей убил аиста, а только нашли его за мельницей. Три дня его проискал Акакий. Мельник и тот удивлялся, — куда делся аист, думал, что остался он жить у старца.

Нашел старец аиста с перебитыми крыльями, убитого, и заплакал, как по человеку живому плачут.

И никто не знал жизнь Акакия, и когда он в монастырь пришел — тоже забыли, и чем в миру был, — кроме настоятеля Саввы умершего, тоже никто не слышал, а сам не рассказывал, старался забыть о жене, убежавшей в мир блудный, с тех пор за всю свою жизнь не плакал, а о птице убитой убивался долго, даже к людям не всегда выходил из своей хибарки. А в последнее время с утра уходил в лес, к вечеру возвращался на пустыньку и каждый раз становилось больней ему слышать горе людское. С полуслов проникал в душу и — чтоб не мучился человек, до конца не рассказывал муку смертную — говорил сам.

Добился своего Досифей.

Призвал Николка Акакия и стыдно ему, знает, что от старца ничто не укроется, по глазам увидит, что любит он Аришу не любовью братскою, а земною, плотскою, и сказать надо, что с пустыньки ему переселяться в скит надо.

В ноги ему поклонился...

— Старче праведный...

— Не грехи перед господом, один господь праведен, а мы люди, мы смертные и грехи у нас смертные...

— Старче, братия хочет в скиту тебя видеть, чтобы поселился ты в нем... Гости к нам городские придут с епископом; боится братия, чтоб не обидели твоей старости насмешкою городские господа знатные. Неверие, старче, в городе, забава им религия, так ты, отче, выбери себе в скиту келию, на время хоть, так братия хочет, соборне думали.

И опять поклонился Акакию земно.

— Возьми себе, отче, блаженного Васеньку в послушание, боится братия, что посмешищем станет он для гостей городских, не управится с ним отец вратарь... Благослави, старче, принять блаженного в послушание, вразуми его немощь плотскую, уврачуй душу грешную...

Покорился Акакий братии...

До самой пустыньки Николка его провожал, о душе беседовал, а сам думал о гостях, об Арише, об игуменстве, о митре с драгоценными камнями.

Потом на мельницу пошел, глазом хозяйским окинул озеро, велел мельнику лодки исправить и к вечеру пришел к Арише с мельницы, стукнул привычно в окно — сама выбежала... Целовать бросилась. А сама шепотом:

— Скоро теперь, скоро, опять буду твоя, да вот он только еще со мною... Теперь скоро... Тосковала я без тебя, сколько дней у меня не был.

Утром от ней уходил на заре, после того, как коров выгнали.

— Масло собирай, гости придут в пустынь... Епископ с князем, теперь не приду, пока не уедут. Узнают как — тогда беда нам, и ты смотри, не показывайся, на глаза не попадись как, — сама смотри...

Всю дорогу шел, думал, как бы не узнали про хутор гости. Иноки — те молчат и молчать будут, а вот если дойдет до епископа — в Соловки сошлют. Вспомнил, как инженер Дракин грозил Соловками. Тогда не было страшно, а теперь жутко стало.

С хутора прямо к Ионе, к гостинику, распорядился обычных дачников в дальние постройки переселить поскорей как-нибудь, да теперь же, а не то в старую, а гостей принимать в новую. Сам князь отдыхать придет с епископом.

— Слышишь, да чтоб насекомых извел, — в старой, сам знаешь... Всех не уместим, придется в старую.

Каждому стал говорить, что приедет князь с епископом, точно в заслугу особую ставил себе гостей знатных.

И с каждым днем у Николки прибавлялось забот и об Арише забыл думать и о том, что узнать могут, — не пугало.

Опять иподиакон приехал тот же. Глазки у него хищные, пропырливые, иподиаконские, нос прямой, острый, гвоздиком, борода клинушкой, волосы вьются черные, — Петр Иванович Смоленский. И не один приехал, а с женою и со свояченицею епархиалкою. Отец Иона встретил, послал предупредить Гервасия. А за иподиаконом из лесу, пешком с платформы — семинаристы-сироты.

Гурьбой в номер вошли и по очереди под благословение потянулись, а Смоленский затараторил игумену:

— Отец Гервасий, я и забыл, совсем забыл, епископ благословил отдохнуть сиротам в обители, наши сироты, духовные, деваться им некуда, в городе — духота — отдохнуть нужно, будущие служители церкви, в дачку бы их. О сиротах епископ заботится.

Растерялся Николка, не знал, куда деть сирот, Иона помог ему, отправил во флигель, что при гостинице.

С утра до вечера бегал Николка от монастыря в гостиницу к Смоленскому и ему-то угодить старался и расспрашивал, сколько человек приедет, да куда лучше всего поместить ключаря с матушкой, протодиакона с дочерью.

В губернском тоже сумятица.

Иоасаф епископ любим дворянами. До этого все архиереи не в ладу жили с властью светскою, покоряться не хотели губернаторам, иной раз и не кланялись друг другу. В табельный день явятся губернатор со свитою, чиновники с треуголками, генералы на парад в иконостасе звякающем, — соберутся к достойной, а архиерей и не вышлет градоначальнику с иподиаконом просфору девятичную в запричастный стих. Гудит сдержанно муравейник по правую сторону в соборе, а по левую городовые народ осаживают, чтоб место к молебствию освободить духовенству городскому. Запричастный поют, а в алтаре басит протоиакон Тимофей сдержанно: — «Благослови, влады-

ко»... И маются подле соли генералы и штатские и военные — потеют в мундирах шитых, вертят головы — дают воротнички стоячие шеи докрасна, платками вытираются с отчаяньем, а епископ и вышлет какого-нибудь протопopa проповедь говорить по тетрадошке. Протопop надрывается, а духовенство городское к алтарю проталкивается, с облачением под мышкою, в черных, темно-лиловатых покрывалах дьякона несут ризы. И среди горожан шум сдержанный; и алтарь гудит, точно улей, басами низкими. Распахнут врата царские — всем синклитом духовенство вокруг престола в ризах праздничных. И потянутся за епископом парами к амвону на молебенствие — в камилавках с Аннами, в набедренниках протоиереи степенные к амвону ближе, а мелкота слободская в скуфейках на самый зад, и растянутся по чинам, по званиям до самого алтаря лентою. И мечутся с дикирием да с трикирием иподиакона между двумя шеренгами, рычит протодиакон с евангелием: «Благослови, владыко»... нараспев, по складам выводит.

Потеют попы, потеет генералитет губернский, потеют глазающие богомольцы и стены потеют соборны. А непокорный архиерей растягивает молебенствие, изводит начальство гражданское, потому оно хоть и начальство, да не для особ духовного звания. А Иоасаф дружно живет с князем Рясным.

Приятеля, друзья, можно сказать, закадычные, — вместе в пажеском были, в одной эскадроне кавалергардами служили и опять в одном городе судьба свела. Не повезло Иоасафу в гвардии — мечтал до генеральских чинов дослужиться, а вышел скандальчик и выставили из полка, другого, быть может, из столицы б выслали, а его — призвал родитель во дворец и посоветовал переменить карьеру. А родителя нельзя не послушать, вся Россия его слушает, а сын незаконный и подавно покоряться должен.

И пришлось кавалергарду в Невскую лавру идти постригаться в чин иноческий, заново начинать карьеру новую, выбиваться в генералы духовные.

Дали епископа, и встретил Иоасаф приятеля в губернском, князя Рясного в генеральском чине, с ключом камергерским на золотом мундире.

И опять стали приятелями, старину вспомнили.

Теперь не только в табельные дни собор полон, а каждую субботу во всюнощной полно и в воскресенье в обедне давка. Дамы узнали, что и епископ из князей — свой

человек, гвардеец, и потекли в собор восхищаться манерами Иоасафа преосвященнейшего. То бывало только по табельным дням говорок на правой стороне дворянской в соборе, а то каждую неделю. Соборным попам доход от них небывалый, — пошлет ктитор с тарелками человека три — принесут серебра полные.

Шепчутся дамы, примечая каждое движение архиерейское.

А започут «Хвалите» во всенощной — и поплывет Иоасаф кадить осанисто по собору. Впереди протодиакон со свечью, а сзади иподиаконы с дикирием и триктирием, а в середине с серебряным кадиллом Иоасаф шествует, благоухает ладаном росным с Афона. И чтобы не задеть даму, когда молящимся кадит, извиняется:

— Пардон, медам, пардон...

Сияют глаза дамские восхищением. Слышит сзади себя:

— Душка.

— Обворожительный.

Улыбается чуть заметно одними глазами дама и чуть заметно даже головой кивает, будто волосы ему, спадая, мешают.

В запричастной стих высылает иподиакона с просфорами их превосходительствам.

И иподиаконы подтянулись, как хорошие адъютанты или вестовые бегают. Поднесет просфорку самому князю... Трешницу на тарелку вышвырнет.

Иподиакон несет тарелку обратно, трешницу рукой прикроет, а пойдет по коридорчику в боковые двери — в карман спрячет.

По воскресеньям у губернатора салон дамский, а для епископа и завтрак с винами тонкими.

Собрался князь Рясный с Иоасафом в пустыни отдохнуть на даче, и дамы соборные зашевелились на дачу следом в обитель тихую.

Иподиакон Смоленский и Николку по секрету предупредил за чаем в покоях игуменских:

— Я по секрету, отец настоятель, вам... светское общество в обитель ждите... Епископ у нас, если слышали, из князей... И не только из князей, а из дома Романовых...

— Как так?..

— Говорят, покойного Александра Николаевича незаконный сын, дядя нашему. Я бы советовал вам гостиника предупредить насчет гостей, чтобы не отказывал, разби-

рался в людях, пусть-ка он спрашивает предварительно как-нибудь: с градоначальником или епископом приехать изволили? Ну, как-нибудь там..

Вечером, когда измотавшийся Николка вспомнил слова Смоленского, позвал своего белобрысого послушника и велел за гостиником сбегать.

Пришел Иона к настоятелю.

— Вот что, отец Иона, да получше запомни... Гости у нас будут очень важные, таких еще не видала обитель наша. Милость нам великая. Не опростоволошься, смотри. Лучше всего наперед спрашивай: от кого изволите? а лучше так: с градоначальником будете или с преосвященнейшим? Скажут, что да, так ты в оба смотри, чтоб номерок выбирал получше. Духовенство, семьи — вниз, в новую, от градоначальника — во второй этаж. Да чтоб обхождение было отличное коридорных послушников, а то скажи — на покаяние, на хлеб, на воду. Да не вздумай по коридору трезвонить к службам в новой, пусть почивают, сколько захочется, на отдых приедут, — слышишь?.. Сам-то запомни, а то привыкли мы, а тут обхождение нужно. Помни...

Засыпал — ни о чем не думал Николка — изматывался за целый день.

Со дня на день гостей дожидаться стал. И каждый день бегал к Смоленскому за советами, а утром иподиаконше велел присылать молоко, творог, масло, а в обед особое коридорный послушник приносил с трапезы.

Не заметил Николка, как и неделя прошла, а на вторую — гости будут.

III.

Каждый день приезжали гости. Сперва духовенство соборное семьями. Иподиакон Смоленский и по номерам вместе с Ионою разводил. Услуживал Иона Смоленскому. Привередничала иподиаконша молодая, — каждый день за овощами коридорного посылала послушника, на скотный двор за молоком, за маслом.

— Вы не знаете, батюшка, как моему Петру Ивановичу трудно, целый день бегают, изматывается за день, придет поесть, — есть нечего, так вы попросите на скотном у матушек.

К каждому поезду высылали три линейки и каждый раз — полные.

Юлит Иона, выпытывает. Услышит, что с губернатором

знакомы или епископ благословил — ведет сам в верхний этаж новой гостиницы.

А когда номера переполнились, а гости городские приезжать продолжали — недоразумения начались. В синем костюме, скромная прическа гладкая, на уши слегка спущенная, синяя шляпка английская с широкими полями и лентами, с девушкой, в летнем платье прозрачном болотного цвета, с зеленоватыми глазами вспыхивающими, — волоса — крупными завитками волнистыми — коричневыми с золотым отливом, — с линейки сошли и стали ждать, когда Иона номер укажет. Всех поразвел гостиник, а на нее и не глянул. Села на скамеечке за колоннами у старой гостиницы.

— Что же нам, Зиночка, не дают номера?..

Вышел дыхнуть воздухом послушник коридорный...

— Сейчас я отцу гостинику передам... из города быть изволите?..

— Нет, из деревни.

Побежал послушник к Ионе и передал, что из деревни приехали, одеты по-городски. Иона и решил, что не важные господа, если не из города, а из деревни, и велел послушнику отвести в старой и не в верхнем этаже, а в нижнем, против двери скрипучей, на которой кирпич, завернутый в тряпке заплыванной на блоке болтался, — самый дальний номерок, окнами к монастырской стене, а в коридоре наискосок от двери — умывальник прокисший. Отвели номерок и забыли.

— Зиночка, ты посмотри, это ужас какой-то... А запах... А грязь какая... Как же нам Барманский говорил, что прекрасно и номера новые?..

До вечера просидели в номере, раза два теребили электрическую кнопку и никого — звонки в старой испорчены.

Пока на кухню не сходила Вера Алексеевна самовар попросить, до тех пор и не подали. Дылбастый послушник огрызнулся, что у них гости теперь, некогда...

В отворенное окно земляники купили у полпинской бабы и оставили его открытым. Один по одному налетели комары, зазвенели над ушами...

Свечку зажгли, полуголодные легли на войлочные матрацы жесткие...

Комары не давали спать, оголенные руки и плечи жалили...

Уснуть не могли — ворочались.

И когда сон закрыл им глаза, изо всех щелочек, изо всех уголков потянулись клопы тощие, сплюснутые, и не с ног, а с головы начали... На потолок взбирались и плюхались на голые плечи, на грудь, на лицо и всасывались, набухая.

В полусне отмахивались, ворочались, с головой закрывались простынею, а когда становилось душно — сбрасывали и раскидывались, обнажая клопам тело.

Не выдержали и проснулись...

И когда вместо комара поймала Вера Алексеевна клопа и раздавила его пальцами, почувствовала, что тухловато-тошнотным пахнет.

Целую ночь мучались.

Зажгут свечу — разбегутся под матрац, по щелям и маленькие и большие; снова лягут, свечу затушат, а через несколько минут опять чувствуют, как на лицо, на плечи, на грудь падают, и опять до изнеможения ловят. К полунощнице ударили повести и отец будильщик, послушник побежал по коридору со звоночком будить коридоры сонные.

Подбежал к двери:

— К полунощнице, к полунощнице...

И дальше по коридору темному. И второй раз побежал послушник по коридорам будить, второй раз и на колокольне ударили к утрени, и опять зазвенел голос звонкий:

— К утрени, к утрени...

И в этот раз не спали — металась подле кровати и от отчаяния плакала.

Светать начало — попрятались клопы упившиеся и уцелевшие — заснула Костицына с Зиночкой замертво, не слышали, как и к ранней колокольчик звонил и как в большой колокол ударили к поздней. Не поворачивались, до достойной проспали — бока ныли, было пошевелинуться больно. С припухшими воспаленными глазами встали.

— Я уеду, Зина, не выдержу, если еще так одну ночь — сил не хватит.

На кухне утром самовар им не дали, косились послушники, грызаясь:

— К службам не встали, вот почему, понимаете?..

И опять чуть не до слез от досады, от боли в боках, от голоду.

— Пойдем, Зина, просфор купим, ягод... поедим что-нибудь, а то и обеда еще не дадут.

Просфорня закрыта, и бабы распродали ягоды. К трапезе зазвонили. К гостинице возвращались медленно и увидели бегущего иподиакона.

Точно к своему, к родному бросились:

— Отец дьякон, что же делают с нами монахи эти?.. Простите, но от клопов мы всю ночь не спали и спать на досках — все болит и чаю не дали, говорят, что к службам не ходили, и хлеба купить негде. Как же так, у князя говорили, что прекрасно здесь, — как же так?.. Помогите нам...

Расплылся Смоленский улыбкой радостной и огорченно:

— Как же так?.. Я сейчас все устрою, вы не отчаивайтесь, здесь прекрасно, а какой в лесу воздух дивный... Подождите минуточку тут, я все вам устрою. Это недоразумение какое-то, недоразумение.

Чуть не бегом бросился в покои игуменские, на крыльце встретил Гервасия.

— Да вы знаете, что госпожу Костицыну, жену управляющего делами канцелярии губернатора, поклонницу преосвященного с дочерью богатейшего дворянина Белопольского, с красавицей — в клоповник гостиник ваш поместил, в клоповник... целую ночь не спали, измучились, а им за то, что не ходили к службам, чаю не дали, вы знаете, что из этого быть может, не только мне, но и вам неприятность, да еще какая: вы думаете, что не станет известно епископу с князем?.. Все выболтают... как же так? Теперь уж сами извольте устраивать их, они тут ходят, как хотите, устраивайте, а я не ответчик, я предупреждал вас, чтоб осторожнее были...

Растерянно Николка глазами хлопал, и за Смоленским к Костицыной бросился и тоже скороговоркой начал.

— Это недоразумение, господа, недоразумение... Гостиник во всем виноват, гостиник... Я сейчас, сейчас сам устрою вас.

Суровый вошел в гостиницу, крикнул послушнику позвать Иону. И мягким голосом, баритоном сочным, слегка нараспев Ионе начал выговаривать:

— Как же так, отец Иона, ты наших почтеннейших гостей поместил в старую и чаю не дал утром?.. Как же так?.. Переведи, отец, в новую сейчас же, слышишь, а после трапезы приди ко мне, обязательно.

А Костицыной защищал Иону:

— Отец Иона у нас иннок строгий, молитвенник, за богомольцев вас принял, а для богомольцев у нас порядок ходить к службам, — уж вы не сетуйте на него.

Смотря на Зину и на Костицыну, вспомнил о послушнике Борисе.

— Ты, отец гостиник, в услужение назначь Бориса, — слышишь!

Возвращался к трапезе, про Бориса думал, что не удосужился он до сих пор, некогда было все, расспросить его, почему он в монастырь пришел и что было у него с Феничкой, — только теперь, глядя на Зину, и вспомнил про него и про Феничку. А когда, после трапезы, гостиник пришел к нему, набросился на него Николка:

— Ты что ж, думаешь, затем и поставлен в гостинице, чтоб через тебя и мне, и обители срам был, — да ты знаешь, кого ты в клоповник загнал свой? — так чтоб наперед каждого, кто из губернского к нам приедет, спрашивал, да так, чтоб никому незаметно было, аккуратно нужно.

Часа два отчитывал Николка отцу Иону, — у того даже лоб покрылся мелкими каплями пота.

До позднего вечера Гервасий сидел, высчитывал, сколько ему нужно каждый день, чтоб гостей прокормить, и когда считал, то мысль совсем о другом мелькала. Феничку вспомнил, досадовал, что хоть и устроился он с Аришею и красива она, и его любит, а манул его город, жизнь вольная. Досадно было, что прятаться приходилось от людей со своей жизнью в лесную чащу, на хутор, куда не каждый раз и пойти можно. Знал, что молчит братия, а по кельям ропшет, издевается над ним. Обидно было, что не Феничка, богатая, вольная, и, как казалось ему, образованная, а монашка приبلудшая, из монастыря за любовь выгнанная. Сама ему рассказала Ариша, когда почувствовала, что беременна, — последний раз в жизни покаялась перед тем, кто стал близким, с кем всю свою жизнь связала. И, сравнивая Аришу с Феничкой, вспоминал только что виденную даму с барышней и захотелось опять из монастыря убежать, все равно куда, лишь бы избавиться от монашества, от вечного прятанья и начать сызнова и не с Феничкой уже, не с Аришею, а с благородною, образованною женщиною, такие, казалось ему, и любить умеют по-особенному и живут не так, как все, лишь бы есть да пить, — в театрах бывают, читают книжки, и вспомнилось опять духовное училище, когда после обедни поздней

ходил на балкон в городской театр на дневные. Тогда и мир по-иному казался, и жизнь была красочней, и в первый раз в жизни пожалел, что не стал учиться и думал, что не он виноват, а купчиха, что мальчишеское разбудила в нем любопытство звериное и не дала учиться. Думал, а рядом другая мысль бежала, — сознаться в ней не хотел себе, а чувствовал, что потянуло его посмотреть на приехавшую Костицыну, и сразу решил глубоко где-то, что завтра обязательно посмотреть пойдет, как гостиник ее устроил. Потом эта мысль заполнила его всего. Только по-иному пошла, — боялся, что не только Костицыну, но и вообще всех проведать нужно и обязательно до приезда, чтоб потом не вышло чего плохого. Потом не стал больше высчитывать денные расходы, захлопнул книгу и, откинувшись на диван кожаный, полудремал, и проносились перед ним то Ариша со своею ласкою и покорностью, то Феничка, то усмехавшаяся — неизвестная, совсем новая, и ни на одной не останавливалась мысль, а все как-то сразу трое заполняли его и под конец все в одной слились — в синем костюме, в шляпе широкой с лентами. Не запомнил еще лица, фигуры, голоса, а только мелькала широкая шляпа с лентами и что-то синее. Не заметил, как и заснул на диване. Разбудил колокол монастырский — звонили к ранней. Не умываясь вышел из покоев и через задний двор вышел к речке, обогнул монастырь к дачам и так же, все еще бесцельно, пошел в лес. На повороте к казенному лесничеству вспомнил, что собирался посмотреть, как устроены гости, и вернулся к гостинице.

Ни к кому не зашел, а только по коридорам прошелся с гостиником и спросил, где живет вчерашняя барыня с барышней. Шаг замедлял, приближаясь к номеру Костицыной, и говорил немного, думая, что услышат голос его — выбегут.

И чем ближе был день приезда гостей, тем страшнее становилось Николке, боялся, что не так встретит, не так говорить будет, а когда иподиакон посоветовал встречное слово сказать епископу — испугался даже.

— Обязательно нужно, отец Гервасий, обязательно. Епископ любит торжественность. Завтра отец ключарь приезжает с матушкой...

На другой день велел Николка шарабанчик заложить к поезду и поехал сам ключаря встречать. В темно-синей рясе шелковой с прифранченной матушкой в кружевном платье — тенором нежным обратился к Гервасию:

— У вас, отец игумен, все готово к приезду епископа?..

— Все, отец ключарь, все.

Когда Николка предложил ключарю ехать, тот отказался и сказал матушке ласково:

— Катенька, поезжай, друг мой, в шарабанчике отца игумена, а мне пройти по лесу хочется.

К послушнице подбежал Николка и шепнул строго:

— Гостинику скажи, что матушка ключаря архиерейского, — слышишь, не забудь смотри.

Всю дорогу ключарь говорил только. Любил, чтоб его слушали. Нежным тенором грудным говорил и своим голосом любовался. Просто говорил с Николкою, но в этой простоте чувствовалось властвование. Отвечая на вопросы игумена, с достоинством поправлял академический значок и золотые очки, сквозь которые смотрели слегка улыбающиеся глаза, особенной доброты. Доброта эта была особенная — хитрая, смотрят глаза, улыбаются слегка, и чувствуется в них превосходство над равными.

Николка недоволен был, что епископ не хотел никакой особой встречи, а просто приехать в покои игуменские, чтоб и не знал никто. Ключарь настаивал на желании епископа, а Николка не противоречил, а только все время повторял одно и то же:

— Старцы хотят преосвященнейшего встретить крестным ходом с Троеручицею соборне.

Иподиаконы ключаря встретили, дождались линейки особой с протодиаконом, с костыльником, с исполатчиками и пошли готовить алтарь. И все чувствовали себя, как хозяева, распоряжались, приказывали и рясофорным и послушникам, а Николка молча стоял в алтаре и смотрел на приготовления, вспоминал то время, когда и он был исполатчиком, а когда они к нему подошли и попросились в трапезную выпить монастырского квасу, вздохнул глубоко Николка и, ни к кому не обращаясь, только глядя в сторону ключаря, сказал мальчишкам:

— К отцу эконому ступайте, он даст вам, скажите, что исполатчики, — отец настоятель велел... Ведь я тоже был исполатчиком.

Ключарь улыбнулся в золотые очки ласково, поправил русые локоны, академический значок и сказал, тоже ни к кому не обращаясь:

— Значит, нам будет легче, если отец игумен знает архиерейское служение.

До вечера убрали, готовились, раскладывали облачение архиерейское, монастырский хор разучивал «достойно есть» встречное и «испола эти деспота», протодиакон гудел, ходя по собору и рассматривая живопись, а к вечеру перед трапезой сперва побыли в гостинице, — потом пошли к трапезе.

Вечерню служили в старом соборе, наскоро. Толпились деревенские богомольцы у нового, стараясь войти в него. Возвращались дачники и гости через задний двор, через монастырь, святые ворота, в гостиницу, бегали монахи и послушники по монастырю, и только после трапезы успокоился монастырь, когда Авраамий зазвенел ключами у святых ворот.

До позднего вечера метался Николка по монастырю, метался послушник его белобрысый и у обоих горели ноги. И вечером, уже часов в девять, прибежал к Гервасию через конский двор кóстыльник от ключаря звать в гостиницу к духовенству чай пить.

Долго еще совещались о встрече епископа, спорили, где лучше из экипажей выйти преосвященнейшему и только под конец стали говорить о городе, когда в разговор вмешалась протоиерейша Катенька.

Внизу в номерах тихий гул был от голосов духовенства соборного, а сверху — тихо, изредка только прорывался веселый смех женский.

И когда Николка уходил из гостиницы, показалось ему, что чей-то знакомый голос донесся сверху, смеющийся и четкий.

Послышалось:

— Зиночка, ты отца Бориса попроси, никого больше, слышишь...

И потом раздался сдержанный смех, звенящий и ласковый, хлопнула дверь и, постукивая каблучками, побежал кто-то в послушницкую.

Показалось Николке, что и голос знакомый, и имя Борис почему-то знакомое и странное, позабыл про Смолянинова, послушника.

Наверху успокоилось, внизу — духовенство засело в стуколку до полунощницы, а Николка с путавшимися мыслями, утомленный, медленно побрел через конский двор в монастырь. Захотелось вернуться в гостиницу, еще раз услышать смех звенящий, пойти на хутор к Арише

отдохнуть от сумятицы, а когда долго не мог достучаться в ворота — захотелось перелезть просто через стену, — вспомнилось, как послушником по вечерам лазил, возвращаясь из лесу после гулянья с дачниками или осенью от баб...

А когда подходил к покоям игуменским — вспомнил опять о митре, — с этою мыслью и уснул Николка.

IV.

С утра в монастыре беготня началась. Из соседних деревень бабы пришли, мужики, прослышав, что епископ в монастырь приедет и встреча торжественная будет с большим колокольным звоном — Троеручицу крестным ходом поднимет братия. С утра готовилась братия. С утра из уездного исправник приехал и несколько человек с собою привез ингушей конных. Для охраны князя Рясного и для порядку стражу с собою взял, чем еще больше усилил суетню в монастыре. Пришлось конюхам отводить для лошадей место, устраивать людей. Потный и раскрасневшийся бегал Гервасий: требовали денег на кухню, прибегали из собора исподатчики — ключарь звал по какому-то делу, эконома два раза прибегал. — не хватает рыбы на трапезу. Искал Николка иеромонаха рыбника, чтоб послать на пруд окуней наловить бреднем. Приходилось всюду самому бегать, о всех заботиться. И общую суету усиливали деревенские богомольцы, целый день без толку толкавшиеся по монастырю, в ожидании чего-то особенного, от приезда архиерейского; заглядывали они и на задний двор и в конюшню, целыми вереницами шли на пустыньку и, не найдя там Акакия, возвращались через монастырь в странноприимную. С утра дачницы расфранченные с цветными зонтиками прогуливались по монастырю. Семинаристы-сироты толкались задолго до трапезы на кухне, приставая к трапезнику и к эконому накормить их заранее, потому они должны с монастырским хором спеваться к встрече епископа. И от томительной жары еще напряженной становилось всем. Жара еще больше усиливала ожидание, становившееся невыносимым. неподвижный воздух давил голову, — путались мысли, торопились куда-то, потом бросались совсем по другому направлению, отчего и люди не знали, что собственно нужно делать, куда идти, что говорить. За трапезой было почти пусто, монахи обед разобрали по кельям; в тра-

пезной подающие послушники бегали с чашками и схватывали со столов недоеденные миски с горячим, с кашею. А подле полдня, когда приближалось время встречать епископа, напряжение дошло до крайности. Когда перед вечернею ударили к повести, сразу из келий повысыпала братия и направилась к собору. Долго толпились у дверей, — ключник после трапезы лег отдохнуть, и не слышал повесть, пришлось бежать будить его. Сперва даже не нашли его, и когда только вспомнили, что он в палисадничке любит спать, снова за ним кинулись. После повестки сразу же повысыпали богомольцы и тоже направилась к собору, чем еще больше увеличили толкотню подле дверей. Монахи сердились, отталкивали протискивающихся баб и роптали на порядки монастырские. Следом за богомольцами духовенство соборное пришло. Пока облачались в алтаре в ризы, торжественные старцы спорили, кому икону брать, и тоже толкались у иконостаса, пока не пришлось ключарю отцу Николаю просто выбрать более сильных и красивых стариков. Вынули из киота, зачем-то стали впереди архиерейского амвона и, переминаясь с ноги на ногу, стояли, потея. И когда двинулся крестный ход с иконою — на порожках собора дачники и городские богомольцы мешали идти. Монахи боялись толкнуть дачниц, толкали друг друга, наступали на ноги и зло поглядывали по сторонам. Через святые ворота вышли и повернули мимо старой гостиницы к лесу. Боялись опоздать к встрече, и когда подошли к назначенному месту, на поворот дороги к казенному лесничеству, оказалось, что до прихода поезда еще целый час.

Не один раз старцы сменялись у иконы, не один раз Николка досадливо на часы поглядывал, думая, что еще много он не успел сделать, распорядиться, и не один раз ингуши, гарцуя, проезжали мимо ожидающих. Длинной цепочкою, друг от друга шагов на десять, стояли на дороге послушники, как верстовые столбы черные. Перед самым приездом, с двумя ингушами исправник проехал к платформе, в то же время и богомольцы деревенские встали с травы и пошли ближе к иконе, чтоб лучше видеть всю встречу, а главное, видеть, как по дороге будет приближаться епископ. Дачницы, гости, городские богомольцы тоже стали поближе к дороге и каждый теснился, чтоб увидеть первому, а главное, лучше других, отчего была

толкотня и затаенное недовольство своими соседями и встречею с монахами.

Николка с беспокойством поглядывал и на дорогу, и на богомольцев, и на недовольные лица иноков и все время оглядывался на колокольню, боясь, как бы звонарь не прозевал бегущего послушника. Беспокоился и ключарь. Несколько раз подходил к Николке, шептался с ним, отходил к протодиакону, тот гудел сдержанно и показывал на дорогу.

И когда по лесу зашумел поезд — сразу затихло все. Все головы вытянулись на дорогу и ждали — что будет. Николка с ключарем сперва только видел, как по дороге побежали послушники, а потом произошло что-то необразимое. Николка бросился к какому-то послушнику и, не соображая, боясь, что звонарь не увидит, толкал послушника и шептал зло:

— Бежи скорей, чтоб звонили, — едет, едет.

И не успел добежать Николка к ключарю, как раздался на дороге дикий крик.

Перегоняя друг друга, бежали по дороге послушники, и у каждого была мысль, что он должен бежать к гостинице и подать знак на колокольню звонарю, и поэтому бежали все вперегонку, толкая друг друга.

Исправник, встретив епископа, приказал одному ингушу карьером скакать к игумену, сказать, что приехал, едет. Ингуш только запомнил одно слово «едет» и, помчавшись карьером по дороге, начал кричать: «Едет, едет!». Бежавшие послушники подумали, что опоздают, и еще скорей побежали, выбежав на дорогу, чтоб свободнее было, чтоб не цепляться ногами за корни сосен. Скакавший ингуш налетел на послушника, тот упал под ноги лошади, лошадь от испугу встала на дыбы, чуть не сбросила ингуша, и раздался дикий крик по лесу: сбитый монах кричал от боли, на дорогу к нему другие бросились и кое-кто из богомольцев и заслонили дорогу крестному ходу; ингуш, испугавшись, пришпорил жеребца и, чтобы очистить себе дорогу к игумену и не забыть того слова, что начальство сказало ему, кричал дико и неся навстречу толпе монахов и богомольцев, — выкрикивал только — йдет, йдет, йдет. Послушники, бежавшие по дороге, бросились в стороны, но не остановились, а побежали по лесу, спеша за гостиницу поскорей выбежать. Толпа, увидав, что на дороге что-то случилось и что иноки с дороги в лес бросились — дрогнула. Дамы, увидав, как послушни-

ка сбила лошадь, тоже вскрикнули и побежали с криком ужаса в лес, взвизгивая истерично. За ними и крестьянская толпа дрогнула. От испугу кликуша какая-то закричала, чем еще больше вызвала панику.

Сзади стояли ингуши; увидав, что толпа чего-то бежит с криками в разные стороны, и навстречу ей их товарищ дико несется и тоже кричит — бросились из-за гостиницы толпе в зад и тоже с криком.

Звонарь давно заметил бегущих послушников и начал звонить во все колокола, приказав звонарям на дискантах поглядывать на дорогу, чтоб когда крестный ход будет подходить к святым воротам — с особенной силой ударить хвалебное. Бежавшие послушники звонарю знак подать окружили гостиницы и выбежали с другой стороны и, увидав, что крестный ход дрогнул и богомольцы отчего-то побежали в лес — столпились перед старой гостиницей и, думая, что получилось что-то ужасное, начали махать звонарю скуфейками, чтоб не звонил больше. Послушники на дискантах увидали махающих — звонить бросили, и гудел только самый большой колокол — сам звонарь звонил и, оглушенный гулом, не слышал крика своих помощников, и когда те начали толкать его в бок, тоже бросил звонить и, обливаясь потом, сел на пол.

Когда дрогнула толпа и побежали кричащие женщины в лес, а сзади неслись ингуши дико — и старцы, и певчие, и духовенство дрогнуло, — шарахнулись все в сторону, толкая друг друга и тех, что несли Троеручицу. Еле удержали икону от падения, и только это и остановило иноков. Но все это продолжалось одно мгновение, и когда падавшая из рук старцев икона заставила остановиться иноков, а потом и по дороге двинуться навстречу епископу — звону не было. К Николке подбежал ключарь и, шипя от досады и злобы, сказал ему:

— Звонить надо, звонить.

Тут только и Николка опомнился. Взглянул на колокольню и побежал сам к гостинице, крича махавшим еще почему-то послушникам, чтоб бежали скорей на колокольню сами звонить, а других заставил опять махать скуфейками. На колокольне догадались и зазвонили сперва в дисканта-подголоски, а потом уже и большой загудел колокол, и когда уже подъезжал епископ, снова было все спокойно, и крестный ход навстречу двинулся с пением.

Епископ издали замешательство видел, как в разные

стороны по лесу побежали люди и, недоумевая, вопросительно смотрел на исправника, ехавшего верхом рядом с епископом:

— Случилось что-то...

Недовольный вышел из шарабанчика Иоасаф и недовольными, быстрыми и резкими шагами направился к крестному ходу, ища глазами ключаря Василия.

Ключарь смущенно смотрел на епископа, пожимая плечами и показывая глазами на монахов. С тем же недовольством Иоасаф приложился к иконе, принял костьль и пошел в обитель.

Разбежавшиеся дамы собрались на порожках гостиницы и, когда крестный ход проходил мимо к святым воротам, начали кивать головами и носрвыми платками помахивать преосвященнейшему.

Это немного даже рассмешило Иоасафа и снова вернуло ему хорошее расположение духа, и улыбнулся только одними глазами, увидав дам.

Входя в храм, ключарь шепнул Николке:

— Молебен покороче надо, без акафиста, не утомляйте с дороги епископа, а то видите, что вышло...

Наскоро отслужили молебен, и епископ ушел в покои игуменские с Николкою и с ключарем Василием.

За чаем перед трапезой Иоасаф говорил ключарю:

— Отдохнуть приедешь, и тут надо служить. Вы, отец Василий, не задерживайте литургии завтра, иподиаконам скажите. Позднюю не хочу служить, будем среднюю...

За трапезой без конца канонарх житие читал о святой Евдокии, искушаемой мирскими соблазнами, без конца разносили чашки послушники затрапезные, позванивал игуменский звоночек, стукали корчиками монахи о глиняные широкие кувшины, черпая квас мартовский, и без конца пели торжественно благодарственную молитву. Иподиакона заливались тенорами, и все покрывал бас протодиаконский. Против обычного, раньше закрыли святые ворота, чтоб не беспокоили монастырь богомольцы и не ходили бы мимо покоев игуменских, если бы епископ спозаранка пожелал уснуть.

И пришлось послушникам через конный двор из монастыря уходить в лес гулять с дачницами, а певчим через ограду перелезать в монастырь за полночь.

С тех пор, как дачницы понаехали и семинаристы-сироты подружались с певчими, каждый вечер в лесу собирались все. Певчие с семинаристами в лесу хором песни пели светские, а под конец — молитвы. Далеко разносилось по лесу пение, звенели голоса звонко между соснами. Заслушивались дачницы дотемна, а потом уходили гулять с полушниками. На поляне собирались в условленный час после трапезы, на поляну и дачницы приходили, поклонницы архиерейские.

Донесли Николке про это — запретил петь в лесу монастырским певчим, боялся, что узнает епископ — плохо будет.

Несколько дней не приходил на поляну никто.

Заскучали дачницы.

Матушка ключаря просила мужа, чтоб петь разрешили монахам в лесу.

И дамы к ключарю пристали.

— Отец Василий, милый, устройте, чтоб певчим в лес разрешили ходить.

Николке ключарь посоветовал разрешить, а тот не знал, что сказать, поежился...

— Преосвященный узнает — неприятность будет.

Ключарь успокоил его:

— Я ему сам скажу, отец Гервасий, — разрешите в лесу петь певчим с семинаристами...

Отслужил наскоро Иоасаф среднюю обедню в соборе, дождался вечером прихода князя с дочерью и начались будни.

С утра Николка бегал по хозяйству, монахов расспрашивал, довольны ли гости монастырским приемом, за трапезой торжественно сидел, после трапезы на скотный двор забегал и хотелось ему на хутор сбегать про Аришу узнать, поцеловать ее, поздравить с новорожденным и самому порадоваться на своего младенца, да все некогда было; а со скотного двора выйдет, так и потянет в новую гостиницу заглянуть, нечаянно может встретить Костицыну. Глаза у ней глубокие, слегка влажные, отчего в них какое-то тепло особое было, манящее. Несколько раз ее видел, как выходила гулять из гостиницы с барышней и дочерью губернаторской, княжною Рясною. За ними пойти хотелось, позабыть, что рясофор на нем и что он игумен теперь. До сих пор, казалось ему, несуразная у него жизнь. Целый век мотался, не жил, а мучился. Даже

к Феничке любовь и та казалась теперь выдуманной, и Ариша — не любовь, а плотское мучение, — утолить его нужно и сошелся с ней. Теперь даже боялся, что узнает про нее, а может из иноков кто донесет по зависти, а тогда конец, и эта жизнь будет разбита. Помануло невозможное, неразгаданное, недосягаемое. Возвращался в покои свои сумрачным и только когда на панагию архиерейскую взглядывал, на крест золотой в изумрудах тихих — горячо обливалось сердце желанием получить митру. Каждый день напоминал своему послушнику белобрысому, чтоб тот за каждым шагом следил епископским и передавал ему, — с кем из иноков говорил преосвященный, куда ходил, что делал. Задабривал келейник Иоасафа, чтоб разузнать привычки архиерейские, любимые кушанья, и повара не забывал чаевыми.

А у епископа свой день. С утра на молитве, по привычке и по обязанности, а после кофе со сливками — дожидая князя и вместе с ним уходил тулять до трапезы. После трапезы отдыхал до трех, а в четыре Николку звал и через задние ворота уходил с ним гулять.

Расспрашивал про монастырь, про доходы, про землю, про иноков, про Николкину жизнь и, когда наскучивали разговоры, шел молча, опираясь на посох. Встречал по дороге дам, раскланивался, благословлял, но не заговаривал ни с кем, а если с ним заговаривали — отмалчивался и поворачивал в монастырь.

Дамы сердились, нервничали, обижаться начали и иные даже уехали, остались только беззаветные поклонницы Иоасафа, которых ничем не выживешь, от которых и в городе трудно было спрятаться. Где сам служит в городе, туда и они явятся, на завтрак поедет к князю и там они, вернется к себе в архиерейский дом и туда в приемные дни появятся под каким-нибудь предлогом благотворительным, — были даже такие, что с иконами заходили с старинными жертвовать в церковный музей исторический, основанный Иоасафом при консистории, и часа два рассказывали, что специально в свою деревню ездили и из своего храма привезли, а когда один помещик для красоты музея подарил ковши старинные и кокошники — приносили всякий хлам в приемные дни в архиерейский дом, так что попам, дьяконам, вызванным по делу, и говорить было некогда с епископом. Ключарь Иоасафа выручил, посоветовал особого секретаря завести

по делам музейным, и когда в один день появился местный археолог губернский со включенной бородой нечесанной, с такими же волосами на голове — растрепанными, кудлатыми, на двери в приемной появилась надпись, что по церковно-архивным делам принимает ученый секретарь общества — кончили дамы ходить в архиерейский дом с молитвенниками старыми, с иконами, с тряпьем старым и даже обиделись.

Князь Рясный шутил епископу, называя его по имени и по отчеству, как и в молодости.

— Великолепно вы, Александр Николаевич, отучили дам наших.

И тут же к дамам с шуткою:

— Вы, господа, владыку измучили, разве ж можно так!..

— Мы обожаем его...

— Так вы хоть издали!..

И в монастыре дамы сердились на Иоасафа, надеялись повеселиться, и вдруг не епископ, а монах, и с монахами время проводит, а не в обществе.

За все время один только раз Иоасаф разговорился в лесу с дамами.

С Николкой гулял и встретил княжну Рясную с Костицной и с Зиночкой.

Княжна подошла просто, — приняла благословение и заговорила попросту, как с хорошим знакомым.

Сердце оборвалось у Николки, когда увидел Костицну.

Спросила княжна епископа:

— Отчего вы, владыко, от нас прячетесь? Разве мы вам мешаем?..

— Вы — нет, и Вера Алексеевна — тоже нет, и Зиночка, а дамы, меня обожающие, те мешают мне отдохнуть.

Обидчивым тоном, слегка капризным сказала Костицна:

— Простите, владыко, а мы разве не дамы?..

— Конечно, дамы... но...

— Мы тоже вас обожаем, что же нам остается делать, как не обожать вас, — любить безнадежно, — обожаем вас...

Иоасаф продолжал разговаривать, из замкнутого сразу сделался общительным, веселым и остроумным. Костицна взглядывала на молчавшего Николку, — ему казалось, что она разглядывает его, и опять, точно десять лет назад, почувствовал он себя беспомощным послушником, не знающим, о чем говорить и как. От досады и от внутренней

злости на самого себя, чувствовал, как стучала кровь в висках и сердце падает гулко. Точно не игумен, а послушник перед Феничкой — перед Костицыной был Николка.

Костицына так же просто заговорила и с Николкой. И опять он услышал те же слова, старающиеся заглянуть в него, расспросить, узнать что-то большее, чем на самом деле есть. Но только Феничка тоже застенчиво его спрашивала, а тут настойчивость чувствовалась женская.

Иоасаф с княжною впереди шел, а Костицына с Зиночкой и с Николкою сзади.

— Я любопытна, отец Гервасий, очень любопытна. Вы обязательно должны рассказать мне, почему вы в монастыре, что вас заставило постричься... Я бы убежала перед постригом, обязательно бы убежала. Я одного поэта знала, тот от неудачной любви пошел в монастырь, а перед постригом через ограду ночью удрал.

Иоасаф под свою защиту Николку взял и, прислушиваясь к словам Костицыной, отвечал за Гервасия:

— Отец Гервасий, Вера Алексеевна, человек простой, и причины у него простые, он из духовных, ну, вероятно, вера в крови у него, от предков, вот он и остался в монастыре.

Николка односложно отвечал, коротко, а говорила только Костицына с Иоасафом про игумена:

— Но вы посмотрите, владыко, какой отец Гервасий красивый, — разве бы его не любили женщины? Женщинам, правда, не всегда красота в мужчине нужна, их манит сила, энергия, упорство, но разве у отца Гервасия этого нет?.. Женщина это сразу чувствует.

И когда разговор вплотную подошел к Николкиной жизни и ему нужно было отвечать, епископ, заметив, отчаянное смущение и неловкость его, сказал Костицыной:

— Вы, Вера Алексеевна, слишком женщина, а отец Гервасий инок, вы не забудьте этого, и если что у него было когда в жизни, то это так глубоко замуравлено в душе, как в склепе, что заставить его сказать что-нибудь — невозможно и прежде всего нельзя в человеке пробуждать старую боль. Если инок сумел себя уберечь для господ, то совращать его с пути смирения и воздержанности — грех и особый грех женщины, а вам тем более.

И последнюю фразу упрямо сказала Костицына:

— А я уверена, что отец Гервасий и раньше пользовался

у женщин успехом, и теперь пользуется, — я это чувствую, ведь я женщина, быть может, даже слишком женщина.

Так же упрямо и Иоасаф закончил:

— Нас, иноков, невозможно узнать, — мы тоже загадочны, как женщины, и молчаливы в силу отчужденности от мирского.

Княжна улыбнулась и посмотрела в глаза Иоасафу и шепотом по-французски сказала быстро:

— А я и не знала, владыко, что вы такой интересный!..

Николка, как затравленный волк, смотрел в сторону, боялся взглянуть на Костицыну, думая, что ей, должно быть, известно что-нибудь про Аришу, оттого она так упорно и спрашивает его, и не знал, что делать, куда убежать, и все больше и больше прилиwała кровь к вискам и заливала лицо багровыми пятнами.

Не унялась Костицына, про монашескую любовь говорила, о том, что больше всего от любви безнадежной в монастырь идут и женщины, и мужчины.

— А разве послушник ваш, Борис Смолянинов, не от любви теряет человеческий образ?.. Ну, скажите мне?..

О другом человеке легче Николке говорить было. Все еще волнуясь, говорил отрывисто. И досада, и опасение, что может быть и от него, от Бориса этого, Костицына слышала по Феничку, заставляло его быть осторожным и односложным в ответах.

— Вы, владыко, знаете Смолянинова? Несчастные старики... Единственный сын — и в монастырь... Раньше я думала, что больше говорят, чем на самом деле, а вы посмотрите — удивительный мальчик... Он, конечно, не мальчик, но для меня-то он мальчик... Премилый, преинтересный.

И, горячася, говорила только одна, заставляя прислушиваться и княжну, и епископа, и Николку, и Зиночку. Говорила одна, хотя каждый изредка вставлял и вопрос и замечание. Вера Алексеевна сейчас же подхватывала эти замечания и говорила горячее и горячее, вовлекая и Зиночку.

— Я счастлива, что встретила его тут, и не я буду, если он не уйдет из монастыря вашего. Разве можно губить молодость? Ненормально это, поверьте мне. Надо заставить жить, заставить позабыть прошлое ради нового. Пусть жизнь призрачна, надо жить хотя бы призраком, но только жить.

— А если он глубоко верит? Если обет дал?

— Заставить другой обет дать, новый, — к жизни вернуть. Обет жизни... Мне так хочется его вернуть в жизнь. Пусть влюбится — в меня, в Зину, в княжну, все равно в кого, и мы, мы должны его спасти, заставить влюбиться, обмануть, еще раз обмануть сердце его, но дать ему жизнь. Понимаете — жизнь. Жизнь наша — любовь. Пусть живет, любит.

— Он даже говорить со мною не хочет.

— Заставь его, Зиночка, — я женщина, он меня побойтся, сожмется, как цветок полевой от женщины, женщина ведь, как солнце, жжет... А роса, — яркая, утренняя, когда еще солнца нет, а только застенчивые лучи розоватые, — роса любой цветок раскрывает свежей ласкою. Заставь, Зиночка, раскрыться его от твоей ласки. Ради спасения — обмани, обманись сама...

— А если Зиночка полюбит его, тогда что, Вера Алексеевна, — я бы побоялась этого.

— Пусть даже полюбит его, пусть, — разве он, княжна, не достоин этого?.. Вы его видели, да?

— Видела... Он огрубел ужасно...

— Неправда, не огрубел, — спрятался от людей, не живой стал, а вам кажется огрубел, — помогите и вы, княжна... Владыко не будет против, я знаю, что не будет, и благословит его, и нас, женщин, благословит спасти его.

— Благословить не могу, но ему все прощу, потому что, если он не выдержит искуса, — не его вина, — на вас ляжет.

— Вот видите, отец игумен, даже владыко простит ему, и вы не удерживайте его от жизни. Разве вы не знаете, как хорошо жить?.. Конечно, знаете... Я женщина, и я знаю, чувствую, что знаете...

Все даже на Николку взглянули после этих слов, и только экспансивность Зиночки отвела от него взгляды. С каждым словом Костицыной она загоралась, вспыхивала, порывалась что-то сказать особенное и наконец кинулась к Вере Алексеевне и выкрикнула, тормоша ее и целуя:

— Я его люблю... Я... Я...

Прильнула к Костицыной и начала смеяться почти до истерики. Успокаивать ее начали и плачущую усадили у дороги на повалившуюся сосну.

Настало молчание. Николка сидел нахмуренный, недовольный, боялся взглянуть на Костицыну и чувствовал, что она опять расспрашивает его. Иоасаф длинным посохом

проводил по песку, стараясь желобок сделать, а княжна успокаивающе гладила Зине голову.

И точно из глубины земной зазвучал серебром колокол. Медленное эхо разливалось в хвое и как ток по стволам проходило в землю. Солнце скатывалось, и в лесу начинались сумерки.

В тишине этой, после волнения пережитого и волнующих слов, снова заговорила Костицына, но теперь уже тихим, глубоким голосом.

Спрашивала и отвечала:

— Владыко, а отчего в этой пустыни нет угодника?.. Он есть — но живой, а вот нетленного нет.

И еще тише:

— Там, где угодники есть, — легче, проще, оттого, что нетленные люди ему отдали, и им легче, этим сами они к жизни ближе.

Потом точно бред, волновавший мысли:

— А если бы это нетленное вернуть людям, всем, из угодников снова в людей влить, лучше бы было, и больней, и лучше. Все бы как Борис были.

Под конец почти шепотом:

— Откройте и здесь мощи... Я хочу — для него, для Бориса этого и для себя, но не ради Бориса, а ради себя, ради себя одной, мне почему-то кажется, что тогда и мне будет легче, а главное — проще, — решится что-то.

И опять несколько минут молчание.

Первым епископ встал, а за ним и все.

— Пора, господа, возвращаться.

Когда забелели вдаль сквозь сосны монастырские стены и снова, всего раза два-три, прозвучал колокол к трапезе, княжна обратилась к преосвященному:

— А почему здесь, владыко, мощей нет?..

— Очевидно, святого инока не было...

Как ужаленный, Николка вскрикнул:

— Ваше преосвященство, есть святой иннок, есть... Симеон старец, основоположитель пустыни... Чудеса были... Исцеления... Показания имеются... Записи... Савва игумен посылал ходатайство на высочайшее, и в синод... Ответили, что рано еще, мало себя проявил старец наш...

И закружилась у Николки мысль новая.

Путался разговор Костицыной, — где-то в душе еще жили и Феничка, и Ариша, и Костицына, и Борис, но все это затуманилось перед режущей мыслью о мощах, даже и о митре забыл, в сознании промелькнуло, что если мощи

будут, то он архимандритом будет и получит митру, а главное — мощи и не другой кто, а он будет прославлять и возвеличивать пустынь и пустынного Симеона Белобережского.

Целую ночь заснуть не мог, — задремывал, просыпался, вздрагивал и сейчас же пробуждалась и жгла мысль о мощах, снова затуманивалась и снова мучила.

И когда к полунощнице ударили — вышел на крыльцо, долго стоял и теперь уже не думал ни о чем, потому что мысль, пронизавшая до боли все сознание, притупилась и затуманилась, — не зная зачем, ходил по монастырю, пока не начало светать.

V.

С раннего утра в новой гостинице коридорные послушники на ногах. Иона гостиник спозаранка ложился, чтобы вставать раньше и самому будить послушников.

Самовары готовили с вечера, пятнадцать штук ставили в ряд. К ранней ударят повесть в малый колокол — разводиться начнут, а заблаговестят — подпевать пора, — один за другим выскакивают номерки. Раньше всех седьмой выскочит — ключарь просыпается с матушкой.

— Я, Вася, на дачу приехала и должна воздухом пользоваться... Утром в лесу воздух чище, — вставай-ка, нечего, гулять пойдем.

Не хочется ключарю вставать, хорошо бы еще немножечко понежиться с матушкой, а та вскочит и нажмет кнопку.

— Что ты делаешь, Катя, разве можно, я не одет еще...

— А ты одевайся скорей... Накинь подрясник и иди умываться. Ты посмотри, полнеть начал, нехорошо, Вася, не изящно.

— Ты всегда так, тебе все не изящно, а мне вот полежать хотелось.

И приходится ключарю из номера уходить, чтоб послушник не застал не одетым. А матушка натянет чулки белые и, не одеваясь, накинет капот розовый — за стол сядет. Просвечивает через кисею тело теплое, еще не разбуженное, согретое ласковыми руками мужниными, и еще розоватей становится от кисеи розовой, еще теплей кажется. Молодая попадья, веселая, — носик небольшой

вздернутый, задорные губы, яркие, с пухлым вырезом, глаза — ящери, живые, смеющиеся и завиточки русые на висках, на затылке — радостные; плечи пухлые, налитые, теплые, дышит когда — не только грудь подымается полная, но и плечи слегка волнуются — дышат радостью. Упругая вся, крепкая. Здоровый задор на щеках ямочками. Привыкла жить в холе да воле на казенных хлебах семинарских, — отец ректором, на своих рысаках разъезжал по городу, рысаки белые в яблоках. Четыре года ждала Васеньку из академии Московской. Кончила гимназию, от скуки занималась музыкой, в музыкальные классы ходила с папкою, а на папке в лавровом венке Рубинштейн вытиснен. На рождество на всех вечерах с Васенькой танцевала, гордилась его сюртуком с бархатным воротником синим. Дождалась — стала матушкой, молодой, задорною. Сперва в губернском городе в приходской церкви служил Васенька, а привык носить рясу осанисто, как полагается академику первой степени, — отец ректор упросил епископа в соборе ключарем устроить, а потом в гимназию пригласили законоучителем. Гостей принимать начали — учителей с семьями. Матушка таланты свои за роялем до ужина проявляла гостям званым и за ужином молодцом — угостить любила, любила, чтоб и за ней поухаживали, целовали б ручки пухлые. Что живет в обществе образованном, всему городскому духовенству тон давала. С учителями гимназическими в ложу в театр ходила, на концерты, а когда в дворянском собрании столичный хор духовные концерты устраивал — с ключарем в первом ряду сидела. И в монастыре теперь всему нижнему этажу новой гостиницы устаконила порядки, — соборные матушки, дьяконицы не хотят и отстать от ней. Пойдет ключарь умываться и весь коридор загудит следом, голосами сонными.

Рычит протодиакон, откашливаясь:

— Кхы-хы, кха...

И несется по коридору гулко — кха-а-а...

Звенят тенора иподиаконские, гудит волнующе баритон дьяконский, — о-о.

В коридоре ключаря встретят:

— Отец Василий, как выспались?

Заискивает иподиакон Смоленский:

— Мы, отец Василий, на вас, услышит жена смех Екатерины Васильевны и давай срамить меня, как говорит

тебе не стыдно, отец протоиерей должно быть чай пьет, а ты валяешься!

А Катенька сидит, самовар поджидает, послушника.

Зазвенит голос у двери:

— Молитвами святых отец наших господи-исте... Помилуй нас.

И пропоет певуче Катенька:

— А-а-ми-нь. Входите, батюшка.

Войдет, взглянет нечаянно на кисею прозрачную и затрясется, зазвенят на подносе чашки, пока не поставит на стол подле матушки, а та заметит смущение — дразнить начнет: послушник поднос на стол ставит, а она будто освободить места побольше, начнет отодвигать что-нибудь, да так, чтобы голой рукой коснуться руки послушницей, и руку подымет чуть-чуть выше, чем надо — в широкие рукава показать ему до плеча тело розовое, а сама в глаза ему смотрит, смеется, спрашивает.

Говорит — голос срывается, а сам нет-нет да глянет нечаянно на ее руку и не знает отчего глазам хочется и к плечу, и к груди прикоснуться.

Только Борис, коридорный послушник, любимец всех дачниц, никогда не смущается, никогда никуда не заглядывает. К двери подойдет и скажет молитву не торопясь, певуче. Спокойно войдет, спокойно чашки поставит, самовар, и так же спокойно уйдет обратно. И в лицо каждому смотрит, и на руки, и на плечи, и на грудь, и только спокойный взгляд, тихий — смотрят глаза, и будто совсем иное видят, скорей даже не замечает ничего — задумчиво устремлены в себя, в свои мысли. И голос спокойный, ровный, не бесстрастный, а глубокий какой-то, ровный, тепло в нем души чувствуется.

И каждое утро ждала ключарша, кто принесет самовар в номер, и когда приходил Борис — стеснялась дразнить его наготову, инстинктивно только, не замечая сама того, кокетничала, — хотелось, чтоб взглянул на нее так же, как все мужчины на нее смотрели, во всем теле было желание разбудить в нем инстинкт зверя и в самой зверь заиграл по-кошачьи и хищно и ласково, и глаза по-особому загорались, ждущие и вспыхивающие победить непокорное. И утром, когда просыпалась, хотелось поскорее увидеть его и также инстинктивно одевала прозрачное, чтоб только смутить Бориса.

Не одна ключарша ждала Бориса увидеть, — во всех номерах ждали и женщины и девушки.

Коридорные послушники завидовали и злословили, смеялись над ним, думая, что прячет в себе вожделение он, потому что студент, ученый, из семьи дворянской. Вся гостиница знала, что бежал он из Питера в монастырь, спасаться от земной жизни, и все думали, что от неудачной любви бежал, из-за женщины, оттого и хотелось разбудить в нем желание — из-за любопытства, узнать, ласково заставить его рассказать о прошлом.

Гостиник Иона тоже не верил и злобствовал, больше, чем других, заставлял работать. Будильщиком посылал, думая, что кто-нибудь да зазовет его в номер и не выдержит он своей святости — соблазнится женщиной, а тогда его будет воля: на покаяние пошлет, епитимию наложит. Не любил оттого, что из благородных был, из студентов, из дворян, думая, что не вера в нем, а грех смертный, одно кощунство над церковью и над братией глумление тихое, не смирение — а презрение и издевательство. И когда Николка прислал двух послушников к Ионе специально для верхнего этажа в новую услуживать гостям, и прислушиваться ко всем разговорам, чтоб узнать, довольны ли дачники монастырским приемом, — Иона шепнул послушникам:

— Настоятель велел и студенту наверху быть, так вы того — поглядывайте за ним, — тихоня, — в тихом омуте бесы водятся, — а то почему-то все хотят, чтоб он прислуживал в номерах, не без греха тут, — прячется...

Нарочно и Борису велел наверху неотлучно быть после того, как первый номер какой позвонит сверху, а до этого внизу прислуживать.

Заметил Иона, какие номера чаще всего Бориса зовут и заговаривают с ним, и опять шепнул тем двум послушникам:

— Будут такие-то номера звонить, так вы не ходите, пускай студент туда ходит, — слышите?.. А сами поглядывайте.

Первый звонок раздавался сверху, когда весь низ уже уходил в лес гулять. Ударят в средней обедне к достойной и выскочит какой-нибудь номерок сверху после тридцатого, — тридцать внизу и вверху тридцать. И побежит Борис вверх по лестнице.

Первое время, когда еще ходил без ряски, когда волосы непокорно стояли ежиком — с непривычки болели ноги, спина ломила, руки, клопы не давали по ночам спать и точно нарочно больше всех заставляли его бегать по лестнице, воду носить в умывальники из колодца, мыть полы в номерах, в коридорах, в сортире, самовары готовить с вечера, колоть дрова. Вываливался топор с непривычки, путалась корявая тряпка — не умел ничего делать и от скудной пищи — остатки доедал — кружилась до дурноты голова и перед глазами плавали круги красные.

Послушники и гостиник издевались — дворянин, студент; белоручка.

Молча терпел и молча послушание нес, думая, что это искупление для него — не пошел в монастырь после Лилиной смерти сейчас же, вот и послал ему господь покаяние в труде, в послушании. Когда в монастырь ехал, надеялся затвориться в келию, молитве отдаться, уйти от людей, и ее ждать, ее, мертвую, живущую каждое мгновение в его сознании. И когда у гостиника попросился в церковь, услышал неожиданное:

— Ты послужи трудом господе, чтоб молитву твою принял всевышний, — сперва потрудись — будь слугой каждому со смирением, гордыни своей не возноси к господе — опять наказание понесешь, а трудись, чтоб очиститься от греха мирского, — послушание паче поста и молитвы, — так-то.

Потом ризничий и подрясник прислал старенький пояс кожаный, скуфейку черную изношенную и сапоги старые.

Мягче стали ложиться волосы ровными прядями с крутым завитком у плеч, тело сухим стало, мускулистым, выносливым, кожа на лице стала суше и матовой, глубже глаза и взгляд сделался спокойным, ровным, не безразлично мертвым, а сосредоточенным, углубленным в глубину сознания — сухим огнем горел воздержания и труда, а когда подымал веки — сиял, устремленный вдаль.

Похудел весь, отчего еще стал стройнее, тоньше и черты лица стали правильными и голос звучал изнутри певуче.

Некогда было молиться, думать, каяться, ожидать пришествия неземной любимой девушки, — научился ее душу в своей чувствовать и жил весь ею, точно она в него вошла и все люди, все женщины, все девушки стали братьями и сестрами, — просто людьми, с которыми так же спокойно и говорил, когда спрашивали, почему в монастырь ушел. И всем отвечал одно и то же:

— Пришел сюда научиться любить каждого, в миру не умел любить...

Но никогда никому ни намеком, ни словом не открывал души и не прятал ее — отдавал каждому, но навсегда закрыл в ней прошлое и для себя, и для всех. И когда надоедливо приставали с расспросами, переставал отвечать и уходил молча.

И все знали — и богомольцы, и дачники, что из богатой семьи, студент, и каждому хотелось про него все знать. Иону расспрашивали и тот ничего не мог ответить, только зло ехидничал:

— Святым хочет, при жизни сделаться. Святость на себя напускает...

И в верхних номерах ждали студента-послушника — полюбоваться на него, расспросить, пококотничать, улыбнуться заставить...

Но так же спокойно входил в номера и уходил, не смущаясь наготы женской — не видел ее, не чувствовал.

Из старой гостиницы вещи перенесли Костицыной — не взглянул даже ни на нее, ни на Зину. Стали устраиваться...

— Ты заметила, Зиночка, какой красивый послушник?..

— Особенный.

— И мне кажется, что особенный.

Когда самовар подавал вечером — Вера Алексеевна спросила:

— А вы давно в монастыре, батюшка?

— Недавно...

Зина у окна стояла и вздрогнула от певучего голоса.

Утром гулять пошли в лес и, возвращаясь, спросили Иону гостиника:

— Откуда у вас, батюшка, такой красивый послушник?

— Какой?..

— А такой особенный?..

— Студент, что ли?

Зина даже вздрогнула:

— Как студент?

— Да так, барышня, студент беглый. Из Питера убежал чего-то в монастырь к нам, — теперь послушником.

Задержали его вечером вопросами.

Остановился у двери, опустил глаза и тем же певучим голосом отвечал спокойно, коротко.

Сумерки были теплые, звенящие комарами; утомленные

лесным воздухом и дневным жаром — влажные были, томительные.

Медленно мысли ползли горячие, истомленные, ленивые от горячего марева.

И в этих сумерках вспоминалась Костицыной и ее юность капризная и взбалмошная и становилось грустно и больно за потерянное, чего никогда не вернешь больше. Капризничала, играла с душой человека, с любовью его. Случайное было знакомство, странное. У подъезда Александринки потеряла отца с матерью. Кто схватил, не дал опомниться. Понеслись сани, а за ними в догон другие. Куда-то на край города... Душный платок подносили к носу, чтоб не кричала. Порывалась сперва — держала крепко и постепенно ослабевала, одурманенная сладковатым запахом, тошнило от него, было противно, гадко, а потом не помнила, что было дальше. И сзади, на другом извозчике, студент гнался за первым по следам, стоя за спиною кучера, боялся упустить из виду. Видел, как госкочили из санок двое и понесли в домик с низкими ставнями. Остановил за два дома от этого. Стучал в соседние домики. Вломился в тот, куда занесли девушку, обошел все комнаты, перебудил всех гостей у барышень и в самой задней нашел уже полураздетую. Двое в окно выскочили в темноту, не успели еще обесчестить девушку. Пахнул воздух морозный. Открыла глаза испуганно... Не знала где. Спрашивала. Не отвечал ничего. Одед только шубку и капор ей и на руках вынес в сани. Дорогою адрес спросил. Привез за полночь. Как сына встретили. Хотели благодарить деньгами — не взял. Пригласили бывать, как самого близкого. Начал бывать, сперва редко, и когда полюбил — каждый день. Играла душой его, кокетничала и когда чуть не со слезами, сдавленным голосом, умолял о любви — рассмеялась и убежала. И не пришел больше. Ждала, плакала. Хотела вернуть. Не выдержала, сама пошла в Невскую лавру искать студента. Ответили, что в общези-тии нет его больше, ушел в келию. Каждый день ходила ко всем службам, до последнего человека дожидалась и один раз встретила в клобуке черном. Бросилась к нему; ускорил шаги, ничего не сказал, не взглянул даже.

И теперь казалось ей, что это он, тот студент, от не- убежал в монастырь, и она виновата, она, Костицына. Ничего не значит, что молод, и он молодым был, красивым, сильным, на руках ее уносил из оута и даже не поцеловала ни разу его. И не Борис перед ней стоял,

а другой, тот, ставший единственным, и захотелось спасти этого, душу отдать, себя.

От отчаяния замуж вышла без любви и целый век без любви мучилась, любви искала с другими, хотелось в каждом его найти, навсегда потерянного, и всегда казалось, что не то, не те ласки, не та любовь, — у того другие должны быть, доводящие до бессознания, пьющие до глубины все существо непроглядной ночью, и не могла найти, никогда, ни в ком.

И теперь все вспомнила... Сразу. Решила искупить вину — спасти Бориса:

Вспомнила, что давно говорили в губернском, что из-за любви — единственный сын Смоляниновых, молодой, богатый, — в монастырь ушел.

— Я о вас слышала, теперь помню... А вот мне вас жалко.

Тихо сказала грустным шепотом.

Жалко и Зине стало.его от тихих и каких-то безнадежных слов Костицыной.

Встала порывисто, подбежала к нему, схватила за руку:

— Я буду вас Борею звать... А меня Зиной зовут... Зовите Зина.

Всю ночь Костицына не спала, думала, вспомнила свою жизнь и Бориса и когда среди ночи проснулась, Зине не дала заснуть, до утра про себя рассказывала, как можно только рассказать девушке:

— Я, как дочери тебе, Зина, рассказываю, и если бы я была твоей матерью, я бы сказала тебе, — уведи из монастыря его, оживи душу своей любовью, у таких — особенная душа, чистая, а если полюбит тебя — будешь всю жизнь счастлива. Это я была молода, не поняла, не угадала своего счастья.

VI.

Боролась с собою Костицына, не знала, что говорить Борису, как заставить его, чтоб душа шевельнулась в нем. Зину просила помочь, и когда та — живая, еще восторженная и порывистая — заставляла Бориса слушать свою болтовню или отшатываться от нее, когда она подбегала, брала его за руку или, всматриваясь в прозрачные и спокойные глаза его, клала ему на плечо руку или касалась волос — Вера Алексеевна ревновала Зину и от

печальных воспоминаний о другом, о несбывшемся переходила к смеху дразнящему, женскому, играла на самых потаенных переживаниях человеческих и даже старалась коснуться Бориса, но не с наивною простотой девичьею, а как женщина, чувствовавшая легкое покалывание ладоней рук от желанья прикоснуться к лицу, к руке, чтоб почувствовал, какие ладони горячие, вздрагивающие, и проснулся бы, захотел, на одно мгновение, а после придет и другое и третье и чаще, пока не ослабнет воля от проснувшегося тепла и не захочет прикоснуться и утонуть в бездну.

И Зина в эти минуты ревновала Костицыну. Запали- слова ее спасти любовью, полюбить и быть счастливой, обмануть чувством, самой обмануться, но увезти из монастыря. Не любила его, а хотелось победить, заставить полюбить себя.

Борис мучился. Каждое прикосновение душу резало. Вздрагивал, пугался, в себя прятался, умолкал. И образ Лины вставал ярче, когда встречал глаза Зинины, только чувствовал, что у той — тишина была в глазах ясная, неземной свет ласковый, а в этих упрямую волю, захват — даже взглядывать на нее боялся. А ночью, перед тем, как идти будить богомольцев в старую — доставал карточку Линину, обмотанную ее косами, в темноте вглядывался, прижимая к губам волосы, чтоб почувствовать тепло, запах. Но тепла не было, — высохли, свалялись и пахли сухим, даже пыльным. Грудь сдавливало, комком горло сжимало, и напрягаясь, чтоб не заплакать — прятал карточку и начинал день послушничества.

С какой-то болезненной жалостью смотрел Борис на заигрывания ключарши и дачниц. Смотрел и не видел. И только боялся входить в 33-й, к Костицыной. Не за себя боялся, а все больше и больше вспоминалась Лина, а когда Вера Алексеевна от грустных слов переходила к вызывающему, будящему телу — отшатывался и видел в ней Феничку. Чувство преданной дружбы к Феничке, после бегства в монастырь, перешло в ужас и отвращение. Съеживался, когда Костицына подходила, хотелось вскрикнуть и убежать, но только знал, что некуда больше, и терпел, как испытание, богом посланное.

После разговора с Иоасафом в присутствии Гервасия — решила Костицына оживить Бориса, пойти на крайнее, —

знала теперь, чтобы ни случилось потом — не выгонят его из монастыря, упросит епископа, потому что — ее вина будет, а не Бориса; чувствовала, что словами не пробудит в нем ни любви, ни ласки, потому что бежит от всего, от всего прячется. Видела, что Зина не умеет захватить его своей порывистостью, не умеет — потому что еще ребенок, девушка, а сама не знала еще как, — не обычно, как все, а так, чтобы заставить растеряться человека от неожиданного и врасплох его покорить. Пусть даже не сразу, но лишь бы дрогнул, не выдержал. Засыпая, думала о своей любви первой, и видела перед собой Бориса и хотела его, и это желание было не только физическое, а внутреннее, чтоб душу раскрыл перед ней и весь раскрылся. Не знала только, что в нем проснется — душа или тело. Знать хотела, отчего в монастырь ушел, какую любовью горел и к кому — к девушке или женщине, — кто обидел в любви, чем обидел. Несколько дней напряженно вглядывалась в него, когда вечером приносил самовар, не расспрашивала, не смеялась, не дразнила взглядом — напряженно смотрела в глаза, старалась заметить по движениям настроение его и сама становилась напряженнее. Каждый день после обеда ходила гулять в лес, желая еще встретить епископа с Гервасием. Заходила за княжной, и вместе с ней дожидались, когда покажется по знакомой дороге лесной из казенного леса Иоасаф. Старалась Гервасия расспросить об иноках и незаметно о Борисе.

И епископ привык к этим встречам, иногда даже возвращался обратно.

— Пойдемте, еще немного пройдуся...

Николка тоже стал дожидать этих встреч с Костицыной, сидя вдвоем в лесу с епископом, рассказывал ему чудеса Симеона старца и старался подольше его задержать, пока не появятся далеко на дороге Костицына с княжной и с Зиной. Говорил о старце, стараясь, чтоб вошло Иоасафу в сознание, что старец святой, чудеса творит, нужно только прославить его — открыть мощи, а сам чувствовал женщину, не такую, как Феничка или Ариша, а особенную, необычную, — у такой и любовь и слова о любви необычные, и ласки тоже. А в глубине где-то и другая была мысль — через нее на епископа повлиять, чтоб и она попросила прославить старца, основоположителя пустыни, — хотелось одну ее встретить, чтоб попросить об этом. А где-то, в чем сознаться не хотел себе, жила

надежда на большее, чем только встреча, — даже в глазах, когда представлял себя с нею один на один в лесу, и опять почему-то хотелось на озеро, на то самое место, где с Феничкой был. И бросалась мысль от угодника к женщине. Даже вслух говорил иногда себе, что через женщину все можно сделать. Казалось, что и ее хочет ради обретения мощей.

Боялся глядеть на нее подолгу, чтоб никогда не заметила взгляда. Смотрел влюбленно печальным взглядом и потуплял глаза смиренно.

В присутствии Иоасафа менялась Костицына, точно забывала о своей цели тайной, — смеялась, шутила и с каждой встречей старалась говорить с Гервасием — про Бориса хотела знать.

Один раз попросила даже княжну по-приятельски когда-нибудь погулять с Зиною.

— Хочу испытать послушника, вы помогите мне, княжна... Понимаете, — мешает Зиночка и даже, кажется, ревнует меня.

И Николку заманивала:

— Вы бы, отец Гервасий, показали нам озеро, — сколько живем, а еще ни разу даже не покатались, и вы, владыко, должны с нами ехать!..

— Я пришлю послушника к вам с ключиком.

— Вы должны с нами ехать, и преосвященный поедет с нами.

В разговор вмешалась княжна:

— Владыко, отчего вы не хотите? Это прекрасная мысль у Веры Алексеевны, понимаете — прогулка по озеру и пикничок маленький. Все вместе поедем, и папа с вами поедет, — он тут тоже закис, два раза уже уезжал в город.

В тот же день вечером Николка и к ключарю побежал советоваться.

Пришел просить об епископском служении на Илью пророка и будто к слову:

— Вчера епископ изъявлял, отец ключарь, желание побывать на озере, — посоветуйте мне, как устроить лучше.

— Необходимо, отец Гервасий, достойное сану путешествие, чинное.

Ключарь Николку пошел провожать, а когда из гостиницы вышли:

— Отец игумен, мне вас не приходится видеть совсем... Мне иногда поговорить с вами хочется.

— С радостью, отец ключарь, с радостью...

— Пойдемте, если свободны, пройдемся в лес... Чудесный сегодня день, вечер тихий.

У каждого своя мысль, когда в лес вошли, — Николка решил воспользоваться случаем и с ключарем поговорить о старце, о прославлении, чтоб случайно епископ первый ему не сказал, что Николка заговаривает о прославлении, а у ключаря — своя мысль: живет в монастыре соборное духовенство, а доходов от монастыря никаких. Пьют, едят монастырское, это правда, а из кружек монашеских им ни копейки не приходится. И каждый старался любезным быть, аккуратно подойти к щекотливому вопросу.

— Красивая обитель у вас, отец Гервасий, не уезжал бы...

— Живите, отец ключарь, — инокам пребывание ваше радость.

— С семьей трудно жить духовенству, все-таки расход лишний...

— Вы, отец ключарь, отцу гостинику скажите, что нужно, — он постарается.

— А так бы не уехали мы от вас... лес хороший у вас.

— Недаром старец наш Симеон выбрал его для пустыни. Обитель тихая... А если бы старца прославить господь благословил... Мощи открыть... Чудеса творит старец, исцелений сколько было; в других монастырях у нас не говорят о чудесах, а про наш — на всю губернию известно и свидетельские показания имеются.

—хлопотать нужно.

— Научите, отец ключарь, как, — помогите нам, вы близки к епископу...

— А это верно, — наш епископ многое может. Ведь вы знаете, — только между нами, — он во дворце, говорят, свой, будто у него родственные связи; может быть, это дамские сплетни, а говорят так.

— Помните, отец ключарь, — это ведь у меня заветная мысль, и не у меня, у всей братии — обрести преподобного старца мощи. До греха даже старцы доходят. На пустыньке жизнеописание старца есть и изображение его, — видели, — старец в лесу с посохом, кругом лес темный и келии, — так иноки наши из золотой бумаги сияние вокруг головы налепляют. Я сам отдираю его. Новое изображение повешу и опять то же, — говорят мне, —

чудеса творит старец, святой он и сияние подобает ему. Под стекло вешал, и все равно на другой день сияние.

— Епископа попросите... Или пусть княжна или ее подруга попросит преосвященного.

— Какая подруга?

— Мадам Костицына, супруга управляющего делами губернатора, — они смогут повлиять на преосвященного, а я не решусь сам.

— Братия ничего бы не пожалела на хлопоты, лишь бы прославить старца.

До «Царственной» елки дошли, свернули к «Шапке Мономаха» тропинкою, — сосна в лесу столетняя — ни сучка, ни ветки до самого верха, а там густою шапкою хвоя темная, — до «Мономаховой Шапки» дошли, отдохнуть на скамеечку сели.

На весь лес одна только сосна такая. Берегли ее, кругом частокол поставили, поодаль скамейки сосновые любоваться чудом природы богомольцам, странникам. Сели на скамейку и разговор оборвался. Николка не знал, как дальше сказать, как просить о прославлении, боялся намекнуть о благодарности, и ключарю неловко начинать про деньги. Сидели молча.

Звенели комары, шуршали по верхам сосны, тянуло сыростью и издалека песня слышалась и отблесками по соснам с поляны полыхало пламя — костер жгли. Пели семинаристы с послушниками, по временам доносился смех женский, ключарю даже показалось, что его Катенька хохочет раскатисто.

Замолчали опять, слушали, думали, с чего дальше разговор начать. Так и не начали, пока, возвращаясь, не дошли к гостинице.

— На Илью епископ, вероятно, будет служить, я попрошу его.

Николка осмелел, решился:

— Отец ключарь, попросите преосвященного о прославлении...

— Я поговорю, если удобно будет. А только вот не мешало бы преосвященного угостить вместе с князем после торжественной службы обедом. И удобнее всего было бы в ваших покоях, — может быть, и поговорить можно будет и дам пригласить нужно, близких.

— Я сам стеснялся обед предложить... На Ильин день.

И вкрадчиво:

— А нельзя ли, отец ключарь, в этот день, на месте

успокоения старца после молебствия владычице великую панихиду отслужить по старцу нашему? С этого дня мы установили бы непрерывную. Старцев бы поставили петь...

— Подумаем, отец Гервасий, подумаем...

— Подумайте, отец ключарь, — премного вам братия благодарна будет, особо благодарить будет, — не забудет вашу услугу обители, на вечное поминовение всю семью впишем, во всех службах молиться будем.

Расстались и у каждого была мысль, что теперь один другому обязан будет.

Николка шел в покои медленно. Когда вспоминал, что просить епископа будет через Костицыну о Симеоне старце и о мощах, думал и о женщине, — одна мысль голову жгла, а другая — все тело туманила, и вечер туманный, влажный и теплый еще больше манил к греховному и, когда в сторону озера у конных ворот посмотрел, не об Арише вспомнил, а замечтался о том, как Костицыну повезет кататься в лодке и просить будет ее перед Иоасафом замолвить о Симеоне, и о любви своей. Даже пронеслось в голове, что жаль — не Афонька он, тот у купчих славился, — боялся — не угодить барыне. Нехотя стучал в ворота, дожидал, когда отворят конюхи, снова дожидался, стучал снова, все время мечтая о любви особенной, и когда из лесу потянуло с реки, озера, с болот холодным предутренним ветерком — вздрогнул от холода и начал барабанить кулаком в ворота. С фонарем вышел послушник, сперва не узнал и крикнул зло:

— Через ворота не мог перелезть, не лазил что ль, а то барин — отвори тебе.

Взглянул на вошедшего и, кланяясь в пояс, подбежал благословиться.

— Я не знал, отец игумен, что это вы, я думал — певчие из лесу.

И, желая смущение скрыть от случайного напоминания, что не мог перелезть через стену, как когда-то, — сказал наставительно:

— Ты, отец не впускай их, — да ловил бы что ль, если не певчие.

По монастырю шел — повесть к полунощнице ударили, и звон пробудил в нем новое чувство — через мощи прославить пустынь и братии облегчить жизнь к старости. Засыпал — сквозь сон мерещилась сорокапятипудовая, чистого серебра, рака, десятки неугасаемых лампадок на

широких лентах и целый день толпа богомольцев, и над всем — настоятель Гервасий.

VII.

Раньше обычного вернулись из десу вечером, раньше обычного напильсь чаю и Костицына пошла за княжной — посидеть на крыльце гостиницы. Зиночка осталась в номере.

Целый день думала Вера Алексеевна о Борисе, боролась с собою и ждала, когда можно один на один остаться. Знала, что завтра князь возвращается из города, Валерия Сергеевича встречать пойдет... Пошла к княжне.

У двери по-монашески нараспев сказала, слова выговаривая четко:

— Молитвами святых отец наших, господи Иисусе Христе, помилуй нас.

И под конец не выдержала, рассмеялась.

Из-за двери со смехом княжна ответила:

— Аминь, Вера Алексеевна, аминь.

— Идемте, княжна, на крыльце посидеть.

Пока собралась та, спросила:

— Вы завтра пойдете встречать папу?

— Обязательно, он приедет в одиннадцать.

— Милая, возьмите с собой Зиночку.

— А вы не пойдете с нами? Отчего так?

— Нездоровится.

— Ну, конечно, конечно — никуда не выходите, лучше два дня полежите, я буквально бываю больна, когда мне нездоровится, а Зиночку я возьму.

На крыльце сидели дотемна. Толпились дачники, соборяне, гости и между ними гостинные послушники. Матушка ключаря старалась овладеть вниманием всех, рассказывала, как ей монах сегодня один рассказал про чудеса старца Симеона пустычника.

— Вы не поверите, господа, говорит, сам видел, как из толпы выкрикнул мальчик: «мама, мама». Пятилетний мальчик пропал, нигде не могли найти, думали, что увезли цыгане, и подумайте, на одной ярмарке странника встретила. Подала ему, а он и спрашивает: «Какое у тебя горе, матушка?». Та в слезы — не выдержала. «Великое, — говорит, — у тебя горе, великое». Она сквозь слезы ему: «Митя пропал у меня, мальчик мой, пяти лет,

хорошенький». Странник говорит ей, чтоб в пустынь сходила Белобережскую пешком по обету и панихиду бы отслужила на могиле старца, великий, говорит, старец был, схимник, теперь чудеса творит. Отслужи панихиду, он тебе путь укажет. Пешком в монастырь пришла, отслужила в старом соборе панихиду и будто облегчение почувствовала, пошла к нему на пустыньку и видит — навстречу ей идет с пустыньки старец, седенький, борода ниже пояса, длинная, седенькая, полотенчиком узким, — решила, что сам схимник явился ей, — батюшка уверял меня, что это и был он, не раз являлся утешать страждущих. Остолбене-ла она, а он навстречу к ней приближался. Подошел и как странник тот: «Великое, — говорит, — у тебя горе, матушка, горе кровное». Заплакала она и сквозь слезы: «Митя мой где, где Митя?..» Подошел старец седенький (в руках у него ореховый посошок), взял за руку и говорит ей, чтоб пошла она по площадям, по базарам, по ярмаркам, по монастырям в храмовые праздники и подала бы сорок баранок больших о здравии Дмитрия младенца. Сказал и пошел в лес. Следила за ним, окаменевшая, и что же вы думаете? — слетел к нему аист, преклонил голову и пошел следом как послушник. Разве не чудо, не святой старец? Птица ему несет послушание смиренно. Очнулась она, ни птицы, ни старца нет — видение. Выпила из колодца воды, умылась и пошла исполнять слова старца.

Гостиник иона вздохнул подле дверей и тихо:

— Творит чудеса старец наш, Симеон пустынный.

Даже княжна не выдержала:

— Что же, нашла эта женщина своего мальчика?

— Нашла, господа, — поразительно. Прямо-таки чудо. Вот тут и не верь... И знаете, как? Батюшка говорит — ходила она долго, тридцать восемь баранок роздала, осталось всего две, пришла она в Одрину пустынь, а там один монах посоветовал ей к Троеручице идти в Белобережскую, она пошла. Предпоследнюю баранку подала слепым в Одрине. Пришла к Троеручице в престол — народу, богомольцев, странников, нищих. Пришла к святым воротам, стала подавать последний баранок... А вы знаете, господа, в этом что-то таинственное есть — целый круг совершила и замкнула его опять этой пустынью, — первый баранок здесь подала и последний пришлось — и тоже круг, это знамение: баранок — круг. Сама подает, сама дрогнувшим голосом... Вы подумайте — состояние матери — последний баранок должна подать и дальше

никакой надежды, снова искать, мучиться... И говорит, чуть не со слезами: «О здравии младенца Димитрия, о здравии Митеньки, моего Мити...» И вдруг сзади слышит крик: «Мама, мама, возьми меня, я тут, тут...» Бросилась к нему — в лохмотьях каких-то, оборванный, худой, бледный и — о ужас! — на один глаз не видит — белок с кровяными жилками, веки воспаленные, глаза слезятся. Прижала она его, плачет навзрыд: «Митенька, дитенок мой, детонька, нашелся ты, мой, мой теперь...» При всех, при народе, толпа кругом собралась. Она спрашивает его: «С кем ты был, детка?» Отвечает ей: «С дяденькой», а сам как затрясется и в слезы, — шепчет ей: «С дяденькой, с дяденькой, пусти меня, мама, я с дяденькой». Оглянувшись она, расступился народ и тоже стал искать этого дяденьку и не нашел его, пропал в толпе. Повела она его прямо к могиле старца Симеона пустытника, просила сейчас же отслужить панихиду и тут же рассказала монахам все. И что ж, разве это не чудо?.. А мальчик вернулся с ней в гостиницу, надавил глаз, — перевернулся тот — стал видеть. Мать в истерику, говорит — и это старец Симеон сотворил чудо. Чуда в этом, конечно, не было, но ужас, — какой ужас... Пришла в себя, спрашивает его: «Ты видишь, Митя, видишь?..» Отвечает ей: «Вижу, мама, это дяденька приказал так делать, чтоб побольше нам подавали милостыню». Разве не ужас?.. А все-таки чудо. Я верю, что это чудо было — найти сына потерянного. Последняя надежда осталась, последняя, в этом-то и весь ужас, что дальше опять мучение и вдруг, случайно, чудом, найти ребенка. И он не забыл голоса материнского. Узнал ее сразу.

Вера Алексеевна даже вскрикнула:

— Боже, какой ужас... Я не могу...

Ушла, не выдержала, и княжна с нею.

Гостиник кончил:

— Это чудо старца Симеона пустытника занесено братией в особую книгу с показаниями очевидцев и иноков.

Вера Алексеевна Зиночке почти со слезами рассказала про украденного мальчика, легла взволнованная, долго не могла уснуть, проговорила с Зиною.

— Какой это ужас, Зина, ты только представь: толпа богомольцев, калеки, нищие, монахи, крик, пение, плач, просящие голоса, изуродованные дети, и это называют

чудом, этот ужас — чудо для монахов, они мне после этого тоже кажутся изуродованными, калеками, больными.

— Но ведь это неправда, Вера Алексеевна, этого не могло быть.

— Могло, правда... Разве ты не видишь сама, как тут искалечены все... монахи.

Бориса вспомнила. Когда ключарша рассказывала, казалось, что не о мальчике она говорит, а о Борисе, от этого и вскрикнула в ужасе во время рассказа и только осознала ясно, что о Борисе рассказ этот. О нем начала говорить Зине:

— А разве этот Борис, разве он не искалечен уже?.. Милый мальчик, из хорошей семьи... Ты посмотри, какой интересный он, но ведь он искалечен... Боится взглянуть, сказать... Нелюдим, боится всех... В женщине видит, должно быть, как и все они, искушающего дьявола... Мучается воздержанием — себя уродует, свою душу. И это они, они ее искалечили... монахи... Он тоже украденный нищими духом, но от этого нищие не стали богаче, а у имущего они душу отняли, искалечили...

— Но ведь у него роман был... Он верит...

— Болезнь это, надо лечить было и теперь можно лечить, увезти отсюда, далеко, на юг, за границу, показать жизнь, жить заставить, полюбить всего человека, со всеми его грехами, каков он на самом деле...

— Если бы можно было его спасти... Если бы... Скажите как, Вера Алексеевна. Я не умею, он меня боится... У меня сил на это не хватит, я не опытна, молода, и сама еще не знаю людей...

К полунощнице ударили, далеким гулом по лесу звенел колокол, слышно было, как звук перекатывался, замолкал, проходя поляны и, ослабевая, плыл дальше. Раз за разом с промежутками гудел колокол малый и звук был тонкий, какой-то надорванный, замогильный... В окнах купола виднелся мутный красноватый отблеск от горевших в соборе свечей. Перед Ильей пророком служили в соборе, слышалось в ночной тишине через открытые двери глухое пение, сливавшееся вместе с гулом колокола, отчего лесное эхо было еще мучительней и тягучей...

Не спала, с открытыми глазами смотрела в белесый потолок, в окно, слышала ровное дыхание уснувшей девушки и думала. Вспоминала свое, — прошлое, — Александро-Невскую лавру, студента Лазарева, казалось,

что она, только она, виновата в том, что замучены люди в монастырях и он, любимый — тоже замучен, замучен ею. Вскрикнуть хотелось от ужаса и не хватало сил; горели голова, руки, измученным казалось тело; чувствовала, что и его и себя замучила. Вышла девушкой за пожилого с карьерой, с будущим, а теперь старый, — мучается. Не ревнует ее, сознает, что она еще жить должна, позволяет жить и молчит, а иногда, как побитый пес, в глаза смотрит, вымаливая ее ласку, — молчит и смотрит, не говорит, а просит взглядом. Жалела и мучилась... Потом снова любви искала, счастья, обманывалась с другими и мучилась. А теперь это все еще острее чувствовала. Перед глазами Борис стоял. Казалось, она в его мучении виновата и должна что-то сделать, теперь же, пока не поздно, пока не уехала в город, — последний баранок, последний хлеба кусок — душу свою, себя всю отдать во имя спасения искалеченного Бориса. Терялась, как сделать, как заставить хоть на мгновение вернуться к жизни, на одно только мгновение, чтоб за ним и другие пришли мгновения. Мелькала отчаянная решимость, лишь бы суметь воскресить искалеченного. Не спала, а дремала и чувствовала и себя и свои мысли... Утром встала с глазами горящими, лихорадочными. В каждом движении и напряжении чувствовалось, и решимость отчаяния. Капот накинула, холодной водой умыла лицо, руки, волосы расчесала и не заплела в косу, а закрутила всю копну узлом, заколола наскоро двумя шпильками, чтоб не рассыпались, и опять легла, прикрыв постель одеялом.

— Зиночка, мне нездоровится... Я никуда не пойду сегодня...

Постучали в дверь.

Княжна, — высокая, в белом платье, шатенка, с тонким носом слегка горбинкою, с тонкими ноздрями, слегка даже прозрачными и розоватыми, немного надушенная, с подведенными чуть-чуть бровями и тонкими губами, чтоб очертания ярче были, выразительнее, — вошла радостная, начала шутить:

— Что это с вами?.. Неужели вас это чудо могло так расстроить?..

— Нездоровится мне...

— Простите, милая, я забыла, что вам нездоровится, а как Зиночка?.. У ней этого нездоровья нет?..

Покраснела, ответила, застыдившись:

— Я здорова, Валерия Сергеевна...

— Вот и хорошо, голубчик... Значит, идемте? Папу встречать к поезду. Пойдем лесом, найдем себе провожатых монахов.

И, точно зная или чувствуя еще что-то, чего невозможно сказать при Зине, потому что в этом женское только, интимное, непонятное, — смотрела на Костицыну, чувствуя, зачем хочет одна остаться, зачем и вчера еще просила погулять с Зиною, и настойчиво начала говорить Зине:

— Вера Алексеевна должна полежать, отдохнуть, а вы, Зина, со мною должны идти на платформу.

Долго еще лежала, не шевелясь, не думала, а мысль сверлила — теперь надо, сейчас, потом поздно будет, — сама даже не отдавала себе отчета, что именно нужно, что делать будет, когда войдет он, — говорить, убеждать или еще что, и чем сильнее и надоедливее сверлила мысль эта, тем решимость становилась отчаяннее. А в подсознательном был еще вчерашний рассказ жены ключаря о замученном Мите. И где-то глубоко запечатлевшийся рассказ этот отражал бессознательно мысль о Борисе. И собственно эта-то мысль и сверлила голову и доводила Костицыну до отчаянной решимости. От нервного напряжения резко встала с постели, одно мгновение еще о чем-то подумала и медленно пошла к двери позвонить вниз. Показалось, что даже слышала, как внизу задребезжал электрический звонок и кто-то побежал по лестнице. Испуганно легла на постель, Ждала.

За дверью молитва звучала и стук легкий, — через силу сказала:

— Войдите.

У стола сидела. На Бориса взглянула, поймала взгляд ясный и показалось, что стало легче.

— Можно вас попросить самовар?

Не назвала по имени, ждала, когда принесет посуду и самовар. Одною рукою грудь держала — до боли сердце билось.

Принес на подносе чашки с ободком синеньким и ушел за самоваром.

Вынес из кухни, а за ним следом — Михаил. В номер Борис внес и у дверей — в скважину Михаил подглядывает.

Игумен двух послушников послал в новую гостиницу обслуживать гостям и прислушиваться, а когда нужно

и подслушивать, что будут приезжие говорить про обитель, про иноков, а главное про прием, чтоб предупреждать все недовольства и желания. Целый день по коридору толклись в верхнем этаже два послушника и целый день что-то делали — прибирали, чистили, подметали и слушали, прислушивались, а когда удобно и подглядывали, и потом настоятелю секретно передавали вечером, как на духу, и от себя привирали. А на Бориса — коридорные злились, не любили за то, что из благородных, из студентов, специально услуживает гостям летним, потому что свой, к своим и послан. Подглядывали за ним, подслушивали...

Внес самовар, а Михаил на корточках подле двери, глазком — в замочную скважину.

— Я вас ждала, Боря, да, вас. Вы сейчас не уйдете, нет. Посмотрите на меня, вот я такой же человек, как и вы, и вы не хотите даже взглянуть. Не отступайте назад боязливо, сядьте, ничего с вами не будет.

Тихим голосом ответил тревожно:

— Мне нельзя оставаться в номерах.

— У меня можно, Боря. Я вас Борею буду звать, как всегда, вы для меня не монах, а Боря. Сядьте же, а то вы меня заставите взять вас за руки и посадить насильно... Вы знаете, что у меня и у княжны можно, все можно, — донесут на вас — ничего не будет, не бойтесь, мы не дадим вас замучить им.

Сел подле стола, опустил руки и смотрел на пол, не поднимая головы, слушал. На душе тяжесть давила и дышал тяжело, медленно.

— Я вам чаю налью, выпейте. Вы пейте, я говорить буду.

Машинально пододвинул чашку, не положил сахару, налил на блюдце и не притронулся больше.

— Зачем вы здесь, Боря?.. Зачем?.. Разве вы не знаете, что жизнь там, у нас, в городе, в деревне, в столицах, а здесь мертво и вы мертвый, заживо убивают вас, да еще мучают. Вы не замечаете этого, а вы замученный. Зачем на вас этот балахон черный, как саван, — брр...

Обидно стало и больно, — почти выкрикнул:

— Мне хорошо здесь, я здесь живу, — я верую, я молюсь...

— Кому? Скажите, Боря, кому?..

И в голосе промелькнула Линочка, ее волосы, кофточка...

Опять выкрикнул, но только глухо и сдавленно:

— Ему, господу...

— Правду скажите, Боря, правду, — кому вы молитесь?.. Вы любили когда-нибудь?.. Кого вы любили, Боря?.. Женщину, да?.. Или девушку? Она любила вас, да?.. Любила?.. А потом ушла от вас к другому?.. Или не отвечала вам взаимностью. И вы мучились и, наконец, в монастырь ушли. Вам было больно, когда она изменила?.. Плакали?.. Ну, что же вы молчите, — думаете, что и я вас хочу мучить?.. Так я не хочу мучить вас, я должна вас спасти. Она умерла, — я знаю... Правда? Любила вас и умерла...

— Умерла... Да...

— А потом, что случилось потом с вами? Вы учиться уехали... Другую встретили?.. И она не ответила вам взаимностью или изменила?.. Бедный мой мальчик... И вы ушли в монастырь. И здесь мучаетесь и умираете... и не сами мучаетесь, а вас мучают...

На минутку замолчала, потом тряхнула головой, так что раскатился узел волос и вылетели две шпильки, и в тоже мгновение встала, стул отодвинула резко и пошла к двери. Михаил отскочил от скважины, на цыпочках пошел к умывальнику, думал, что в коридор выйдет, и когда прислушался, что никто не идет снизу и из 33-го не выходит — вернулся снова.

Ходила по комнате от двери к окну мимо Бориса, сидящего с опущенной головой, так что волосы с плеч скатились к лицу и закрыли его.

— Как мне научить вас полюбить жизнь, как, скажите? Я знаю... знаю, я тоже мучила, а теперь всю жизнь мучаю и другие через меня мучаются... вы мучаетесь и другой... и третий, и четвертый — все мучаются, а мне кажется, что это я мучаю всех, я, женщина. Из-за женщины все мучаются. А мы, мы сами себе мучения создаем и других мучаем... И сами мучаемся, но мы по своей вине, а вы через нас, а после мы мечемся и боимся разорвать эти мучения, гнет души сбросить и жить, жить... каждую каплю воздуха ловить ртом жадно, лишь бы жить. Понимаете вы меня, нет?

Слышал голос срывающийся, мечущийся, и самому стало душно и глуше, тяжелей сердце забило толчками, хотелось уйти, не слушать, а сидел, как прикованный, не поднимая головы, не шевелясь ни одним мускулом.

На последние слова ответил:

— Не понимаю, нет...

— Но я хочу, чтоб вы поняли... вы, Боря, должны понять. Я хочу жизни, и не для себя, моя прожита, — да, я еще молода и я хочу тоже жить, но только моя жизнь прожита, оттого, что не вернуть прошлого, а вы еще не жили, у вас нет этого прошлого, вы непорочный, чистый... И жизнь, она непорочная, это люди грех создали; любовь изуродовали и создали грех, оттого, что любить бояться, когда она к нам приходит и не изуродованная. Я уже изуродованная, но у меня еще не перестала душа болеть, и если я не могу вернуться к прошлому, то вас я хочу вернуть, вас, вас, Боря... Не как мать, не как влюбленная, а как женщина, только женщина может душу вернуть к жизни, телом своим вдохнуть ее во имя жизни. У женщины душа растворилась в теле и живет она ею, тело толкает к жизни, сердце кровь разливает в нем, и в этой горячей крови душа бьется и мучается, пока не освободит другая ее.

У окна остановилась на один миг, взглянула на него, ничего не видя, и потом быстро подошла к Борису, спустилась перед ним на колени сбоку, положила голову к нему на колено, протянула руки, обхватила ими его поясницу и старалась все время в глаза заглянуть ему.

Испуганно отдернул свои руки с колен, прижал их к груди и зажмурил глаза.

— Боря, мальчик мой, милый, проснитесь, оживите хоть на один миг, — я чудесам не верю, но если у вас душа дрогнет, — забьется сердце, и тогда жизнь, жизнь... Больным, умирающим, измученным, обессиленным переливают кровь и они живут, оживают снова и жизни радуются, а я себя всю хочу перелить в вас — и душу, и тело. Не бойтесь, я не люблю вас, — нет, я больше, чем люблю — я мучаюсь, потому что вы мучаетесь, так не мучайтесь больше... Боря...

Чувствовал тепло от ее груди, от рук, душил запах волос пряный и тепловатый, — слабел и давило грудь, подступало к горлу спазмами, — мыслей не было, а только тупой ужас всего охватывал и не было сил двинуться. От груди своей свои же руки не оторвет и закрыл лицо ими.

С каждым словом сильнее и сильнее сердце билось, хотелось вырвать из него душу, взять, заглянуть, вложить свою мысль, свои желания... Начала говорить громко, а теперь, стоя перед ним на коленях, от волнения ослабел голос, и почти шепотом, но часто, прерывисто, боясь, что оттолкнет, встанет, ни слова не скажет ей и уйдет молча, и это казалось таким обидным, и чтоб не встал, не

двинулся, сжимала сильней руки вокруг его поясницы и всей грудью к его колену прижалась, отчего дыхание становилось чаще, прерывистей, не хватало воздуха. Волосы скатывались с головы на грудь, падали за рубашку и раздражающе щекотали, хотелось откинуть их и боялась пошевелиться. Стучало в висках. И когда говорила, закрыв глаза, — красные круги мигали, чередуясь с черными...

— Боря, теперь, сегодня, сейчас... Боря... Боря...

И сразу оторвались от него руки, откачнулась, запрокинулась голова — свалилась на пол и начала часто-часто всхлипывать. И только в сознании одна мысль резала — только сейчас, сейчас, потом — поздно будет, надо сейчас.

Испуганно встал, растерянно взглянул на упавшую и угадал шепот:

— На кровать положить...

Еле поднял, — неумело, причиняя боль. Положил тихо.

— Воды сюда, — воды... холодной...

Показывала на грудь, раздергивая капот руками, хватала судорожно пальцами свою грудь, точно хотела ее разорвать и, цепляясь за кружево рубашки, рвала ее.

Чайное полотенце в кувшине смочил...

Взяла его руку с мокрым полотенцем, прижала ее к груди своей и одновременно мелькнула мысль — теперь, все равно — что будет...

Обхватила другой рукой шею ему судорожно, — от неожиданности качнулся, упала голова к ней, — подумала, что не выдержал, тело вздрогнуло и еще сильнее прижала его голову к себе и, оживая сама, может быть от падения его головы, сдерживала рыдания, переходя к плачу тихому...

Не выдержал, — давившие горло спазмы наполнились слезами глаза, смочившими грудь ей. Не рыдал, а вздрагивал. Ознобом дрожало тело, — думала, что дрожит от желания и еще борется.

Сил не хватило, — поддержала всю тяжесть его головы на своей груди. Шептала:

— Боря, теперь... теперь... всю возьми, всю... всю выпей... только проснись... оживи... Боря...

Коридор был пуст. Михаил прилип к замочной скважине, смотрел жадно, от похоти своей не разбирал слова, не слышал, а вздрагивал, что его собственная мысль рисовала при виде женщины и монаха, и только злобно думал, что

святоша-послушник понес ее на постель и чего не видел, то дорисовывал. Весь был напряжен, — и смотрел, и слушал, не идет ли кто снизу.

Узнал смех княжны и мужской, незнакомый чей-то.

Отскочил, подбежал к умывальнику, схватил ведро с помоями выливать мимо гостей возвращающихся.

Княжна говорила весело:

— Вот видите, Валентин Викторович, а вы не хотели приехать к нам...

Мужской голос любезным стальным тенором отвечал, стараясь попасть в тон княжне:

— Князь хоть кого вытащит...

— Как же это вы решились все-таки?..

А Зина, стараясь раздражить Барманского:

— Валентин Викторович любит, чтоб его попросили...

— Даже ладаном пахнет... От вас, Зиночка, тоже веет святостью... А как...

Когда подходили к 33-му, Барманский оборвал фразу и, вспомнив что-то, обратился к дамам:

— Чур, господа, я вперед к Вере Алексеевне...

Не стуча, раскрыл дверь и, еще не успев сразу никого отыскать глазами в номере, начал весело:

— Нежданный гость хуже татарина, Вера Алекс...

На полслове оборвал, но, не сконфузившись, с особым нахальством сказал, увидав Бориса и Костицыну и по-своему поняв все:

— Ах, пардон, мы не вовремя...

И к вошедшим княжне и Зине:

— Идемте, господа, здесь, должно быть, драма...

Услышав голос Барманского, резанувший сознание, инстинктивно оттолкнула голову Бориса, вскочила, запахла капот и, не давая говорить ему, начала, обращаясь к княжне и Зине:

— Никакой драмы нет, Валентин Викторович, княжна знает...

— Вот как, — так вы, Валерия Сергеевна, сообщница?.. А все-таки...

Борис тоже вскочил, — пригретое и разгоряченное лицо от близости тела и от собственных слез багровело пятнами. Вскочил и остался стоять неподвижно, не понимая, в чем дело, что случилось, что собственно было даже с ним, и не в состоянии еще сразу придти в себя — продолжал рыдать и вздрагивать.

Зина взглядывала то на Костицыну, то на Бориса,

и ничего не могла понять, а когда Барманский двинулся к Смолянинову, Вера Алексеевна подошла к княжне и стала ее просить шепотом:

— Уведите его, Барманского, к себе, это ужасно, бедный мальчик.

О себе не думала, хотя чувствовала, что теперь начнет преследовать ее Барманский еще больше и даже решится намекнуть, что неприятно было бы, если бы случайно узнал муж про все.

Барманский шуря глаза сквозь пенсне, поддерживая черненькую эспаньолку, подошел к Борису и, цедя презрительно сквозь зубы, продолжал:

— А все-таки, святой иннок...

И сразу брезгливо, резко.

— ...вон отсюда!..

Зиночка бросилась к Борису, не успела схватить руки Барманского и обхватила двумя руками голову Бориса, — удар пришелся ей по руке.

Вера Алексеевна закрыла лицо руками, услышала удар, вскрикнула:

— Боже, княжна...

Княжна резко взяла Барманского за руку и повела в свой номер.

— Валентин Викторович, как вы смеете... идите отсюда, сейчас же...

— Простите, княжна, но мой долг защитить честь женщины от...

Ничком на постели, вздрагивая от слез, Костицына повторяла одно и то же:

— Это я, я его на новую муку, я... его... на муку...

Зина, не выпуская из своих рук головы Бориса, шептала:

— Что это, что, Боря, бедный Боря?..

И вдруг резко отшатнулся весь, отстранил ее руки, взметнул вверх куда-то глаза и с тем сияющим взглядом пошел к двери.

Сказал сам себе, уходя, вполголоса:

— Господи, да будет мне твое испытание радостью. Боже мой, боже...

Зина долго смотрела вслед Борису, никак еще не соображая, что было тут, почему и зачем ей говорила, чтоб она, Зина, спасла Бориса, стояла не шевелясь, онемелая, пока не пришла княжна звать Костицыну с Зиной на обед к игумену.

— Вера Алексеевна, милая, надо, — вы знаете, какой

противный характер у Валентина Викторовича, поборите себя и пойдём,— я уверена, что все хорошо обойдётся, а я епископа попрошу за Борю,— он милый, простит мальчику.

— Это я, княжна, я...

Решила идти со всеми, чтоб Бориса спасти от наказания, от епитимьи,— решила Гервасия за него просить, потому что знала, что от него зависит судьба Смолянинова, хотя бы теперь все благополучно сошло, но зато, когда не будет Иоасафа, может быть плохо ему и от игумена, и от монахов.

— Я пойду, Валерия Сергеевна,— конечно, не удобно не идти... И Зина пойдёт с нами, все вместе.

Вера Алексеевна оделась наскоро и зашла с Зиной за княжной.

Барманский бросился к Костицкой и к Зине. Стал целовать обеим руки.

— Ради бога, простите мне,— это невольно у меня вырвалось, я не знал... ради бога...

Шутя, улыбаясь слегка, вырывая руку, сказала Костицкая:

— Я прощаю вам, только...

Окончить не дал,— любезно:

— Все, что прикажете, дорогая Вера Алексеевна... Ваш безмолвный раб...

И, сходя по лестнице, тем же стальным, чуть презрительным голосом, шутил с дамами:

— Только я, господа, не одет,— мне кажется, нужно, как полагается, быть во фраке, но, к сожалению, не успею съездить до обеда в город, далеко немножко.

VIII.

Стол был большой, торжественный,— из старинного шкафа посуда с ободками выцветшими. Суровые скатерти. Кожаные черные стулья ореховые на искривленных ножках и в конце — два кресла больших — епископу и князю, по бокам два малых — ключарю и Николке-Гервасию.

Со всех деревень ближних богомольцы в монастыре,— в паневах с позументами, с бахромой, в повойниках шитых, в кичках караваями шерстяными махрами на ушах, с белыми повязками с рожками и с бисерными подзатыль-

никами; мужики в белых рубахах с ластанами, в валеных шапках, внапашку свитки...

Из дальних деревень старухи, бабы с котомками, странники, нищие, слепцы в колымажках...

С утра гомонили, толпились у святых ворот, у собора, облепив все порожки, все приступочки у келий, на траве прямо — горели пестрыми пятнами платья, бисера кичек, панев...

С повести в собор потащились и ждали епископа.

Ревел протодиакон, тянули чуть не по крюкам монахи-певчие, бегали, потряхивая кудрями, иподиаконы, от алтаря орлейщик выбегал с орлицею, степенно костыльник подавал в золотой парче костыль епископу, потели монахи, богомольцы, странники, с левого клироса торжественно наблюдал за порядком ключарь в епитрахили, непрестанно поправляя академический значок — и бесконечно тянулось служение архиерейское, утомившее его ожиданием конца.

По правую руку от амвона Николка стоял, торжественный. Волновался, — не вышло бы опять чего, как и в приезд, когда крестный ход был. Слышал деревенский шепот:

— Господи, как в раю...

— Истинно, как в раю...

— Довелось побыть...

Вскрикивали кликуши, неистово закатываясь, голосили грудные ребята, одеревенела рука у епископа Иоасафа причащать младенцев, а служба еще без конца казалась, — молебен с акафистом Троеручице и великая панихида соборне в старом соборе на месте упокоения старца. Под крест подпускать оставили иеромонаха после молебна и торжественно в облачении полном пошли к собору. Народ побежал следом, не подходя под крест. Точно пламя разлилось и полыхало — платки, кички, паневы, пестрые юбки — и горящим пятном на белом фоне собора старого остановилось и замерло, ожидая, когда епископ с монахами войдет в подвальную церковку. Толпились в коридоре у картины адовых мук, лежа на животах, заглядывали сквозь железные решетки в подвальный храм... Нищие, калеки, хромые, слепые, болящие от дверей в два ряда уселись, причитывая нищенское, кряхтя, охая.

После панихиды народ кинулся в храм поклониться старцу Симеону пустыннику, одеть на голову от головной боли скуфейку старую, приложиться к веригам. Ждали чудес, исцелений.

Николка с вечера приказал одному старцу возле гробницы стол поставить и записывать показания недугующих, исцеленных Симеоном, а в летопись велел занести о панихиде епископа Иоасафа в ознаменование чудес старца.

Лавочника посадили, — Аккиндина.

Любопытные подходили старухи, бабы, — спрашивали:

— Батюшка, а когда ж помер-то старец этот?

— Давно, милая, давно, при императрице Екатерине Первой, а теперь чудеса творит, немощных исцеляет.

— Хоть бы моему старику помог, — сухота его смучала.

— А ты привези, панихидку отслужи по старцу, вериги одень его на больное место, — исцелит старец, старец праведный...

Слушали Аккиндина, крестились, охали.

Одна досужая подошла:

— Мне, батюшка, Симеон старец послал облегчение, — шапочку его на голову одела, перестала болеть голова и муж стал любить-голубить...

Заскрипело перо Аккиндиново, в глаза молодой бабе впился:

— Когда у тебя началась болезнь, милая?

— Да вот как мой на шахту ушел, с того времени... блюла я себя, томилась...

— И сильно болела голова? А? Рассказывай...

— И, батюшка, так болела, аж спать не могла, ночь-то маешься, будто каленым железом ее душило, а потом пошла к Троеручице, а один монашек, дай бог ему здоровья, посоветовал, пойдя ты помолись старцу нашему, Симеону пустынною, водички испей на пустыньке, помочи голову, песочку возьми — клади на голову, — исцеляются, кто верует... Пошла я, умылась водицей, песочку на пустыньке нагребла в платочек, вернулась домой...

— Ну и что ж, исцелил тебя Симеон старец?..

— Исцелил, батюшка, — песочек я к голове прикладывала, тут-то еще мужик мой приехал с шахты, с того времени и полегчало мне, а все он, старец...

— Не болит теперь голова?..

— Нет, батюшка... Мне мужик мой и теперь говорит, ступай, говорит, помолись старцу...

— Правильно, твой мужик говорит. А ты еще панихиду отслужи по нем...

В толкотне записывал, пером скрипел, в чернильницу тыкал...

Среди баб, мужиков, купчиха протискивалась беременная к Аккиндину — послушать, что говорят, посмотреть, что записывает монах. Давили ее, толкали, — сзади купец басил.

— Тише вы, ай не видите, что беременная.

Расталкивал богомольцев...

— Держись за меня, Анись... Да тише вы... Поспеете...

Купчиха рассказ бабы выслушала и сама начала:

— Батюшка, запишите вы, и со мной чудо господне. Пообещала я молиться Симеону старцу и панихиду служить и на монастырь вклад сделать, если сотворит чудо старец, мальчика мне пошлет... Бездетная я была, и к докторам-то ездила, и у бабок лечилась, чего-чего не делала, в бугуне купалась — ничего не помогло, пятнадцать лет не было. Пообещала я, пошла на пустыньку Симеонову, а навстречу мне старец старенький идет из лесу, борода до колен, длинная, а за ним птица, аист идет за ним...

— Это явление вам было пустытника...

— Явление, батюшка, предзнаменование великое, аист-то птица с ним была, аист детей приносит, — предзнаменование... И теперь я приехала... Девять скоро, так я благословиться — отслужить панихиду...

Записал сколько лет, какого звания, как зовут и заставил слушающих подтвердить подлинность рассказа — подписаться.

Снял, что книга растет от записей. Расспрашивал, на мысль наводил и записывал, прочитывал вслух, вызывал, по желанию, свидетелей...

Слушали, отходили, расталкивали.

В открытые окна слышен был гул толпы...

Зазвонили на колокольне, народ бросился к трапезной. Долетело в окна:

— Идут, идут... собором... из трапезной.

Колыхнулся народ из подвальной церковки Симеона старца, купца оттеснил, сдвинул купчиху и понес ее к выходу.

В дверях крикнула:

— Ба-а-тю-шки... А-ах...

Купец закричал, бросился расталкивать кулаками...

— Бе-ре-мен-ная... Ана-фе-мы... Задушили...

Вывели на воздух, посадили на могильную плиту...

— О-ей, ей, ей, ей... Батюшки... Да бо-ольна ж как...

Старуха подошла, растолкала глазеекких баб.

— Ай не видите, что родит... Не видали, что ль?..

К купцу прямо:

— Вести ее надо в гостиницу, а то тут родит — ай не видишь, что тужится.

— Да не могу ж я... мо-очуш-ки нет как режет... Ооо-й...

Зубы стискивала, передергивалась лицом, хваталась за мужа, рвала на себе волосы, не хотела идти...

Старуха двух баб толкнула:

— Ну-ка, молодайки, берите ее под руки, ведите, а ты купец в гостиницу беги, вели скорей самовар ставить, — а то с тобой-то у ней и воды бы отошли, тогда б намучилась...

Шла медленно, останавливалась, при схватках на весь монастырь кричала по-звериному дико, хваталась за баб...

А по монастырю расползлся слух от слышавших рассказ купчихи и все говорили, что сотворил чудо старец, пожелал, чтоб не где-нибудь, а тут же, в его обители, родила купчиха.

Монахи после трапезы расползлись по монастырю и тоже богомольцам рассказывали про чудо, старались, чтоб все про него говорили, чтоб все знали.

— Великий старец, праведный... Явное чудо творит, знаменья...

Целый день ждали в монастыре, что должно совершиться чудо, должен проявить себя Симеон старец, чтоб люди добились его прославления, — сам себя прославлять хочет, чтоб обрели мощи преподобного.

Аккиндин бросил записывать, выбежал с книгой к игумену прямо через парадный ход. Выбежал Николка испуганный, побледнел, думал, что опять случилось что-нибудь, как и в приезд епископа. Задыхаясь, спрашивал:

— Что, Аккиндин, что, случилось еще?..

— Чудо сотворил Симеон старец, перед лицом всего народа...

— Ну, говори, говори скорее.

Слушал и радовался... Целый день мечтал, стоя в служении архиерейском у амвона, о том, как еще будет торжественное служение, когда открытие мощей будет и не епископ, а митрополит будет служить с епископами и он будет стоять в митре, и не губернатор, а сам царь на открытие приедет с министрами и всему будет виной — он,

Николай Предтечин, дьячковский сын, игумен Гервасий, и старца прославит и себя,— запишут его в трапезной, запишут, что при таком-то игумене жития праведного прославил себя Симеон старец, основоположитель пустыни. А когда шел за епископом в старый собор — представлял, как торжественно с рипидами, с дикириями и трикириями, со свечами вожженными вся братия понесут в серебряную раку нетленные мощи старца и он понесет, Гервасий, вместе с царем, с митрополитом, с епископами, а кругом будет несметная толпа богомольцев. С утра сказал Аккиндину, чтоб все показания записывал богомольцев о чудесах старца, потому что в такой день должно великое совершиться чудо. И когда слушал Аккиндинов рассказ — ликовал в душе.

— Пусть сам придет — засвидетельствует перед епископом, купец этот...

— Запись есть с показателями...

— А ты повинуйся,— ступай в гостиницу, да чтоб роженице отвели получше номер, чтоб насекомые не беспокоили, да узнай смотри, кто родился,— мальчик родиться должен, да надоумь купца, чтоб Симеоном его назвали. Ступай скорей.

Во время чаю за ним Аккиндин пришел, ни для кого не было заметно, что отлучился он.

Иоасаф на духоту жаловался:

— У нас, ваше преосвященство, всегда богомольцев столько... Старцу идут поклониться. Троеручице отслужить молебен.

Князь тоже начал про старца спрашивать у епископа:

— А почему, друг мой, до сих пор мощей нет?.. Мне бы тоже было приятно в моей губернии иметь мощи угодника какого-нибудь. В Сарове открыты, в Курской тоже, надо и нам позаботиться...

Николка вставил свое:

— Мы, ваше сиятельство, хлопотали, говорят — старец себя прославил мало еще...

Иоасаф старался замять разговор о мощах, ключарь понял и стал о чем-то Гервасия спрашивать. А епископ наклонился к князю и вполголоса:

— Разве ты не знаешь, мой дорогой, что на это установлена очень строгая очередь в синоде, и надо особо хлопотать...

— Ты ведь можешь,— будь добр, окажи для меня эту услугу, у тебя там сильные связи,— будь добр.

Ключарь с Николкою говорил и прислушивался к словам князя, поправляя академический значок. Не все расслышал, но понял, что губернатор просил о мощах Иоасафа и, улыбаясь в душе, отвел Николку к столу.

Ждали княжну с Костицыной и с приехавшим гостем, — чиновником особых поручений, Барманским.

Сели за стол да и все еще не начинали закусывать...

Князь шутил:

— У них, господа, всегда что-нибудь случится; без этого они жить не могут, — особое сословие, я бы для них и законы написал особые. Им все равно, хоть тут монастырь и смирение, и без того, чтобы не быть в туалете — не могут. Серьезно, — все равно, что в оперу, что в монастырь.

Только жена ключаря с протодиаконицей пришли заранее, — иподиаконы не были позваны. Екатерина Николаевна все время старалась обратить на себя внимание князя и сердилась на протодиаконицу, когда та отвлекала ее разговором.

Князь из любезности отвечал, нехотя.

Каждый этаж гостиницы жил своей жизнью и, кроме поклонов, ни в какие отношения не вступал. Духовенство гуляло по лесу своей семьей, а гости — по своему веселились, — от скуки только разрешили себе гулять с монахами, дразнить послушников, а до интимного не допускали, и послушники с певчими боялись перешагнуть границу. С духовными дамами — проще было, — и флирт и любовь крутили, а большинство по старой привычке с простыми дачниками ходили на ягоды, с купчихами молодыми катались по озеру и не одни, с семинаристами.

Ключарша простить не могла верхнему этажу, говорила мужу:

— Вася, это безобразие, — даже не пригласить к себе, не пойти погулять вместе.

— Мы, Катя, духовные, — дворяне с нами не имеют общего никогда, — в престол примут, трояк вынесут и — разговор кончен.

— А как же учителя гимназии?!

— Интеллигенция, матушка, другое дело, — как ты с этим примириться не можешь?..

И все-таки ключарша примириться не могла, всячески старалась овладеть вниманием княжны, Костицыной и других поклонниц епископа.

Барманский вошел и сразу о фраке начал:

— Простите, князь, что я не во фраке,— даже не дали одеть, вините дам...

Костицына села за стол между Гервасием и Барманским, хотела завладеть Николкою ради Бориса,— княжна напротив с ключарем и Зиною, а ключарше пришлось с иподиаконом сидеть на другом конце.

Барманский не мог забыть о том, как Костицыну с Зиной клопы заели в старой гостинице, и — по дороге с платформы ему рассказала княжна,— и обратился к преосвященному.

Начал неожиданно как-то, зло:

— Вы представьте, владыко, молодая интересная дама с прелестной девушкой,— вы не смотрите на меня так, Зиночка, я говорю то, что есть,— замучены в первый же день приезда в обитель... великомученицы, святые...

Костицына поняла и вспыхнула:

— Валентин Викторович, оставьте глупости говорить!

— Господа, могу ли я продолжать?..

Князь, предчувствуя что-то забавное, одобрил Барманского кивком головы.

— В монастыре не только пост и молитва, но еще и насекомые, сотнями, тысячами, каким-то дождем огненным с потолка на дам набрасываются, разве это не мучение, разве они не великомученицы?..

И после короткого взрыва смеха, остановленного Иоасафом, не могла удержаться одна ключарша, толкая ногой протодиаконицу.

Не успел кончить Барманский — с радостным криком вбежал купец:

— Мальчика, мальчика родила, от Симеона старца,— чудо, великое чудо...

К епископу бросился, на колени перед ним упал.

Барманский даже из-за стола встал, подошел к князю, чтобы получше наблюдать за дальнейшим, и вполголоса говорил Рясному так, чтобы все слышали:

— Это действительно чудо, родить от старца, да еще от мертвого!

Епископ еще ничего не понимал, еле удерживал и улыбку и смех от пояснений Барманского, и в то же время взглядывал на восторженного от радости купца и на Рясного, как бы прося заставить замолчать Барманского. Князь сразу же добродушно засмеялся громко, а Николка уставился на епископа, желая знать, какое впечатление на

него произведет чудо Симеона старца, не слыша и не понимая слов Барманского.

— Великий старец, святой, пятнадцать лет не имели детей, — благословил старец, родила, родила мальчика...

И, наклонившись к Костицыной, Барманский шепнул ей:

— А что будет у вас, Вера Алексеевна, после сегодняшнего чуда, или вы в чудеса не верите?..

Костицына, пользуясь тем, что все купцом заняты, встала из-за стола резко и шепотом Барманскому бросила:

— Какой вы нахал, Валентин Викторович...

Купец продолжал умолять епископа хотя бы новорожденного благословить и выкрикивал сквозь радостные слезы:

— Мальчик, ваше преосвященство, на коленях поползу за вами, благословите роженицу и мальчика, младенца Симеона... во имя святого старца... удостоит его господь узреть мощи праведные...

Всем уже надоедать стал счастливый купец, и епископ сказал Гервасию:

— Отец игумен, отнесите новорожденному мое благословение...

Не вставая с колен, растрепанный купец подполз к Иоасафу под благословение, Николка поднялся из-за стола идти с купцом, но тот не унялся и подбежал к князю.

— Ваше сиятельство, господин градоначальник, во имя великого чуда преподобного Симеона старца, будьте крестным отцом новорожденному, — на всю жизнь осчастливите семью нашу.

Барманский без стеснения захохотал:

— Хе-хе-хе-хе...

И, чтоб прекратить всю эту сцену, Костицына сказала:

— Я буду крестной матерью.

Барманский опять не выдержал:

— Как чудеса действуют...

Вера Алексеевна не могла больше слышать Барманского и воспользовалась возможностью уйти с обеда:

— Я, как будущая крестная мать, тоже пойду к новорожденному с отцом Гервасием.

Купец вперед выбежал, махнул шапкою:

— Я вперед побегу...

Торжествующий Николка шел, довольный, со всех сторон слышал о чуде, а главное рад был, что епископу известно стало.

Взволнованная, раздраженная словами Барманского, Костицына молча шла с Николкою, думая о Борисе, о том, что Барманский обязательно и над нам издеваться будет и, желая спасти Бориса, сказала игумену:

— Отец Гервасий, мне нужно поговорить с вами, завтра же, вы можете, — в любое время и где хотите, но только, чтоб никто не видел...

Точно давно приготовленная фраза сорвалась у Николки:

— На мельнице я буду ждать завтра утром...

— Я приду.

— Я озеро вам покажу наше...

Навстречу купец выбежал, повел в номер.

Вера Алексеевна посмотрела на новорожденного, поцеловала даже его и пошла к себе.

Не переодеваясь, легла ничком на постель, обхватив руками голову, и пролежала так до прихода Зицы, по временам вздрагивая плечами, точно она без слез плакала.

IX.

Каждый день собирался Николка расспросить Смолянинова, отчего он бежал в монастырь от Фенички, и все некогда было — заботы игуменские, к тому же и жизнь начал заново с Аришей, а тут и гости нагрянули городские с епископом. Только и вспомнил про него, когда в лесу при Иоасафе Костицына о Борисе расспрашивала, и только каждый день собирался к себе призвать.

Из гостиницы от купчихи вернулся — гости разошлись без него, епископ на прогулку ждал. И по той же дороге на большую полянку через казенный лес пошли. Николка молчал больше, иногда только про чудо и про купчиху вспоминал и епископу говорил:

— Великое чудо содеял старец наш, великое...

Иоасаф только два раза ему ответил:

— Великое чудо...

Вернулись затемно, преосвященный ушел к себе; а Николка размышлять сел на диван кожаный в приемной, — на портреты епископов и игуменов довольный поглядывал, думал, что и его портрет скоро будет висеть между остальными и, может быть, на первом месте, если мощи при нем будут открыты, на сколько веков останется в назидание братии и игуменам. А главное — хотелось ему

смотреть не из рук братии, а полным хозяином всему монастырю быть, на отчете только перед консисторией да синодом. Мечтал, как жалование получать будет и братии выдавать ежемесячно в монастыре штатном. О завтрашней встрече с Костицыной думал и Аришу вспомнил, захотелось на нее взглянуть, чтоб сравнить с городской женщиной. И по-прежнему потянуло к греху. Ни Фенички не боялся, ни Ариши, а когда про Костицыну думал — становилось страшно, оттого что не знал, как подойти, с чего начать и можно ли. На красоту свою надеялся и думал, что не выдержит она из-за любопытства. Подремывал, вспоминал Феничку и опять мелькала мысль спросить Бориса послушника.

И чуть слышно постучали в дверь.

Белобрысый вошел келейник, на цыпочках подошел, чтоб не разбудить епископа, наклонился к Николке и тревожным шепотом:

— Отец игумен, с гостиницы Михаил пришел, просит к вам допустить... Говорит, что не ладное что-то случилось там...

— Опять не ладное?.. Господи, да когда же настанет тишина мирная, хоть бы при гостях-то этого не было! Зови его...

По уставу три раза поклонился земно и начал:

— Отец игумен, беда у нас...

— Тише ты, говори шепотом... Что там еще?..

— Да этот, Борис, студент-то наш... Уж и говорить-то не знаю как, срамно рассказать...

— Все говори! Ну?..

— Зашел он это в тридцать третий с самоваром во время поздней, а я — за помоями пошел наверх, только вижу, назад не вертается, я это — дай погляжу, что он там делает.

— Ну?

— Одна там была барыня, эта... Костицына... А барышня-то с княжной ушла.

— Короче ты...

— Гляжу это я, — ходит она по номеру, уговаривает, говорит ему: «Да что вы, Боренька, вы монах, вам теперь нужно, а вы о грехе молитесь»... Умолял ее сотворить с ним блуд. А потом — накинудся на нее, на кровать... Плачет она, слышно мне, как говорит сквозь слезы: «Да что вы, что с вами, Боренька, вы монах», сама отбивается, а он как

змея на нее — платье порвал на груди... она-то и сделать ничего не может, отбивается, плачет.

— Ты сам видел?..

— Сам, все сам видел, да только помешали ему,— с платформы пришли и прямо в номер, я отбежал это к умывальнику, лохань понес и опять вернулся, слышал, как барин его новый по щекам, по щекам, а потом выгнали из номера.

— Сейчас же сюда его, слышишь, сам приведи, сейчас же.

Вспомнил Николка приезд Смолянинова, когда он его не Гервасием назвал, а Николаем, подумал, что если б не Васыка, может быть, и забыл бы про все, а блаженный испортил все, а в то же время боялся, что про Гракину все знает, знает, что и в монастырь был с треногами приведен, и как из дома его инженер выгнал. Зло кусал губы, из угла в угол ходил ожидая. Хотелось унижить его, наказать, в подвал заточить на покаяние и в то же время боялся, что передаст Костицной и расскажет все и не только мощей не видать и не открыть ему, Предтечину, а еще самого ушлют куда-нибудь. Одно только думал, что уедут из монастыря гости — возьмет свое, выместит на нем прошлое. Свое послушание вспоминал у Ипатия и думал,— пускай подышит чуточку, а его не то, что к такому, как Ипат был, а еще похуже найду, пускай знает, как в чужую жизнь залезать, а то совсем осмелел, нашел заступников и сказать ничего нельзя — донесет щенок.

Мучился, ожидая Бориса, не знал, с чего начать, и думал, что и про Феничку расспросить надо, чтобы завтра Костицной про него рассказать, а после этого случая обязательно захочет она узнать про студента. Боялся только, а вдруг он сам рассказал ей про себя и про него,— игумена,— и не знал, как быть завтра, правду говорить или придумать что-нибудь про себя и про Бориса, чтоб запутать барыню. Хотелось сегодня же Бориса в монастыре оставить на епитимью и боялся — спросит Костицына, захочет его повидать, простить за сегодняшнее, а он и расскажет все, а она-то к епископу и к губернатору близка, все, что захочет, сделает. Боролось в душе желание наказать, отомстить за себя, и вспоминал про мощи, про житье спокойное с Аришею на хуторе — мысль мучилась, и еще сильнее хотелось дожидаться завтрашней встречи с Костицной. Думал, что, может, Михаил и от себя прибавил из ревности, что студент наверху в номерах несет

послушание, а не он. И все время, пока мысли метались у Николки, где-то в глубине было чувство, что хоть сейчас и ничего не сделает студенту, но зато помучает.

Разыскал огарочек, чиркнул спичкою, пошел лампаду зажечь перед поставцем, чтоб видеть друг друга. Услыхал стук в дверь — на диван вернулся.

Молча упал на колени Борис перед Гервасием.

— Беснуешься?..

Наклонил ниже голову, руками лицо закрыл...

— Молчишь теперь?..

Судорожно плечами вздрогнул...

Слышно было, как старинные часы тикали отчетливо.

И сразу — не выдержал, — шепотом, наклонившись к Борису, говорить начал, задыхаясь и захлебываясь от злости и нетерпения знать все.

— Образ ангельской кротости опаскудил, щенок этакий...

Почему-то вспомнились слова Саввы старенького, когда тот над Николаем трясся, вычитывая ему непотребство смрадное, и сам начал говорить как Савва:

— В обители Симеона старца нашел женщину принуждать силою к сожитию блудному, одежды на ней рвать посмел?.. Да ты знаешь, что за это на всю жизнь заточу в келью на молитву, на пост вечный. Ты думаешь — выгоню из обители, чтоб через тебя по всей земле мерзость перешла на род человеческий?.. Тут будешь, в подвал, в подвал под трапезную. Говори — воззрел оком, прелюбодея на жену прекрасную?

— Они меня мучили, они... женщины...

— Так выходит они тебя мучили, а не ты насильничал среди бела дня?.. Земля все вытерпит, а как ты на страшном суде господнем отвечать будешь, подумал об этом, когда преступление творил?.. Ну?.. Говори, кайся...

— Господь меня наказал, за все, за прошлое...

Колебался синеватый свет от лампы крестом широким на полу, одним концом захватывая Борису голову.

И все еще вздрагивая и даже как-то заикаясь, но решительней, шепотом, говорил медленно:

— Чудо я хотел сотворить, воскресить любовью своєю на смерть обреченную.

Николка слушал, впитываясь глазами жадно, чувствуя, что говорить начал что-то особенное Борис о себе и, вставляя слова, вопросы, доводил до бреда мучительного, до истерики.

— Кого воскресить, Феничку?

— Девушку чистейшую... и Феничкой покарал меня господь...

— Где ты видел ее? Жил с нею?..

— С нею, в одном доме... Опьяненный вином ее...

Договорить не дал Николка, перебил и начал быстро:

— Был с нею ты, с Гракиной, теперь и жить начала с каждым, по рукам пошла? И от ней сюда, осквернять обитель?.. Паскудник...

И тоже, задыхаясь, вздрагивая:

— Бежал от нее, ночью, в обитель прямо... и здесь она преследует меня за грех первый, это она, она мучает и сегодня мучила...

— Где она, где, приехала?

Точно бред, — у обоих: у Гервасия от отчаяния злобного, что нельзя, как игумену, расспросить до мелочи, а у Бориса от пережитого сегодня и еще острее вставшего прошлого, — не мог осознать, где прошлое и настоящее, казалось, что всё настоящее...

— В номере в мир звала, плакала...

— Приехала, за тобой приехала?.. Одной тебе мало... Теперь другая...

— Обморок... вода, полотенце на груди мокрое...

— И ее, Феничку, и ее тоже?..

— Феничку тоже душил?..

— Она, она...

Не мог уже говорить и только всхлипывал, и Гервасий задышался, покачиваясь над послушником. Говорил обрывисто... Молчали. Опять начинали снова. Николка думал, что все подробно расспросит и будет мучить его за свое прошлое, но когда начали вдвоем говорить — доходили до исступления, — Николка — злобного, Борис — до безумного.

Когда молчали — слышно было, как сердце отчетливо у обоих бьется, как часы тикают мучительно и монотонно.

И когда к полунощнице ударил колокол — очнулись сразу.

— Кайся ступай... Позову... Когда уедут — отмолишь грех, ступай, буди мслельщиков.

Николка всю ночь не спал, — про Феничку вспоминал и про Костицыну думал, казалось, что она и не Вера-Алексеевна вовсе, а Гракина, только не девушка теперь,

а женщина, а глубоко — мучила мысль об Арише, — опять из монастыря хотелось на волю и мешали две мысли: Ариша теперь не одна, ребенка кормит его и другое — жуткое чувство о мощах, хотелось старца прославить, основателя пустыни, на зло всем монахам, иной раз по зависти злословящим на Николку, когда старинку его вспоминали по келиям. Открыто говорить про игумена боялись, а иной раз сойдутся, начнут кости перемывать братские и его вспомнят: и про трепачей, и про баб полпенских, и про Ипата певчего.

Целую ночь мучился, ждал встречи с барынею городской, красивую, казалось ему, что и любить она умеет по особому и сама-то не такая, как все, — как Феничка и Ариша. Прекрасною ее назвал в уме.

Чуть солнце выглянуло — оделся, волосы зачесал широким гребнем и опять, как в молодые годы, достал пузырек розового масла и на гребень капнул.

Приносили в монастырь это масло в подарок инокам странники из далеких земель восточных и сами, и от иноков палестинских, от святой Софии из Константинополя, и с Афона греческого. Напишет монах знакомому иноку на Афон или в Палестину и не знает, как написать адрес по иностранному. Встретит знакомого странника в соборе и отдаст ему передать лично. Из монастыря в монастырь по всей земле православной ходили такие странники, — без роду, без племени, без угла к старости — обреченные кормиться: христовым именем, рассказами по купцам, по мещанам, по крестьянам на путях странствия, по монастырям у братии. Носили письма братии, купцам кресты кипарисовые про смерть, масличное дерево из Гефсиманского сада, лозу из Назарета Галилейского, в пузырьках маленьких розовое масло. У порогов святой Софии турки, болгары (из долины роз), греки розовое масло продавали богомольцам, странникам.

Еще в молодости его доставал Николка, послушником, когда двугривенники раздавал купчихины в долг братии, в благодарность выпрашивал масло розовое.

Туман по лугам плавал, высокие травы стояли мокрые, а в лесу холодом сырость охватывала, когда пошел на мельницу. В лес вошел — сонный лес, тихий туман как дремота, как сны, неразвевшиеся над землей плакали... На мельницу не пошел, свернул на дорогу и зябко поехал, не знал, что делать, куда идти, и потянуло под

крышу к теплу, когда услышал лесное эхо, прокатилось по соснам и загорелись стволы жарко — всходило солнце.

Обрадовалась, сколько недель не видела его Ариша:

— Коленька, так ведь ты еще не видел его... пойди, посмотри какой, — на тебя похож и зовут также.

— В люльку смотрел смущенно.

Плечами пожал, мотнул головой и отодвинулся.

— Подержи его минуточку.

Закричал, заплакал, — Николка вздрогнул и по сторонам оглянулся пугливо, даже показалось, что кто-то в окно смотрит.

— Да что же ты, Коленька, — испугался даже... Тут никого... Одна я...

Села кормить на постель, услышал, как губами чмокает, как засасывает, захлебываясь, когда оторвется, выпустит и снова схватит тугой сосок брызжущий.

Не двинулся Николай, невидящим взглядом в пол смотрел.

Взглянул на прозрачную розовую грудь в синих жилках и кровь бросилась в голову, пятна перед глазами поплыли мутные и, сдерживая слюну брызнувшую, сказал глухо:

— Ариша...

— Что ты, Коленька, что ты... Ты потом приходи, потом...

Не надо сейчас, нельзя...

Вздрогнула испуганно, почувствовав в его голосе голод плотский, сосок вырвала и, держа одною рукою ребенка, другою торопливо застегивала платье. Сквозь детские слезы умоляюще говорила робко, испуганно:

Вскинул голову, тряхнул кудрями, повернулся резко и пошел к двери, на ходу бурча.

Сквозь слезы, сдерживаясь, стала ему на дороге и шепотом:

— Коленька, да что ж ты, сколько времени не был и не ласковый, а я-то ждала тебя, думала, что обрадую — сына ведь родила тебе, а ты не поцеловал даже ни меня, ни его... точно чужие мы...

Рукой отстранил с силою:

— Пусти, некогда...

Сходил по порожкам, — не обернулся ни разу, — вслед слышал крик стонущий:

— Коленька, вернись, — иди... Вернись, вернись.

По лесу зашагал углубленный, досадовал, что за сколько время пришел к ней и не поцеловала сама, а когда хотел — чуть не выгнала.

Вместо сладковатого молока на детские губы падали слезы Аришины, — ловил соленые, чмокал, а потом еще сильнее заливался плачем.

И обида и страх потерять навсегда Николку еще сильнее сжимали слезами горло. Звала его с отчаянием и с болью, готова была на все, лишь бы не потерять, не остаться одной. Теперь еще страшней стало... Тогда в монастыре была, не одна, с подругою, а здесь лес темный, в зимние ночи вой волчий. Тогда не знала, что задушили ее новорожденного, доверилась и поверила, что родился мертвый, — через год только узнала, что живой был, а теперь, когда вспомнила прошлое, знала, что у самой сил не хватит покончить с ним, с невинным, и еще страшней стало, когда представила, что не одна пойдет по дорогам из села в село, а с младенцем, и не послушание нести, а побираться Христовым именем. Досадовала, что не согласилась сразу, когда поняла по голосу, чего от нее хотел Николка. Еще сильнее плакала, когда вспоминала, как звала вернуться. Прижала к груди маленького и почувствовала, как цапает, ищет сосок и плачет. Отстегнула ему и, когда зачмокал сладко, — успокаиваться начала.

К мельнице подходил — робеть начал, точно как в первый раз, когда с Феничкой встретился. Зашел к мельнику, выпил квасу, расспросил по хозяйству, кусок черного хлеба посоленого взял и пошел к озеру. Сел на край лодки и, поглядывая на тропинку, жевал медленно.

Лес был в глуби лиловатый, темный — не заметил, как подошла к берегу в светло-лиловом платье.

Взглянул, отшатнулся даже.

— Долго ждали меня, отец Гервасий?..

— Я по хозяйству тут был...

Сам за веслами сходил, оттолкнул пошатывающуюся лодку, вскочил на ходу и старался поскорее от берега уйти на широкую гладь озера. Казалось, что кто-то из лесу на него смотрит. На лбу из-под скуфейки выступал пот каплями... И опять, как и Феничке, ловил веслами лилии на длинных зеленых стеблях, собирал в букет и клал у ног Костицыной и жадно взглядывал на ее чулки прозрачные.

Гукала выпь, из осоки поднимались утки, крикая, на высоком пне, среди озера, рядом с небольшой елочкой,

важно стояла цапля, и об нос лодки равнодушно вода хлюпала.

Говорить не решался, все время рвал лилии.

Костицына расспрашивала, как и все, отчего в монастырь ушел, давно и не тянет ли в мир обратно.

Односложно отвечал, но потом говорить начал. И, когда взглядывал на нее, малькала мысль о Борисе, Михайлову рассказу верилось.

И опять увел лодку в лесную речку, и около той же сосны поваленной причалил, и, как когда-то Феничку, повел по стволу обомшавевшему за руку, — руку сжимал крепко, настойчиво.

На мох сели... тяжело дышал, все тело тянулось к женщине... Чувствовала, понимала взгляды и хотелось подразнить игумена...

— Какой вы красивый, отец Гервасий... влюбиться можно...

— Правда?

— А я нравлюсь вам?..

— Очень...

— Только вот вашего Бориса не могу влюбить в себя... Отпустите его из монастыря, — отпустите.

Сорвалось от досады и ревности глухо:

— Выгоню его... Епитимью наложу...

— За что?.. За что бедного мальчика мучить?..

— Я все знаю, все!.. Задушить вас хотел...

— Неправда. Кто вам сказал? Кто видел?..

— Послушник.

— Подглядывал?.. Да? Подглядывал?.. Как это гадко, господи, и вы можете верить, доносам верить, — неправда, неправда... Это я, я его спасти, соблазнить хотела... Только посмейте выгнать! Я не побоюсь покаяться ради него епископу...

Вспоминая, что от нее зависит много, быть может, даже через нее придется просить о мощах, замолчал угрюмо.

— Ну, дайте мне слово, что не тронете этого мальчика...

— Простите, Вера Алексеевна, — не выдержал, — я не трону его, ради вас, — даю слово.

— Вот видите, я знала, что вы добрый... Но зачем же его ревновать ко мне? Сознайтесь, что ревнуете... К женщине ревновать нельзя, женщине все можно, а вы и не знаете этого?..

Придвинулся к ней и стал говорить о себе, о том, как

в монастыре мучается от соблазна, поймал руки ее и стал к себе тянуть... Вырвала их со смехом...

— Зачем вы волнуетесь так... Подождите, я их сама положу к вам.

Положила на плечи и, приблизив к нему лицо, спросила:

— Вы обещали мне рассказать о Борисе, помните... Ну, я жду?

Вздрогнул опять, метнул глазами зло.

— Расскажите сперва... Только правду... Ну, а потом...

Не моргая, в глаза ему заглянула так, что у него кровь к голове бросилась...

— Невеста была... Умерла... Потом убежал от женщины.

Говорил тяжело, дышал полуоткрытым ртом, еле выговаривал и весь тянулся к ней и не выдержал — схватил за плечи, стал наваливаться.

Билась под ним, кусала руки и вскрикнула:

— Что вы... Не смейте... Слышите. Я пошутила... Слышите...

Молча хотел осилить.

В кустах зашумело, затрещали ветки и закричал кто-то:

— Николушка, ты и Феничку тут-то?

Озверевший вскочил, дико смотря в лес, кричал, хрипя и надрываясь:

— Васька... Васька... Васька...

Захрустели сухие ветки от убегающих шагов и еще раз послышалось:

— Феничку изгони веничком, веничком, веничком...

И — тоже испуганно:

— Кто это, кто?..

— Юродивый... Васька... Васенька...

— Как же он, — видел?..

— Везде шатается. Запру...

Упавшим голосом умолял простить, не говорить никому, пожалеть его жизнь. Говорил, что для инока соблазн женщина и устоять против нее не хватает сил, потому что дьявол сильнее плоти.

Рассмеялась, вспомнила о Борисе и защищать его начала:

— Теперь вы верите, что я виновата, а не Борис? Мне и вас соблазнить хотелось.

— Верю, Вера Алексеевна, верю...

— А юродивый спас и меня от вас, и вас от греха падения... Видите, как все хорошо кончилось, а теперь едемте...

Всю дорогу говорил ей о том, что мечтал всю жизнь настоятелем сделаться в Белобережской пустыни и прославить Симеона старца — открыть мощи его, и только дьявол ему не дает, поэтому и старец, хоть и творит чудеса явные, но из-за его грехов не удостаивает себя прославлением. И потом перешел к тому, что в лице ее послал старец и искушение и сотворил через нее чудо над его немощью.

— Замолю грех свой, замолю...

И, выходя из лесу, стал просить, чтоб она сама или через княжну повлияла на епископа, попросила его помочь обители обретением мощей старца.

— Ведь он может, все может...

— А Бориса не тронете?..

— Клянусь господом!

На лугу встретили Барманского с Зиною. В панаме, в синеватом пиджаке, в белых фланелевых брюках, с тросточкой, худой, тощий, шурящийся сквозь пенсне, тем же стальным и насмешливым голосом сказал Костицыной:

А мы вас искать идем с Зиной...

Подошел к Гервасию.

— Благословите, отец игумен.

Конфузясь, благословил наспех.

Барманский попросил Николку и ему с Зиной показать озеро. Выручила Гервасия Костицына:

— Отцу Гервасию некогда, он нам даст ключ от лодки.

Отдал ключ и побежал через луг прямо в скит к старцу Акакию, умолять затворить Васеньку, чтобы не пугал гостей, особенно дам своими криками в лесу, и рассказал даже случай о том, как блаженный с поднятыми руками бежал по лесу навстречу одной даме и выкрикивал непристойное об искушении дьявола.

Старец сказал только:

— Устами блаженных господь глаголет...

И пообещал Гервасию:

— Я послежу за ним... Вразумлю блаженного... У него душа — воск ярый...

Х.

После приезда Барманского закружилась жизнь монастырская. Каждый день прогулка, обед у княжны, у игумена чай вечерний с закуской. Повара друг перед другом старались. Монахи только побряхтывали — летели сотенные из монастырской казны. Закружился

Николка — угодить старался и утешал братию, что расходы теперь не страшны — мощи будут, в один год покроются. Духовенство соборное тоже праздновало и просило денег, — иподиаконы приходили с просьбами, — Николка никому не отказывал. А когда не стало хватать, пошел к ключарю советоваться.

Иоасаф тоже жаловался, что пустынь хоть и принимает гостей ласково и радушно, а про архиерейский дом забывает, на нужды епископу отпускает мало, зимою никаких доходов, а самая богатая обитель в губернии скупится.

Ключарю говорил Иоасаф:

— Вы сами знаете, отец протоиерей, так нельзя же.

Сквозь золотые очки отвечал с достоинством и только у самых глаз морщинка сдергивалась хитростью:

— Старца хотят прославить, чудеса творятся, богомольцев полно...

И вечером, когда Николка пришел к ключарю, беседовали...

— У нас, отец ключарь, сейчас мало денег, не хватает, вы сами знаете, сколько прием стоит.

— Я про зиму говорю, отец игумен, вы зимою епископа нашего не поддерживаете... У вас старец чудеса творит — стечение народа...

— У меня только одна мечта — открытие мощей преподобного... братия волнуется, ропщет, говорит, что старец чудеса творит, а прославление не разрешают, собираются собором просить епископа... Он ведь может...

Провожать пошел ключарь Николку...

— Вечер сегодня чудесный, пройдемтесь, отец Гервасий, побеседуем...

Все время говорили о чудесах, о богомольцах, о желании епископа и каждый не решался говорить о деньгах. Под конец Николка не выдержал. Хотелось ему, чтоб теперь же мощи открыть Симеона. А где-то скребло предтечинское, — двугривеннички не давали покою. От каждого расхода оставлял себе, — копил для будущего. А после встречи в лесу с Костицыной боялся показываться вместе с епископом, отговаривался заботами хозяйственными и на прогулку не ходил. Не мог позабыть Ваську подсмотревшего, боялся, что не только братия узнает, но и епископу станет известно. Только об Арише думал, — после попытки с Костицыной понял, что все только играют с ним, забавляются и только она одна любит по-настоящему.

И еще усиленной копил для нее и для новорожденного не двугривеннички, а сотенные, от всего урывал и показывал казначею больше, чем следовало. Тот ворчал:

— Отец игумен, немыслимо... сколько денег-то тратится, братия ропшет...

— А мощи ты забыл, отец, — мощи нужны нам, а не принять гостей, — кто похлопочет за пустынь, ты подумай!

— Оно так, а все-таки...

— Преосвященный все может, говорят, что сам император ему племянник, — понимаешь, в чем дело... А ты только молчи, чтоб не знала братия, не прогневать бы этим преосвященного, — а он все может, — пока он в епархии, и надо пользоваться, у него рука там...

Казначей тоже по секрету сказал одному старцу роптавшему, а тот — другому и понеслось по келиям про Иоасафа.

Шепотом говорили друг другу:

— Он все может...

— И мощи...

— Просить надо...

— Соборно...

— У него... там... свои...

— Только скажет...

— Дядя...

С благоговением и чаянием на него смотрели, при встрече падали в ноги благословение принять и, когда встречали едущего на прогулку в линейке с князем, с княжной, с Костицыной, Зиночкой и Барманским — шептали вслед восторженно:

— Как преподобный Тихон...

— С мирянами...

— И князь с ним...

— Святитель...

С утра до вечера панихиды служились над могилой старца в старом соборе, гнусавили монахи — вечную память; лавочник Аккиндин чудеса записывал, мотая бородой козлиною, и радовался каждому слову, о старце сказанному. Воздух монастырский чудесами насыщен был... Каждый день новое...

— Опять чудо...

— Калеку исцелил, праведный...

— Теперь скоро...

— Прославит себя...

— Сопричтется к лику преподобных...

Не успевали на заре с речки приносить песок на пустыньку — до корней подрывало бабье, вместо коры от зубной боли доски грызли, которыми старые сосны были обложены. Подле колодца послушника посадили с кружкой на украшение обители собирать медные.

Николка каждый слух о чуде ловил и за трапезой передавал епископу, тот сердился, стали надоедать ему рассказы о чудесах и ничего сделать не мог — выслушивал, а иногда нетерпеливо замечал игумену:

— Я слышал уже... Да... чудо...

Но просить самого Иоасафа о мощах не решался Николка, хотел через Костицыну, через княжну, через ключаря все устроить. Обрадовался вечерней прогулке с протоиереем и переступил границы:

— Отец Василий, не знаю, как быть, не хватает денег... Посоветоваться я хотел с вами, лесу у нас строевого пять тысяч десятин, столетний лес, сосны мачтовые, нельзя ли как частицу продать кому тогда бы обитель и епископа не оставила, поддержала бы...

Переступили границу запретную, и каждый понял, к чему клонится. Николка и ключаря обещал благодарить за содействие и духовенство и сиротам семинарским обещал, а сам думал, что не только другим достанется, но и для него хватит на будущее.

— Вот если мощи открывать — деньги обители нужны... прием императора, рака серебряная, лампы, и не угадаешь всего, — лишь бы мощи...

— Я буду настаивать у епископа...

— Братии радость великая...

Утром ключарь пришел по делам к Иоасафу и, улыбаясь ласково, полунамеками рассказал ему, что поддержка архиерейскому дому могла бы быть, если бы монастырь мог продать часть лесу, а ввиду предстоящего открытия мощей все равно нужны будут деньги.

Неуверенно говорил о предстоящем открытии мощей старца, желая сначала понять, уловить по тону, как к этому отнесется Иоасаф.

Не кончили разговора — келейник епископский постучал в дверь.

— Братия, ваше преосвященство, просит вас пожаловать в трапезную, собрались они, ждут...

Вместе с ключарем пошли.

Едва вошел — запели...

— «Испола эти деспота»...

На коленях молили и старцы о прославлении мощей.

Иоасаф молча слушал.

Только Акакия не было, не пошел к епископу, сказал только:

— Суета сует... само свершится...

Васеньку караулить остался, чтоб тот по неразумению своему не сказал лишнего.

Слезы у старцев выступили... Один осмелился:

— Владыка, ты можешь...

— Все можешь...

И как эхо волной прокатилось по трапезной:

— Ты можешь...

Решился Иоасаф, благословил братию, обернулся к спасителю, на колени стал и начал молиться, чтоб благословил господь его и вразумил просить о мощах где нужно.

Облегченно вздохнули старцы, зашептали радостно:

— Будут...

— Теперь будут...

— Сам поедет просить...

— Он может, он все может...

Вечером Николку призвал с ключарем советоваться и просто сказал, как обыденное:

— Только на это средства нужны, отец игумен, может быть, где и благодарить придется, а потом сами знаете, и обители приготовиться надо заранее...

— Деньги найдутся, лишь бы прославить старца, скорей бы...

На другой день Николка собрал старцев — благословили те лес продать, а через ключаря и князя и разрешение без затруднений получили, князю тоже приятно было, что в его губернии мощи открыты будут.

И застучали топоры полпинских мужиков поденщиков в лесу темном, а Николка отсчитывал пятисотенные по конвертам, кому сколько. Иоасафу отсчитал на хлопоты и себя не забыл. Когда в кованный сундук укладывал, думал, что теперь на всю жизнь Арише хватит прожить с сыном. Радостные все по монастырю ходили, по лесу, и гости, и иноки, у каждого была своя радость, а у Николки больше всех. Не выдержал даже — побежал на хутор затемно и в подарок понес три тысячи.

До утра пробыл, и умиротворенный поцеловал Аришу и маленького.

Успокоилась, снова поверила в жизнь свою и в любви не отказала грешной.

Осмелел Николка, не боялся ни с кем встречаться, знал, что теперь никто ничего ему не сделает, потому — лес рубят, а про Бориса подумал только:

— Плевать на него, пусть, что хочет делает, из-за него через баб еще неприятности наживешь... Время придет — приберу к рукам... Лишь бы мощи...

Только старец Акакий печальным ходил, а вечером иной раз говорил блаженному:

— Ох, искушает он господа... Все суета сует... Обуяла его гордыня...

— Говорил я ему — не слушается...

— Что говорил?..

— Феничку изгони веничком, веничком... Веничком ее из гостиницы, с хутора, из дачек, — отовсюду ее веничком, веничком, везде она у него, эта Феничка...

XI.

Тишина в скиту старческом, — посреди церковь старая в два этажа без звонницы, ни колокол не зазвонит, ни било не загремит к полунощнице, — в стороне скит в лесу старом. Схимников монастырь не держал и каждому вход вольный и женщине и мужчине, — после ранней калитка открыта сбоку, ворота круглый год на запоре, кроме пасхальных дней. А лес кругом темный, запущенный, не продерешься в нем, — зимою следы волчьи вокруг скита, а по ночам заунывный вой голодный. Зимою только служба в церкви скитской, а летом старцы в обитель ходят. От келии к келии мостки сосновые, а зимою тропинки прочищены — коридоры белые, а кругом сосны темные, в шапках собольих стоят сумрачно. В Белобережской пустыни и летом песок, как снег, и зимой снег рыхлый. Зарозовеет поутру серебро снежное и потянутся черными пятнами старцы мантийные в церковь к службе и опять пустынно. Точно воронье на снегу перед метелью — посидит на поляне, покружится и взмахнет снова к лесу стаей.

С трапезы приносили обед послушники старцам, и зимой, и летом. Келии весь год в мужеве, — около каждой палисадник засажен кустарником, подле окон яблони —

весною прозрачное кружево яблонь белых, летом — все в разной зелени, осенью — золото кружевное, а зимой — иной узор вышьет. И круглый год прохлада в кельях. Каждая келья с крылечком, на крыльце скамьи и зеленый навес из хмеля, из винограда дикого, заплетенного по решетке палисадника до верху — сводчатый путь к старцу.

Летом с утра богомольцы в скиту толкуются. А переселили Акакия с пустыньки — подле келии на траве дожидаются, пока благословить не выйдет, не облегчит душу странствующую. На пустыньке с народом сидел Акакий, беседовал, а в скиту не выходил почти. Выйдет задумчивый в скуфейке черной, благословит, посмотрит, вздохнет и уйдет обратно. Бабы к нему, старухи с просьбами о судьбе житейской, а он:

— Мир во зле ходит, искушает нас господь испытаниями, а мы, маловерные, усумнились, от малодушия нашего и напасти на нас нисходят.

Только начнет, Васенька выскочит следом и завопит неистово:

— Дьявола изгоните смердящего, венчиком его, венчиком, везде обретает себе жилище... Содом и Гомор устроит в людях...

Замахает на него руками старец:

— Что ты, Васенька, что ты, иди, милый, иди...

Из-за Васеньки и старец с богомольцами не беседовал, боялся, что скажет блаженный лишнее. Первые дни не отходил от него, из келии не выпускал, а потом привык — умел его успокоить, обласкать словом тихим. Старец сядет на крыльцо вечером, когда скит закроют и Васенька у ног его на полу, — длинные руки, как плети, у него повиснут на коленях с крючковатыми пальцами скрюченными, голова в плечи уйдет сутулые, одни вихры треплются — сидит, раскачивается, блуждают глаза дико. Бурчит старцу об искушении дьявольском.

— В каждой бес блудный так и ерзает, так и ерзает и хвостиком, старче, помахивает, выглянет из-под ней, из-под юбки, вильнет хвостиком, ухмыльнется, подмигнет глазком — вот он, мол, я, тут-то и спрячется, ищи, мол, меня блудного, и опять, старче, выглянет, до тех пор и хвостом виляет и ухмыляется, пока не поймашь его, — визжит смрадник, — тут-то его венчиком, старче, венчиком...

Молчит старец, слушает, пока не замолчит Васенька, а потом, точно про себя, вполголоса:

— Мучается человек, Васенька, от мучений и грешит он, и не бес, а душа мечется, запутается она и нет ей выхода и в омут бросается от самой себя, чтоб себя не чувствовать, и не грех, а мучение, мучается человек, а греха нет, Васенька, на земле — по образу и по подобию своему сотворил господь человека, а в подобии божьем нет греха, не может быть, а ты говоришь — бес в нем, да разве начало бесовское во вседержителе может быть, — кощунствуешь, Васенька, ты против прообраза всемогущего. Ты загляни в душу каждому, прикоснись к ней ласково — сад зацветет лазоревый, осиянный радостью, — а ты говоришь — бес смердящий...

Насупится блаженный, опустит голову — слушает и не может понять: почему в человеке видит старец свет горний. Замолчит старец — забурчит Васенька:

— Старче, ты мудрый, скажи мне грешному, почему же господя нашего искушал дьявол земными царствами, — сам дьявол, старче...

Не уразумел ты, милый, слов человеческих, — на земле спаситель носил естество человеческое, и если в человеке единая капля от духа всевышнего от мучений мечется, так какую же она должна быть в спасителе, мучиться, — а ты мыслишь смертное... отступаешься от истины...

И каждый вечер кончал одним и тем же Васенька:

— А я думал, старче, меня бес мучает полуденный в образе жены грешницы.

— Не вместил ты в себе, милый, отречения от земной жизни и мучаешься, болящий ты, немощный — не смирил от юности своя плоть брэнную, против естества восстал, яко Онан праотец, на мучения обрек себя, — могий вместити да вместит, а ты не вместил отречения от жития брэнного...

Засмеется блаженный под конец дребезжащим голосом:

— И Николушка не вместил. Говорил ему — Феничку изгони вейчком, веничком.

По утрам Васенька снова стал проситься у старца побродить в лесу. Отпускал Акакий его.

— Один только ходи, от мирян удаляйся, чтоб не мучилась душа твоя, милый.

Уйдет за скит блаженный и бродит по лесу.

Без Васеньки и старцу легче и к народу выйдет.

Любил говорить Акакий с простыми попросту, а городских — чуждался, отмалчивался, на все отвечал одно:

— Ничего не могу сказать вам, милый мой господин, не ученый я и слова мои неученые... не искушайте истины...

И Барманскому то же сказал Акакий.

С первого же дня приезда во все закоулки монастырские заглянул Валентин Викторович. К каждому монаху подходил под благословение, приводил в смущение этим и каждому говорил любезно:

— Простите, батюшка, но я хотел благословение от вас принять смиренно...

Старался говорить по-церковному, нараспев и из стального тона переходил в скрипучий, режущий; улыбался углами рта, кривил тонкие губы ехидно, улыбка не сходила с лица насмешливая.

Гостинника Иону на второй же день привел в панику.

Пришел после обеда игуменского в номер в веселом настроении, предчувствуя и в будущем что-то особенное, забавное. Стал вечером спать ложиться и по привычке бросился сразу на постель, застланную одним войлоком, как на перину домашнюю... вскочил, ощупывая бока, охая и кусая губы с досады. Потом осторожно лег и долго ворочался, старался найти поудобнее положение и до утра не мог. Под утро заснул утомленный — отлежал и руку, и ногу, и бок — встал, охая, и сейчас же написал открытку матери и отцу о прелестях монастырских. Отцу писал — по-русски, а матери — по-французски, разграфив на две половины открытку. Отдал послушнику отнести в почтовый ящик, а тот к гостиннику с ней. От Гервасия был приказ прочитывать и открытки, и письма от гостей, чтобы знать, что пишут, что думают гости о пустыни. Одну половину Иона прочел, а другую не мог и решил, что в ней-то и есть особенное, неприятное для обители. Перед вечером прибежал Иона к Барманскому, постучался в номер...

Барманский открыл дверь и первое, что увидел, — подушки, а в них две головы кудластых, — сзади голос раздался чей-то:

— Простите нам...

— Что такое? в чем дело?

Бросили послушники на постель подушки и удалились без слов; остался Иона в номере.

— Простите меня, нерадивого...

— В чем дело, батюшка, я ничего не могу понять...

— Подушечки вам принесли для спокойствия?.. Вы простите меня, не моя вина — недосмотр коридорного...

И, заикаясь и запинаясь, вынул из подрясника открытку смятую.

— Писали вы, господин, про нашу обитель вот тут непохвальное... Да разве мы позволим калечить гостей наших?..

— Искалечили, ходить не могу, хромаю...

Бросился Иона на войлок подушки укладывать, застлал простыню и молящим голосом:

— Теперь мяконько вам будет... я только об одном прошу вас почтительно — не извольте посылать это, — не срамите обитель нашу...

Боязливо открытку протягивал...

— А вы, значит, читали ее?.. А вы знаете, что по закону полагается за прочтение не принадлежащей вам корреспонденции? Какое же вы имели право читать?.. Значит, вы так все письма читаете?.. Да?..

— Не я, господин, не я читал, — послушник... Умоляю вас... во имя обители... пусть никому не будет известно... только мне да вам... Не посылайте ее... возьмите...

Все еще издеваясь над Ионою, Барманский взял открытку, бросил на стол и, чтоб не рассмеяться в глаза гостинику, снисходительно сказал, похлопывая даже дружественно монаха по плечу:

— Ну, хорошо, батюшка, пусть по-вашему, никому не скажу...

До самой двери Иона, уходя, кланялся:

— Спаси, господи вас, спаси, господи... Почивайте теперь спокойно.

Барманский сейчас же пошел к Костицыной и целый вечер прохохотал над гостиником.

— Нет, господа, это бесподобно, такого анекдота со мною еще ни разу не случалось в жизни... а какие подушки мягкие, за ними ни гостиника, ни двух монахов принесших не было видно — горы какие-то... пост, молитва, смирение... и... подушки пуховые, — действительно чудеса, — из-под земли выросли...

Уходя шутил:

— А вы, медам, будьте все-таки осторожны, не выдавайте сердечных тайн в письмах, не искушайте иноков... Теперь, конечно, для меня все ясно... Вполне понятно, отчего послушники на женщин бросаются...

С этого дня и начал Барманский изводить и издеваться над монахами.

Старался с каждым завести знакомство, заходил в келии, покупал ложки, слушал рассказы Аккиндина про чудеса старца, а вечером высмеивал княжне, губернатору, Костицыной:

Рясный только морщился недовольно, смеясь в глубине души.

Барманский и в скит зашел посмотреть следом за богомольцами, расспросил у какой-то бабы про старца и решил и над ним пошутить, — какой-нибудь вопрос ехидный задать, а когда подошел со смирением к Акакию, щуря глаза сквозь пенсне, почувствовал старец, по лицу узнал человека и сказал ему не искушать истины. Барманский хотел вступить в философский спор со старцем и высмеять смирение его; сразу целый диалог даже в голове у него вырос — помешал Васенька. Выбежал вслед за старцем и начал кричать обычное:

— Веничком его, веничком паскудника...

И старец, и Барманский вздрогнули. Барманский подумал, что это к нему относится, сразу замолчал, удивленно и даже как-то растерянно смотрел на Васеньку, а старец, боясь, что пришедший господин будет нарочно говорить с Васенькой и смеяться над ним — бросился к блаженному и стал, поталкивая, гнать в келию. Закрыл дверь за Васенькой и не вернулся к ожидающим посетителям. Деревенские бабы недовольно поглядывали на Барманского, перешептываясь:

— Из-за барина этого и старец не вышел больше...

— Тоже — ходят... Нашли забаву!..

— Хоть бы уж верили, а то позабавиться только...

Барманский подождал немного, походил по скиту и, видя, что Акакий не выходит к бабам, пошел к монастырю, досадуя, что не удалось посмотреть, как он думал, сумасшедшего монаха и позабавиться.

Уходил из скита, слышал, как бабы вслед говорили:

— Блаженный-то сразу увидал его...

— Веничком, говорит его, веничком...

— Да не то чтоб веничком, а я бы его...

Встретил в монастыре Памвлу Барманский, подошел под благословение, — растерялся Памвла.

— Я иеродиакон, не могу сам благословение дать...

— Ничего, батюшка, это все равно, благословите меня...

От растерянности благословил Памвла, — прогнусавил:

— Да благословит вас господь...

Разговорился Барманский с ним, проводил до келии

и Памвла рассыпался, старался разговорами занять городского гостя и ложки позвал посмотреть. Рассказывал, как весною заготавливает чурбачки, как выдалбливает, а сам все на гостя поглядывал и не выдержал:

— Угостить мне вас нечем... Валентин Викторович... так кажется?..

— Нет ли у вас выпить чего — кваску, наливочки, сегодня жарко, батюшка, а ведь в монастырях, говорят, умеют особенно делать и квас, и напитки разные...

— У нас пустыня бедная, такая бедная, — только даянием доброхотным и живет обитель, истинно говорю вам...

А потом, поглядывая на Барманского искоса сбоку, все еще не решаясь угостить казенною, намекнул, что если ему вина хочется, то он ради особого уважения может у братии попросить. Может быть, у кого-нибудь для лекарственных целей хранится немного настойки зубровой; черносмородинной...

— Все свое, все до капельки — из лесу... лесная трава, лесная ягода... соберет братия от немощи — сами лечимся больше травкою... Я сейчас, сбегаю...

Настой был зеленый, темный, маслянистый, у Барманского даже дух захватило от зубровки, от неожиданности вздернул носом и бровями, поморщился и закашлялся; пенсне соскочило, поймал на лету, ставя другой рукой на стол шкалик.

Памвла от удовольствия засмеялся в нос:

— Лекарственная...

Откашлявшись и отдышавшись, Барманский смотрел на Памвлу, как тот настойку тянет и закусывает черным хлебом не торопясь, рассказывая про монастырь, про иноков и ежеминутно предлагая настойку гостю.

Уходя из келии, заплатил за ложки рубль, из приличия Памвла не хотел брать, а глазки маленькие так и бегали, выпрашивая благодарность.

На другой день в гостиницу прибежал к Барманскому и, войдя в номер, достал из кармана половник резной с орлом двухглавым, предложил показать сосну «Шапку Мономаха» и ходил до конца поздней обедни, пообещав навестить еще гостя.

Барманский не знал, что делать с половником, и пошел с ним к Костицыной, застал одну Зину и предложил ей идти искать Веру Алексеевну.

Пошли к озеру через луга и на опушке леса встретили Николку с Костицыной.

Николка в монастырь пошел к трапезе, а все вернулись к озеру с Барманским.

На борту лодки сидел Васенька и поматывал по воде оставшимися лилиями. Услышал смех женский, вздрогнул, обернулся, взглянул, увидел Костицыну и начал крестить ее издали, приговаривая:

— Изыди от меня, бес полуденный, во имя отца и сына и святого духа — аминь, аминь.

Барманский вспомнил, что вчера его видел у старца, и пошел к нему под благословение, желая завязать разговор с блаженным.

Васенька отмахивался от него левой рукой, не переставая крестить воздух.

— Закрестить надо его, закрестить надо паскудника, искушает он иноков...

— Кого, батюшка, закрестить?..

— Беса полуденна во образе жены прелестницы...

-- Где же он, где, батюшка?..

Начал левою рукой на Костицыну показывать:

— Искушает он, Николушку искушает и денно и ночью во образе жены блудной, так и бегаёт по пятам за ним, то Феничкой, то коровницей, то госпожей благородной и в лес-то за ним на хутор и на озеро, так и бегаёт бес полуденный, сейчас только был с Николушкой...

Барманский сперва ничего не мог понять из бормотания несвязного и только после того, как Васенька о благородной госпоже упомянул, показывая на Костицыну, догадался, что должно быть блаженный зовёт Николушкой игумена. Взглянул на Костицыну и опять стал слушать Васеньку:

— И все это она, она, Феничка, все за ним бегаёт, говорил ему, — Феничку веничком, изгони веничком... плоть немощна, дух бранный, аще соблазняет тя уд, изыми его — очищен от скверны будеш, а потом ее веничком, веничком, не побежит больше, забудет дорогу на хутор, на озеро...

И, не доходя несколько шагов до Костицыной, — пригнулся Васенька боком как-то, точно заглянуть хотел под юбку, и бросился бежать в лес выкрикивая:

— Черненький, гаденький — поматывает хвостиком, рожки корчит, морщится... убегу от тебя, полуденный...

Барманский опять взглянул на Костицыну, глазами встретился и спросил полупшепотом быстро:

— Вера Алексеевна, что такое случилось с вами?.. Какой Николушка?.. Игумен?.. На озере?..

И потом, точно спохватившись, побежал за Васенькой.

Догнал его, взял под руку, начал успокаивать, стараясь в то же время выпросить, кто такой Николушка, и когда Васенька сказал, что игумен это Николушка, стал уверять блаженного, что если он был с этой дамой в лесу, то это вовсе не бес, а женщина.

— В каждой бес блудный, паскудник в каждой... соблазняет Николушку...

Вера Алексеевна покраснела после слов Барманского и пошла к лодке, собирать оставшиеся лилии, позвала Зину.

Говорила срывающимся голосом, досадуя на себя, зачем пошла в лес с Гервасием, и хотя знала, что может случиться, что игумен не выдержит ее близости, но за себя не боялась, надеялась не допустить его перешагнуть дозволенное, но совершенно не ожидала, что может их кто-нибудь увидеть, а главное, не ожидала, что узнает об этом Барманский.

Зина все время стояла молча, ничего не понимая из бормотания безумного монаха, но чувствовала, что произошло что-то и чего-то даже стыдливо смотрела в сторону. Подошла к лодке и увлеклась лилиями. Не дождалась Барманского и пошли одни в монастырь.

Барманский за два дня успел и монахам надоесть и побывать во всех закоулках монастырских и по особому чутью какому-то встречал неожиданное и считал, что этот монастырь — клад для него, целую зиму будет рассказывать приключения и анекдоты. Встреча с Васенькой еще больше заинтересовала его, решил, не теряя времени, сейчас же разузнать про игумена. Говорил мягко, ласково, гладил по плечу Васеньку, на все слова в тон поддакивал.

— Да, батюшка, да, в каждой женщине бес полуденный и полунощный тоже, постом и молитвою его изгонять нужно...

— Веничком его, веничком...

— И веничком можно... березовым...

— Николушку искушает, Николушку...

— Инок всегда искушает бес в образе женщины... и святого Антония дьявол искушал женщиной, — прекрасный рассказ есть у Флобера, французского писателя...

— В писанин есть, в писанин...
— В писанин тоже, батюшка... И не только подвижников
искушает бес, но и...

— Николушку, Николушку...

— ...игумена, — да, батюшка?..

— Его, его, Николушку...

— И на хуторе тоже?..

— И на озере, и в лесу, и на хуторе... везде она, эта
Феничка...

— А посмотреть ее можно, батюшка?..

— Закрестить ее, закрестить надо...

— Пойдемте ее закрестим, она исчезнет.

— И с младенчиком своим, бесеночком...

И с младенчиком...

— Яко дым от лица божия...

— Яко дым, батюшка...

На хутор привел блаженный Барманского, осторожно
шел, точно боялся спугнуть нечистого.

Жаркий был день, сухой, томный.

Хотелось пить...

Обоих начал мучить голод.

Постучали во двор, Ариша вышла. Васенька хотел что-то
сказать, но Барманский прервал его и стал просить
накормить чем-нибудь. Пошел следом за Аришею, ведя за
руку блаженного.

Не знал Барманский, как обратиться к Арише, и, увидав
на ней черное платье серым горошком и на голове платок
белый тоже горошком — только черным, решил, что
монашка, и стал называть матушкой. Вместе с Васенькой
взошел в комнату-келью, увидел колыбель, подвешенную
к потолку по-деревенски, прикрытую белой кисеей,
подошел посмотреть и умилился, с целью смутить
монашенку:

— Как ангельчик, как на картинке... прехорошенький...!

И, не оборачиваясь, спросил:

— Это ваш, матушка?..

— Мой...

Быстро повернулся к Арише, заулыбался весело...

-- Но и вы прелестна, — не удивительно, что такой
ребенок... прямо Христосик...

Обрадовался сравнению, подбежал к Васеньке, упрямо
уставившемуся в пол, схватил за руки и потащил
к колыбели:

— Батюшка, вы посмотрите только... Христосик лежит,
прямо Христосик, сияние даже вокруг головки...

Васька взглянул, отшатнулся и начал:

— Николушка, ах, Николушка, соблазнил тебя бесполунощный...

А Барманский, обращаясь то к Арише смущенной, то к Васеньке, продолжал, чуть не захлебываясь от восторга:

— Как дева Мария... вы... вы, матушка... и Христосик тут ваш и ясли, и пастухи, и волы, и овцы... в Вифлееме, мы, батюшка... как волхвы, пришли поклониться... поклонимся... поклонимся...

Ариша стояла растерянная с двумя ломтями хлеба и кувшином молока, растерянно смотрела на кривлявшегося Барманского и на впившегося Васеньку и ловила одно только слово — Феничка, ничего не понимая, но чувствуя, что за этим словом кроется прошлое Николая. Стучало сердце, падало, дышать ей становилось нечем. Выступили на глазах слезы и повисли на глазах, блестя, как золото. Заплакал ребенок, разбуженный криком Васеньки. Поставила прямо тут же на полу кувшин с молоком и положила на него куски хлеба.

На дворе по деревянному помосту застучали копыта коров, раздались звуки бича, мычание и рев быка.

— В Вифлееме мы... истинно...

— Веничком, веничком эту Феничку...

Вечером Барманский Костицыной и княжне рассказывал про хутор, про монашенку и умилялся, ехидничая.

— Прелестный ребенок, ангельчик и мать... дева Мария, и кругом Вифлеем и Христосик... Обязательно устроим пикник на хуторе, обязательно...

XII.

Через несколько дней Барманскому надоел монастырь и монахи и только одна мысль занимала его — пикник устроить на хуторе. Уговаривал и епископа и дам перед отъездом поехать, а чтобы не заметили затаенной мысли, ходил несколько раз к Гервасию линейку просить и вместе с княжной, и с Костицыной, и с Зиной ездил на засеку, где городец старинный был. Потом самому князю и епископу рассказывал восторженно:

— Поедемте, князь, и вы, ваше преосвященство, какой лес дивный стоит и, кажется, сейчас на тебя вылетят с кистенями и с гиком — и хорошо, и жутко... Прелестное место... Сколько в душе родится мыслей... Поэзия... Старина... Былое...

Уговорил Иоасафа и Рясного на городец.

Николка с епископом одни поехали, а князь — с Барманским и с дамами и закусками позднее. На городце чай пили, — белобрысый келейник Костя сапогом раздувал самовар шишками, мох от комаров палил, на Снежеть за водой бегал.

Иоасаф благодушно шутил с дамами, Костицына с ним кокетничала, княжна говорила, что ревнует ее к владыке, а князь Барманского журил за балаганство, за неуместные шутки в обществе преосвященного и игумена.

Николка предание стал рассказывать о засеке — о Симеоне старце, бывшем когда-то разбойником в лесах темных, и о сотворенном над ним чуде явлением Троеручицы, указавшей ему путь подвига на пустыньке.

— Пошел старец Симеон, — атаманом был тогда, — пошел от своих молодцов на дорогу проезжую глянуть — сел под мост — дожидается, — гремят по мосту купцы заморские — свистнул товарищам — налетели, порезали неповинных, товар в лес, — атаман последним... Шел... шел — с дороги сбился — видит, огонь в лесу светится, значит, у костра сидят, добро делят, он на огонь — будто городец, а только у товарищей лица светлые — ангелы, а на его месте сидит женщина красоты неопишуемой с младенцем, держит двумя руками его у груди... Он к ней прямо... Откуда, говорит, красавица?... Молчит она и товарищи ему ни слова. Полюбилась ты, говорит, мне, — княгиню мою будешь и пошел к ней... Только видит — она младенца своего прижимает к груди сильнее и на него смотрит строго, — говорит: — Не знаю тебя, злодея...

— Он к ней ближе: — Полюбилась ты мне, говорит, за речи смелые — поцелую тебя крепко... — Подошел... И вдруг рука у ней из-под парчи... Простерла к нему. Пал замертво... очнулся — ни товарищей, ни княжны — икона стоит на камне Троеручицы. Покаялся... со слезами пал... Хотел подняться с камня... опять рука простерлась к нему — опять пал замертво и слышит, как сквозь сон голос женский: — Покайся, богоотступник... прими иночество... оснуй обитель смирения... — Каялся, денно и ночью стоял перед владычицей на коленях и после каждой ночи, подходил к иконе и каждый раз простиралась рука гневная, на сороковой день подошел — поднял с камня владычицу, облобызал пречистые ризы и опять поставил... А товарищей в ту же ночь государево войско Петрово

перевешало на соснах, один старец спасся чудесным образом. Поставил келии, собрал братию, загудел колокол по лесу во славе владычицы... Узнали про пустынь люди, ходить поклоняться начали и воевода приехал... Увидал старца... Тебя-то, говорит, мы и не нашли только... Заковали в кандалы и повезли в телеге прикованного, как злодея, в Петров град... В темницу бросили... Сам Петр приходил допрашивать... Во всем повинился старец праведный: — Завтра, говорит император, на казнь пойдешь... — А на утро пришел затемно, отворил темницу и сам вывел преподобного и грамоту дал на монастырь, на землю, на деревни ближние и говорит ему: — Был ты ловцом людей на проезжей дороге государевой, будь теперь ловцом душ человеческих... — Повелел рукоположить в иеромонахи... Видение Петру было ночью Троеручицы, — повелела царю простить покаявшегося... Со славою возвратился в пустынь... Иноки с трепетом дожидали основоположителя пустыни, в молитве и посте проводя дни и ночи... Возрадовались возвращению Симеона пустынника... Вознесли соборне молебствие со свечами вожженными... Поклонился старец заступнице и принял схиму во имя прославления обители... Чудо господне над ним было содеяно, а теперь по воле всевышнего и сам чудеса творит. Заслушался Иоасаф сказанием, и когда Николка кончил, — вздохнул глубоко и сказал задумчиво:

— И меня привел господь в обитель вашу, дабы послужить ей во имя преподобного Симеона старца и со смирением прославить имя его по всей Руси... послужу обители... просить буду, где только смогу и кого смогу...

Николка от этих слов просветлел даже.

Только Барманский на игумена поглядывал хитро, думая, что на все руки мастер, и рассказывать и женщин в себя влюблять, на лодке катать по озеру и на хуторе устраиваться.

Николка не жалел денег — угождал гостям, себе откладывал про черный день и опять стал на хутор ходить проведывать Аришу и, возвращаясь, всегда мечтал о мощах, о близком торжестве.

После того, как побывал вместе с епископом на городце, уверен был — будут мощи, теперь скоро. Казалось — большей чести никто не удостоится, как он.

На порубках побывал и жалел и радовался, когда падали не в обхват сосны со скрипом, потрескивая ветками, про

себя думал, что обитель новую воздвигает, — каждое дерево укрепляет ее основание, и леса не жаль — пусть валят.

Сам даже предложил Иоасафу посмотреть на работы, и опять и с князем, и с дамами, и с Барманским поехали.

До захода солнца пробыли, ели похлебку мужицкую, черную кашу и восхищались блюдами с дымком, с гарью.

Барманский за Костицыной ухаживал и язвил:

— У вас, Вера Алексеевна, одни только иноки имеют успех...

Боялась его и отталкивала, и кокетничала.

Николка искоса на нее поглядывал, губы покусал от досады, что не удалось в лесу поцеловать Костицыну, и сжимался, когда вспоминал Ваську. Иногда в упор ей смотрел в глаза, ждущими и просящими глазами, — на взгляды его улыбалась, маня и обещая назло Барманскому.

Злой червь точил Валентина Викторовича, хотелось и Костицыной отомстить за недоступность, и монаха высмеять; через пенсне улыбался Николке и Костицыной, рассказывая, как хорошо в лесу на озере и какой мох мягкий и ароматный воздух, намекая на прогулку Николки с Костицыной. Николка и это чувствовал и молчал, а под конец и глаза опустил в землю. Потом Барманский обратился ко всем и особенно к Иоасафу:

— Ваше преосвященство, вы еще на хуторе не были?.. Вот там истинно красота красот. Как Вифлеем — тихо, смолой пахнет... Поедьте, господа, на хутор, на целый день, с утра... Кашу будем сами варить, молоко пить... Я был там недавно... молоко пил...

Николка вздрогнул даже, когда услышал, что Барманский был на хуторе, и сейчас же подумал, что не только Аришу, а может быть, и ребенка видел, и удивился, почему до сих пор Ариша ему ничего не сказала. От испуга покраснел даже и стал отговаривать из-за дальности расстояния. Барманский почувствовал, что попал в точку, и еще упорнее стал настаивать на поездке. Инстинктивно почувствовала и Костицына, что между ними происходит борьба какая-то и насторожилась.

Иоасаф решил:

— Я поеду на хутор, возлюбил я обитель отца Гервасия и хочу все красоты ее видеть...

Николке пришлось только радоваться на желание Иоасафа, собравшегося дня через два уехать из пустыни.

Растерялся Николка, растерянными глазами поглядывал на Костицыну, и она отвечала ему взглядом, что ничего не понимает.

Николку вечером Иоасаф не отпустил от себя, серьезный разговор о мощах начал. Обещал осенью же съездить в синод, побывать во дворце и продвинуть дело об открытии мощей Симеона.

Наставника я вам пришлю, он все укажет — подготовит пустынь и иноков к восприятию преподобного... Академика пришлю, — попрошу в синоде назначить из Саровской пустыни...

Потом благодарил Николку, что не отказал архиерейский дом поддержать денежно, а под конец послал пригласить ключаря с матушкой и с протодиаконом на пикник на хутор.

Рвался Николка к Арише сбежать, предупредить, или куда-нибудь ее на этот день удалить с младенцем или хотя бы младенца отослать на один день в деревню, боялся, что может быть из-за этого неприятность, а главное, что потеряет в глазах Иоасафа уважение и доверие.

У ключаря не пустили...

Духовенство играло в стуколку, — сперва смотрел, а потом соблазнился — уговорил ключаря.

— Монашествующему не подобает, отец ключарь...

— Это, отец игумен, игра духовная, духовенством излюбленная, а вы тоже из духовных — один раз можно.

Сперва нерешительно разобрал карты, а когда два раза выиграл, вошел в азарт и загадал даже, если удачно играть будет, значит благополучно пройдет завтрашний день на хуторе.

В темную шел... выкрикивал:

— Стучу...

Протодиакон нараспев рычал:

-- Пос-ту-у-укиваю...

Николка схватился за карман — не взял денег, ключарь успокоил, три сотенных дал.

Зазвонили к полунощнице, Николка простукивал пятую сотню, соборяне в выигрыше были и увеличивали ставки, и Николка, багровея, зарывался в карты, — ни разу не поднял, все время в темную.

К утрени ударили — сонная ключарша закусить подала.

Протодиакон выигрыш подсчитывал и гудел:

— Со-тен-ка... Сто-о с красенькой... с портретом благо-о-словенно-ого...

Иподиакон Смоленский тенором тараторил речетативом:

— Кинарочки синенькие — мои душеньки... Люблю, отец протодиакон... Слабость моя — птицы божии, ни сеем, ни жнем, но собираем в житницы, по зернышку, все по зернышку... Зеленые попугайчики — трешницы... кинарочки...

Ключарь сквозь золотые очки улыбался ласково, поправляя академический значок на цепочке. Не считая, деньги свои положил в карман пригоршнею.

Николка, заикаясь, сказал:

— За мной, отец ключарь, тысяча...

— Не беспокойтесь, отец игумен... мы сочтемся...

К закуске ключарша и пузатый графин поставила с лимонными корками.

Николка не думал ни о чем с досады, только в висках стучало.

От лимонной не отказался, — вспомнил старое.

Пил, не хмелея, не отставал от протодиакона.

Ключарь провожать вышел.

На воздухе лимонная бросилась в голову, ослабели ноги.

Ключарь спросил:

— Говорили с епископом о мощах старца?..

Чуть зашлетаясь, ответил:

— Вот видите... Поздравляю... Великая честь выпадает вам...

До конных ворот проводил, дождался, пока Николке не отворил конюх-послушник.

Пошатываясь, дошел до покоев и постучал с заднего крыльца.

Стучал долго, прислонившись к двери. Выбежал белобрысый келейник заспанный отворять. Николка молча прошел к себе, не раздеваясь, лег, заснул, как убитый...

К достойной в большой колокол ударили позднее — очнулся, вскочил и сразу вспомнил о сегодняшнем дне — о пикнике на хуторе. Призвал Костю келейника белобрысого и приказал после трапезы подавать лошадей к новой гостинице, а потом велел добежать и предупредить матушек о гостях, хотел сказать через послушника, чтобы Ариша не выходила к гостям и запнулся, кончил тем, что велел к себе послать эконома.

Барманский с утра караулил Васеньку. Дамам сказал, что позднее придет один, чтобы не ожидали его. К Памвле зашел, посидел, угостил целебную травкою, — сам же Памвля за ней к соседу бегал. И, прощаясь, испросил

с собою взять к обеду. Хотелось Костицыной отомстить, поиздеваться над ее верностью старому мужу, над стыдом женским и над смирением иноческим — над Николкою.

Около скита ходил.

Васенька с трапезы старцу обед нес...

— Батюшка, я к вам... проститься хочу, уезжаю завтра.

— Обед несу старцу, обед несу...

— А вы отнесите и придите сюда, я ждать буду.

Прибежал Васенька:

— Вот он я, вот он... старец меня не пускал... ушел... сам ушел.

Барманский его взял под руку и повел в лес. Старался говорить с блаженным о чудесах, о старце, о пустыни и уводил его по направлению к хутору. Сбился с дороги, попал в болото, промочил ботинки лаковые, но решил все терпеть, хотелось удивить, поразить на пикнике пикантным присутствием блаженного. Васенька на дорогу вывел к Полпинке. Барманский пошел к деревне, — хотелось есть и главное создать подходящий момент, угостить настойкой Васеньку, чтоб у того было больше храбрости, чтоб язык ему развязало и при епископе. Зашли на отлете в избу вдовью. Бабы-солдатки, ухмыляясь, встретили. Васенька увидал — вспомнил, уперся, хотел бежать...

— Что с вами, батюшка, что с вами?..

— И тут она... Феничка...

— Как... и тут?..

Пальцем на баб показывал:

— Вот эта... вот эта... она... Феничка...

— Да что, Васенька, какая ж я Феничка?.. Ксюшка я... Ерохина...

На другую стал показывать...

— А я, батюшка, Маланья... забыл видно...

И потом к Барманскому обратилась баба:

— Это он, барин, еще с того разу не пришел в себя, как с одной вот тут на лавке голяком лежал связанный... Иноки тут измывались над нами пьяные...

Васька вопил:

— Николушка, Николушка это... все он...

Маланья, видя городского человека, решила жаловаться:

— Управы на них нету, барин... девке и в лес не пойти по ягоды, по грибы... привяжутся долгогривые... либо ягоду высыпай... либо сама ложись, а про нашего брата

и говорить нечего... А игумен-то, Николка этот... Беда от него...

— Да как же, барин, не жаловаться нам на него — где это видано... поели, попили, бабами попользовались, поизмывались над тобой вволюшку, а как платить — дудки... Игумену старому на него жаловались...

— Я заплачу вам, только вот вы нам с батюшкой яичницу сжарьте...

За яичницей бабы про монастырь рассказывали, про монахов.

Васенька сперва не хотел есть, а вспомнил, что мясоед — принялся. Барманский и небольшую бутылку достал, бабы подали шкалики...

Васенька взглянул...

— Братия ее лампадиком пьет... целебная...

— У нас шкалики, барин...

Сперва Васька отказывался, — Барманский уговорил пригубить. Вспомнил Васька, как пил, когда помоложе был, и не выдержал, выпил шкалик...

На втором с непривычки захмелел чуть-чуть, Барманский не дал пить больше, боясь, что, если блаженный лишнего выпьет, испортит весь его план, тогда не получится эффекта главного.

От баб уходили приятелями, — Барманский повел его под руку и все время старался отвлечь разговором мысли блаженного от Николки, чтобы неожиданно поразить его пикником и называл Васенькой.

Блаженный хотел прямою дорогою идти через мельницу, Барманский уговорил идти через хутор, а на хуторе молока выпить.

На пикник приехали без Барманского и расположились в лесу около хутора.

Архиерейский повар с белобрысым келейником Костею приготовили заранее закуски, разостлали скатерть и ждали, Ариша помогала смущенная, растерянно поглядывая на дорогу.

Николка повел Иоасафа хозяйством хвалиться, за ними и все пошли.

— А это сестра моя двоюродная... Ариша... ведет хозяйство...

Хотел вывернуться...

Иоасаф ничего не сказал, а ключарь только поправил золотые очки.

Костицына стала просить:

— Ариша, милая, покажите нам своего мальчика, он, говорят, у вас хорошенький...

Протодиакон ходил, только побрякивал.

Дамы пошли смотреть младенца.

Зиночка выбежала первой, подошла к Иоасафу и начала восторженно:

— Как Христосик... хорошенький... его и Барманский видел...

Иоасаф нахмурился.

Протодиаконский бас заглушил Зину:

— Тут эхо, владыко, на весь лес слышно будет... так хочется попробовать многолетие...

Николку передернуло.

Ключарша по наивности не переставала восхищаться мальчиком.

Князь, посмеиваясь, сказал дочери:

— И все этому Валентину нужно... Раньше всех бывал...

За глаза Валентином называл, потому мечтал выдать за него молодую вдову-дочь и считал его почти своим сыном.

За закуской неловкость рассеялась...

В первый раз появилось на прогулке вино, а ключарша даже, желая угодить мужу, привезла лимоновки.

Рясный спросил Костицыну, зная, что Барманский за ней ухаживает:

— А Валентин Викторович где?

— Обещал придти позднее...

Николка оглянулся к лесу тревожно.

Перед вечером развели костер, стали варить кашу-ядрицу.

На дворе мычали коровы, постукивая копытами по деревянному настилу, урчал бык, дым от костра расстилался белым полотном, уплывая в лес, мягко жевали незапряженные лошади, архиерейский повар с белобрсым келейником собирали посуду, укладывая в ящик, конюхи сидели у линеек и, поглядывая искоса на костер, ели посоленный черный хлеб, закусывая зеленым луком, четко звякали в предвечернем лесном воздухе молочные ведра и надо всем гудел умиротворяюще протодиаконский бас.

Николка сидел вместе с ключарем, с женою его и Костицыной у костра, помешивая по очереди в котле кашу. Зина собирала сухие сосновые ветки и с удоволь-

ствиием подкладывала их в костер, бросая вместе с ними и маленькие веточки свежей ели, наблюдая, как огонь весело перехватывает зеленые иглы.

Никто не заметил, как Барманский подошел к костру с блаженным под руку и нарочно веселым и приподнятым голосом сказал:

— Простите, господа, за опоздание и разрешите мне быть с моим приятелем и другом Васенькой.

Все вздрогнули и обернулись в их сторону.

Над Николкою стоял Васенька. Легкий хмель бродил еще у него в голове, и он смотрел ничего не видящими глазами на костер.

Николай вздрогнул, обернулся и, увидав над собой Васеньку, от неожиданности и испуга вскрикнул, забыв о присутствующих:

— Васька!..

Блаженный в свою очередь вздрогнул от окрика и, увидав Николая, сказал каким-то радостным от неожиданности голосом, скорее даже испуганным:

— Николушка... и ты тут?..

Барманский смотрел поочередно на Костицыну и на игумена, ожидая дальнейших слов Васьки и, кривя слегка тонкие губы, улыбался сквозь пенсне.

Ключарша, желая заявить о своем присутствии, сказала весело:

— Валентин Викторович, а у нас сейчас будет каша...

Сзади Васеньки и Барманского подошла Ариша и принесла молоко в ведре.

— Я молоко принесла к каше...

Васенька повернул голову на женский голос и остановился глазами на сидевшей впереди ключарши Костицыной, сверкнул ими, точно что вспомнил, и понес, не останавливаясь, до конца, пока его не увел протодиакон.

И действительно началась каша.

Блаженный стал выкрикивать:

— И она тут, и она... бес полунощный... Николушка... изгони ее, изгони веничком... а то опять на нее бросаться будешь... бросался ты на нее... в лесу... на озере... Николушка...

Вера Алексеевна отшатнулась от костра, моментально встала, быстро подошла к Барманскому и стала говорить ему. Голос прерывался, дрожал, переходя в слезы, начала выкрикивать:

— Бесстыдник, бесстыдник вы... для вас все равно... это же гадость...

Николка к Васеньке бросился.

— Николушка, что ты, что ты... Не связывай меня только,.. не связывай... как на Полпинке... изгони ее... изгони... веничком... погонится за мной... не связывай с ней...

Метнулся от Николая, толкнул Аришу, с разбегу выбил ведро с молоком и еще сильнее, еще громче закричал, отмахиваясь руками от Ариши:

— И эта тут... тут... тут... с Христосиком твоим. Пойди... поклонись ему... Христосику... ангельчику...

Костицына неожиданно присела, потом опустилась на колени и, вздрагивая плечами, зарыдала, переходя в истерику:

— Ох-ох, ох, ох-ох-о-ох...

Княжна схватила за рукав Николку и закричала ему на ухо:

— Воды... Воды скорей... Воды дайте...

Николка бросился за водой на хутор, схватил из ведра полный корец и, расплескивая, побежал обратно.

Васька, увидав снова бегущего к костру Николая, опять стал выкрикивать и побежал к лесу:

— Николушка... всюду она... всюду Феничка твоя полуночная... и в лесу, и на озере... и на Полпинке... и на хуторе... изгони ее... изгони... веничком... веничком ее, эту Феничку...

Николка испугался за Ваську, боясь, что тот снова утонет в озере, и закричал:

— Утонет он... утонет... держите...

Протодиакон успел схватить Васеньку:

— Сто-оой...

По всему лесу пронеслось:

— О-о-ой.

От рычащего крика блаженный остолбенел и умолк.

Иоасаф взволнованным голосом и от волнения почти шепотом сказал:

— Уведите его... Васеньку.

Он сразу же понял из бреда блаженного, что тот говорит про игумена и, не желая подавать виду, нахмурился и сказал князю:

— Сергей Николаевич, едемте отсюда скорей...

Конюхи, увидав поднявшуюся суматоху, с первого момента начали запрягать лошадей.

Ариша смотрела на Барманского, отошедшего в сторону и наблюдавшего с наслаждением и в то же время со смущением, потому что он хотел только пошутить над игуменом и отомстить Костицыной и вовсе не ожидал такого скандала. Углы рта кривились усмешкою, а глаза морщились презрительно и досадно. Он все время нервно подергивал бородку и, когда Иоасаф с Рясным пошли садиться в линейку, хотел подойти к княжне, но потом быстро повернулся и пошел в лес. Зина плакала над Костицыной, старалась утешить ее, помочь. Ариша после ухода Барманского опустила медленно голову, согнулась как-то и, точно избитая, пошла к хутору. Костицыну перенесли на линейку. Промокшее платье, волосы от вечернего холода и болотной сырости охладили тело, и женщина начала быстро приходить в себя. Протодиакон увел Васеньку и издали был слышен его урчащий бас, уговаривавший блаженного. Ключарь не принимал никакого участия во всем случившемся, наблюдал, стоя у костра, и, покапывая ногой золу, брезгливо морщился. Уехали, но Николку никто не пригласил сесть на линейку, и он остался стоять у потухавшего костра. Пахло пригоревшей кашей. Николка стоял без мыслей, растерянный, убитый, и тупой страх за свою судьбу всего его содрогал, но, вспомнив о деньгах, о проданном лесе, успокоил себя, подумав, что мощи теперь все равно будут.

С хутора раздался детский плач. Николка вздрогнул, прислушался и решительно пошел к Арише:

— Уйди, уйди от меня... уйди...

У Ариши слез не было, но глаза были горячие и блестящие и сухие.

Спокойно сказал, уходя из комнаты:

— А мощи все-таки будут... и мы будем... Его береги только.

Ариша до утра не могла заснуть, думала, мучилась, и все равно знала, что теперь идти некуда... ради ребенка все придется простить.

Иоасаф отменил последнюю службу и на следующий же день уехал с ключарем и Рясным.

Барманский до отъезда в монастыре не показывался, прожил один день на Полпинке у солдаток, потом пришел за своим чемоданом и пешком ушел на платформу.

Рясный обещал Иоасафу его уволить, но все-таки не исполнил этого, считая Барманского хотя и очень злым, но остроумным до чрезвычайности.

Николка вернулся в монастырь, приказал запереть Васеньку и, провожая архиерея, не постеснялся еще раз попросить его о прославлении старца.

В монастыре шушукались монахи по кельям, злорадствовали.

Но никто открыто не говорил про него, знали, что только он сможет прославить обитель и Симеона старца, основоположителя Белобережской пустыни.

Возвратившись с полустанка в монастырь, Николка, велел ударить в большой колокол и соборне отслужить благодарственный молебен Троеручице и панихиду на месте успокоения старца Симеона.

СОДЕРЖАНИЕ

Том I

Все мысли были о России.....	5
Житие бренное. Повесть первая.....	16
Мирское странствие. Повесть вторая.....	93
Звезда Вифлеемская. Повесть третья.....	165

Том II

Отроча непорочный. Повесть четвертая.....	231
Обитель тихая. Повесть пятая.....	291
Мощей обретение. Повесть шестая.....	378

Иосиф Федорович Калинин

МОЩИ

Роман. Тома 1 — 2.

Редактор **Н. И. Поснов.**

Художественный редактор **А. А. Зуенко.**

Технический редактор **Л. Е. Семенова.**

Корректоры **Т. И. Лужецкая, О. В. Баранова.**

Сдано в набор 10.07.92. Подписано в печать 20.05.93. Формат 84×108¹/₃₂. Печать офсетная. Гарнитура литературная. Уч.-изд. л. 25,8. Тираж 40000 экз. Заказ 3575. Издательское товарищество «Дебрянск», 241000, Брянск, бульвар Гагарина, 10. Брянское областное общество любителей книги.

Брянская областная типография.
241038, Брянск, пр-т. Ст. Димитрова, 40.







2-36